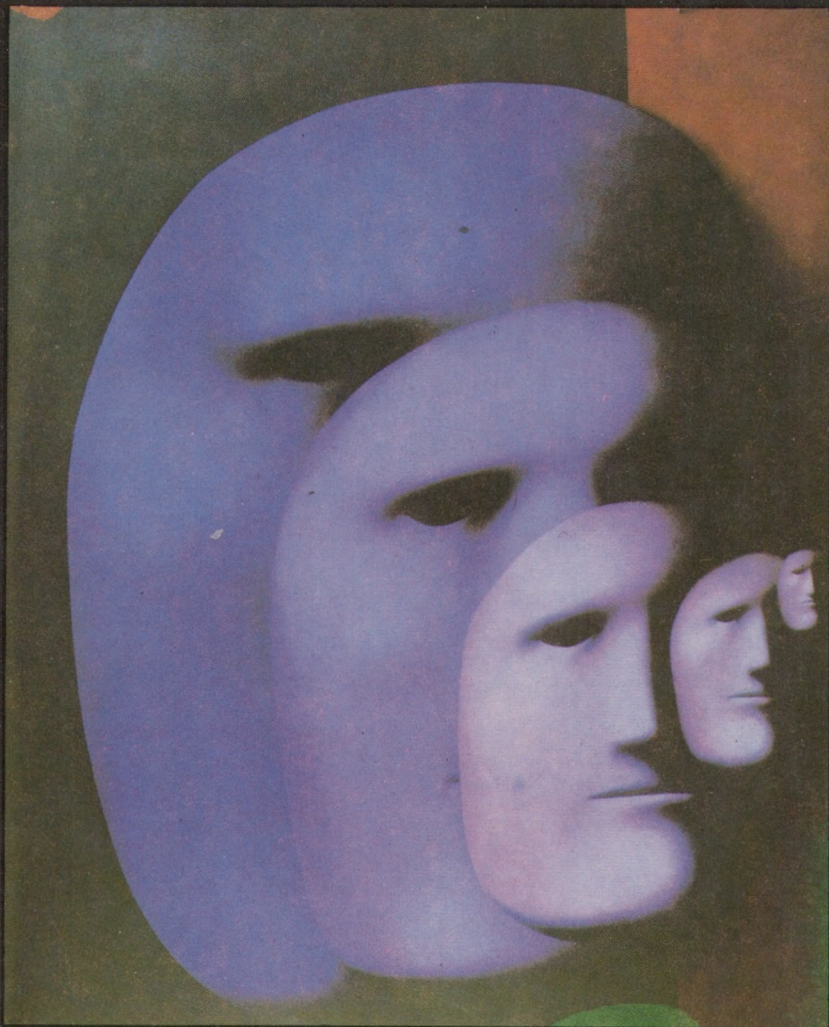
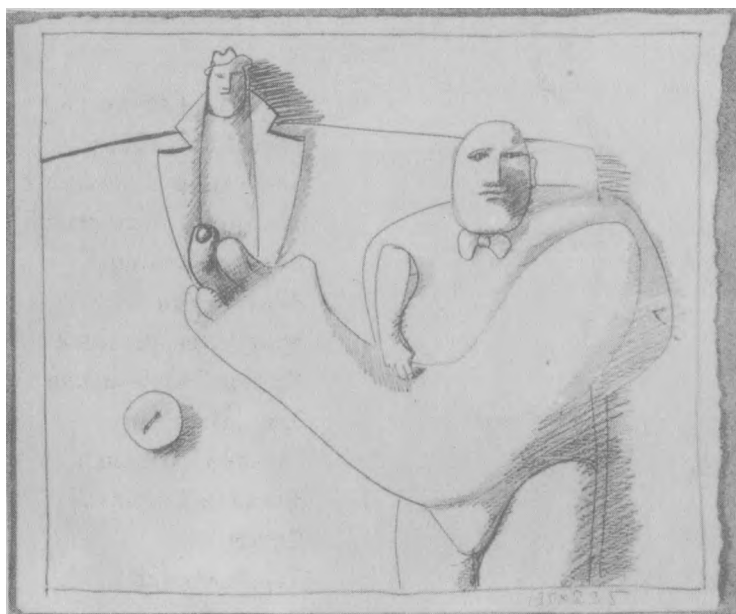


Феликс Медведев

ПОСЛЕ РОССИИ





Иосиф Бродский
Вилли Токарев
Саша Соколов
Анатолий Забавский
Нина Берберова
Галина Вишневская
Владимир Романов
Андрей Синявский
и Мария Розанова
Эдуард Лимонов
Олег Целков
Владимир Максимов
Натали Саррот
Анри Труайя
Никита Струве
Эдуард Кузнецов



Зинаида Шаховская
Александр Югов
Александр Зиновьев
Владимир Матусевич
Леонид Махлис
Виктор Урин
Эрнст Неизвестный
Мария Разумовская
Элла Ивченко
Татьяна Лещенко
Зинаида Гиппиус
Довид Кнут
Дон Аминадо
Ольга Кларк
Тихон Куликовский-
Романов
Дмитрий и Исса
Панины
Михаил Дубинин
Елена Шапова

**Феликс
Медведев**

ПОСЛЕ РОССИИ

**Москва
Издательство
Республика
1992**

ББК 63.3(0)

М42

Медведев Ф. Н.

М42 После России.— М.: Республика, 1992.— 463 с.з

ил.

ISBN 5—250—01517—4

Имя журналиста Феликса Медведева известно в нашей стране и за рубежом. Его интервью с видными деятелями советской культуры, опубликованные в журнале «Огонек», «Родина», а также в «Литературной газете», «Неделе», «Советской культуре» и др., имеют широкий резонанс. Его новая книга «После России» весьма необычна. Она вбирает в себя интервью с писателями, политологами, художниками, с теми, кто оказался в эмиграции с первых лет по 70-е годы нашего века. Со своими героями — Н. Берберовой, В. Максимовым, А. Зиновьевым, И. Бродским, Г. Вишневской, А. Синавским, Э. Неизвестным, Ари Труайя... автор встречался в Париже и Москве, Нью-Йорке и Мюнхене, в Торонто и Вене. Различны судьбы этих людей, живут они в разных странах, но все их размышления пронизаны мыслью о неделимости российской культуры, истории, о том, что человек, оказавшийся на чужбине, продолжает жить и творить, сохраняя общие корни со своим народом и страной.

Книга иллюстрирована и адресуется массовому читателю.

м 0503020500 310

079(02)—91 125-92

ББК 63.3(0)

© Ф. Н. Медведев, 1992

© О. А. Карелина, Л. Н. Морозова,
художественное оформление, 1992

ISBN 5—250—01517—4

ПОСЛЕ РОССИИ — СНОВА В РОССИЮ

Этой книгой я «заболел» совершенно случайно. Все началось с первой поездки в Соединенные Штаты Америки. Произошло это в январе 1988 года. До этого первого выезда за кордон я был убежденным патриотом своего Отечества. Убежденным до абсурда. Нет, не потому, что я не сомневался в том, что на солнце родной Отчизны пятен не может быть (они быстро и четко проявились, ведь шла перестройка), — меня просто не тянуло на Запад. Сказывалась главная страсть всей моей жизни, перед которой для меня ничто все остальные жизненные соблазны, — охота за русской книгой, библиофильство. Мне казалось, что на Западе нет простора для удовлетворения моих честолюбивых библиофильских устремлений, что там нет редких русских книг. Все же остальные прелести западной цивилизации меня просто не волновали. До этого я, правда, дважды выезжал за границу: первый раз — в 1965 году в Венгрию в составе молодежной делегации, да и то мне хотелось лишь посмотреть на родные пенаты (мой дед — мадьяр, один из творцов Венгерской Советской республики, эмигрировал в Россию в 1921 году, член руководства Коминтерна, отсидел в Бутырках и еле выжил); второй раз — в Болгарию (курица — не птица, Болгария — не заграница, как всегда считали) году в восьмидесятом. Поездка в Болгарию, казалось, навсегда отвратила меня от желания общения с иными странами: в Бургасе я по просьбе местной партийной газеты (профессиональный журналистский зуд не покидал меня никогда) написал небольшую статью-воспоминание о поездке в станицу Вешенскую к Шолохову. В статье упоминалось и имя Л. Брежнева, естественно в положительном контексте. По возвращении в Москву о том, что я сотрудничал с прессой страны Болгарии, было доложено куда следует.

Со мной провели соответствующие беседы. Кроме того, меня «чистили» на заседании партийного бюро (хотя я никогда не состоял в КПСС) редакции журнала «Огонек», где я работал с 1975 года. Во главе партбюро властной хозяйкой (еще бы, в редакции шушукались, что ее дядя — сам Шауро, большой чин в иерархии ЦК КПСС, и ее не то чтобы сторонились, но побаивались) восседала энергичная дама, которую мне всегда хотелось назвать по фамилии знаменитой героини галичевской песни «гражданкой Парамоновой». После проработки и выслушивания мнений решили: вынести мне выговор за нарушение журналистской этики и неприглядное поведение гражданина СССР за рубежом. Также решено было провести дальнейшее расследование юридической стороны свершившегося инцидента. В общем, бюрократическая машина набрала обороты, но я чудом остался в «Огоньке» (кстати сказать, не без воздействия А. Софронова; не хочу обелять или оправдывать черные страницы его биографии, но справедливости ради следует заметить, что иногда он бывал широким и добрым). Само собой разумеется, я был лишен права выезда в Болгарию, а вкупе с ней и в другие закордонные края на долгий срок, что «спасало» меня от окончательного разложения буржуазной западной (читай болгарской) моралью и нравами. Так и сидел бы я невыездным за «преступление», о котором и сегодня не могу вспоминать без смеха, да «испортила» все перестройка и гласность. И случилось это до обидного просто.

Однажды в часы всенощных бдений у доброй моей подруги Джуны Давиташвили, на которых на этот раз гостями были работники Советского комитета защиты мира, речь зашла о готовящейся комитетом (с подачи М. Горбачева) по тем временам совершенно беспрецедентной перестроечной акции — высадке на американскую землю огромного десанта советских граждан. Около ста видных представителей советского культурного истеблишмента должны были пойти на сближение с американцами на самых разных уровнях и быть раскованными в своих желаниях познать буржуазное нутро донельзя разложившегося американского капитализма. Хотите в штат Юта? Пожалуйста! Хотите повидаться с президентом США? Пожалуйста!

Во время разговора за чашкой чая я сидел не шелохнувшись: вот бы мне, а? С президентом-то повидаться. На худой конец интервью взять у какого-нибудь дисси-

дента. Гордая Джуна, которую позвали в поездку, отказалась: заполнять какие-то бумаги, ходить на собеседования — нет. «Пригласите Феликса Медведева, — предложила она, — журналиста из «Огонька». Щедрая добрая Джуна! Ее слово — почти закон. Через два месяца после этого разговора, а именно 13 января 1988 года, я выходил в Вашингтонском аэропорту на американскую землю. Рядом шагали космонавты, писатели, министры, народные артисты, генералы, одним словом, по тогдашним общественным меркам руководства Комитета защиты мира (и, наверное, еще кого-то), соль земли. С той поры десятки раз пересекал я границы разных стран Европы и Америки, встречался с сотнями людей, многое повидал, пережил, перепопал, но те первые встречи в США запомнятся на всю жизнь. И особенно мое первое журналистское интервью с советским диссидентом. Им оказался поэт Иосиф Бродский. Не буду вспоминать о различных обстоятельствах этого интервью, вы прочтете о них в этой книге.

Диссидентская тема в нашей журналистике пробивалась в муках. Помню, каким событием, к примеру, было первое печатное, небранное упоминание Булатом Окуджавой в «Московских новостях» имени Александра Галича. Как-то увереннее почувствовалось: еще бы — тот самый «враг», «сионист», «предатель», «цереушник» оказывается, не тот, за кого выдавала его советская пропаганда. Мы, конечно, знали, что не тот, но вот так прочитав глазами его фамилию — чудо какое-то!

А как рвали из рук номер журнала «Новый мир» за 1987 год со стихами Иосифа Бродского! А первые публикации прозы Владимира Войновича в журнале «Юность» или повести Эдуарда Лимонова в «Знамени»! А «свалившийся» со своими страшными апокалипсическими открытиями нашей недавней истории Александр Солженицын. Как много мы узнавали, открывали и как вместе с этими открытиями мужали, суровели, становились старше и старше.

Господи, какая борьба шла за Александра Исаевича! Любопытно, по-прежнему ли на своих позициях стоит тот, кто осмелился почти публично последним окриком административно-командной системы приказать «не пущать» сочинений Солженицына в народ. Неужели в 1988 году было еще не ясно: вернется или не вернется великий писатель на свою бедную землю?!

Впрочем, многие сомневались. Даже те, кто вроде бы

творил гласность. Вспоминаю, как возбужденный, прочитав где-то очередную публикацию, связанную с именем писателя Василия Аксенова, я влетел в кабинет редактора «Огонька» и предложил опубликовать мое короткое интервью с автором «Коллег», «Звездного билета», «Затоваренной бочкотары», взятое мной в Вашингтоне. Редактор был категоричен в своем отказе. Тогда я в сердцах бросил: «Неужели вы согласитесь с тем, что ни Солженицын, ни Максимов, ни Аксенов никогда больше не будут у нас печататься?! Ведь все равно они вернуться. Как тогда будет выглядеть наш журнал?!» Прямолинейный ответ В. Коротича посеял в моей душе семена сомнений в искренности действий некоторых прорабов гласности: «Даже если они вернуться, я никогда не подам им руки».

Только вот пришлось-таки подать руку (да не одну, а две) этим и другим диссидентам, пострадавшим в годы андроповско-брежневского своеволия. Одним из крепких рукопожатий В. Коротича со своими недругами была незаконная с юридической и моральной стороны (все права принадлежали «Новому миру») публикация «Огоньком» рассказа А. Солженицына «Матренин двор», о чем представитель писателя в СССР был вынужден заявить в печати.

Вспоминается и такой случай. Впервые приехал в Москву после многолетней разлуки с Родиной знаменитый нью-йоркский (а в прошлом мурманский, ленинградский) певец и бард Вилли Токарев. Сообщил мне об этом Андрей Вознесенский. Договорились встретиться в ресторане НИЛ, что означает наука, искусство, литература, — новинке московского общепита той поры. Там хорошо кормили, было уютно, тихо. В замечательной компании Андрея Вознесенского, его жены Зои Богуславской, а также сына Токарева Антона я брал у Вилли интервью. Прямо здесь же за столом. Быстро обработав, я стал пристраивать его в печать. Оказалось, это не так-то просто. Первый отказ я получил от редактора «Огонька», второй — от «Московских новостей», третий — от редактора «Советской культуры». И лишь «Неделя» напечатала интервью, добавлю — первое в нашей прессе, с одним из популярных и на Западе, и в России русских людей.

В такой непростой ситуации считаю за честь оказанную мне главным редактором еженедельника «Книжное обозрение» Евгением Авериным публикацию в течение 1990 года цикла интервью под названием «Русские в Па-

риже». Чтобы подготовить его, я провел в столице Франции в общей сложности три месяца, встречался с десятками казавшихся мне интересными людей: писателями, художниками, наследниками громких русских фамилий. Я бегал по Парижу, как загнанный. Мне хотелось успеть как можно больше. А круг знакомых русских все расширялся. Некоторым из них было уже достаточно лет, чтобы мне торопиться. Это были русские люди из первой эмиграции. То и дело я слышал: «Где же вы были лет пятнадцать, ну хотя бы десять тому назад? Вы застали бы еще очень многих». Действительно, уже нельзя было поговорить с Виктором Некрасовым, Александром Галичем, Вадимом Делоне. Уходили из жизни те, кто мог воистину свидетельствовать. Несколько раз, к примеру, я пытался договориться о встрече с Аркадием Петровичем Столыпиным, сыном российского премьера, но в последнее время он тяжело болел. И так вышло, что я оказался на панихиде по нему в храме на рю Дарю в одно из воскресений октября девяностого года. По завещанию Столыпина его хоронили духовные братья, соратники по политическим взглядам, по отношению к России — члены Народно-трудового союза. Я разговаривал с некоторыми, печать скорби была на их лицах. Кто-то снимал видеофильм, щелкали фотоаппараты. На панихиду пожаловал Его Императорское Высочество Великий князь Владимир Кириллович Романов с супругой. Я выразил им сочувствие. Небольшой катафалк увозил в последний путь человека, который много знал, многое мог рассказать. Было и горько и обидно.

В марте 1990 года скончался замечательнейший литератор, поэт, эссеист, мемуарист Кирилл Померанцев. Десятки лет почти с основания проработал он в редакции газеты «Русская мысль». Я читал книгу его воспоминаний «Сквозь смерть», вышедшую в Лондоне в 1986 году. Он вспоминает о дружбе и знакомстве с Георгием Адамовичем, Георгием Ивановым, Сергеем Маковским, Марком Шагалом, Юрием Одарченко и многими из тех, кто представлял русскую литературу и русскую культуру зарубежья.

Мне жаль, что я не встретился с Кириллом Дмитриевичем.

В Ницце скончалась Великая княгиня Мария Александровна Романова. Тоже не успел.

Под Нью-Йорком почти в девяностолетнем возрасте умер писатель Петр Балакшин, автор многих романов,

повестей, уникального труда о русской эмиграции в Китае... Не успел. Теперь надо спешить к наследникам, обладающим редкостными материалами и книгами.

Долго я искал адрес знаменитого в Париже художника со странной фамилией Р. Т. Мало кто у нас знал, что родом он из России. Чтобы повидаться с ним, мне не хватило нескольких дней: он внезапно умер, а было ему сто лет.

Не успел, не застал, не нашел. Что же делать, если перестройка пришла к нам в апреле 85-го? Что же делать, если не смогли мы сохранить ту хрущевскую оттепель, во дни и годы которой уже начиналось понимание нашей общей ответственности и вины за поругание многих и многого.

Из множества встреч с русскими людьми в мире одна мне особенно дорога. Именно эта встреча расширила мой взгляд; мое понимание трагедии и величия русского человека, оказавшегося за пределами своей родины сразу же после революции. А случилось так, что на приеме у советского посла Дубинина в Вашингтоне (было это в ту самую первую мою поездку в составе делегации) ко мне подошел энергичный молодой человек и представился: Михаил Хлебников, потомок декабриста Ивана Пущина. Познакомились, разговорились, сблизились. Да так, что Михаил пригласил меня в Нью-Йорк в гости в его дом, к его деду Ростиславу Аркадьевичу Небольсину, сыну одного из командиров крейсера «Аврора», женатому на правнучке Ивана Пущина.

Я не замедлил воспользоваться приглашением и познакомился с двумя братьями Михаила, Петром, журналистом, сотрудником газеты «Нью-Йорк сити трибюн», и Павлом, тоже журналистом, пишущим на экономические темы и работающим в знаменитом журнале для миллионеров «Форбс». Представили мне и сестру трех парней-красавцев, Анну. Колоритной и яркой личностью оказалась и сын старшего Небольсина Аркадий Ростиславович, искусствовед, знаток русского искусства. Потом я вспомнил, что именно о нем мне не раз рассказывал в Москве Илья Глазунов. Итак, в Нью-Йорке, а также во Франции, в Англии и других странах живет дружная интереснейшая семья Пушиных — Небольсиных — Хлебниковых. Мне удалось перезнакомиться почти со всеми. Несколько дней (это уже в следующую поездку) я провел на даче этой семьи в местечке Саутхемптон под Нью-Йорком.

Именно там я брал интервью у знаменитого американ-

ского писателя Курта Воннегута, именно там присутствовал на дне рождения у сына белого генерала Врангеля, у которого, надо заметить, безуспешно пытался взять интервью. Я оказался первым советским человеком, с которым он вообще согласился разговаривать, потому что он не верил ни Горбачеву, ни перестройке. Сожалею, что так и не сумел окончательно переубедить его, что перестройка — единственная надежда на спасение России, хотя проговорили мы более часа и он слушал меня с энтузиазмом.

Правда, к моей радости, я узнал позднее, что он осмелился приехать на свою родину и даже встречался с журналистами. Я был тогда в отъезде. И мне очень жаль. Единственное утешение, что, как мне кажется, я немного подготовил этого непримиримого ко всему советскому человеку к тому, чтобы он все-таки переосмыслил свое отношение к родине и приехал на свидание с ней.

Духовным нравственным центром большой семьи был Р. А. Небольсин, мудрый, много переживший человек. На его глазах матросами в ноябре семнадцатого года был убит его отец. И он решил уехать из революционного Петрограда. В Нью-Йорке, куда прибыл на пароходе, он довольно быстро встал на ноги, профессия специалиста по очистке вод принесла ему и возможность достойного заработка и авторитет в кругу специалистов. В первую и в последующие встречи Ростислав Аркадьевич с горечью говорил мне о том, что у него собрался большой архив и он не знает, как передать его России. А в архиве этом скрыты профессиональные тайны. Проблема очистки вод актуальна во всем мире, говорил он, но в России она особенно важна. Оказалось, что он уже обращался в наше посольство с просьбой помочь, ему обещали, но воз и ныне там.

Вскоре после моего возвращения в Москву в СССР приехали потомки декабриста Пущина. Я решил посвятить этому событию телевизионную передачу «Зеленая лампа». Мы снимали Пущиных и на Ленинградском вокзале по прибытии из Ленинграда, и на могиле Ивана Ивановича Пущина в Бронницах, и на улицах Москвы, и на Красной площади. Основной разговор состоялся у меня дома в свете юпитеров, под прицелом телеобъективов.

С тремя братьями — Михаилом, Павлом, Петром и их сестрой Анной мы говорили о личных их судьбах, о дружбе Пущина и Пушкина. Михаил читал стихи великого

поэта, посвященные другу. Все было раскованно, интересно. Говорили внуки и о своем любимом дедушке, о его мытарствах, о его желании сослужить последнюю службу родине своими познаниями. Телепередача имела большой резонанс, ее показывали несколько раз по трем программам, американские Пуцины стали у нас знаменитыми.

Мне позвонили из редакции газеты «Правда» и предложили написать о судьбе Р. А. Небольсина. А вскоре в «Известиях» появилась статья Г. Васильева «Эта многоликая эмиграция», где рассказывалось о мытарствах русского американца Небольсина. Казалось, после этого ему предоставят возможность приехать на родину и передать свой архив. Но не тут-то было. Время шло, а дело не двигалось. В квартире на Парк-авеню все чаще и чаще стали бывать советские журналисты, писатели, гости из Москвы. Здесь по-свойски останавливались, гостевали Д. Лихачев, В. Распутин, В. Солоухин, Е. Евтушенко, А. Собчак... Журналист Петр Хлебников побывал у Валентина Распутина в Иркутске. Заинтересованный в очистке байкальских вод, Валентин Григорьевич обещал помочь, но не смог. Тогда я решил дать телеграмму Н. И. Рыжкову. Телеграмма получилась большая, на несколько страниц, мне надо было объяснить суть вопроса, историю семьи Пуциных.

На другой день позвонил помощник Рыжкова. Не знаю, телеграмма ли все решила или какие-то другие обстоятельства, но через месяц Ленгорсовет нашел шесть тысяч долларов, чтобы оплатить приезд Ростислава Аркадьевича Небольсина и одного из его внуков, Павла Хлебникова, в Ленинград. Свой родной город Небольсин увидел спустя семьдесят два года. Выступал с лекциями, договорился о новом приезде уже на длительное время, с тем чтобы передать свой профессиональный опыт.

К сожалению, он не успел этого сделать: в ноябре 1990 года мне позвонил Петр и сообщил, что его дедушка скончался в возрасте девяноста лет.

Меня успокаивает, что я записал на магнитофонную пленку несколько бесед с Ростиславом Аркадьевичем, Подготовлены интервью и с его сыном А. Р. Небольсиным, а также с Михаилом, Петром и Павлом Хлебниковыми. Эти интервью я намеренно решил не включать в данную книгу. Мне кажется, что эпопея удивительной русской семьи достойна отдельного издания.

Хочу сказать еще вот о чем. Интервью в книге распо-

ложены хронологически, по времени, когда я общался с тем или иным своим собеседником. А между тем события в нашей стране так стремительно менялись, что какие-то размышления о процессах, в ней происходящих, могут показаться устаревшими. Да и не только могут, но и действительно быстро устаревают. Причем не только события общественные, политические, но и глубоко личные. Действительно, все течет, все меняется. К примеру, много ли наговоришь и узнаешь по телефону? Ведь мое интервью с Иосифом Бродским было именно телефонным. Но оно было первым в нашей печати интервью с поэтом, лауреатом Нобелевской премии.

После февраля 1988 года, когда мы беседовали, поэт много раз встречался с журналистами, опубликовал множество статей. О нем написано неисчислимое количество материалов. У нас в стране вышло несколько книг Иосифа Бродского. И я спрашиваю себя: устарел ли мой тот самый первый журналистский разговор с бывшим советским человеком? Перечитываю его и отвечаю: нет, не устарел. Не устарел ни жизненными личными деталями, о которых уже потом поэта никто не спрашивал, не устарел своей интонацией, а в ней, пожалуй, главным: осталось желание приехать домой, на родину.

Мой разговор с Г. П. Вишневской происходил в октябре 1989 года в Париже. Галина Павловна была в весьма возбужденном настроении, она не могла простить ни Брежневу, ни Демичеву, ни правительству нанесенной ей смертельной обиды — лишения советского гражданства, фактической высылки за рубеж. Приезжать в Москву она не хотела. Даже на время. В ответ на мой контрдовод, что как же, дескать, так, Мстислав Леопольдович едет, а вы нет, Галина Павловна ответила: «Это его дело, я не поеду». Но стремительно менялась обстановка: на пенсию ушли те, кто когда-то преследовал знаменитую музыкальную чету, Ростроповичу и Вишневской возвратили советское гражданство, многие их друзья, в частности Владимир Максимов, стали приезжать в СССР. Постоянные приглашения из России, поступающие сюда на улицу Мандела с просьбой приехать на время, по-видимому, возымели действие, и Г. Вишневская «сдалась»: после долгого перерыва в 1990 году она посетила отчий дом. Ее интервью, заявления на встречах с публикой были уже иными, нежели наш разговор года полтора раньше. Галина Павловна была уже не так резка и безапелляционна.

Но я включил в эту книгу именно то интервью, которое дала мне Галина Вишневская в ту первую встречу. Пусть так, как было. Пусть зафиксировано именно то настроение, в котором пребывала звезда советского и мирового искусства в пору борьбы нашей демократии за ее реабилитацию. Журналисту, я считаю, не всегда и не во всем следует гнаться за быстротекущими событиями. Они ведь бывают изменчивыми, субъективными, а нередко и просто фальшивыми. Кто, к примеру, может поручиться, что процесс перестройки, те ее аспекты, которые касаются возвращения русскому обществу, русской культуре ее славных имен, волею судеб оказавшихся на чужбине, не остановится, не прекратится? Не дай Бог, конечно, чтобы такое случилось. Но кто поручится за это?!

Долго я размышлял и над такого рода вещами. Некоторые интервью, включенные в книгу «После России», будучи в свое время напечатанными в прессе, имели неожиданное полемическое продолжение. Анатолий Рыбаков, к примеру, в «Литературной газете» возразил Владимиру Максимова, мое интервью с которым опубликовало «Книжное обозрение», довольно пространном письмом, в котором обвиняет и Максимова, и меня, и редакцию «Книжного обозрения» в искажении фактов. Письмо известного писателя могло произвести должный эффект на читателей, которые пропустили тот номер «ЛГ», в котором Рыбакову возражает уже другой писатель из-за рубежа, Владимир Войнович. Помимо всего прочего, А. Рыбаков довольно резко и, я бы сказал, необъективно, почти оскорбительно (чего стоит один заголовок его возражения) задел меня. Я полагаю, что сатисфакцией нанесенной мне обиды станет публикация текстов трех названных материалов.

Еще одна история в дополнение к этой. Я бы не хотел оставлять ее без комментария. Итак, до того, как встретиться в Париже с писательницей Зинаидой Шаховской, я много слышал о ней и доброго и худого. Но все знавшие и слышавшие о бывшем редакторе газеты «Русская мысль», авторе многих романов, книг стихов подчеркивали почему-то одно: ее тяжелый и капризный характер. Надо сказать, что по натуре человек наивный и доверчивый, я недоучел этого, быть может, небольшого, но, как оказалось, принципиального момента. В первую встречу мы проговорили несколько часов. Разговор я, естественно, записал на магнитофонную ленту. Договорившись о новой встрече, расстались почти друзьями. Без

всякого преувеличения. По приезде в Москву я выполнил все поручения Зинаиды Алексеевны: кому-то послал ее книги, кому-то позвонил. Подготовил к печати наше с ней интервью. Естественно, на основе расшифрованной ленты.

Публикация в «Книжном обозрении» имела успех. Это было первое интервью известной писательницы русского происхождения в советской печати. И вот я снова приезжаю в Париж, прихожу в гости на рю Фарадей, дом 16. Привожу московские сувениры, письмо объявившихся после публикации родственников Шаховской.

И здесь надо заметить, что однажды уже после публикации интервью мне позвонил Г. А. Анджапаридзе, директор издательства «Художественная литература», которому понадобилось по делам службы в Париж. Я рекомендовал его Зинаиде Алексеевне. Вернувшись обласканный из Парижа, Георгий Андреевич позвонил мне и сказал, что Шаховская не совсем довольна публикацией и что она написала в редакцию письмо-комментарий с указанием ошибок и неточностей, в коих, как уверяла Зинаида Алексеевна, виноват я. Пока письмо почтой шло в Москву, я уже лично встретился с писательницей. И тут-то как бы между прочим она мне и сообщила, что написала возражение на наше с ней интервью. И добавила, что ничего особенного в нем нет, просто указания на ошибки. Я попросил дать мне возможность прочесть это возражение. Зинаида Алексеевна, улыбнувшись, сказала, что письмо у машинистки.

А вскоре в Москве меня пригласил редактор «Книжного обозрения» Е. Аверин и сообщил о поступившей из Парижа депеше, дал мне ознакомиться с ее содержанием. Я, честно говоря, был не то чтобы шокирован, но неприятно удивлен тоном письма. Вроде бы оно в общем доброжелательно, но в деталях меня уязвило. В мое отсутствие редактор не хотел его печатать, ждал ответа, и я благодарен ему за доверие. Естественно, в этой ситуации я не стал возражать против опубликования письма.

Но вот я снова в Париже и снова прихожу в гости к Зинаиде Алексеевне, как к доброй знакомой. Да, как к доброй, хотя подспудно между нами уже завязывался конфликт. Я сообщил хозяйке дома, что прочитал ее послание и что я не могу согласиться с претензиями Зинаиды Алексеевны. И добавил, тоже как бы между прочим: «Я передал в редакцию мой вам ответ». — «Прочитайте мне его», — зажглась моя собеседница. «Простите, Зинаи-

да Алексеевна, не могу. Вы же не познакомили меня с содержанием вашего письма. Так что мы квиты».

...Здесь, пожалуй, стоит остановиться, ибо комментарии к моим интервью с русскими людьми за рубежом могут вырасти в отдельную книгу. Каждая встреча давалась мне, как правило, максимальным напряжением и сил, и воли, и профессионального напора. Каждая встреча — это для меня маленькая веха не только нашего трагического времени (а если точнее, то почти всего двадцатого века), но и тонюсенькая отметина в моей душе. В беседах с нашими соотечественниками передо мной раскрывалась драматическая история великого народа и страны, ставшей полигоном для социальных экспериментов, начало которых можно исчислять со времени, рождения Христова. Стремление к равенству, к соблазнительной нравственной свободе обернулось в России трагическим исходом миллионов русских людей со своей земли. Повествуя о своих судьбах, о жизни на чужбине, многие люди плакали, другие не могли усмирить свой гнев. Некоторые по-прежнему чего-то боялись: в Вене одна собеседница, угнанная фашистами с Украины в 1942 году, так и не назвала своего имени. Некоторые были бессильны что-либо вспоминать. Не хотели тревожить былое: жизнь прошла, говорили они. Вместе с тем я испытывал удовлетворение от того, что люди верили в Россию и в перестройку. «Чего уж там, что было, то было» — такое я слышал не раз. «Позвоните, передайте, напомните» — в простой человеческой просьбе люди, еще вчера не верившие в добрые изменения в России, как бы простирали руки в сторону отчего дома.

Название книги «После России» не случайное. Тот, кто любит поэзию, знает, что именно так назвала Марина Цветаева свою последнюю прижизненную книгу, вышедшую в Париже в 1928 году.

«После России»:

Рас-стояние: версты, мили...
Нас рас-ставили, рас-садили,
Чтобы тихо себя вели,
По двум разным концам земли.
.....
Русской ржи от меня поклон...

Да, при всех разлуках, при всех расставаниях, при всех потерях, при желании что-то понять, простить или проклясть все равно (я это свидетельствую) все встречи и разговоры сходились к одному: «Русской ржи от меня поклон...» И от этого немного легче.

ИНТЕРВЬЮ, БЕСЕДЫ

СТАНСЫ

Е. В. А. Д.

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.
Твой фасад темно-синий
я впотьмах не найду,
между выцветших линий
на асфальт упаду.

И душа, неустанно
попешая во тьму,
промелькнет над мостами
в петроградском дыму,
и апрельская морось,
над затылком снежок,
и услышу я голос:
— До свиданья, дружок.

И увижу две жизни
далеко за рекой,
к равнодушной отчизне
прижимаясь щекой,—
словно девочки-сестры
из непрожитых лет,
выбегая на остров,
машут мальчику вслед.

1962

Иосиф Бродский

«ЧЕЛОВЕКА МОЖНО ВСЕГДА СПАСТИ

Часовой разговор по телефону с Иосифом Бродским

В 1964 году по приговору народного суда Иосифа Бродского судили за тунеядство, а он был всего лишь поэтом.

...Приехав в Нью-Йорк, я позвонил по телефону и попросил Иосифа Бродского. Мне ответили, что его нет в городе и будет не скоро. Я был обескуражен. Очень хотелось встретиться с поэтом, много лет назад оказавшимся вдали от родины. Поговорить, посмотреть на него: в конце концов не каждый день видишь живого лауреата Нобелевской премии. Да к тому же русского.

И вдруг меня осенило: взять в Нью-Йорке машину (ну что стоит найти человека, который вызвался бы помочь советскому журналисту в банальной для суперавтомобильной Америки проблеме) и проехать те триста миль, которые отделяли Нью-Йорк от местечка Саутхэдли, где находился Бродский. Однако машину найти оказалось довольно сложно. Точнее, не машину, а человека, который потратил бы на поездку, и, собственно, во имя чего, целый день.

Помог мне Эдуард Нахамкин — имя это не пустой звук для американских и советских любителей живописи. Он уехал из Риги лет тринадцать назад и сумел за это время разбогатеть, занимаясь продажей картин.

Машина была найдена, но, как назло, коварная погода испортила все планы. Дороги перекрыли, закрылись аэропорты. На третий день ожидания я не вытерпел и, не искушая дальней судьбу, созвонился с Иосифом Бродским.

— *Почему вы сейчас не в Нью-Йорке, а в Саутхэдли?*

— Я преподаю здесь историю русской и английской литературы. Занимаюсь этим уже много лет.

— *Вы профессор?*

— Да.

— *А сколько у вас студентов?*

— По-разному, колледжи здесь небольшие. Иногда я читаю лекции двадцати студентам, иногда семидесяти.

— *Этим вы занимаетесь из-за финансовых проблем?*

— Финансовые проблемы отпали, мне нравится преподавать, читать лекции.

— *А что представляла собой ваша нобелевская лекция?* (К моменту разговора текст лекции еще не был опубликован в советской печати.— Ф. М.) *Как происходило вручение Нобелевской премии?*

— О лекции в двух словах не скажешь. Если вы ее не читали, мои нью-йоркские друзья помогут вам приобрести полный ее текст. Премию мне вручали в Стокгольме, в городской ратуше. Я был одним из семи лауреатов в разных областях науки, искусства.

— *Я знаю, что на торжественный акт приглашаются друзья. Были ли они рядом в тот памятный день?*

— Друзья были. Но из Союза не смог приехать никто.

— *Вы довольны своей речью?*

— Как сказать? Вроде бы да.

— *Для вас получение премии было неожиданностью?*

— О ней говорили в связи с моим именем несколько лет. Хотя для меня она все равно неожиданность,

— *Сколько книг у вас вышло на сегодня?*

— Семь. С 1965 года.

— *Каковы их тиражи?*

— Представляю их только приблизительно. От десяти до двадцати тысяч каждая.

— *Вы довольны?*

— Не знаю.

— *А как вы относитесь к книгам о себе, их ведь тоже опубликовано не менее семи.*

— Отношусь к ним несерьезно.

— *Вы пишете по-русски или по-английски?*

— Стихи по-русски, прозу по-английски.

— *Вы следите за развитием современной советской поэзии?*

— К сожалению, я не вижу ее целиком. Я все-таки от нее отрезан. По-видимому, в ней участвует много лиц и картина обширна. Могу лишь назвать имена Кушнера, Рейна, Елены Шварц, кого-то еще... Величанского, Еремина, Кривулина... Но эти имена вам, наверное, почти ни о чем не говорят?

— *А как развивается русская эмигрантская поэзия?*
— Я назвал бы Кублановского, Лосева, Горбаневскую.

— *Вы встречаетесь со своими друзьями из России?*

— Виделся с Кушнером, Битовым...

— *Вы, конечно, знаете о первой публикации ваших стихов в журнале «Новый мир»?*

— Меня несколько удивила субъективность выбора. Стихи отобраны не самые лучшие, они не дают впечатления о моей работе. Ощущение, что гора родила мышь.

— *Не хотели бы вы издать сборник в советском издательстве?*

— Я не против. Рукопись готова. Нужны формальные договоренности.

— *Я слышал о каких-то ваших поэтических вечерах в Ленинграде. Так ли это?*

— Это легенда.

— *Вы наверняка читали произведения многих писателей и поэтов, возвращающихся сегодня из прошлого, из небытия. Кого, по-вашему, надо издать, кого еще забыли?*

— Мне кажется, надо издать собрание сочинений Михаила Кузмина, книги Вагинова, Андрея Платонова.

— *Что значат для вас друзья, единомышленники?*

— Я всегда доверял мнению двух-трех близких людей. Число это — и необходимость в них — вне отечества не увеличилось.

Иосиф Бродский заговорил о своем ленинградском друге поэте Евгении Рейне, человеку, у которого, как он сказал, многому научился. «Почти всему на начальном этапе. Он был моим метром, он был многим для меня».

— *Это было в пору молодости?*

— Да, конец пятидесятых — начало шестидесятых годов.

— *Я слышал, что именно Рейн познакомил вас с Анной Андреевной Ахматовой?*

— Да, это так. Было это году в шестьдесят втором. Мне чуть перевалило за двадцать. Рейн привез меня к Анне Андреевне на дачу в Комарово.

— *И что осталось в памяти от той встречи?*

— Если честно, воспоминания смутные. Наверное, потому, что минуты знакомства были очень волнующими.

— *А потом?*

— Об Ахматовой я могу говорить много. Один литератор, его фамилия Соломон Волков, беседовал со мной

об Ахматовой довольно долго и сделал большое интервью только на эту тему. Если в здешнем журнале найдете, прочитайте. Скажу только, что временами я виделся с Ахматовой редко, а одну зиму я снимал дачу в Комарове и общался с ней каждый день. Однажды Анна Андреевна мне сказала: «Вообще, Иосиф, я не понимаю, что происходит: вам же не могут нравиться мои стихи». Не знаю, почему она так сказала. Я запротестовал. Хотя не уверен, искренне ли. Ведь в ту пору я был нормальным советским молодым человеком, которому зачастую было как-то не до стихов. Подлинный интерес к поэзии Ахматовой и поэзии вообще пришел ко мне позже. Мандельштама я прочел впервые в двадцать три года. Вы удивитесь, но, когда Рейн предложил мне поехать к Ахматовой, я был поражен, что она жива.

— *А когда вы начали писать стихи?*

— Лет в восемнадцать-девятнадцать.

Я помолчал и неожиданно для себя спросил:

— *Вы ощущаете ностальгию?*

— Ностальгию? Как можно сказать об этом? Что это? Отказ от требований реальности? Я всегда старался вести себя ответственно, не предаваться сентиментальностям... Не знаю, переболел я или нет ностальгией. Знаю только, что иногда возникало ощущение необходимости быть в определенном месте... что невозможно и что меня огорчает... Я не уверен, что то, что меня посещает, это ностальгия.

— *Вы уверены в своем искусстве, в своей поэзии? Вы уверены, что вы правы?*

— Уверен.

— *Вы в чем-то разочарованы?*

— Разочарования не произошло.

Я спросил своего собеседника, может ли искусство спасти человека, не зная, что на этот вопрос он уже ответил в своей Нобелевской лекции: «Дело не столько в том, что добродетель не является гарантией создания шедевра, сколько в том, что зло, особенно политическое, всегда плохой стилист. Чем богаче эстетический вкус индивидуума, чем тверже его вкус, тем четче его нравственный выбор, тем он свободнее — хотя, возможно, и несчастливее.

Именно в этом, скорее прикладном, чем платоническом, смысле следует понимать значение замечания Достоевского, что «красота спасет мир», или высказывание Мэтью Арнольда, что «нас спасет поэзия». Мир, вероятно-

но, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно».

Разговор окончен. Мы попрощались. Я положил трубку.

Мне показалось, что я разговаривал с очень простым человеком, а не с всемирно известным поэтом, лауреатом Нобелевской премии. Почему? В голосе Бродского, в тембре долетающих до меня словесных конструкций, в некой литургически-распевной монотонности, в еле ощущаемом дрожании голоса я уловил обыкновенное человеческое волнение. Я разговаривал с человеком, который как бы надолго уехал из родного дома. Не знаю, не буду врать, человеком легкой или нелегкой судьбы. Счастливым или несчастливym? Но мне хотелось, чтобы он говорил больше и дольше. Подробно, детально. Обо всем: о жизни, о поэзии, об Америке, о России.

Я положил трубку и в эту секунду понял, что не спросил его, быть может, о чем-то самом важном, о самом главном. Это ощущение не покидало меня до тех пор, пока я, возвратившись в Москву, не посмотрел видеопленку с записью интервью Джона Глэда с Иосифом Бродским, подаренную мне американскими друзьями. Прослушав его, я получил ответы на те вопросы, которые не решился задать по телефону.

«— Когда вы только приехали на Запад, вы сказали,— я цитирую по памяти,— что не собираетесь мазать дегтем ворота Родины.

— Да, более или менее...

— Очевидно, вы тогда еще рассчитывали вернуться?

— Нет... Нет...

— А теперь утеряна надежда или...

— У меня не было никогда надежды на возвращение. Хотелось бы, но надежды не было. Во всяком случае, я сказал это отнюдь не в надежде обеспечить себе возврат когда бы то ни было под отчий кров. Нет, мне просто неприятно этим заниматься. Я не думаю, что этим следует заниматься.

— А желание вернуться?

— О, желание вернуться, конечно, существует. Куда оно денется. С годами оно не столько ослабевает, сколько укрепляется».

Январь 1988 г.

«АМЕРИКА НЕ ЛЮБИТ, КОГДА ОТПУСКАЕШЬ ПРУЖИНУ»,

или С песней — из Брайтона в Бирюлево

— За четырнадцать лет я отдыхаю сейчас впервые. Все эти годы, с того дня, когда я покинул Россию, у меня не было ни одного праздного дня. И не потому, что я хотел много заработать. Я должен был вкалывать в поте лица, потому что Америка не любит, когда отпускаешь пружину...

В номере гостиницы «Будапешт» я беседую с Вилли Токаревым. Многим моим соотечественникам это имя ничего не говорит. Многие же, я уверен, постоянно слушают песни самого популярного русскоязычного барда Америки. Тем интереснее развеять легенды и слухи вокруг биографии и творческой судьбы только что приехавшего в Советский Союз кумира.

— Некоторое время назад прошел слух, что Вилли Токарев убит в драке. Эти слухи, как я вижу, сильно преувеличены...

— Американская уголовная хроника, слава богу, пока не замечает моей скромной персоны. В драках я не участвую. Правда, я действительно сражался за свой «пятачок» в ресторане, но это была «творческая» конкуренция за место под солнцем.

— Любопытно, расскажите...

— Впервые я получил работу в Найт-Клабе на Бродвее сроком на две недели. Таковы условия хозяина ресторана: каждые две недели должен меняться оркестр. Ну, чтобы не приелось, чтобы публика шла на «свежачок». Нормальное явление. Так вот, мы подготовились, купили ноты, выучили бразильские и американские песни. В полдвенадцатого ночи подошла наша очередь и я исполнил свою программу. Честно говоря, мне показалось, что успех не светит. И тогда я показал песню Никиты Богословского «Темная ночь». Зал замер в молча-

нии. Полный провал? И вдруг — словно с неба — шквал аплодисментов. Оказалось, поскольку я пел по-английски, публика ждала перевода, и случилось минутное выжидание. Босс тащит меня в подвал: «Я тебя беру». «Но там же еще не все спели». «Они меня уже не волнуют». Вместо двух недель я проработал по первому своему контракту семь месяцев. Если вы не верите, можете поехать в ресторан «Виктор» на 50-й стрит и Бродвее, и вам расскажут все как есть...

— *Спасибо за приглашение, Вилли. Сегодня оно не кажется таким уж неосуществимым, как это было еще буквально вчера. Вот и вы наверняка удивлены, что приехали на родину. Как это произошло?*

— Да, то, что я сижу сейчас и разговариваю с советским журналистом, что я выступал в телевизионной программе «Взгляд», что меня впустили в Москву, — это действительно «произошло». Я рад, что перестройка предоставила мне такую возможность.

А привез меня сюда известный импресарио Виктор Шульман, который многое делает на путях сближения советской и американской культур.

— *Вы знали о том, что вы очень известны у нас в стране? Что у вас огромное количество поклонников, которые переписывают ваши песни на магнитофонные ленты?*

— Скажите честно, вы легко прошли ко мне в гостиницу?

— *Не совсем, пришлось продираться сквозь толпу поклонников Вилли Токарева, которые каким-то образом узнали о вашем приезде.*

— Очень приятно, что меня знают в России. И я благодарен Андрею Вознесенскому, опубликовавшему свои стихи обо мне. Я, кстати, тоже посвятил ему одну из своих песен. Еще с юношеских лет я отношусь к Вознесенскому с большим пиететом. Так вот, эти стихи, вы не поверите, размножались нью-йоркским самиздатом.

— *А как случилось, что вы оказались там?*

— Если бы в Советском Союзе было бы то, что происходит сейчас, я бы никуда не уехал. Кстати, точно так же думают и многие «окопавшиеся» в Америке.

— *Каковы причины вашего отъезда?*

— Меня никто не заставлял уезжать. Я не имел никаких претензий к Советской власти, жил хорошо. Делал успехи на своем поприще. Работал с прекрасными музыкантами Юрцем Чухарлеем, Анатолием Кроллем,

Александром Броневицким, Борисом Рычковым, которым сейчас выражаю свою признательность за то, что они передали мне профессиональный опыт. Ох как он помог мне выжить в Америке! Да вроде бы все шло складно, но... хотелось повидать мир, получить хорошее музыкальное образование.

— *И вы его получили?*

— Нет, оно мне оказалось не по карману. «Кто будет платить за вас?» — был первый вопрос, когда я по приезде попытался поступить на учебу.

— *Вилли, несмотря на вашу популярность в определенных слоях поклонников музыки, ваша биография многим не известна. В частности, вы имеете какое-либо отношение к городу Одессе, о которой часто упоминается в ваших песнях?*

— В Одессе я не был ни разу в жизни, хотя знаком со многими одесситами, в частности с Михаилом Жванецким, гастролировавшим в США. А биография моя такова. Я родился в глухой деревне на Кубани. Родители из крестьян. Отец работал шофером. Потом его командировали в Майкоп, а позднее мы переехали в Ленинград. Я поступил в музыкальное училище, был приглашен Анатолием Кроллем в его ансамбль. Так началась музыкальная карьера. Потом стал сочинять песни. Вообще-то песни, и стихи, и музыку я сочинял еще в школе. В 1970 году мне предложило сотрудничество мурманское радио и телевидение. Я должен был сочинять песни для моряков. За неделю написал несколько вещей, сам аранжировал их и пригласил в Мурманск музыкантов из оркестра Жана Татляна, с которым в то время работал. После телевизионной передачи за один вечер я сделался героем Кольского полуострова. В Мурманске меня просили остаться и продолжить работу. И я написал еще одну программу, исполнял ее в ресторане «Белые ночи».

Вообще Мурманск — это мои сны. Это чудный город, чудные люди. Там самые белые ночи, там же и самые темные ночи на свете. Не могу забыть этот город до сих пор, хотя поездил по свету немало. Перед отъездом сюда в одном шутиливом интервью я сказал, что, если вернусь в Советский Союз и меня куда-то сошлют, я предпочту Мурманск, где, как мне сказали, до сих пор поют мою «Мурманчаночку».

— *Вы разбогатели? Хотя я знаю, что такие вопросы в Америке считают бестактными.*

— Я не бедный.

— *А приезд в Советский Союз — это коммерческий вояж?*

— Ну если состоятся мои вечера, то половина средств пойдет Госконцерту, половина — мне. Но вообще ваш вопрос звучит немного по-советски: прожив достаточно в Америке, я понял, что деньги для американца — это его жизнь. Как только они кончаются, человек уже никому не интересен. Поэтому для меня как американца деньги — предмет существования.

— *Но не самоцель?*

— Нет. Я никогда не стремился к тому, чтобы накопить как можно больше долларов. Я их зарабатываю легко и так же легко трачу. Покупаю хорошие инструменты, живу в прекрасной квартире, имею роскошный автомобиль. Считаю так: живем один раз, савана с карманами не шьют. Да и вообще, вы спрашиваете: «богатый»? Богатый относительно чего, ведь все познается в сравнении.

Хочу добавить, что часть вырученных средств от концертов в СССР (если, повторяю, они состоятся) я переведу в Детский фонд или в Фонд мира. Это будет искренней помощью друга.

— *Вы рассказали, что вместо двух недель ваш первый контракт длился семь месяцев. То есть вы победили, оказались на коне. За вами успех. Это было тогда, много лет назад. А каково ваше настроение сегодня? Вы победили Америку, доказали, что вы, Вилли Токарев, талантливый человек?*

— Америка — страна возможностей, и если ты не ленив и хочешь работать, работа для тебя всегда найдется. Я говорю это откровенно. Все газеты полны приглашений на работу. Часто, конечно, на черную работу. Вот и я не гнушался никакой черной работой: мыл полы, разносил почту, вкалывал таксистом... Но меня все-таки тянуло к музыке. А в Америке даже на улицах играют музыканты высочайшего класса.

Появилась первая пластинка, естественно с помощью продюсера. Называлась «А жизнь, она всегда прекрасна». С нее-то я и начался.

— *Есть ли в США такое понятие: авторская песня? Вот вы считаете себя бардом или нет?*

— Бардом я себя не считаю. Я музыкант, вынужденный писать стихи потому, что в Америке нет поэтов, которые писали бы для меня. Я не считаю себя композитором, поэтом и певцом. Я просто музыкант, исполняющий

собственные песни. Кстати, поскольку мои песни транслировались по телевидению, я автоматически считаю членом Американской профессиональной ассоциации композиторов.

— *Вас узнают московские таксисты, ведь вы автор знаменитой песенки о нью-йоркском таксисте.*

— Узнают и просят фотографию. Вообще странно, что меня узнают на улицах, останавливают. Но сам я хотел бы повстречаться со своими друзьями, с которыми подружился в Америке: с Юлианом Семеновым, Людмилой Зыкиной, Михаилом Жванецким, Геннадием Хазановым...

— *У вас в США самая разная аудитория. Вас любят слушать и уборщицы и профессор... Вы не задумывались почему?*

— Я не могу ответить на этот вопрос. Что люди нашли в моих песнях? Я просто пишу так, как чувствую, а людям это нравится.

— *Из вашего рассказа о себе я понял, что вы на самом деле не ощущаете себя «маленьким таким», как об этом поете в самой, пожалуй, вашей знаменитой песне.*

— В этой песне есть элемент аллегории. Я хотел рассказать, как чувствует себя человек, попав в непривычную для него обстановку. Я ощутил эту обстановку, приехав в Нью-Йорк, который ошеломил меня своей грандиозностью, бешеным ритмом жизни. Я был просто потрясен. Теперь же я полюбил этот город, потому что он говорит всем приезжающим: «Бери меня, я тебе дарю себя. Только меня ты должен завоевать».

— *И вы использовали этот шанс?..*

— Да, горжусь тем, что использовал. Я исколесил Нью-Йорк вдоль и поперек на «желтом дьяволе», так называется в Нью-Йорке такси, ибо все они желтого цвета. Так что песня про нью-йоркского таксиста почти автобиографична. Я вкалывал по шестнадцать — двадцать часов в сутки. Когда шел снег — приходилось работать еще больше.

Другого пути не было. В общем, я не такой уже маленький. Хотя и ощущаю свою малость в прекрасной стране Америке... Не сердитесь, не ревнуйте, ваша страна не хуже. А будет еще лучше. Я в это верю.

— *Кто слушает ваши песни в Америке, ведь вы поете в основном по-русски, именно в «русскости» своеобразие, колорит ваших импровизаций?*

— Да, меня слушают только эмигранты, для которых я и пишу. Студенты, изучающие русский язык. Все колледжи имеют мои кассеты. Посещают концерты в Америке и русские туристы. Они приходят на Брайтон-Бич в ресторан, где я пою, и я им за это очень благодарен.

— *Не все знают, что такое Брайтон-Бич.*

— Брайтон это бывший заброшенный уголок Нью-Йорка, который был на грани, как вы бы сказали, бесперспективной деревни, на грани вымирания. Но прибыли туда лет пятнадцать назад первые одесситы, и Брайтон стал процветающим. Рядом море, точнее, океан, морской климат... Благодаря трудолюбию эмигрантов этот район превратился в цветущий уголок гигантского города.

— *Вы многого добились в США, утвердили себя. Какова сегодня цель вашей жизни, вашего творчества?*

— Пусть это прозвучит высоко, но я скажу: делать добро людям. Вы знаете, как радуют меня письма, приходящие отовсюду. Из разных стран. Что может быть лучше искренней людской благодарности?! Я считаю ее самой большой наградой, никакие деньги не заменят этого чувства.

— *Как вы относитесь к вашему собрату Владимиру Высоцкому? Ведь он тоже пел в Нью-Йорке?*

— Высоцкий для меня — эталон общения с людьми всех сословий. Я считаю его великим мастером слова, Высоцкий—уникальное явление в русской культуре.

— *Сколько у вас песен?*

— Около ста, я выпустил девять дисков.

— *Вы живете в Америке четырнадцать лет. Вы гражданин США. Что такое для вас сейчас понятие «родина»?*

— Для меня — это святое понятие, где бы я ни жил. Оно всегда со мною, хочу я того или нет. Я всегда душой и сердцем с родиной, с Россией. Тем более сегодня, когда в Советском Союзе происходят гигантские перемены. Честно говоря, то, что вы сделали, быть может, виднее именно со стороны, оттуда. Я лично верю в то, что вы победите. Я горд за Михаила Сергеевича Горбачева — когда люди доверяют своему президенту, это значит, что в стране все в порядке.

Сентябрь 1988 г.

«Я ВЕРНУЛСЯ, ЧТОБЫ НАЙТИ ПОТЕРЯННОЕ»

**Нежно — о России, резко — об Америке,
романтично — о самом себе — писатель Саша Соколов
в свой первый приезд в Москву**

— Эту женщину зовут Марлин, она моя жена, — Саша перехватил мой взгляд, — она хочет увидеть московский снег, она любит кататься на коньках, зима — ее любимое время года. Здесь, в России, — динамика, движение. В Америке этого нет. В Америке нет настоящей зимы, а в Канаде нет хороших катков. Марлин — чемпионка Америки по гребле на скифе, ей нравится все, что связано со спортом, с зимой. Вся стена нашей квартиры в Вермонте завешана ее медалями. Но Марлин считает, что это пустяки, она приучена думать, что в Америке это ничего не значит. Там не ценится не только настоящая литература, там никому не нужны человеческие умения за исключением тех, что приносят доходы. Барышников прекрасно танцует, и это приносит деньги. А если бы не было моды на балет? Например, Саша Соколов... Нет моды на литературу, и Саши Соколова нет в Америке... Ну разве что в университетах...

Мы подняли бокалы, выпили за возвращение блудного сына домой. Саша пригубил, закусывать было нечем. Он прилетел неожиданно, и друзья его, пригласившие меня на встречу, попросили по пути купить хотя бы хлеба. Я знал, что в магазинах не густо, и мне было как-то неловко перед иностранцем. Между тем друзья Саши Соколова перед гостем не краснели. Малюсенькая комната за МПС у Красных Ворот. Михаил Кудрявцев, ее хозяин, книжник, гумилевовед, жил скромно, и мне показалось, что Саше это даже как-то пришлось по душе. Все слетевшиеся в эту хибару пристроились кто где мог, даже на полу. Шел июнь 1989 года.

— Я нахожусь в стадии возвращения, хотя еще ничего окончательно не решил. Но потенциально я вернулся. Я жил в Канаде, в США, сейчас живу в Греции. У меня нигде ничего нет, мне нечего терять...

Но, слава богу, существует страна моего языка. Я не

творю, что я сильно влюблен в Россию, потому что все ниже, прозреваю... В прошлом мне было здесь нелегко... Бунин не говорил хорошо даже по-французски. Боялся забыть русский. Я тоже боялся. Тогда ведь не было перестройки, а сейчас она есть. И мне повезло.

Саша возбудился. Разогретый вниманием, вином и возможностью наконец-то выговориться, он пылко отвечал на все вопросы. Особенно если они касались Америки, Запада, всего, что связано с понятием «за бугром»

— *Но ты приехал сюда не потому, что там нечего терять, а потому, что здесь есть что-то из того, что ты уже потерял?*

— Это верно. Ничего особенного на Западе я не приобрел. Если не считать какое-то имя в узких литературных кругах.

— *Можно считать, что ты не прижился в Штатах? Но ведь большинство приживается, Василий Аксенов, к примеру.*

— Аксенов — это совсем другое. Он просто решил, что всем удовлетворен. Он человек огромной духовной силы, из тех, о ком говорят: «Они взглядом подковы гнут». Перенести то, что он перенес в Вашингтоне и вообще в эмиграции, такого никому не дано... Он пробивался через идиотизм и здесь и там и воцарился наконец как представитель русской литературы. Он стал послом ее, во всяком случае, играет эту роль...

— *А Иосиф Бродский? Живи он здесь, ему бы и во сне не приснилось: лауреат Нобелевской премии?*

— А что Бродский? Ты думаешь, у него в Америке крупное признание? Ничего подобного! Во всей Америке, я думаю, его знают тысяч двадцать. Читателей же у него, боюсь, и пяти тысяч не наберется.

— *Откуда такая цифра?*

— А это примерная цифра нью-йоркских элитарных изданий. Нобелевская премия не помогает человеку подняться. Это только кажется, что она создает имя. Причем я имею в виду и премии в области физики, медицины.

— *Но Бродскому она дала место в университете.*

— Место у него было и до премии. Премия почти ничего не решила в его судьбе. Даже гонораров за книги не прибавила.

— *Я слышал, что на вечера поэтов из России приходит много слушателей. На Андрея Вознесенского, например.*

— На Вознесенского сейчас много не соберешь. Бродский может собрать в Нью-Йорке человек триста. Поэзия в Америке принадлежит элите, а не народу. Точнее, она вообще никому не принадлежит. Тиражи поэтических книг упали до тысячи и менее экземпляров. Поэзией в основном интересуются студенты, они и собирают аудитории на творческих вечерах. Америка — страна выродившейся культуры. Лишь на самых верхних этажах узкая культурная прослойка. Элита... Примерно один к тысяче.

— *Ты, конечно, помнишь московские интеллектуальные кухни? Вино, папиросный дым, стихи, чтение ночи напролет, споры до одурения?..*

— Ничего такого в Штатах нет. Даже близко. Все размеренно, дистиллировано... Кстати, у американских русских тоже потихоньку падает интерес к родному, засасывают местные проблемы. К тому же, как правило, туда приезжают практически одни и те же люди, тот же Вознесенский и компания... Советские газеты уверяют вас, что на людей из Москвы собираются полные залы, все сидят, раскрыв рты. Ничего подобного, никому это не нужно.

— *Но у нас писали, что Алла Пугачева и Владимир Высоцкий собирали десять — двенадцать тысяч слушателей.*

— Это музыка, песни. В те годы и Булат Окуджава собирал от трех до пяти тысяч, сейчас же гораздо меньше.

Такая деталь. Приехавшие со своими библиотеками русские люди через несколько лет начинают понимать, что там совсем другая шкала ценностей, и они перестают читать по-русски, расстаются со своими книгами, раздаривают их, продают. Они американизируются. Некоторые приезжают как раз за тем, чтобы поскорее стать американцами, напрочь охладевая к родному языку, ко всему, что связывает их с отечеством. «Россия позади, с ней все кончено», — рассуждают они. И еще один штрих: катастрофически деградирует интеллигенция.

— *То есть интеллигентность как способность мыслить?*

— Мыслить начинают другими категориями.

— *Борьба за выживание?*

— Нет, здесь выживет любой человек, только ленивые умирают, совсем ленивые, борьбы за выживание нет,

просто идет борьба за ступеньку к престижу. Причем престиж этот определяется одним—деньгами.

— *А связи, возможности опереться на бла?*

— Связей не существует. Институт связи существует в элитарных кругах, когда речь идет об имидже, о престиже. Ну, например, в «Нью-Йорк таймсе» опубликовать что-то не на десятой странице, а на второй или поместить сразу в нескольких газетах рецензию на книгу, на спектакль. Вот тут играют связи... А на обычном уровне связи не нужны, они не имеют никакого значения, потому что ты многое можешь сам, тебе ничего не надо до-
ставать, пошел и купил.

У меня вышло так: я приехал в Америку и ничего нового для себя там не открыл. Увидел именно то, что ожидал увидеть.

— *Когда уезжал, тешил себя иллюзиями?*

— Нет. Не понимал лишь одного: соотношения читательской массы к нечитательской. Я ее преувеличивал, а вскоре иллюзии развеялись. В остальном же Америка была, как в прежних представлениях, Нью-Йорк такой же, как на картинках.

— *А Канада? Ты провел там часть своего детства..*

— Да, Канада — самая близкая мне после России страна. Она тихая, спокойная, недаром ее зовут американской провинцией. В Торонто, в Монреале уютная, без опасности жизнь. Конечно, многие русские болеют там ностальгией, но вместе с тем не перестаешь ценить каждый день этой удобной, красивой жизни.

— *На чем оке основано твое разочарование?*

— За какую ниточку ни потяни, все пойдет к тому же... У нас даже из ста человек найдешь одного, пусть это будет в тамбуре электрички, с которым можешь поговорить... Там же и из тысячи не сыщешь...

Я объехал всю Америку, познакомился со многими профессорами, читал лекции в университетах, жил среди простых американцев. Это человеческие люди, воспитанные на принципиально добром отношении друг к другу, и к иностранцам в том числе. Они прекрасно тебя встретят, по-своему щедрь, ежедневных экономических проблем для них не существует. Но бросается в глаза ограниченность кругозора... В стране огромное количество музеев, театров, концертных залов, всевозможных культурных ценностей, но люди их не используют. Общество воспитано на том, что за деньги можно все, что угодно, купить. И все покупается и продается: культура, талант,

духовность. Два года назад в Бостоне организовали выставку русских художников XIX века. Впервые, наверное, за тысячу лет. Я специально пошел посмотреть, кто же придет на вернисаж. И был еще раз удивлен: Бостон — не Вашингтон, не Нью-Йорк, это душа Америки, и кто же пришел? Двое-трое русских эмигрантов. Залы пустовали, можно было аукаться. Теперь представь, что в Москву привезли американскую живопись... Что бы было? Советские люди, обиженные за Америку, мне говорят: «Сходи, Саша, в наши магазины». Но я-то не о магазинах говорю, я говорю о духовном уровне населения, точнее, о его бездуховном уровне. В Америке интеллигенции нет... Такого явления, как русская интеллигенция, нет нигде в мире. Но, перебравшись в Америку, она вырождается.

Вот мы вспомнили о московских вечеринках. Там их тоже много. Особенно это было распространено, когда я только приехал в Америку. Семидесятые годы экономически были очень красивыми: закатывались обеды, много обедов, деньги текли рекой... Сейчас все свернулось. Так вот, встречи, приемы, междусобойчики, партии, как их там называют, — это сборища, где целый вечер говорят о погоде... С ума можно сойти! Нет серьезного разговора о судьбе человека, нет попытки как-то осознать жизнь. Все плавно, разговоры ни о чем... Virtuозность бессмыслия...

Например, в Калифорнии, где погода всегда стабильна, люди изо дня в день говорят о погоде в течение всего вечера. Там нет дождей, тем не менее существует целый словарь разговоров о погоде, о дожде. Говорят о сегодняшней погоде часами, хотя она ничем не отличается от вчерашней...

Я, к сожалению, не был в Японии, стране колоссальной многоэтажной культуры, которую ничем не вытравить... Америка не обладает такой культурой, у нее есть только двести лет какой-то жалкой демократии.

— *А школа?*

— А что школа. Она выпускает малограмотных людей. Учиться в такой школе даже забавно. По сути, она не дает никакого образования. Дошло до того, что во многих школах на уроках разрешено слушать радио, домашних заданий не существует, наизусть ничего не учатся — ни стихов, ни прозы. Дети смотрят телевизор и заучивают тексты реклам...

Большинство американцев никуда не ездят. Это нам

кажется, что они богаты и ездят по всему свету. Ничего подобного. Они не хотят ездить. Я помню, как однажды моя соседка, богатая женщина, сказала мне: «Мистер Соколов, мы слышали, что вы из России приехали. Наверное, это очень интересно, но, извините, мы даже не знаем, о чем спросить».

Эту страну идеологически можно взять голыми руками. Американцы ни для чего не приготовлены. Это люди низкого соображения, у них отсутствует всякое любопытство о мире, и это страшная черта.

— *Но почему же? В Штаты съехались люди со всего мира.*

— В том-то и дело. Сошлись десятки эмиграций, и культуры их взаимоуничтожились. Отдельные крохи разных культур, цивилизаций, принесенных в Америку, не создали нового феномена. Кроме одного: ненасытного стремления зарабатывать деньги. Надо отдать должное — работают американцы зверски: добротнo, тщательно, чисто, красиво, улыбаясь, работают. Они телеманы, они любят бегать, кататься на коньках, играть в теннис, в бейсбол. У них высокий бытовой стандарт жизни. Но все же их существование бездуховно. В нашем понимании.

Вот Солженицын, он все хлопочет о прошлых проблемах Советского Союза, России. Конечно, то, что было — чудовищно, но еще более чудовищно будущее. Катастрофа происходит в наши дни, происходит незаметно. Я имею в виду американизацию — смерть всей культуры, пашу смерть. Я вижу, как эта чума наступает на Европу. Я чувствую это в Греции — полное обуржуазивание общества, люди думают только о деньгах.

Ты можешь мне возразить, что говорю, будто какой-нибудь пропагандист из ЦК КПСС. Но это мой собственный опыт! Очень точно схватил Америку Владимир Набоков... Как изумительно верно показал он эту страну в «Лолите», через призму иронии, сарказма. Он издевался над Америкой, особенно в романе «Пнин». Он показал американцев какими-то чудовищами... Но боюсь, наши читатели не готовы этого понять.

— *Сашиа, а не слишком ли ты сгустил краски? Неужели ты не открыл в американцах ничего хорошего?*

— Чего у них нет, так это высокомерия, снобизма. И за это им многое можно простить. Я объездил все Штаты, всю Канаду. Да, в них много недостатков, их можно ругать, как я это сейчас делаю, но, знаешь, мне при этом

их даже жалко: я их крою, а им и защищаться нечем, они ведь не знают, что я на них нападаю. Они вообще очень наивные люди... Они любят кумирствовать, обожествлять Новый Свет. Мне кажется, что для них другого мира не существует. Они давно уже отрубили связи с Европой.

— *Значит, авторитеты Европы для них ничего не значат?*

— Абсолютно, они считают себя самой великой нацией.

— *Трудно поверить в то, что американцы не знают о Сартре, Расселе, Хайдеггере?*

— Никто не знает, кто такой Сартр. Уверен, что Рейган никогда о нем не слышал. Американцы выбрали его президентом только за то, что он был киноактером. Ведь киноактер в Америке — единственный уважаемый человек позже банкира.

— *А Буш?*

— Буш ограниченный человек. Свои дипломатические науки он, конечно, усвоил. Но в остальном...

Мы вопросительно переглянулись. Хотели было заглянуть в собственный огород, но Саша продолжал:

— Быть может, я утрирую: возможно, что Рейган и Буш слышали о Сартре. Но в абсолютной своей массе Америка не знает Европы и не хочет знать, она отрешивается от нее, она живет, словно на необитаемом острове, делая вид, что именно американцы — основная часть мира. Они совершенно изолированы и удивительно ограничены. Но в этом своем ограничении безумно счастливы, живут в какой-то эйфории. Я говорю в общем-то банальные вещи, но я уверен, что до меня никто этого громко не говорил. Василию Аксенову просто удобно живется, он занял определенное положение, он нашел свою нишу. Мне же все это противно. Он может жить рядом с неграми, которые его оскорбляют, которые готовы убить каждого белого, которые не хотят работать, не хотят интегрироваться и не хотят вообще ничего делать. А левые их поддерживают и кормят: «Ах вы наши несчастные чернокожие».

— *И писателей в Америке не уважают?*

— Писателей не существует. Писатель в Штатах — последний человек. Тем более если у него скромный доход, он просто ноль.

— *А Андайк?*

— На Апдайк работает отлаженная машина нью-

Йоркских издательств. Его постоянно печатают. Но даже он и ему подобные жалуются, что тиражи катастрофически падают, что они уже почти не могут заработать себе на жизнь. Пером зарабатывают на жизнь лишь единицы. Ну, не считая, конечно, бросовую литературу, авторов бестселлеров, комиксов... Кстати, надо отдать должное Апдайку, в свое время он работал над словом, был блестящим стилистом. А сейчас скатился в какую-то серость, описывает гаражи, автомобили, явно хочет потрофить публике...

— *Как Артур Хейли?*

— У него не так, у него есть поддержка. Иностранный нобелевский лауреат — это максимум тридцать пять тысяч экземпляров прозы. И все... Максимум.

— *А Зингер?*

— Думаю, что тысяч тридцать, и это только в Нью-Йорке, в очень небольшой части Нью-Йорка. Зингера никто не знает. Давайте поедem и спросим у любого человека в Америке, кто такой Зингер. Вот увидите, они скорее вспомнят того Зингера, кто делал швейные машины. Зингера не существует. Набокова давно забыли. Америка блестяще умеет забывать... Набоков разбогател только за счет «Лолиты». За счет ее экранизаций... Обратите внимание, как стремительно он уехал в Швейцарию.

— *Набоков из Штатов уехал в Швейцарию, Одоевцева из Парижа в Ленинград. Некоторые сегодня рискуют возвратиться назад, кто на время, а кто и навсегда.*

— Думаю, что пока никто сюда не хочет ехать. Одоевцева приехала умирать... Я приехал сюда, потому что не был здесь четырнадцать лет. Мне страшно хотелось в Россию.

Здесь мне ничего не надо, но читатель мой—здесь. В любом случае я понимаю, даже если меня здесь ничего не будет устраивать или я кого-то не буду устраивать, все равно читателей у меня здесь будет больше, чем во всей Америке. Во всяком случае, в течение моей жизни Америка не переродится. Она существует как индустриальное, сильно развитое государство, но меня это абсолютно не колышет... Эта страна многих не признает. В том числе и меня. И поскольку нет интереса к русской литературе, этой страны для меня тоже нет. Нет отклика и нет отзыва, это совершенно естественно. Я противопоставляю себя стране? Пусть! Я бросаю ей вызов, она этого даже не заметит, она не заметит ничего.

Эта страна не замечает ничего, она живет в своем измерении, на своем ограниченном острове... И психология у нее островитянская...

— *Мы, русские, ориентированы на Европу... Мы все эллины—так, кажется, сказал Мандельштам,— обезличенная Россия...*

— Что значит обезличенная Россия?

— *А. то и значит, что все те же временички так же на острове и живут, ничего не видят, ничего не слышат.*

— Я же о народе говорю, народ-то в России существует. Временщики не имеют отношения к народу. А Европа? Что ж, мы сами Европа, причем огромная, значительная, красивая, сильная, и самая питающая часть Европы— это мы, Россия. Она питает мир. Россия грандиозна абсолютно, это можно увидеть и понять, только уехав.

— *А Гершвин, одесский еврей, гений, он-то популярен на Западе?*

— Гершвин не нужен, джаз никому не нужен, джаз кончился, его можно услышать только по специальной радиопрограмме. Ну почему, скажите, об этом не говорят, не пишут? В Америке прошла колоссальная культурная революция... в пользу отсутствия культуры. Никто не знает, кто такой Хемингуэй, Фолкнер... И пусть Василий Аксенов напишет обратное. А сколько американцев слышали или тем более читали Солженицына, самого известного русского писателя?! У меня был зубной врач, интеллигент вроде бы, университет закончил. Солженицын время от времени появляется на экране телевизора, все-таки имя его известно. Колоритная личность, борода. И что же? Прихожу к врачу, он записывает мою фамилию: «Александр... Солженицын». Мне тогда было тридцать пять лет, ну разве похож я хоть чем-то на Солженицына?

Еще пример. Меня приглашают в частную школу, хорошую, высокого уровня частную школу с прекрасным актовым залом. Приглашают побеседовать со студентами. Частные школы очень богаты, они могут себе позволить иметь блестящих преподавателей, приглашать на лекции кого угодно. Мне, как писателю, задавали много вопросов. Один из вопросов был таким: «Кто ваш любимый современный американский писатель?» Я говорю, что Уильям Кеннеди, лауреат двух самых престижных премий, Пулицера и Маккартера. Педагог вспыхивает от стыда: она не слышала этого имени.

И здесь мне захотелось переключить разговор, Слишком уж яростно и, мне показалось, в чем-то несправедливо Саша ниспровергает Америку. Чувствовалась личная обида, уязвимость непризнанием. Казалось, эта большая тема займет все мое интервью, и я нажал другую кнопку:

— *Саша, расскажи, как ты очутился там?*

— Это длинная история. Длинная, фантастическая и в чем-то романтическая. Я родился в Канаде, будучи «сыном советского дипломата», как пишет Урнов в статье «Плохая проза» в «Литературной газете». Провел в Канаде первые четыре года жизни. Вырос в благополучной семье, такой, что для меня ни вещи, ни деньги никогда не имели никакого значения. Мои родители... Они отказались от меня. Я не хочу их видеть. Они писали прошение в КГБ, чтобы меня изолировали от общества, отправили в сумасшедший дом. Я и не представлял, кем был мой отец на самом деле. И только недавно, не помню, в какой стране, подошел к книжной полке в магазине, открыл какой-то том, а там о КГБ, Эс-Би-Ай, о шпионских организациях мира. Полистал, оказалось, что отец от Главного разведывательного управления Министерства обороны курировал Америку, оба ее континента по части шпионажа. Был заочно приговорен к смертной казни за похищение атомной бомбы. Шифровальщиком в посольстве был Игорь Гузенко, он убежал, предал всех. Посадили канадских коммунистов, это была знаменитая история. Думаю, что отец был своим человеком и в КГБ, и в Главном разведуправлении. В Канаде он организовал во время войны советскую шпионскую сеть. Он... Ладно, не будем об этом.

Безусловно, наша юность — не ранняя, но поздняя, — литературная юность моего поколения прошла под знаком Солженицына. Многие из нас его боготворили. Не будь его, все было бы по-другому. Мы не были бы, может быть, такими смелыми, не было бы того же СМОГа, не появилось бы многих других литературных кружков, чтений, салонов.

— *Твоя эмиграция началась с Вены. Как это произошло?*

— Мне не очень нравится эта тема. Это какая-то политическая история. Я постоянно каким-то образом влезаю в политику. В определенном аспекте моя жизнь представляет собой детективный роман, в котором я совершенно не хотел бы участвовать. Наверное, это в си-

лу того, что я родился в семье знаменитого советского разведчика.

Случилось так, что я познакомился с австрийкой здесь, в Москве. Она преподавала немецкий в Институте иностранных языков по обмену. Из очень простой семьи, по образованию славистка. И началась наша эпопея — неприятная потому, что я собирался жениться на ней, а мне не давали. Ее власти выгнали, сразу лишили контракта. А меня плотно обложили, за мной ходили специальные люди. Говорят, даже Галича так не пасли. Видимо, здесь я кого-то очень сильно обидел.

— *Может, потому, что ты был сыном генерала госбезопасности?*

— Может быть. Да, мой отец был в то время генерал-лейтенантом. Уже, правда, в отставке, но это неважно. Он сам и инспирировал все это. Родители испугались. Я мог бы спокойно выехать безо всякого шума, но пришлось делать шум. Мы заручились поддержкой каких-то австрийских и американских корреспондентов. Телевизионщики, радиожурналисты... События так развивались, что люди в конце концов обратили внимание, особенно на матримониальный момент. Мы боролись за своих невест, я и гроссмейстер Борис Спасский, в одно время. И нас опекали одни и те же люди, те же самые корреспонденты ходили к нам, интересовались нашими историями.

Началось все с австрийского телевидения, кто-то из телена начальства оказался борцом за гражданские права. Мы получили огромное паблисити. Какая-то опереточная ситуация... Все было смешно, и грустно, и скандально.

В начале октября 1975 года между двумя и тремя часами ночи какие-то люди стучались во все квартиры, где я когда-либо провел хотя бы одну ночь. Я не жил последние дни и месяцы у себя, я метался, меня затравили. Но я и в долгу не остался — мотал их по всей Москве.

Интересная деталь: агенты КГБ боялись ездить на электричке дальше двадцатого километра. Загадка! Они всегда исчезали из вагона. Может быть, торопились домой смотреть телевизор? Может быть, чего-то боялись.

К лету 1976 года я был разобщен со своими друзьями. Фактически все порвали со мной, я был в совершенной изоляции. Оставалось лишь два-три человека, которые не боялись со мной встречаться. Родители отказались от меня официально, они написали какие-то бумаги.

Машину «скорой помощи» у дома держали часто с раннего утра и до вечера. Когда я уходил за хлебом в магазин, эта машина двигалась за мной. Впору было сойти с ума. Но я выдержал. Объявлял голодовки, поднимал шум в австрийской прессе, потом в немецкой, потом по всей Европе, по всему миру.

Однажды в пятницу эти ребята снова появились. Они сказали, что через два дня, в понедельник, надо быть в ОВИРе.

Я приехал в ОВИР в сопровождении американских корреспондентов, потому что боялся ходить один. Начальник ОВИРа сказал, что надо забыть все, во всем виноват мой отец, а не Советская власть. «Что же ты к нам раньше не пришел, дорогой Саша?! Ты же никогда не приходил к нам?» Я говорю: «Конечно нет. А на каком основании я мог подать заявление о выезде?» — «На основании того закона, что браки с иностранцами разрешены. Закон же существует! Брежнев подписал тебе разрешение в виде исключения. Ты едешь, счастливого пути!»

Мы улыбались друг другу в лицо. Проговорили целых два часа.

Оказывается, канцлер Австрии Крайский написал Брежневу два письма по моему поводу. И Брежнев подписал заявление на выезд. Сам...

— *А почему глава правительства Австрии так решительно вмешался в твою судьбу?*

— Потому что возникли большие трения между австрийским и Советским правительствами. Из-за моей голодовки, из-за препятствий к браку. Невесту выгнали из СССР, меня не пускали в Австрию. Вся эта бессмысленная деятельность отняла у нас год жизни.

В конце концов Крайский прослышал про наши беды. Написал Брежневу. И Брежнев внял. Только лично он мог разрешить выезд, поскольку не было согласия родителей. И меня в двадцать четыре часа нашли и выпустили пожарным порядком. Уезжал я с одним чемоданом.

...И вот десятиминутная аудиенция у Крайского в присутствии массы журналистов. Вспышки, телекамеры. Я стал фигурой дня из-за этой свадьбы. Все это было очень пышно, нас охраняли автоматчики на мотоциклах. Народ заградил улицы.

Крайский спросил меня: «Я слышал, вы пишете что-то? Но вы же понимаете, что Австрия — небольшая литературная держава. На переводы от ваших книг вам

не прожить. И надо что-то делать. Чем вы намерены заниматься?»

Крайский говорил на хорошем английском языке. Немецкого я не знал. Я ответил, что работал на Волге егерем, жил в лесу, и мог бы заняться тем же делом.

Ты знаешь, какую работу нашел мне Бруно Крайский,— лесорубом в Венском лесу, в том самом, где «сказки Венского леса». Я валил старые деревья, чистил просеку. Тяжелая работа, едва хватало времени на то, чтобы писать письма. Работал с югославами. Они мне очень понравились. У меня тогда возникла мысль переехать в Югославию, выучить сербо-хорватский и писать на нем.

Но однажды вечером в Вене постучал почтальон и принес телеграмму от издателя Проффера—о том, что Набоков написал хороший отзыв о моей книге.

— *Набоков, наверное, услышал о скандале и решил помочь?*

— Может быть. Это была моя самая счастливая ночь. В литературном смысле. Я, конечно, не спал. А через несколько месяцев, когда я письменно обрисовал Профферу свою ситуацию с Венским лесом, он неожиданно появился у меня сам, прилетел после сессии у себя в Мичигане. Он привез мне контракт, приглашение и визу в Америку.

Окрыленный, я летел в Штаты. Но сразу же начались какие-то неприятности. Три часа меня держали в аэропорту. Началось выяснение личности. Никто ничего не объяснял. Я бессмысленно просидел три часа. В силу того, что я сын шпиона, и меня приняли за шпиона. Потом это сказывалось на моих отношениях с ФБР и соответствующей канадской организацией, которая называется «Королевская конная полиция». Вскрывали письма и даже не пытались делать из этого секрета. Навестили всех моих друзей, родственников моей жены.

Да и теперь по прошествии многих лет у меня постоянно бывают проблемы на границе Канады и США. В каких-то я там значусь «черных» списках.

— *Граница Канады и США, штат Вермонт. Там живет Солженицын. Вы не встречались?*

— Нет, никогда его не видел. Видел несколько раз его детей в Вермонте. Да, мы жили рядом, в разных деревнях, моя деревня к северу от его, в горах, рядом с канадской границей. Мы были записаны в одну библиотеку, но ни разу не встретились. Прекрасная библиотека

при русской школе в Норвейдже, ей уже больше тридцати лет. Когда-то русские первой и второй эмиграций организовали эту школу для американских студентов. В школе запрещено говорить по-английски. Она расположена в изумительном местечке в глубине гор и лесов. Боже, как там похоже на Россию! Даже речка называется по-русски, Собачья речка. Многие эмигранты подарили библиотеке свои книги, в результате образовался огромный фонд «руссики». Так вот, я жил недалеко от этой библиотеки. Когда я познакомился с детьми Солженицына, они были еще маленькими. Один из них ныне блестящий пианист, но все детишки Александра Исаевича поражали своими дарованиями. Отец настаивал, чтобы дети посещали эту школу хотя бы летом, чтобы не забыть родного языка. Вообще-то многие родители хотели бы, чтобы их дети говорили по-русски, но детям это не нравится, на них оказывают сильное давление, чтобы они посещали американские школы.

— *А значит ли что-нибудь Александр Исаевич в твоей судьбе?*

— Высылка Солженицына—это было наше кровное. Мы очень любили этого человека. Я очень любил его. Но случилось то, что всегда случается: время всякого явления проходит. Сейчас читать Солженицына мне неинтересно. Не понимаю, что произошло, я ли изменился, время ли изменилось, наверное, все изменилось. А может быть, он перестал мне быть интересным историческими романами. По мне история — не наука. История может быть просто развлечением. Но я не верю в историю, не верю в исторические факты, потому что уже вчерашний день неуловим. Я не верю никаким мемуарам и никогда не верил. Мне кажется, что трактовка любых исторических фактов всегда произвольна, каждый волен трактовать как он хочет любое событие и в угоду сюжету все чудовищно искажать. Я отношусь к людям сегодняшнего дня, меня волнуют только актуальные события, то, что происходит сейчас. Во все остальное я просто не верю. И когда человек огромного таланта посвящает себя копанию в старом барахле, я не могу это принять. Естественно, это моя точка зрения и Солженицыну она безразлична, но я думаю, что как романист он был бы намного интереснее, чем публицист-историк. Его ранние вещи, его романы, несмотря на споры об их художественных достоинствах, имеют для России огромное значение. Они наверняка останутся в истории русской литературы.

И я привык к Солженицыну как к человеку литературному, как к писателю, мастеру слова. Какие прекрасные сцены в «Круге первом», как изумляет меня лаконизм его строк, его рассказов. А «Один день Ивана Денисовича». Это шедевр! Но, повторяю, человек занялся не своим делом. Он фигура, фигурой и остался, его слушают, ему внимают. А он молчит. Молчит в своем главном качестве, в качестве голоса России.

И еще аспект, который я не приемлю в Солженицыне,— это его язык. Как бы меня ни называли: пуристом, эстетом, кем угодно, ему этот стиль не идет... Откуда он у него взялся? Может быть, он по примеру Набокова решил, что наступило время нового стиля? Солженицын погрузился в словарь. Словарь словарем, но ни на Волге, ни в Москве, нигде в России, не говорят языком, который использует Солженицын в своих книгах. Повторяю, это его личное, писательское дело творить новый язык. Творили же новый язык Белый, Джойс, но для такого человека, как Солженицын, это не просто дело вкуса, ведь он прирожденный реалист, и я считаю, он не должен играть. Я не реалист, я прирожденный авангардист, реализм мне абсолютно чужд, и он всегда был мне абсолютно чужд. Я вообще не читал никаких советских классиков, мне всегда они были неинтересны, я поражался, как же можно так плохо писать. Я спросил себя: зачем мне какие-то советские писатели? И я обратился к западной литературе. В блестящих переводах советских же переводчиков я нашел интереснейшие вещи, в которых была жизнь. Но Солженицына я принимаю, потому что в реализме он — на своем месте.

— *Саша, у тебя есть своя библиотека, свои книги?*

— Мои книги раскиданы по разным странам, от Калифорнии до Москвы, что-то осталось в Австрии, что-то в Греции, часть библиотеки в Вермонте, много книг в Лос-Анджелесе, в Монреале. С ранней юности я обратил внимание, что когда случайно теряешь вещи, скажем, при пожаре что-то сгорает или забываешь где-то, то не обращаешь внимания на эту потерю. Происходит странное: будто бы и не было у меня этих вещей, не было в них никакой надобности. Никогда не сожалел об утраченном. Я очень рано понял, что книги мне нужны, но не обязательно возить их с собой. Если прочитал книгу, то в конце концов ее можно и где-то оставить, потому что все равно не будет времени снова ее перечитывать: книг слишком много.

В то время, когда в Америке в те семидесятые годы все бросились зарабатывать деньги, время для этого было хорошее, и, естественно, и наша эмиграция бросилась и тяжкие за деньгами, я был ко всему этому безразличен. Никогда у меня не было ни своего дома, ни машины, всего этого мне не надо.

— *Ты даже не умеешь водить машины?*

— Умею, конечно. Но езжу на машинах своих друзей или на машинах, которые мне дарили. Поездив на такой подаренной машине, я где-нибудь ее бросал. Поэтому мне и не понятны все труды-заботы о завтрашнем дне. Мне кажется, что писателю, художнику это свойство натуры необходимо. Оно помогает главному — писать, творить. В этом нет ничего героического. Вещи просто излишни в жизни. Когда я пишу в большом доме, мне труднее писать, отвлекают размеры комнаты. Люблю писать в маленьком помещении, в каком-нибудь закутке. Люблю, чтобы было просторно вокруг, но не в том помещении, где я пишу. И этим качеством в себе я доволен. Мне кажется, что это христианское качество. К сожалению, несмотря на обилие церквей на Западе, люди забыли Новый Завет, где черным по белому сказано о скромности, воздержании, служении ближнему своему, а впечатление такое, что или там ничего не сказано, или люди не знают этой древней книги.

— *Ты относишь себя к какому-то направлению в литературе? Или ты сам по себе: Саша Соколов — это стиль.*

— Я уже говорил, что я прирожденный авангардист. Мне абсолютно чужд реализм, мне он всегда был абсолютно чужд. Я прочитал в четырнадцать — шестнадцать лет Герберта Уэллса, и с этого уровня начал сам. Не то чтобы Уэллс какой-то гигант стиля, нет! Но если, как сказал поэт, «уже написан Вертер», зачем мне все эти советские писатели?..

Я всегда ощущал себя поэтом, но меня не устраивала стихотворная форма. Я искал синтез, нечто среднее между поэзией и прозой, изобрел слово «проэзия» (это именно мое изобретение).

Я далеко не первый — скорее последний в длинной цепи этой традиции: Тургенев, Бунин, Андрей Белый. К этой золотой середине, к этому синтезу движется поэзия, кренясь в сторону прозы. Бродского можно считать прозой, уложенной в строфы. Где-то мы сходимся с ним. Можно назвать это направление лирическим романтиз-

мом. Я бы назвал точнее и грубее (почему, собственно, этого надо стесняться?): это изысканная проза.

— *«Я — изысканность русской медлительной речи», сказал поэт...*

— Вот именно! Скажем, «Герой нашего времени» — это лучшая русская проза XIX века, то, с чего все началось. И она лучшая не просто так, она заботится о том, как сделана. Это рефлекслирующая проза. Она любит себя, она самоосознающа — и завораживает человека, который готов к ее восприятию.

И тут возникает имя Набокова. Читая его критические статьи, лекции, замечания к «Евгению Онегину», читая между строк романы Набокова, я, к своему восхищению, понял, что некоторая явная схожесть наших стилей проистекает из общего источника — у нас одни и те же любимые писатели. Достаточно указать на Гоголя и Лермонтова. Простое соединение этих двух источников дает систему координат, в которой производится экстраполяция, определяющая стиль.

Набоков очень вовремя опубликован в России. Он оказался, как это ни парадоксально, писателем перестройки. Именно он, и никто другой.

Направление в литературе, к которому я принадлежу, ставит своей задачей... вернее, ничего не ставит задачей, а просто существует и занимается развитием языка, его эстетики. Развивает вкус и воображение читателя. Язык — явление самодостаточное и бесконечное.

— *Ты писатель, язык для тебя — рабочий материал. Что происходит в эмиграции с языком?*

— Ничего не происходит. Я всегда страшно боялся забыть язык. Мне снились с самого начала сны такие, что вдруг я в один ужасный день забыл язык. Что же я тогда есть, если у меня нет языка, кому я тогда нужен? Я боялся коррозии языка, поэтому некоторое время избегал изучать английский. То есть я его знал немного, но боялся прогрессировать в нем. Бунин плохо говорил по-французски, несмотря на многие годы, проведенные во Франции. Я думаю, что он сознательно ограничивал себя. Он был человеком гениальным, чтобы не выучить чужой язык, но он им, по-видимому, не интересовался.

— *Родной язык, прости за банальность, стал тебе, наверное, еще дороже?*

— Просто внимательнее начинаешь относиться к слову, очень дорожишь каждым словом. И, наверное, в каких-то крайних случаях это может перейти в болезнь,

особенно у бережливых писателей, у стилистов по духу. Хочется ни в чем не отступать, ни в коем случае не терять то, что имеешь. А развивать все это трудно, потому что нет живого течения. Ты живешь в звенящем звуковом вакууме, где все вокруг называется другими словами. И если случайно забудешь русское слово (а забыть слово можно и живя в Москве, но там это не страшно), совершенно простое слово не можешь вспомнить — и тут начинается паника: «А, вот она, коррозия!»

Поэтому в эмиграции особенно с языком носишься как с писаной торбой, стараешься его развить в себе. У некоторых появляется тяжеловесность в языке. У Солженицына это явно. Я бы сказал, что и у Бродского она появилась. Медная поступь такая, командорская. Может быть, это от эмиграции, а может быть, здесь что-то другое — веяние времени...

— *Саша, какова история твоей второй книги — «Меж собакой и волком»?*

— Вторую книгу написал уже в Америке, сидя в таком очень далеком от русской культуры месте, как Западный Мичиган, — я там преподавал то ли русскую литературу, то ли язык, меня пригласили на лекции в маленький колледж, — так вот, там я писал книгу «Меж собакой и волком» на волжском материале. Это было странно, писать такую народную, почти сказовую книгу в месте, где в радиусе нескольких сот километров не было ни одного русскоязычного человека.

Еще в Вене я понял, что главное для меня — сохранить язык. И я решился на крайность — не учить никакого чужого языка. Да, буду жить за границей, но в русском кругу. Первые годы, это удивительно, я даже старался не встречаться с американцами, я писал только по-русски. Но постепенно со временем я и не заметил, как выучил английский. И ничего не случилось, кажется, по-прежнему мой русский не очень плох. Вот сегодня в буфете какая-то девушка сделала комплимент: «Вы так хорошо говорите по-русски, а мы думали, что вы его совсем забыли и должны говорить с акцентом».

Саша замолчал, налил себе немного вина, вздохнул:

— Я блаженствую... Здесь все называется по-русски, каждый предмет, и это непривычно. Когда я иду по улице и вдруг кто-то рядом заговаривает по-русски, я вздрагиваю и думаю: «Откуда же эти люди здесь, как хорошо они говорят по-русски...» Я до сих пор еще там. И все время хочется проснуться, во мне ощущение чего-то

нереального. Невероятно удобно жить по-русски и с русскими, не нужно напрягаться и думать, что вот сейчас нужно подойти к киоску за газетой и я должен весь как-то сжаться и думать, на каком языке заговорить, на английском или на греческом. Я как бы думаю и по-английски и по-гречески. А тут, качнувшись вперед, я прихожу в себя и просто спрашиваю, не думая ни о чем. Какое это замечательное чувство!

— *Почему так вышло, что вначале ты жил в Австрии, потом в США, в Канаде, в Греции. Почему ты не осел в одной стране?*

— А я космополит..., Такой у меня характер—охота к перемене мест. И при этом я не ощущаю никаких эмоций, у меня нет по этому поводу комплексов. Наоборот, я доволен тем, что не создал никакого себе гнезда, дома, у меня нигде никогда ничего не было. Я думаю, что Набоков и в этом отношении тоже, быть может, гордился бы моими успехами. Он ведь тоже, живя в Америке, на Западе, никогда не имел своего угла. Например, в Итаке, где он десять лет был профессором русской литературы, он так и не купил себе дома, пользовался казенными домами университета. А сегодня на некоторых из этих домов прибиты мемориальные доски. На первом набоковском фестивале — а это было грандиозное событие для университета, для культурной жизни Америки, многими не замеченное, но оно было очень значительно, значительно и для меня тоже,— так вот, там я познакомился с сыном Набокова, известным итальянским певцом, который говорит и поет на многих языках, огромный такой человек с огромным басом. Он приглашал заезжать к нему в гости. На этом же набоковском фестивале — вот это была для меня, пожалуй, самая интересная встреча, хотя я и не рискнул подойти познакомиться,— был Хорхе Борхес, это было грандиозно, что он приехал, это было, пожалуй, самое интересное, что я видел в культурной жизни Америки. Когда в огромной, многотысячной аудитории одного из ведущих американских университетов появился Борхес, а его, слепого человека, ввели под руки, все встали и зааплодировали.

Да, да при всей теперешней непредрасположенности к литературе нашлись три с половиной тысячи человек, которые, стоя в течение десяти минут, аплодировали писателю. Для меня это были, наверное, самые важные в жизни минуты. Я почувствовал, что даже в этой стране, где так несправедливо о многом забыли, о том, что до-

рого мне и нам всем здесь, все-таки есть еще какая-то надежда...

— Скажи, если бы не оценка Набокова, как бы могла повернуться твоя судьба?

— Думаю, что меня бы не было, я бы не сидел здесь, вообще ничего, быть может, не произошло бы. И я либо до сих пор работал в Венском лесу, в чем, конечно, сильно сомневаюсь, либо жил где-нибудь в Африке. Набоков сделал мою американскую карьеру, западную карьеру, если можно употребить этот термин, он помог мне опубликоваться, после его фразы о моей прозе, о том, как он ценит мою книгу, после этого для меня в Америке открылись многие двери. И когда я приехал в Нью-Йорк и меня привели в какой-то литературный салон, это было сказочно, на меня забегали в течение целого вечера смотреть, причем не просто какие-то люди, а очень именитые. Курт Воннегут прибежал, он сказал: «Я только на полчаса, но я хочу посмотреть на человека, которого похвалил Набоков». Потому что Набоков никогда никого не хвалил. А потом появилась Татьяна Яковлева, это было приятное знакомство. Передо мной сразу же открылись многие университетские возможности публикации. Без Набокова бы не было ничего!

— Владимир Набоков отозвался о тебе высокими пронзительными словами о том, что твоя книга «трагическая, возвышенная и трогательная». Нет ли у тебя, извини, каких-нибудь пронзительных или других слов относительно нравящихся тебе советских писателей?

— Видишь ли в чем дело, я вообще, как уже говорил, советской литературы практически не знаю, я ее не читал даже в университете. Думаю, что это было просто инстинктивно. Я как бы отталкивался от советской литературы, еще в школе это была рутина, школа убивала мой интерес к советской литературе, хотелось чего-то такого, чего не было в те годы. А потом в университете я ориентировался на западную литературу. Урнов в этом смысле оказался отчасти прав, когда он раздраженно писал, что успех Саша Соколова легко, дескать, объяснить тем, что он, будучи сыном советского дипломата и родившийся в Канаде (он, видимо, не знал, что я провел в Канаде всего четыре года после рождения...), раньше нас с вами получил доступ к западной литературе. Но я думаю, что Урнов читал те же самые книги, которые читало и мое поколение. Он читал, а я не читал. Я предпочитал, повторю, западных писателей, И здесь еще раз не могу

не отметить наши замечательные переводы. Вот кому я должен быть благодарен — нашим переводчикам. Я думаю, такого уровня переводчиков, как советские, на Западе нет. И это большая проблема литературной эмиграции. Можно написать прекрасно, а как передать это прекрасное другим? На мой взгляд, в Америке существует только один по-настоящему сильный, мощный, феноменальный переводчик — Майкл Хайм, профессор Калифорнийского университета, который переводит с одиннадцати языков. Мне так повезло, что он стал моим переводчиком. Когда прочитал в его переводе мой третий роман, «Палисандрия», и понял, что-то написано едва ли не лучше оригинала, я был более чем доволен. Это огромное везение. И когда я спросил его, как же он успевает так много переводить, где он берет время, он ответил: «Я не смотрю телевизор».

А вообще в Америке нет института переводчиков, нет переводческой школы, и это проблема большая. Как правило, этим занимаются совершенно случайные люди.

— *А твое начало — это все-таки СМОГ?*

— Ну, конечно, я один из «первосмогистов». СМОГ — это Самое Молодое Общество Гениев, или — Смелость, Мысль, Образ, Глубина. 12 февраля 1965 года мы организовали первое наше выступление в библиотеке имени Фурманова на Беговой. Нас было человек пятнадцать из тех, кто все это создал. А сейчас примазываются многие... Мы встречались в знаменитом литобъединении, которое вел поэт Эдмунд Иодковский в клубе «Новатор», у метро «Академическая», а потом все лето жили у него на даче, в деревне Игнатово, по Савеловской дороге, у станции Икша. А потом нас стало человек двести, и все, кого ни встретишь в любом городе, говорят: «Старик, помнишь, мы с тобой начинали СМОГ?»

Ведущие у нас были поэты — Леня Губанов, Володя Алейников, Володя Батшев. Коля Недбайло был нашим едва ли не единственным художником, а Володя Бережков — бардом. Мы продержались полтора года...

— *И вошли в историю. Ведь известно, что 14 апреля 1965 года была первая неофициальная демонстрация в Москве. По инициативе молодежной литературной группы СМОГ около двухсот человек прошли от памятника Маяковскому к Центральному дому литераторов с лозунгами, содержащими требования творческих свобод. Среди них — лозунг «Лишим соцреализм девственности!»*

— А через год, летом 1966-го, 19-летнего Володю Батшеву якобы за «тунеядство» выслали в Красноярский край, в село Большой Улуй. Эдмунд Иодковский ездил в Сибирь навещать его. Еще кого-то сослали, кого-то выгнали. Но это оказалось самым интересным событием в жизни нашего поколения. Если бы тогда была такая свобода, как сейчас, наверное, мы бы состоялись гораздо раньше и лучше. Сейчас все это «собрание камней» коснулось и СМОГа. Я знаю, что готовится сборник о СМОГе, мы уже все написали, что могли, друг о друге.

СМОГ распался. Потом я три года проработал в «Литературной России» при Константине Поздняеве, в отделе национальных литератур. Говорят, что я был очень подающим надежды — и самым молодым сотрудником «ЛитРоссии». Я пришел туда с улицы. Нашлись какие-то добрые люди и сказали: «Напиши, как умеешь». Я написал несколько заметок, меня взяли, стал работать. Это была страшная мельница — каждодневная, до потери сознания. Но это была прекрасная школа, и, несмотря на всю консервативность этого органа, у меня остались самые лучшие чувства к этим людям. Много ездил по России, писал о национальных проблемах местных писательских организаций. Переписывал материалы за писателей. Приходилось часто переписывать «от и до», чтобы как-то поместить в рамки газеты, как-то привести к общему знаменателю все материалы. В «ЛитРоссии» я работал профессионально, это был самый грамотный еженедельник, настоящий русский язык.

Два лета работал в «Студенческом меридиане», ездил по Таймыру, по всему Красноярскому краю. Сборник мой выпустили. А потом я понял: что же, буду писать о писателях все время? Должен и сам что-нибудь написать стоящее.

Даже при диктатуре Сталина... я помню детство свое — сталинское время, помню атмосферу, помню давящее небо, все это тяжелое, отвратительное время... Даже тогда, в конце концов, продолжались искусство и литература — может быть, неофициальные. Где-то в глубине шло творение, шла работа духа. И это самое главное, этому не может ничто помешать...

Я ушел из «Литературной России», потому что понял, что больше не могу подчиняться всем этим редакторам. Я знал, куда ехать, у меня есть друг Юра Самоненко (ныне эмигрировавший), у которого был дом в лучшей деревне на Волге. В верховьях Волги — деревня Едино-

ново, Конаковский район, Калининская область. Глухо-глухо. Уехал туда с шестьюдесятью рублями. Сказал себе: «Не знаю, что я найду — любую работу, только чтобы не быть в Москве, в редакции». Вся эта суета для меня была очевидно-бессмысленна.

Приехал, нашел довольно быстро работу — егерем в Безбородовском охотничьем хозяйстве. Вселился в какой-то дом, стал жить.

Как всякий журналист, который хочет писать русскую прозу, я стремился к свободному времени. Вся проблема — время: во что его вложишь, то и получишь. Хорошо — ночной сторож, хорошо — истопник. Это обычные пути пишущей русской интеллигенции.

Электричества на кордоне не было. Лошадь была, моторная лодка, собаки, я занимался охотой, от кабана спасался — на березу лазил... Делал какую-то работу, но оставалось много свободного времени. Вот и написал «Школу для дураков».

Очень интересная деталь: прямо на берегу Волги стоял большой недостроенный двухэтажный дом и я в нем жил. Туда привозили охотиться разных людей, в том числе и Брежнева, и всех его генералов, министров... Они там веселились в свое удовольствие.

По простоте своей мы не знаем, что там, на излучине Волги, стоит до сих пор незамысловатая база отдыха дипломатического корпуса. Кишмя кишит агентами КГБ. Там можно все купить за рубли. Завидово недалеко, где еще Ленин охотился. Вот с каких пор все это повелось — охотничьи забавы вождей...

На некоторых островах на Волге были деревни, но с постройкой Иваньковского водохранилища их выселили. Я жил на берегу Волги — и не знал, что рядом есть остров Низовка, большой остров, там фундаменты какой-то старой деревни остались. Когда плотину построили, начался разлив и деревню снесли.

— *Нечто подобное описано у Распутина в «Прощании с Матерой».*

— Но я-то об этом узнал только в Америке, в библиотеке копался — и нашел. Оказывается, на этой Низовке жил удивительный русский поэт Спиридон Дрожжин, который и пахал, и писал стихи. Поэт от сохи был первым переводчиком Рильке в России. И Рильке дважды приезжал в эту деревню к нему гостить.

Так вот, на Волге я провел в общей сложности полтора-два года — и написал книгу. Нет, я не хотел быть

ни лифтером, ни истопником, ни ночным сторожем. Мне хотелось все-таки жить где-нибудь на воле — и я нашел такое место, охранял лес от браконьеров.

— *Как сложилась судьба твоей первой книги?*

— Было совершенно ясно, что в Советском Союзе ее никогда не напечатают. Я чувствовал, что это неплохая книга. Конечно, я ни в чем не был уверен, не понимал, из чего она сделана. Она написалась — и все. И я начал подумывать, что надо каким-то образом отправить рукопись на Запад. Отправил совершенно наугад, с оказией. Шла она странным путем — через Египет или через Алжир и оказалась почему-то в штате Мичиган, в «Арди-се», совсем еще молодым издательстве. Его владельцем и основателем был замечательный человек, удивительный ученый Карл Проффер, ныне покойный. Начал он с четырехсот долларов и маленького компьютера прямо и гараже, потом переехали в новый дом, он и его жена Ориндея. Она была выпускницей русского факультета Мичиганского университета. Никакого отношения к России они не имеют, русской крови в них нет. Это просто люди, хорошо выучившие язык и влюбленные в русскую литературу, совершенно дико влюбленные. Для Америки это редкий случай. Но в Америке есть все, можно найти фанатиков любого дела. И они, начав это дело, вложили в него всю душу.

Рукопись пришла в растрепанном виде, недоставало первой титульной страницы, где было название и мое имя. Пришел совершенно безымянный, анонимный текст. Его дали на рецензию Иосифу Бродскому. Он очень хорошо отозвался о тексте. Но почему-то он решил, что это новая книга Марамзина, ленинградского писателя. Поддержал, сказал, что немедленно надо печатать.

Потом пришла отдельно в конверте потерянная страница. Оказалось, что эту «Школу для дураков» какой-то Саша Соколов написал. Тут произошла не очень приятная вещь. Иосиф сказал: «Нет, Карл, я погорячился. Не стоит это печатать».

Тогда Карл сделал копию и отправил на рецензию Набокову. И Набоков написал о «Школе...» знаменитые три эпитета — «трагическая, трогательная и возвышенная книга». И эти слова решили мою судьбу.

Я уже в это время был в Вене...

— *«Школа для дураков» сразу вышла на русском?*

— Нет, сперва она вышла в переводе Карла Проффера. Он потратил на это год, больше ничем не занимался.

Потом книга вышла еще на семи или восьми языках в Европе. Но издательство «Ардис» маленькое, оно не могло себе позволить вложить много денег в рекламу. Без денег в Америке плохо. Действительно, как я знал уже из советского опыта, никакой талант сам по себе не пробытается. Даже в самого гениального человека нужно вложить деньги. Чем больше вложено, тем больше имя. Но можно и из абсолютного нуля сделать все, что угодно.

Они что-то там сделали, конечно, для меня. У меня было турне по Америке. Первая лекция в жизни в Стенфордском университете. Семь потов с меня сошло, было жарко в Калифорнии в феврале. Первое в моей жизни выступление перед очень большой аудиторией. Я просто чуть не умер от страха. А потом привык.

Но ключевой город — это Нью-Йорк, пробиться в нем исключительно трудно.

Вторая моя книга о Волге, о егерях и о странных обстоятельствах одного человека, который зовет себя «запойным охотником». От его имени написаны тридцать семь стихотворений, цикл так и называется — «Записки запойного охотника». Это роман, эпиграф для него мне подсказал Набоков. Эпиграф из Пушкина:

Люблю я дружеские враки
И дружеский бокал вина
Порою той, что названа
Пора меж волка и собаки...

Это из «Евгения Онегина». Набоков написал моему издателю, что я работаю над романом, который называется «Меж собакой и волком», пусть издатель учтет, что есть такая строка у Пушкина.

Многие люди помнят наизусть, к моему удивлению, все тридцать семь стихотворений из этой книги, где стихотворные главы чередуются с прозаическими. Например, «Портрет знакомого егеря». Оно, это стихотворение, начинается так:

Март хрустяще хрустелен
И сосулькой звенит,
И дыханьем, проталин
через фортку пьянит...

«Меж собакой и волком» напечатана в Саратове, в журнале «Волга». «Школу для дураков» переиздали в маленьком нью-йоркском издательстве. А вскоре выходит третий роман — «Палисандрия».

Моя «Палисандрия» вышла в большом авангардистском издательстве. Создано оно было в конце 50-х, оно

подарило Америке Беккета, Ионеско, весь знаменитый европейский авангард. Издательство увлекается и русскими литературными делами, организует различные конференции.

— *Кстати, ты катишь бочку на историю, а разве твой роман «Палисандрия» не исторический роман, ведь он касается судьбы Берия.*

— «Палисандрия» — целиком пародийный роман, пародия на мемуаристику, на исторические романы. Совершенно четко я выразил в нем свое отношение и к истории, и к жанру исторических сочинений. Не подумай, что я призываю забыть кровавую историю России, но, повторяю, так, как это делает Солженицын, меня не устраивает. Я просто жалею, что он не пишет больше своих замечательных романов.

Так вот, в Нью-Йорке есть литературная элита, у которой свои правила и законы, и ты должен каким-то образом в эту элиту войти. Практически никто из русской эмиграции, кроме нескольких человек, в Америке не пробился. Русская литература сложна для американского читателя. Надо объяснять незнакомые реалии. Я знаю некоторых молодых пишущих ребят, которые решили, что они по-русски не будут писать. Сейчас они пишут только по-английски, стали американскими писателями. Они выехали в возрасте 20—25 лет — и это еще одна потеря для русской литературы.

Нина Берберова сказала мне, что единственное достойное писателя место в Америке — это университет, работа в университете. Поэт или писатель, постоянно живущий на территории университета — это некий духовный стержень, литературный попечитель студентов. Его должность «не бей лежачего» — он совершенно не ходит на работу. Просто из уважения к литературе человеку дается возможность спокойно писать.

Но я, поработав в университете, решил, что это мне тоже не подходит. Я не люблю преподавать, хотя могу это делать.

Из настоящих американских писателей литературным трудом зарабатывают, может быть, человек тридцать. Остальные заняты журналистикой, пишут бесконечные рецензии и преподают. Даже Курт Воннегут и Апдайк в последние годы жалуются, что у них уменьшается доход, они не могут позволить себе содержать большие дома. Не так все просто, тиражи уменьшаются даже у них.

А эмиграции остается только что-нибудь на подхвате писать, какие-то внештатные статьи... Многие работают на радио. Есть система премий для писателей, художников, скульпторов, певцов. Премии называются «гранды». Существует масса благотворительных организаций: в США — частных, в Канаде — правительственных, потому что Канада — более социалистическая страна. Я получал «гранды». Надо написать заявление, предложить свои лучшие работы и отзывы видных специалистов в этой области. И тогда ты имеешь шанс получить какие-то деньги на протяжении года или одноразовую премию — 45 тысяч долларов. А иногда человека посылают жить в Париж, дают деньги на квартиру. Это очень приятно. В Скандинавии это распространено. И там даже поэты без больших имен живут на правительственном обеспечении.

— *Ты пишешь стихи, хотя почти не печатался как поэт. Что ты думаешь об Иосифе Бродском?*

— Пожалуй, ничего нового я не скажу, кроме того, что он необыкновенный поэт. Слава богу, что он сумел выжить. Интересно наблюдать за его эволюцией как поэта. Это предмет для исследователей.

Другое дело — меня не устраивают его личные качества. Я думаю, что он болезненно самолюбив и немножко ленив. Ему приписывается выражение, что эмиграция существует только для одного русского писателя. Во всяком случае, это высказывание передал мне в письме один человек, которому эти слова сказал сам Бродский. Правда, впоследствии тот человек почему-то отрицал этот пассаж. Бродский принадлежит к группе людей, которые управляют, являясь как бы лидерами определенного круга. Эта группа людей определяет ход событий в американской литературе, это та самая нью-йоркская элита, клан, о котором известно довольно много. И этот клан выше даже больших денег, нужно обладать особыми качествами, чтобы стать его членом, войти в этот круг избранных. Скажем, если бы в него надумал войти Солженицын, мне кажется, его бы не приняли.

То, что он литератор, что он автор каких-то текстов, это практически не играет роли, потому что текстов, как я говорил, никто не читает. Это для нас Бродский большой поэт, а для них — Нобелевский лауреат. Те люди, которые его поддерживают и финансируют, у них не хватает ни времени, ни образования познакомиться, понять эти тексты. Их это не волнует. Они просто поддерживают

пиление института пострадавших в Советском Союзе, и Бродский попал в самую первую обойму.

Эдуард Лимонов заметил, что тот, кто хорошо сидел в России, получает свои пряники на Западе. Это трудно оспорить. За эту крамольную мысль Лимонова хотели отлучить от всего, закрыть в русской эмиграции. Но он выдержал. Дело в том, что сложные взаимоотношения, не политические, а литературные, духовные, которые существовали здесь, они во многом перешли и в эмиграцию. Там тоже образовался как бы свой союз писателей, хотя никто никого никуда не выбирал. Но в силу каких-то обстоятельств обозначились, выделились определенные фигуры, диктующие, что делать, кому что давать, кого печатать, кого не печатать, чьи книги не продавать, а чьи продавать, чью давать рекламу. Согласись, напрашивается слова «мафия», набившее оскомину слово. Я просто не могу иначе все это назвать. Был такой писатель Николай Боков, племянник поэта Виктора Бокова, которому на Западе не повезло. Его перестали печатать. За что? За то, что он позволил себе высказать какие-то насмешливые публикации в адрес значительных лиц, и эти значительные лица окрысились, выгнали его из газеты «Русская мысль», где он работал, а потом, смешно сказать, выгнали еще и из монастыря, который ко всему прочему был и центром помощи неимущим русским художникам. Выгоняли его на моих глазах, грозя полицией, те люди, которые еще недавно сидели в советском лагере, и у них еще и волосы-то не успели отрасти. В общем, печальная история, которая наводит на мысль, что чиновничество, чинопочитание, бюрократический синдром — у нас в крови. Правда, не только у нас: я знаю, что те же самые тенденции и в польской эмиграции, и в чешской, и в кубинской. Но не все черно, есть светлые фигуры. Скажем, тот же Василий Аксенов, человек очень объективный, который никогда никого не топил, не закрывал ходы в издательства, в редакции, а, наоборот, всегда всех поддерживал. А многие литературу рассматривают через политическую призму. Литература для них способ самовыражения, самоутверждения у кормила власти. Каким бы малым ни было это кормило, как бы ни выглядело мелочным все это со стороны, эти люди не чувствуют всю пародийность ситуации и имеют о себе весьма высокое представление. Конечно, надо отдать им должное, что они участвуют в борьбе за права человека, они много сделали для освобождения России и, наверное,

еще сделают. Но лучше бы они только этим и занимались и не смешивали политику с литературой, с искусством.

— *Но Иосиф Бродский, кажется, холодно относился к Набокову?*

— Могу похвастать тем, что он заодно и ко мне, по моему, холодно относится. Есть в этом какая-то закономерность, потому что мы, наверное, не совпадаем по звездам. Мы совершенно противоположные: он — бык, а я — скорпион — тут все совершенно ясно, так и должно быть, мы два диаметрально противоположных знака. А потом, то, что я делаю, это, по-видимому, не его, не близко ему. Конкретно о моих вещах мы никогда с ним не говорили, как-то все больше о другом. Он ведь классик. Я говорю ему однажды: «На недавнем выступлении ты сказал, что стремишься к классической простоте. Но разве ты классик?» Бродский отвечает: «Да, я классик». Я говорю: «А я думал, что ты модернист».

Он всегда отрешивается от модернизма, хотя, на мой-то взгляд, именно он очень продвинул русский стих по пути авангарда. Правда, как бы с другой стороны. Я это делаю по-своему, а он по-своему. Он, скорее, подражает классическим образцам, но под видом имитации классического стиха. Отношения наши сложились довольно необычно, потому что и я был в «Ардисе» одним из ведущих авторов, и он, мы жили в одном городе, были гостями одного и того же издательства Карла Проффера. К сожалению, вышло так, что ему не нравилось то, что я пишу, а мне нравилось то, что пишет он. Но он почему-то постоянно рекомендовал издателям, и не только Карлу Профферу, чтобы меня немножко попридерживали. Мне это, естественно, не нравилось. В конце концов мы перестали видеться.

— *Что ты имел в виду, отвечая на вопрос журнала «Иностранная литература», что лучшая твоя проза — некоторые письма друзьям и подругам юности?*

— Это действительно так, в юности я писал какие-то письма. Но вопрос в интервью был неправомерный: «Что из всего вами написанного вы считаете лучшим?» А я ничего не считаю, я вообще-то, если честно, не очень доволен тем, что написал, это не совсем то, но у меня нет времени, чтобы что-то улучшить, ведь в конце концов иногда и надо печатать очередную книгу. Что же мне оставалось ответить? Я решил отшутиться: да, письма вспоминаются, потому-то и времена были хорошие, когда я учился в 596-й школе Москвы,

— Тебя выругал в «Литературке» критик Урнов. Надеюсь, что ты не расстроился, не принимай это близко к сердцу. Кстати, он проехался и по Венечке Ерофееву. Как ты относишься к его творчеству?

— Книга Ерофеева «Москва — Петушки» появилась, наверное, раньше других. Было несколько писателей, близких друг к другу, но мы не знали друг о друге. Ерофеев немножко старше меня, но делали мы одну и ту же работу, мы искали что-то новое. Этот поиск он начал раньше многих из нас. Уже после «Школы для дураков», спустя несколько лет я открыл Ерофеева, я не читал его до этого и был удивлен многими совпадениями. Не зря профессора-слависты на Западе нас часто сравнивают. Наверное, Урнов под впечатлением одной из таких статей какого-нибудь слависта погорячился и написал эту статью.

— Существует ли для тебя понятие ностальгии, тоски по родине?

— Нет, я испытывал ностальгию по Европе, но не по России. По языку русскому — да, я испытывал ностальгию. Мне дорог был и родной язык, и какие-то европейские мотивы.

— Какую роль в книге играет глава «Теперь. Рассказы, написанные на веранде», загадочно выпадающая из остального текста?

— Эта глава играет роль временного фона. Глава и делает книгу, на мой взгляд. Из повести она делает ее романом, потому что показывает судьбы людей, в окружении которых живет герой. Эта глава мне была нужна. Я специально ее выделил.

— Видел ли ты себя пятнадцать лет назад советским писателем, членом СП СССР? И еще, виделся ли твой жизненный путь с самого начала литературной работы, то есть текст определял твою судьбу?

— Нет, текст не определял судьбу. Я просто решил написать книгу сознательно, я был уверен, что напишу книгу, которая никогда не будет опубликована в Советском Союзе, и поэтому чувствовал себя свободным от всяких обязательств по отношению к советской литературе.

— Язык для тебя средство, цель или что-то третье?

— Не средство, это точно. Цель, может быть, да, поскольку я люблю язык и хочу видоизменять его. В этом, наверное, можно усмотреть какую-то цель.

— *Пересеклись ли твои пути с путями Эдуарда Лимонова? Как ты относишься к его творчеству?*

— Очень хорошо отношусь к его стихам, особенно к ранним, когда он еще был портным и шил модные брюки, костюмы где-то в подвале ЦДЛ. Это чрезвычайно забавные стихи. Но тот перелом, который произошел с ним в Америке, закономерен, он пошел на это конечно же скрепя сердце. Я понимаю его. Человек выехал поэтом, а в Америке никто не хочет понимать поэзию. Жалко ему стало, что он так останется ни при чем, вот и перешел на прозу. Я рад, что по крайней мере во Франции он пользуется большим успехом. Но Лимонов, безусловно, талант огромный. Я надеюсь, что он сумеет совершить в себе еще один перелом.

— *Мне понятны твои чувства и эмоции насчет языковой среды, в которой ты сейчас очутился. Но у нас нынче очень многие нации оказались в твоей ситуации, живя на своей земле. Твое мнение по поводу катастрофического положения писателя-национала в нашей стране, где повсюду звучит только русский язык?*

— Я думаю, что писатели национальных литератур должны воззвать к своим народам и пробудить их. И я думаю, что не следует препятствовать разьединению, это единственно правильный путь. Мне думается, что мы были бы счастливее, если бы жили по отдельности.

— *Ты стилист. Как ты «пишешь», как рождается фраза?*

— Когда я не занят выступлениями, стараюсь работать каждый день, тем более сейчас есть условия для этого. Уже два года назад я стал материально независимым человеком, меня поддерживает фонд моего же имени. В свое время общества, поддерживавшие художников и литераторов, были и в России. Что касается фонда моего имени, то это сегодня довольно редкий случай. Когда-то в свое время был фонд, поддерживавший в Париже Марину Цветаеву.

А как рождается фраза? Я не знаю, как она рождается. Важен звук, все идет от звука. И я жду этого звука, как когда вдруг что-то придет и что-то появится. Но вообще ответить на этот вопрос трудно, ведь пишу я с детства.

— *Я слышал, что ты едва ли не стал обладателем премии Маккартера, это очень дорогая премия, порядка миллиона долларов. Почему же ты потерял эти деньги?*

— Некто Маккартер, миллиардер, в своем завещании

просил часть его наследства расходовать на нужды американских и отчасти иностранных писателей и художников. И вот, выполняя его волю, несколько десятков премий ежегодно вручается ученым, писателям, художникам. Есть в этой процедуре маленькая тайна: никто не знает, каким образом, кто выдвигает кандидата на премию. В моем случае так получилось: меня рекомендовала одна организация, заявление прошло все инстанции и я уже потирал руки. Но не тут-то было, хотя абсолютное большинство опрошенных ответили: «Да». И вдруг в самый последний момент, когда все предполагаемые отзывы были собраны, оказалось: кто-то очень влиятельный дернул за ниточку. И я остался с носом.

— *Кто же это сделал?*

— Я не знаю. Могу только предполагать: один из моих недоброжелателей. Назвать его, извини, мне бы не хотелось.

— *Саша, ты вроде бы хочешь вернуться домой, а как ты думаешь, почему другие не возвращаются?*

— Многие из уехавших убеждают себя, что сделали это по политическим соображениям, хотя уехали они по экономическим соображениям. У многих и то, и другое. Прожив несколько лет на Западе, абсолютно все привыкают к хорошей жизни, даже самые непримиримые к Советской власти, политические эмигранты. Им уж как-то страшновато возвращаться, ибо здесь снова начнется суетная голодная и холодная вчерашняя жизнь: беготня по домоуправлениям за какими-то справками, ежедневное смотрение программы «Время», очереди, нехватки. Инерционно они к такой жизни уже не готовы. Человек есть человек. Себя они успокаивают: «Мы уже не первой молодости. Зачем нам снова переезжать? Возвращаться туда, где постарели друзья, а иных уж нету, да мы там уже ничего и не сможем...» Даже при полной гарантии, если, конечно, кто-то такую гарантию может дать, политической стабильности страны многие уже никогда не вернутся. Почему? Да разве могут они бросить свои роскошные розовые домики? Свои райские уголки. А я в этом смысле несентиментален. Мне не грозит такого рода ностальгия, мне все равно где жить...

Вот ты смотришь на меня удивленно и, наверное, думаешь: «Это он эпатирует». Но я тебе скажу, что, к сожалению, мысли эти не мои. И жаль, что я сам не дошел до них. Я очень хотел бы сам дойти до всего этого, но вразумил меня в свое время замечательный американ-

ский журналист Крайский из «Америкэн-пресс». Человек мужественный, немного смешной, забавный, он объездил много стран, как аккредитованный журналист. Мы встречались с ним здесь до моего отъезда на Ваганьковском кладбище поздними вечерами. Он помогал мне с отъездом, брал интервью, писал обо мне. Однажды он сказал, что хотел бы встретиться со мной через несколько лет, чтобы получить подтверждение его мыслей об иллюзии, и он сказал тогда: запомни, что все равно где жить и в какой стране. Кстати, эта мысль сопрягается с мыслью Эрнста Неизвестного о том, что художнику не нужна свобода, художник может жить при любом режиме. Я не хочу сказать, что приветствую диктатуру, я человек глубоко анархический по своему духу, вообще любая власть мне отвратительна, мне многое смешно в государственных устройствах многих стран, да мне и не хочется об этом думать, но даже при жесточайшей сталинской диктатуре, даже тогда, в конце концов, продолжалось искусство, литература. Искусству никто и ничто помешать не может. Я в этом теперь уверен окончательно. Ведь мой опыт оказался таким же, как у того американского корреспондента. Конечно, хорошо иметь машину, приятно быть всегда выпавшимся, полезно вкусно питаться, но разве все это имеет какое-либо отношение к настоящему творчеству?!

— Скажи, пожалуйста, почему ты, давно уже взрослый человек, и в быту, и на обложках книг называешься Саша? Почему не Александр?

— О, это забавно. Кто из нас, уехавших, думал, что когда-нибудь мы вернемся в Россию? Все канаты были оборваны. Поэтому я рассудил, что имя Александр на Западе звучит тяжеловесно, помпезно. Мне нравится имя Александр, но на Западе оно производит впечатление почти опереточное, анекдотическое, особенно для американского уха. Они все равно сделали бы из меня Алекса. А Саша — имя распространенное и считается на Западе полным, не связанным с Александром.

— А первые твои публикации в России были под собственным именем? Ведь ты, кажется, успел опубликовать несколько рассказов.

— Тут тоже любопытно. Когда я начал печататься в «Литературной России», членами Союза писателей СССР уже состояло шестнадцать Соколовых, из них несколько Александров Соколовых. Один из них, уже пожилой человек, может быть, он здравствует и сейчас, нашел мой

телефон и, регулярно звоня, стал требовать, чтобы я сменил имя или нашел себе какой-то псевдоним. «Но почему и должен искать себе псевдоним?»—говорил я ему в трубку.— Ищите сами».— «Да,— парировал мой оппонент,— но я уже известный писатель, у меня много книг, и вы только начинаете, и вам ничего не стоит обзавестись новой фамилией». Тогда я посоветовался с редактором газеты Константином Поздняевым, и он отрезал: «Даже не думай, пусть он сам меняет фамилию. У тебя хорошие и имя и фамилия». Мой преследователь продолжал приходить в редакцию, скандалил, стучал ногами, требовал... Такая вот история.

А на Западе я решился на Сашу еще и потому, что чувствовал как бы традицию от, допустим, Саши Черного. Да и проще как-то оно звучит... Саша Соколов. Правда, я знаю, что Саша Черный впоследствии жалел, что оставил себе такое имя. Когда он был уже пожилым, мальчишки кричали ему вдогонку: «Саша идет». В Америке нет этих церемоний с именами-отчествами. Вот я приехал сюда, и мне как-то странно слышать, когда мои сверстники называют друг друга по имени-отчеству и меня величают Александром Всеволодовичем. Я совершенно от этого отвык, и такое обращение для меня звучит как средневековье. Ты знаешь, я, наверное, человек, все-таки немного опередивший свое время. Я не считаю это выдающимся поступком, это не поступок, просто я родился под каким-то определенным знаком и пребываю как бы немного не в своей тарелке. В этом нет преимущества перед другими, просто функция данного человека, его роль, а иногда, быть может, и миссия.

Я посмотрел на время. Мы «гудели» уже четыре часа. Саша начинал повторяться и немного устал.

И тут я снова вернул его в самое начало, попросил вспомнить о первых пробах пера.

— Кроме работы в «Литературной России», где занимался писанием статей, я опубликовал только один рассказ. За два года работы егерем написал «Школу для дураков». Однажды в киоске я купил журнал «Жизнь слепых». Смотрю, объявлен литературный конкурс на лучший рассказ. И я написал про слепого капитана, который живет на берегу моря,— одинокий, заброшенный человек, беседует только со своей кошкой. Станный, наивный рассказ, но он получил первую премию. Рассказ, конечно, изуродовали. Этот опыт стал последней каплей моего терпения. Подстраиваться под литчиновников

я не хотел и не мог. И решил, что жить здесь больше не смогу.

Сейчас же я чувствую, что Россия должна измениться, она уже меняется. Этого времени я ждал и знал, что оно придет. Когда оно наступило, я ощутил его почти физически, ощутил как бы волну нового времени, эта волна совпала с началом перестройки.

Нашему литературному поколению пришлось туго, поэтому нас почти нет. Тяжелый каток реализма, давления писателей-реалистов, соответствовавших времени, своими тяжелыми грузными томами-телами сместили нас в сторону. Сместили, но, слава богу, не раздавили. И вот сейчас, быть может, нам выпал шанс, когда само время поможет нам проявиться именно здесь, на родине, а не за границей. Быть может, мы что-то успеем здесь сделать...

В основу этого интервью положены и другие беседы с писателем, состоявшиеся летом 1989 года. Саша прожил в Москве и под Москвой больше года. Съездил в Грецию, там вроде бы сгорел его домик, сгорели рукописи. Соколов дал несколько интервью нашим газетам и журналам, выступал по телевидению. Подготовил к печати несколько своих книг. По-видимому, написал новый роман или повесть. В последнее время он скрывался ото всех, порой его невозможно было найти.

А у меня в голове все время сверлило: «Уедет или не уедет?» Вроде бы так резко вспоминал о Западе, об Америке, крушил авторитеты. И вот узнаю: уехал. Куда? Не знаю. Надолго? Может быть, его здесь что-то смутило? А может, поглядев на перестройку и нашу гласность, решил не искушать судьбу? Кто знает.

Июнь 1989 г.

«ЗАЙДЕМ К КАМКИНУ?»

**Беседа с Анатолием Забавским,
управляющим магазином русской книги в США**

Если бы в Америке был спрос и голод на книги, как в Советском Союзе, я бы купался в деньгах. Деньги для меня, поверьте, не самое главное, меня здесь иные называют бессребреником, я просто люблю книгу, люблю свое дело, которому, теперь это уже мне ясно, отдам всю оставшуюся жизнь. И, приезжая в Советский Союз по делам, я горжусь тем, что меня понимают, со мной считаются. Ведь книга — это нечто больше и значительнее, чем бизнес.

— *У нас в Союзе по-прежнему книжный голод. Скажите, я могу заказать у вас книги из Москвы?*

— Если вы заплатите долларами, пожалуйста, я вам отправлю все, что вы хотите. Доставка идет шесть недель, пароходом.

— *Были ли случаи, когда вы выполняли какие-то неожиданные заказы. Ну, например, Белого дома, президента?*

— Был случай, когда Белому дому срочно понадобился альбом «Космонавтика СССР». И мы помогли. А в общем-то это обычная работа, это для вас может быть необычно: от президента просьба, а для нас он заказчик, как и другие. Американские космонавты обратились в свое время с просьбой раздобыть книгу Алексея Леонова с его рисунками. Мы конечно же помогли. Ведь вся наша работа — выполнение заказов, чтобы ни один заказ не был бы невыполненным.

— *И были такие случаи?*

— Не припомню. Правда, была одна необычная просьба: понадобилась карта дореволюционного Петербурга. Старый русский эмигрант какой-то так затосковал, что решил наглядно припомнить, где он жил до революции, да и то, кажется, мы его удовлетворили. У Камкина девиз такой: все русские книги, нужные клиенту, должны быть найдены. Например, пропала в какой-то библиотеке книга. Кто ее может восстановить?

Думаю, что в иных ситуациях только мы. Ведь у нас есть все. Спуститесь еще раз в наши подвалы...

Подвалы книжных магазинов Виктора Камкина в Нью-Йорке и Вашингтоне — сны моей жизни. Думал ли я когда-нибудь, что придет время, и я смогу увидеть своими глазами сразу два миллиона книг, каждая из которых доступна... если у вас есть доллары! Но я смотрю на эти сокровища уже третий раз за два года. Когда корреспондент «Голоса Америки» в Вашингтоне спросил меня, что больше всего поразило меня в США, я, не задумываясь, ответил: «Магазины русской книги Виктора Камкина!»

...В 16-летнем возрасте Виктор Камкин стал участником белого движения. Воевал в колчаковской армии, участвовал в знаменитых боях под Волочаевкой. Пересек границу Маньчжурии и Китая и сдал вместе с товарищами оружие китайскому правительству. Попал в Харбин, куда съехалась восточная эмиграция. Закончил юридический факультет. Работу по душе не нашел, ибо юристов было в избытке. Начал работу в полиграфии, открыл свою типографию и свое книжное дело в Харбине. Книги отправлял в Европу, переиздавал, в свою очередь, европейские издания. В 1947 году выехал из Китая в США, в Сан-Франциско, а чуть позже поселился в Вашингтоне, где в 1953 году и открыл маленький книжный магазинчик. Поначалу торговал книгами из собственной библиотеки, кое-что покупал у эмигрантов, поддерживая их материально, и сам на этом немного выручался. Дело шло в рост. В 1957 году к нему пришел представитель советской Торговой палаты и предложил заказывать книги непосредственно из СССР. И вот за эти 36 лет начинание Камкина выросло в крупнейшую в мире (во всяком случае, за пределами СССР) компанию по реализации литературы, на русском языке, изданной на Западе и в СССР.

Несколько лет назад Виктор Петрович Камкин умер. Дело взяла в свои руки его жена Елена Андреевна. А сейчас компанией практически руководит Анатолий Забавский, предприимчивый, умелый, добрый человек. Живет он в столице США, но каждую субботу приезжает в Нью-Йорк. У него как бы две штаб-квартиры. Нередки и поездки в Москву...

— Сам я инженер-электромеханик. В книжное дело попал почти случайно, но теперь меня отсюда топором не вырубешь. Русские книги меня заворожили. Родил-

ся я в Польше, в Америке живу уже сорок лет. Приехал с родителями. Сюда на работу переехал в семидесятом, пригласил меня сам Камкин, он и обучал книжной торговле. А я уже прирастил к этому делу своих детей, нью-йоркское отделение компании возглавляет сын Виктор. Младший еще в университете, дочь Наташа рвется в Лос-Анджелес открыть магазин русской книги.

— *Значит, вы напрямую связаны с нашей «Международной книгой», вы — партнеры?*

— Да, мы покупаем у «Межкниги» продукцию и сами назначаем номинал в долларах. Бизнес простой: покупаем мы со скидкой и с этого процента зарабатываем. К примеру, «Русско-английский словарь» Смирницкого стоит 19 с половиной долларов. Номинал назначает «Межкнига», мы продаем за эту же цену, но наши партнеры дают нам скидку. И это, как говорится, наш навар. А вообще мы можем книгу и уценить, и завысить. Но стараемся придерживаться цен, установленных «Межкнигой». Еще добавлю: в свое время эта организация выдала лицензии предпринимателям во многих странах с договоренностью торговать русской книгой по регионам. Мы, например, не имеем права выходить на рынок европейский, а Европа не имеет права торговать в Америке. С одной стороны, это хорошо, но с другой — Европа постоянно нарушает эту договоренность и стремится попасть сюда. Ведь в Америке рынок больше, да и доллар покрепче, постабильнее иных валют.

— *Сколько же книг вы продали в Америке за тридцать шесть лет?*

— В среднем продаем тысячу книг в день.

— *Каков контингент ваших потенциальных покупателей?*

— По статистике, в одном Нью-Йорке с пригородами живет четверть миллиона русскоязычных людей. В любом большом городе, где крупные предприятия, там и эмиграция. В стране где-то полтора миллиона людей, владеющих русским. Покупает книги приблизительно каждый шестой. Вы знаете, у меня уже выработалась своя философия подхода к покупателю. Один из моих принципов такой: эмигрант, который приезжает в США в возрасте двадцати пяти — тридцати лет, уже до конца жизни будет моим покупателем. Почему? Потому что он получил образование на русском языке. Да, со временем он свободно заговорит на английском, но все равно мыслить будет на русском, и без русской книги ему тяжело.

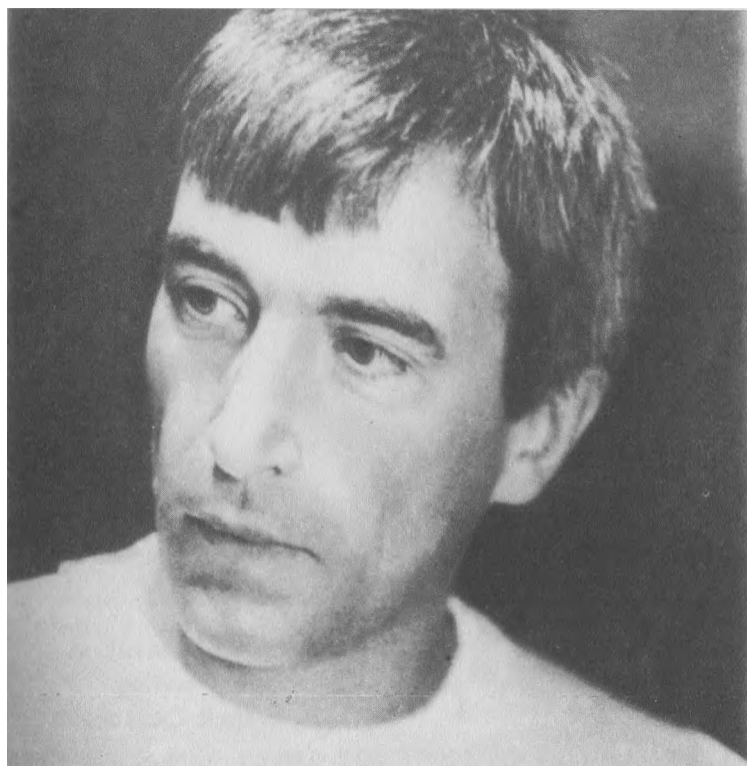


Иосиф Бродский

**Андрей Вознесенский
и Вилли Токарев**



Галина Вишневская



Нина Берберова

Саша Соколов



**Владимир
Кириллович
Романов**

**Иосиф Бродский,
Мария Розанова
и Андрей Синявский**



Олег Целков

Владимир Максимов



Эдуард Кузнецов

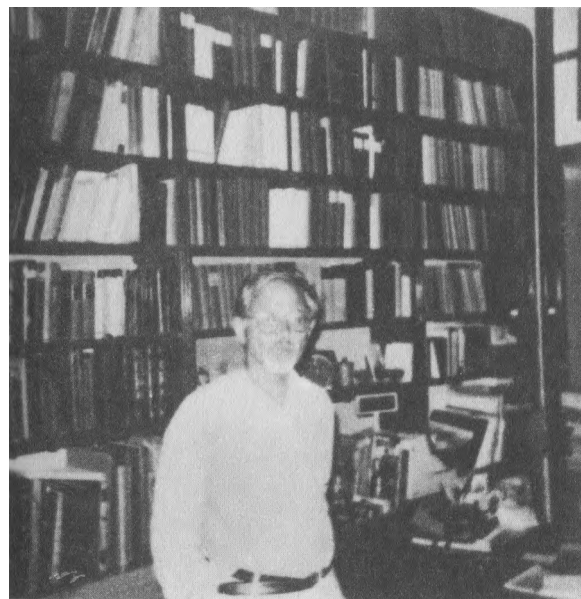
Феликсу Николаевичу
Медведеву,
с теплыми приветами

TU NE T'AIMES PAS

Натали Саррот
Париже.
16^{ое} ноября 1989



Натали Саррот



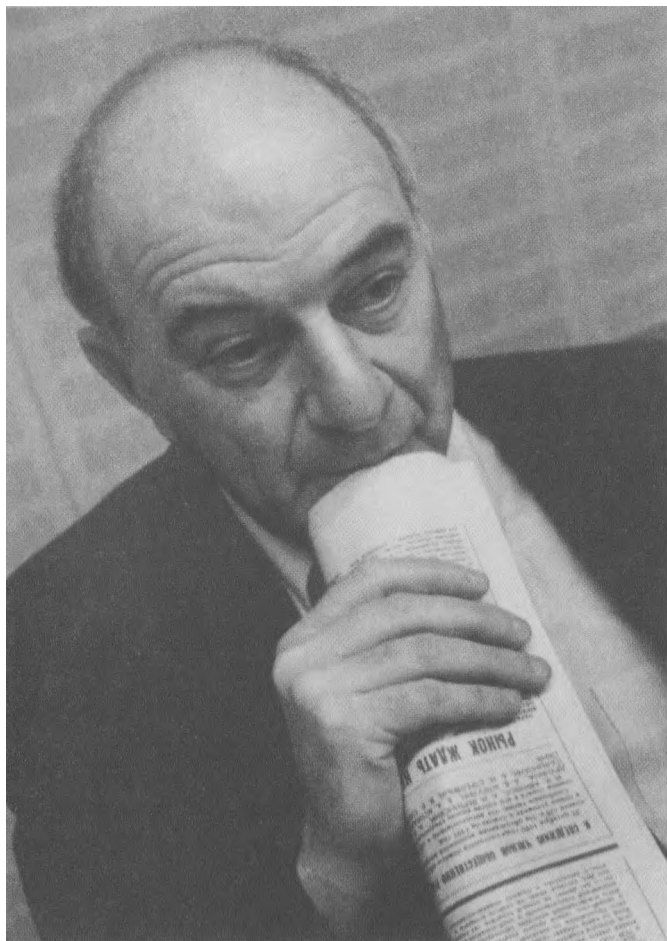
Зинаида Шаховская

Никита Струве



Александр Зиновьев

Леонид Махлис



Владимир Матусевич



Мария Разумовская

Элла Ивченко

УЧАСТНИКИ РИМСКОЙ ВСТРЕЧИ 1990 г.

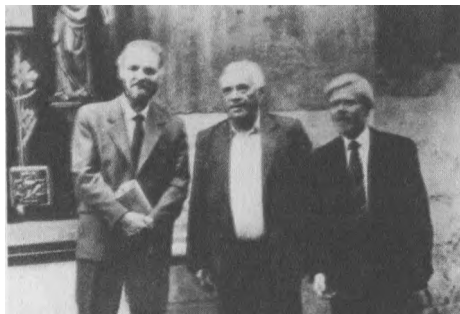
**Григорий Бакланов
и Василь Быков**



**Феликс Медведев
и Василь Быков**



**Владимир Крупин,
Виктор Астафьев
и Евгений Аверин**



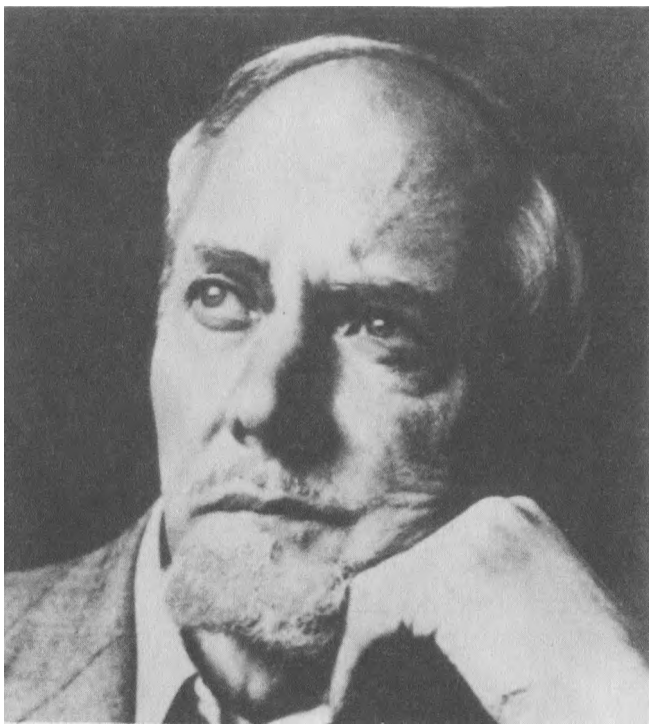


Зинаида Гиппиус



**Татьяна
Лещенко-Сухомлина**

**Ольга Кларк
и Хосе Рауль
Капабланка**



Михаил Хлебников

Дмитрий Панин



Елена Шапова



**Т. Н. Куликовский-Романов
у портрета деда —
императора Александра III**

Людей, которые сюда приезжают, особенно поначалу тянет к чему-то своему, к русскому. Они проходят по центру Манхэттена, по Пятой авеню, видят в витрине панораму Москвы, знакомые книги и конечно же заходят. Родители ищут книги для себя, а детишки просят: «Купи это, купи то». Этих же детишек я могу встретить через год, под мышкой у них может быть американская дешевая книга, долларовый бестселлер. Они уже не смотрят на советские книги, их уже тянет к книгам английским. А мама с папой — мои вечные клиенты.

— *Какие книги нынешних советских писателей пользуются наибольшим успехом у русскоязычной публики США?*

— Наибольший, пожалуй, интерес сейчас вызывает Анатолий Рыбаков, Анатолий Приставкин, Татьяна Толстая. 250 экземпляров книги Приставкина «Ночевала тучка золотая» разошлись за две недели. «Дети Арбата» Рыбакова за два месяца раскуплены в количестве двух с половиной тысяч. Знаете, лет десять назад этого количества хватило бы на всю мировую русскую эмиграцию!.. Недавно я был в Москве, сам отбирал его книгу «Тридцать пятый и другие годы», две тысячи экземпляров. Идет она как-то слабее. Возможно, потому, что в мягком переплете.

Особо хочу отметить большой интерес к книге Михаила Горбачева о перестройке. Пожалуй, эта книга по интересу побила почти все рекорды.

— *Замечаете ли вы девальвацию интереса к каким-то авторам? Как, например, в СССР?*

— Да, вы знаете, упал интерес к книгам Валентина Пикуля. Помню, что «Фаворит» пришел к нам в свое время в количестве одной тысячи экземпляров, из них восемьсот отправили обратно в Советский Союз. Оставшуюся часть раскупили сотрудники миссии ООН, дипломаты, советские граждане, бывавшие здесь в командировке. Они приходили в обеденный перерыв, брали по пять-шесть комплектов и отправляли домой. Теперь же ситуация изменилась. Упал интерес к Проскурину, Распутину, Белову. Во всяком случае, он не тот, что был раньше. «Затоваривается» Юлиан Семенов, слишком, наверное, часто издается. А вообще я с ним давно знаком, мы в хороших отношениях.

— *А каков интерес к публицистике?*

— Был у нас сборник «Иного не дано». Пользовался большим спросом, мы запросили его даже авиагрузом.

— *Что такое для вас конъюнктура? Как вы справляетесь с распродажей залежалой продукции? И вообще, есть ли она у вас?*

— Иногда трудно даже понять, что залеживается. Ведь у нас только многотомных подписных изданий около семисот. Ситуация в книжной торговле меняется постоянно. И многое зависит от ситуации на вашем рынке. Определенные события в СССР могут повлиять в худшем или в лучшем смысле на наш рынок. К примеру, в начале 70-х годов на наших складах скопилось много переводной литературы: Драйзер, Скотт, Золя. Она лежала мертвым грузом, никто не хотел ее брать.

— *А почему?*

— Да потому, что те русские, которые приехали в Америку много лет назад, свободно владели английским и западную классику читали на языке оригинала. Зачем молодому человеку, учащемуся университета или колледжа, Вальтер Скотт на русском?..

Но когда пошла третья волна эмиграции, то переводная литература стала быстро расходиться. Почему? Потому, что в России она была дефицитом. Люди покупали сразу на тысячи долларов. Мы давали возможность в кредит составлять целые библиотеки. Первый взнос — 10 процентов. С нашей стороны это был рискованный шаг, американцы так бы не сделали, так рисковать могли только русские. Поверить людям на слово, что называется, на «запису». И большинство людей рассчитывалось честно. Но находились, конечно, и обманщики.

Ваша система планирования выпуска книг (не знаю, как будет сейчас), мягко говоря, нечеткая. Помню, как ждали здесь читатели выхода Мандельштама в большой серии «Библиотека поэта». Предварительную подписку объявили году в шестьдесят четвертом, а том получили лишь в 1973 году. А тут и местные издания подоспели на русском языке — тот же четырехтомник в издании Международного литературного содружества.

Мало книг выходило хороших в России. Можно было на пальцах сосчитать, какие названия наиболее часто спрашивали покупатели. Сейчас, правда, ситуация изменилась. К примеру, еще недавно первые издания Булгакова расходились у нас мгновенно. А нынче на наших складах лежит, наверное, пятнадцать вариантов изданий этого замечательного писателя.

Пастернак, Набоков, Бек, Гроссман еще недавно считались сугубо эмигрантской литературой, выпускались

они «Ардисом», «Посевом». Они стояли у нас как зарубежные издания, что-то вроде анtilитературы. Мы их всегда держали, нам ведь надо снабжать университеты. Нам покупателя терять было нельзя. Да и потом, мы американская фирма, торгуем всем, чем хотим. Мы не являемся ничьим агентом, мы — частная корпорация, которая покупает и перепродает любые книги.

— *Нет ли у вас конфликтов с «Межкнигой»?*

— Нет. Мы в расчете. Но вообще в последнее время стало труднее работать. Мы заказываем книги по тем планам, подчас не зная авторов, заказываем, как кот в мешке... И делаем промахи.

— *То есть чего-то не надо было закупать?*

— Трудно подчас сказать, что надо, а чего нет. Та же приставкинская «Ночевала тучка золотая», надо было заказать ее в больших количествах, а мы взяли только 250 экземпляров. В чем есть всегдашняя уверенность, так это в детской книге. И у нас в Америке бабушки имеют сильное влияние на своих внуков. Мы видим — старушка пенсионерка для внука берет, вот и не жалко для нее скидки. Ведь если книга детская стоит пять-шесть долларов, то для пенсионерки уже дорого.

— *Имеете ли вы дело с нашими кооператорами?*

— Пока что нет, потому что, скажу честно, я не уверен, что они надежные партнеры. Ваша кооперация все еще в начальной фазе. А вот книги у них планируются интересные. С «Межкнигой» мы можем расплачиваться в конце года, а кооператоры деньги хотят вперед.

— *Заглядывают ли к вам наши писатели? Сознаю: в сущности, задаю провокационный вопрос, ведь еще недавно даже посещение вашего магазина считалось чуть ли не преступлением...*

— У меня дома целая библиотечка книг с автографами гостей из России. Бывая в США, заходит Евгений Евтушенко, одним из первых он начал нас посещать. Заглядывают Андрей Вознесенский, Юлиан Семенов. Однажды нас посетил Михаил Шолохов, правда это было давно, он долго разговаривал с Виктором Петровичем Камкиным... Не забывают нас Мстислав Ростропович и Галина Вишневская. Помню советского космонавта Елисеева, здоровый такой парень!..

— *А Солженицын?*

— Заходил тоже, но было это давно.

— *Я вижу, у вас и советские газеты продают? А почему, скажите, многие номера несвежие?*

— Вы знаете, это бедствие, мы ничего не можем сделать с «Аэрофлотом». По нашей просьбе было проведено расследование. И что же? В московском аэропорту газеты, подлежащие к отправке в США, лежат подолгу, на них никто не обращает внимания. Сейчас август, а к нам февральские журналы еще не приходили! Да и зачем читать трехнедельной давности новости?

— *Оказывают ли влияние на вашу торговлю политические события?*

— Может быть, вы удивитесь, но почти не влияют. «Холодная война» ведь долго длилась, а мы работали. Потом были «оттепели», снова «заморозки», а мы работали. Все равно без книги, без чтения, без новостей человек не может.

— *Вы упомянули о «холодной войне». А были ли какие-то провокации против вас?*

— Да, бывали. Антисоветские надписи делали на стенах магазина, стекла били. Последний раз такое случилось в дни чернобыльской аварии. По-видимому, это дело рук местных украинских националистов. Случилось и такое. В день труда, это профсоюзный праздник в Америке, у витрины магазина остановился сенатор. Его советник, по-видимому, из новоэмигрантов, нашептал, что в этом магазине можно купить шахматы, которые в лагерях и тюрьмах делают заключенные. Наши постоянные клиенты, те, конечно, в такое не поверят, а иной американец может и поверить, сославшись на мнение сенатора... А шахматы-то у нас хохломские — загляденье!

*...О деятельности магазинов русской книги Камкина можно говорить много. Работа энтузиастов — распространителей наших книг в Америке вызывает сочувствие и уважение. Только вот почему-то я не встречал о них в нашей прессе подробных публикаций. Если упоминают, то вскользь. А зря. Как обстоят дела с американскими безработными, мы знаем хорошо, известно нам и то, что по центральному парку в Нью-Йорке нельзя ходить: негры нападут, ограбят (впрочем, я гулял, ничего, как видите, живой), и то, что нью-йоркское метро — самое опасное метро (ездил каждый день — прохладно, весело кругом, самодеятельные оркестрики играют, поют). Америка, конечно, разная. Какими глазами на нее посмотреть. И что захотеть увидеть. Если только «лицо ненависти», то это не по Камкин*у.

Август 1989 г.

«ХОЧУ УВИДЕТЬ ТО, ЧТО ОСТАВИЛА В ЮНОСТИ»

Встреча с Ниной Берберовой перед ее приездом в Советский Союз

— Русский язык для меня — все. Я не знаю, может быть, мои интонации вам кажутся старомодными, может быть, мое словоупотребление удивит кое-кого в Москве, словарь, которым я думаю и которым говорю. Но должна сказать, что никогда не могла утратить полной связи с русским языком, то есть я выросла в этот язык. Меня совершенно не привлекает писать стихи или прозу по-французски, по-английски. Зачем это? Когда у вас выпустили в издательстве «Книга» Ходасевича, его «Державина», я не верила. Но вдруг по почте приходит эта книга от одного американца, который схватил ее в первый же день продажи,— я остолбенела. Я просто села на этот диван, где сейчас, сижу, и сидела минут пять, вероятно, не могла даже раскрыть книгу. Было что-то, может быть, извините, даже собачье, мне хотелось облизать обложку. Но я не сделала этого, а прямо открыла последнюю страницу и увидела тираж— 100 тысяч экземпляров. Это же немыслимо! Потом мне сказали, что книгу распродали в неделю. Я все забыла, не ела, не пила и целый день читала от первой страницы до последней, со всеми примечаниями Андрея Зорина, с его предисловием, он какую-то ошибочку или две нашел у Ходасевича, я и это прочла.

Наконец я что-то должна была съесть вечером и улечься в кровать. К стыду своему, скажу вам, что книгу я под подушку положила. Подумала, что если будет пожар в доме, то я ее спасу, а если она будет далеко от меня, тогда я ее могу не спасти, выбегая из горящего дома. Совершенно серьезно это говорю. Сейчас мне смешно самой, и я вижу — вы улыбаетесь... Но тогда я думала, что расстаться с этой книгой не могу. Это было очень, очень большое впечатление!..

Что касается опубликования моих вещей, то такого ощущения жара пока не было. Вероятно, потому, что я вела предварительные переговоры. Пропал эффект неожиданности.

Наваждение какое-то: я беседую с самой Ниной Николаевной Берберовой! Имя писательницы, вдовы Ходасевича, 67 лет прожившей вдали от родины, окружено легендами. Одну из легенд зафиксировал журнал «Вопросы литературы»: Берберова умерла. Ан нет! Жива «железная женищина» (еще одна легенда-прозвище), жива! Да еще и в Москву собирается. Слышал я и о желчном характере Нины Николаевны. Прямо съест тебя с маслом, говорили мне. Снова враки, не заметил: добрая, приветливая, как говорят в народе, обходительная. Четкая, почти педантичная, до минуты, до детали договоренность о встрече, приглашение на обед (с дороги, для знакомства) в местный ресторанчик, приглашение домой, в небольшую двухкомнатную квартиру (домик) для длительной многочасовой беседы, чаи, прогулки, подарок хозяйки (выпрашивать боялся, сама предложила) — ее книга «Люди и ложки» о русских масонах XX века, проводы до электрички, идущей на Нью-Йорк. Не заметил ни желчи, ни злобы. Зато при своем фантастическом возрасте (простите, Нина Николаевна!) — за рулем сама. И умна — аж жуть! А какие помимо литературных подарки для моих американских наблюдений: «Вы знаете, что дети в Америке не плачут, что кошки не царапаются?..»

«Берберова Нина Николаевна, писательница (8.8126.7. 1901 С.-Петербург). Отец — армянин, работал в министерстве финансов; мать — из среды русских помещиков. В 1919—1920 годах Берберова училась в Ростове-на-Дону. Благодаря первым стихам она в 1921 году вошла в поэтические круги С.-Петербурга. В июне 1922 года Берберова вместе с Ходасевичем получила разрешение на выезд и покинула Советскую Россию. Прежде чем поселиться в Париже в качестве эмигрантов, оба супруга жили у Горького в Берлине и в Италии. В Париже Берберова 17 лет была сотрудником газеты «Последние новости». С Ходасевичем разошлась в 1932 году. Во время войны она оставалась в оккупированной немцами части Франции. В 1950 году Берберова переселилась в США...» Это из Энциклопедического словаря русской литературы

с 1917 года, составленного В. Казаком и вышедшего в Лондоне.

Открываю подобные советские источники последнего времени. Ничего... «Литературный энциклопедический словарь», выпуск 1987 года. Бабаевский, Баруздин, Бубеннов... Берберовой нет.

— *Когда вы уезжали из Петрограда, каким он вам запомнился?*

— Голодный, пустой, страшный, торцы выкапывали, чтобы топить печи... Но мы уезжали, не думая, что навсегда. Мы уезжали, как Горький уехал, как уехал Белый, на время, отъестся, отдохнуть немножко и потом вернуться. В жизни мы не думали, что останемся навсегда. Ленин же был жив еще, 1922-й год...

— *Через месяц вы будете в Москве. Вас ждет двухнедельное общение с родиной. Не думаете вернуться в Россию совсем?*

— Нет, потому что... Вы бы лучше спросили меня о Франции. Во Франции у меня успех, во Франции у меня телевидение, меня знают, приглашают постоянно. «Как мы ее упустили? Как мы дали ей уехать в Америку?» — говорят французы. Это не мои слова, это напечатано. Но я думаю о том, что здесь, в Америке, мне необыкновенно при моем возрасте удобно. Через десять дней мне исполнится восемьдесят восемь. Вы представляете себе, какой это возраст?

— *Глядя на вас, не представляю...*

— Я привыкла к этому комплименту и уже не реагирую на него. Здесь удобно все. В округе меня знают добрые соседи, механик за углом, если с машиной что-то случится, снегом завалит, неполадки какие. Доктор принимает без очереди. Вхожу в почтовое отделение и слышу: «Хэлло, Нина!» Фамилию мою им трудно произнести, я не обижаюсь. Ведь они меня знают уже двадцать пять лет. Здесь хорошие библиотеки. Если мне нужна книга, я могу выписать ее на дом.

— *То есть вам-удобно здесь жить при вашем одиночестве?*

— Абсолютно. Мне здесь ужасно удобно. Я когда подумаю о Франции, прежде всего у меня там не может быть машины, потому что там узкие дороги, а скорости огромны, я не могу так ездить, я так не привыкла, буду бояться.

— *Вы родились в России, часть жизни прожили во Франции, почти сорок лет в США, четверть века здесь, в Принстоне. Дай вам Бог еще много лет... Но скажите, какое место на земле для вас самое святое?*

— Нет, такого места нет. Впрочем, первое, что мне пришло в голову, видимо, автоматически, когда вы кончили вашу фразу, моментально,— могила Ходасевича на кладбище в Биянюре... Это серьезно. Я всегда помню об этом месте. Я приезжаю в Париж, на следующий день беру такси и еду туда смотреть, все ли в порядке, и все в порядке бывает всегда, потому что не только я езжу туда, но и разные другие люди. Но даже эта могила не остановила меня от переезда в Америку. Когда я уезжала, у меня ничего не оставалось, ни дома, ни квартиры, ничего, библиотеку и ту продала, в Нью-Йорк уехала с двумя чемоданами. Даже эта могила меня не остановила. Вообще я не сентиментальна. И кроме того, я вам отвечу на вопрос, который вы мне не поставили, а я его жду: «Что меня больше всего интересует на земле?»

— *«Что» или «кто»?*

— «Кто» и «что» вместе. Я только одно могу сказать: люди. И когда мне из Москвы позвонили по поводу визы и очень любезно спросили: «Нина Николаевна, а не хотели бы вы музыку послушать хорошую, побывать на каком-либо концерте?» — я подумала, что музыку можно слушать каждый день и здесь, а я не знаю, приеду ли я в Россию снова, и вообще я чувствую, что мне интересно отвечать на всякие вопросы. И я ответила: «Меня главным образом интересуют люди». Пожалуй, не совсем точно: не только главным образом, я, собственно, исключительно интересуюсь только людьми.

— *А потом?*

— А потом книгами...

— *Вы встречались со многими выдающимися людьми. Кто оказал на вас наибольшее влияние?*

— Нет, я на этот вопрос не могу ответить. Книги, вероятно.

— *Значит, не люди?*

— Но книги, с которыми я встречалась: книги Джойса, Пруста, Кафки, книги Андре Жида, книги современников, моих или старших современников-писателей. Другого влияния я не чувствовала. Ну, Ходасевич, вероятно, потому что мне было двадцать, когда ему было три-

дцать шесть. Конечно, он оказал на меня влияние, но я бы особенно не придавала большое значение этому.

— *Вы сказали, что для вас главное люди, а теперь получилось, что главное все-таки книги?*

— Люди не влияли, они просто интересны. Когда мне говорят: «А не хотите ли вы поехать в Загорск? Может быть, какие-то есть места, куда бы вы хотели поехать?» Куда? В Загорск? Зачем? Я вообще предупредила с самого начала еще, давным-давно, год тому назад, что, если приеду, я не пойду ни на какое кладбище и не пойду ни на какую церковь смотреть, мне это совершенно неинтересно.

— *Это оригинально, потому что многие посещают прежде всего именно могилы.*

— Нет, я ни на какие могилы не пойду.

— *А на могилу Пастернака?*

— Нет, меня это совершенно не интересует, абсолютно!

— *Могила или Пастернак?*

— Могила, конечно.

Уже во взрослом состоянии я стала замечать, что русские люди считают так: жизнь не меняется, есть основное, неизблемое. Пушкина читали мои дедушки, Пушкина читали мои отец и мать, и я читала, и так всегда будет... Появились ужасные вещи. «Война и мир» на восьмидесяти страницах за доллар. К экзамену студенты покупают эту брошюрку и считают, что приобщились к Толстому. Не помню, когда я последний раз читала Монтеня. Нет, далеко не все живет...

— *И это естественный процесс?*

— Абсолютно. Мир так меняется, когда живешь так долго. Я помню эпоху до 20-х годов, эпоху до последней большой европейской войны, тогда казалось... Была эпоха между двумя войнами, которая совершенно смыла все, что было в XIX веке и в начале XX. В Европе ничего не оставалось. И теперь... Я сама не перечитывала Пушкина сорок лет, у меня нет времени его перечитать, я знаю его более или менее наизусть, не все, конечно, но главное. И я не перечитываю «Преступление и наказание», не перечитываю «Войну и мир»...

— *Вы говорите, меняются времена и эпохи, а вы, пережившая уже несколько эпох, вы иная или нет?*

— Конечно.

— *В каком смысле?*

— Во вкусах. Прежде всего, когда я приехала в Ев-

ропу с Ходасевичем, я читала французов, немцев, читала англичан и американцев... Но от книг я стала совершенно по-другому видеть мир и свое собственное ремесло. И вообще многое.

— *А Америка вас тоже изменила?*

— Уже меньше, возраст был такой, что я не была так остро восприимчива. А потом материальные возможности не те. Я должна была с утра до вечера работать, а вечером до одиннадцати часов ходить в школу английского языка, иначе я бы пропала.

— *А у вас есть сейчас предчувствие того, что, приехав в Советский Союз на две недели, вы станете снова иной?*

— Конечно. Это вполне вероятно, не хочу хвастать, но это большое счастье, что в своем возрасте я могу меняться. Значит, какие-то клеточки еще не умерли. Вы, кстати, навели меня сейчас на эту мысль. Мне совсем не хочется ехать в Буэнос-Айрес, мне совсем не хочется ехать в Рио-де-Жанейро, говорят, красивые места, ну и пусть они существуют, я им зла не желаю, но ехать туда не хочу! Меня Москва и в особенности Ленинград привораживают, притягивают. Но, знаете, приезжающие из России обдают меня время от времени холодной водой. Вы будете очень разочарованы Ленинградом, говорят они, это провинциальный город, очень консервативный (намекают, по-видимому, на «Память»), Я не очаровываюсь и не разочаровываюсь, я просто хочу увидеть то, что я не видела столько времени, услышать русскую речь, которой была лишена, для писателя это очень много значит. И речь эта, по-видимому, другая, не та, которой говорили мои деды и родители, нет, и даже в эмиграции, но все-таки русская речь.

— *Вы написали одну из самых принципиальных, а может быть, самых скандальных книг нашего времени, книгу о масонах «Люди и ложь». Я хочу спросить вас: вы думаете о ее публикации в Советском Союзе?*

— О, я хочу! Ведь в книге нет никакой двусмысленности, боже упаси. С 30-х годов я записываю ритуалы масонов. Мой второй муж Николай Васильевич Макеев, русский человек, был одно время масоном, потом он прекратил это дело, соскучился с ними, с ними не было особенно интересно. Я вспоминала, кого из масонов я знала, вспоминала факты, которые открывали на прошлое глаза. И когда я решилась, то пустилась во все тяжкие, поехала в Париж, прямо пришла в Национальную

библиотеку на второй этаж в рукописный отдел и сказала: «Можно ли мне посмотреть масонские архивы?» Меня осмотрели с ног до головы и сказали: «Приходите завтра в 9 часов утра, мы вам дадим ответ». Они моментально кинулись проверять, кто я, и увидели в каталоге все мои книги, вероятно, кое-кому позвонили. Когда я пришла, в мое распоряжение были предоставлены два или три ящика и пустая комната. Меня интересовали только люди, только имена. И тогда я поняла, что мне и все эти обряды, ритуалы, конечно, очень интересны; как называть чашу, как называть председателя и т. д. Масонство XX века — потрясающе интересно, оно связано с европейским масонством, не с шотландским, когда все знают, кто масон, кто не масон, а с тайным обществом, с Францией. И в верности Франции масоны давали клятву.

— *Как вы работали над книгой? Кроме архива чем еще пользовались?*

— Архивы были такие, что прямо умереть. Когда я их открывала, то совершенно онемела. Что я там нашла? Вы знаете, что А. Ф. Керенский, М. И. Терещенко и другие министры были масонами, кроме П. Н. Милюкова? И они от французского масонства шли. «Гранд Оран» — «Великий Восток» французский их" благословил на открытие лож и на процветание масонства в России. Они дали масонскую клятву, которая по уставу превышает все остальные — клятву мужа и жены, клятву родине.

Они дали клятву — никогда не бросать Францию. И потому Керенский не заключил мира.

— *Кто из масонов, описываемых вами, сегодня жив?*

— Никого не осталось, никого. Даже самый младший, из которого я высасывала кое-какие интересные факты, масон Григорий Яковлевич Орансон, умер здесь в Америке, вероятно, перед тем, как я начала писать. Он знал, что я работаю над масонством, но уже был при смерти...

— *Нина Николаевна, для меня было открытием, что упомянутый вами в книге Владимир Сосинский, которого я знал,— он умер два года назад, после возвращения прожил в СССР почти тридцать лет,— состоял в ложе.*

— Да, Сосинский был женат на дочери Виктора Чернова Ариадне Черновой-Колбасиной. А я и не знала, быть может, он и был последний из масонов? А может

быть, кто-нибудь еще из моего поколения, кому восемьдесят девять или девяносто, доживает свой век в какой-нибудь богадельне?..

— *Вы считаете, что историей, обществом движут какие-то теневые правительства, тайные заговоры?*

— Нет, все тайное делается в конце концов явным. Сейчас уже этого ничего нет, думаю, что мода прошла на масонов.

— *У нас сегодня гласность, и печать пишет обо всем. Так вот, один человек мне сказал заговорщически: «Ты заметил, что когда Горбачев стал генсеком, то первый визит иностранной делегации был с Мальты. Так что Горбачев-то — масон!»*

— Это так глупо, просто стыдно за человека, который так думает. Во-первых, Горбачев никак не мог быть масоном, потому что в Советском Союзе всех масонов уничтожили и никакого тайного общества, как вы сами понимаете, в Москве быть не могло. Затем, что такое мальтийцы? Мальтийского ордена не существует с XVIII века. Николай I запретил масонство, и оно весь XIX век не существовало вообще. Вместо того чтобы врать все это и выдумывать, почему бы не поехать и не посмотреть, что делается в западных архивах? В Гугеровском архиве покопаться, в Парижской национальной библиотеке...

— *Вы наверняка знаете, что члены общества «Память» считают, что во всех наших бедах виноваты евреи и масоны, что русский народ не виноват в том, что произошло при Сталине и Брежневе. А другие считают, что во многом виноват именно народ, допустивший чудовищные преступления.*

— Смотря как относиться к роли интеллигенции... Если считать, как считали очень многие, что интеллигенция ничего не может сделать с народом, что народ такой косный, такой безграмотный, а безграмотный потому, что Николай II запрещал им грамоту преподавать. Девяносто процентов крестьянского населения было необразованным. Николай II и его министры все время палки в колеса втыкали, чтобы мужика не учить, чтобы сына его и внука не учить грамоте, пускай, дескать, вот так и живет народ на черном хлебе. Так что если это предположить, тогда русская интеллигенция виновата, потому что мужик не мог все равно ничего сделать в 30-х годах, недостаточно времени прошло после революции.

А если считать, что русский народ имеет чувства и мысли, не животное безграмотное, а очень даже способный народ, тогда с этим нельзя согласиться. Но я сужу со стороны. Я думаю, что все-таки это были интриги невероятных преступников и разбойников, которые вокруг Сталина сидели. Не то что народ, даже интеллигенция не была допущена к делам государства. Если уж Горький ничего не мог сделать, что взять с других? В своей книге «Железная женщина» я не могла сказать, потому что недостаточно была уверена, но теперь это уже опубликовано и стало известно, что моя героиня, любовница Горького Закревская-Бенкендорф-Будберг, была двойным агентом: она ГПУ доносила о Европе и английской разведке о том, что делалось в Советском Союзе. Очень хочу, чтобы моя книга вышла - в России, потому что тогда кончится легенда, что во всем виноваты евреи. Среди масонов были разные люди, немало было евреев, но еще больше — армян. Два брата моего отца, племянники, мои двоюродные братья — все были масоны. Папа не был, и я не знаю почему. Очевидно, его это не интересовало.

— *Как же все-таки вас допустили до таких секретов?*

— Да, мне повезло. После того как я поработала, архивы закрыли опять, окончательно закрыли, вероятно, на 200 лет... Вы знаете, интерес к этой теме огромный. Когда стало известно, что я пишу книги о масонстве, меня просили: «Нина Николаевна, пожалуйста, впишите моего дедушку». Я говорила: «А вы уверены, что он масон?» — «Да-да-да, мы точно знаем, он был масон».

— *А почему вы полагаете, что книга не может выйти у нас?*

— Конечно, это было бы событием, потому что в истории масонства XX века нет никакого особого проеявства.

— *А вам известно, что ваши книги тайными путями контрабандно, нередко с риском, привозили в Советский Союз?*

— О да! И мне это приятно. Мне сообщили, что экземпляры моего «Курсива» зачитывались до дыр.

— *Сколько книг вами написано, Нина Николаевна?*

— Немного. Я бы сказала так, один том ранних рассказов, которые называются «Биянкурские праздники». Я была единственным автором в эмиграции, который писал об эмигрантском пролетариате. И я сама жила

тогда с Ходасевичем в Биянкуре — это предместье, где заводы Рено. И очень многие чины белой армии, не только солдаты, но и офицеры работали там, обзаводились женами, рожали детей, дети ходили в школу. Муж работал, а жена становилась швеей или шляпы делала... Недавно я перечитала эти рассказы и сказала себе: «Гордиться нечем, но и краснеть не от чего». Рассказы прежде всего интересны тем, что о пролетариате эмиграции ничего не известно. И потом, есть какая-то невидимая связь моих персонажей с советскими людьми того времени.

Итак, том «Биянкурских праздников», далее том длинных повестей 40—50-х годов, немножко 30-х годов. Два тома «Курсив мой», один том «Железной женщины», один том статей, «Чайковский» — это уже семь томов. «Бородин» — восемь, два маленьких томика стихов... Пожалуй, все.

— *Почти 10 томов!*

— Но это максимум. Наберется еще том статей.

— *Какую из ваших книг вы считаете главной?*

— Конечно, «Курсив»!

— *Ваш архив хранится в нескольких местах. Нельзя ли сделать так, чтобы хотя бы часть его была на родине?*

— Конечно, есть возможность кое-что отправить на родину, но не сейчас, потому что у меня нет гарантии, что это все не сожгут. Я не могу сказать, что вообще ничего не выйдет из перестройки. Я уверена, что выйдет, и уже вышло, и вышло довольно много. Живой пример — я сама, решившая посетить родину. Но я могу сделать другое, то, что вам не приходит в голову. Я могу сделать серьезную бумагу, с тем чтобы советские ученые, литературоведы могли быть допущены к архиву после моей смерти.

— *А сейчас нельзя попасть в ваш архив?*

— Я могу дать вам, Феликс Николаевич, хоть сейчас письменное разрешение. Пока я жива...

— *Спасибо, Нина Николаевна! А какова судьба вашей библиотеки? И что она собой представляет? Она для работы?*

— Нет. Зачем же библиотеку иметь? В Америке никто не имеет такой библиотеки. Покупают только исключительные книги. Или они исключительны, если вы знаете, что библиотека их не приобретает, или они исключительны, потому что они для вас нужны, вы хоти-

те, чтобы они у вас были, просто такая человеческая жадность — иметь. На самом деле, конечно, у меня не было достаточно денег, чтобы обзавестись какой-то систематической библиотекой. Но кое-какие книги у меня есть. Вот видите, здесь целая полка набоковских книг: английских и русских. Это я покупала, потому что мне было приятно иметь такую коллекцию и, кроме того, потому что мне нужно было лекции читать по ним. Но вообще говоря, в моем положении профессора — это большая роскошь покупать книги и иметь собственную библиотеку. Я бы сказала, что это делают профессора очень многие, может быть, даже и большинство, но я не могла этого делать.

— *А книги, которые вам дарил Владислав Ходасевич, другие ваши знаменитые спутники, сохранились?*

— О! Они все здесь. Борис Зайцев есть, Иван Бунин, может быть, есть, а может быть, и нет, не помню... Конечно, Ходасевича книги есть дарственные, но я, вероятно, как профессионал сама не очень ценю это. Какая разница, читать бунинский экземпляр, подписанный «Дорогой Нине», или читать его в библиотеке? Это, между прочим, расстраивало моих родителей, что я ничего не коллекционировала. «Саша коллекционирует бабочек, Маша коллекционирует цветочки, а ты ничего. Заводи гербарий», — говорили мне домашние. А я не хотела. Очевидно, такого таланта во мне нет.

— *А что такое для вас советский читатель?*

— Советский читатель? Видите ли, я по старой русской привычке все-таки думаю о читателе литературы как об интеллигенте. Правда, мои книги — это не крестьянская литература, не рабочая литература, это все интеллигентская литература. Но я вам скажу такую вещь: все, кого я здесь встречала, кто приехал сюда в последние пятнадцать лет, — это был великий сход, тут же и еврейство, армянство, много русских... И вот я не помню человека, который бы не сказал: «А я читал ваш «Курсив». Все читали. Для меня это интеллигенция, советский читатель, который знает меня в России.

— *В последнее время у нас возрос интересен Зинаида Гиппиус и Дмитрию Мережковскому, с которыми вы, конечно, общались. Как вы считаете, достойно ли внимания их творчество для советского читателя?*

— Еще как! Они достойны, и их надо печатать. Как исторический документ, а не как сегодняшний день. На сегодняшний день их идеология совершенно не годится.

Они были бы в ужасе, если бы они посмотрели на Францию, Россию или на Америку сейчас. Ничего не осталось от прежнего. И Пушкина в XXI веке не будет, как французы не читают дивных поэтов XVI века. Гиппиус и Мережковский так же не годятся, как если бы я на себя пыталась надеть обувь пятилетнего младенца. Но исторически то, что они делали в литературе и в искусстве, это очень интересно. Мережковский — чудная русская фигура. Как они оба тосковали по России!..

— *А как вы относитесь к поэзии Гиппиус?*

— Она была замечательным лирическим поэтом. Вообще русским читателям надо еще многое вернуть. Надо бы издать антологию зарубежных русских поэтов, включая, естественно, и Дальний Восток — Харбин, Шанхай, там было два или три талантливых поэта, в Париже было человек пять. Я бы рекомендовала Смоленского, Георгия Иванова, Ладинского.

— *Каковы ваши отношения с третьей эмиграцией?*

— Я ее недостаточно знаю, хотя лично знаю очень многих, но я их очень мало читала, потому что я уже до такой степени занята, что и на письмо трудно ответить, не то что читать большие романы. Читала Войновича. Он такой милый сам, мне приятный как личность, я не хочу сказать о нем плохого слова, но его роман... этот последний «Москва 2042» о XXI веке я едва дочитала...

— *Как вы восприняли присуждение Иосифу Бродскому Нобелевской премии?*

— Большой поэт, но не прозаик, и по-английски я его считаю большим поэтом, хотя американцы этого не считают. Слависты, которых я знаю, считают, что он замечательный русский поэт. А я чувствую, что он замечательный и по-русски, и по-английски. Я вообще его английскому языку прямо диву даюсь. Так великолепно может сочинять стихи. Когда он получил Нобелевскую премию, это для нас всех была радостная весть.

— *Вы считаете, эта премия — подлинная заслуга или везенье, обстоятельства?*

— Конечно, она заслуженна. Давали премию иногда совершенно не тем людям, давали Ромену Роллану, которого уже пятьдесят лет ни один француз не читает! Кстати, как человек он был необыкновенно противный, а не только как писатель, бездарный, под конец жизни, опьяненный своей славой и нобелевскими привилегиями...

Но Бродскому желаю всякого благополучия, я страшно рада была, когда он получил премию. Это был чудный день, мы все друг другу звонили!..

Прощаясь после долгого разговора, Нина Николаевна сказала с юмором, что ее приезд в Россию — это все равно что «Писемский воскреснет!» Я ответил: «Быть может, не знаю...» И вспомнил четыре строки, написанные Берберовой давным-давно: «Я говорю: я не в изгнание, я не ищу земных путей. Я не в изгнание, я—в посланье, легко мне жить среди людей». Возвращение к нам эмиграции—это посланье нам же из нашего прошлого. Так примем с достоинством посланников. Не унижая и не унижаясь,

Р. С. 5 сентября 1989 года рейсом Эр-Франс из Парижа в Москву прилетела Нина Николаевна Берберова. Повторяю, она не была на родине шестьдесят семь лет.

Август 1989 г.

«Мой успех в Москве — это чудо»

Провожая Нину Берберову в Америку

Ее диалог с родиной, в сущности, не прерывался, хотя столько лет она жила вдали от нее. Ни в каком сне не мыслила и не мечтала снова увидеть Ленинград, Москву, Россию.

Вечера, приемы, посиделки... В залах сотни, тысячи людей. Тьма записок, вопросы, вопросы, вопросы... Нина Берберова в Москве и Ленинграде.

— Мережковский никогда не смеялся. Бунин хохотал в злобе... О книгах Ирины Одоевцевой «На берегах Невы» и на «Берегах Сены»? Бунин выведен превосходно, есть и другие интересные страницы. Саму Ирину Владимировну не видела, не удивляйтесь, с тридцать девятого года, помню ее тонкой, изящной блондинкой... О Николае II? Девяносто пять процентов населения держал в темноте, не прощаю ему, до чего довел страну... В Марине Цветаевой было что-то трагическое от рождения. С людьми ей было страшно трудно, и с близкими

и с чужими она была как будто с другой планеты. Для нее все было не так. Она сама творила вокруг себя драмы. Из-за тяжелого характера многие от нее отворачивались... Считаю, что во всей эмиграции гением был только Набоков... Из нынешних советских писателей не знаю почти никого. Ким? Не знаю. Татьяна Толстая? Не знаю. Петрушевская? Не читала. Анастасия Цветаева? Не знаю... Меньшевики — это ведь только одно поколение. Их давно уже никого нет в живых... О сталинских лагерях далеко не все в эмиграции знали и верили, что они есть. Думали, что это все пропаганда врагов Сталина. Федор Раскольников явно покончил с собой, выбросился утром из окна... А вы знаете, что Скворцов-Степанов был масон?... Однажды А. Ремизов сказал мне: «Россия это сон»... Из современной музыки очень высоко ставлю и ценю Шнитке... Одно из потрясений — письмо Лили Брик из Финляндии с восторженными словами о «Курсиве...». Я говорила себе: «Боже мой! Это сон, сказка — эти замечательные слова о моей книге». После этих слов все остальное так меня не ударило. Как Маяковский относился к Ходасевичу? По моему, и он, и Лилиа Юрьевна его ненавидели. Эльза Триоле от меня отворачивалась... Совершенно случайно прочитала в журнале «Октябрь» рассказы Трапезникова. Вы знаете, очень талантливый писатель... Возмущена некоторыми вашими литературоведами: они приезжают в США, в архивы, и просто воруют документы, вырезают прямо-таки варварски... Совершенно потрясена Ленинградом, его провинциальностью — как же можно до такого довести великий город: блеклые дома, обшарпанные, запущенные, все заколочено, подколочено, в дверях торчат гвозди, двери болтаются, в подъездах грязно и страшно. Не то, что было когда-то. Конечно, люди грели душу, и их тепло, внимание ко мне не забудутся. Примирил меня с Ленинградом вид из моей гостиницы, вид на мосты, Адмиралтейство, залив, на растреллиевские дворцы. За один этот вид все можно отдать... В эмиграции мы никогда не говорили о будущем, оно было для нас темно. Но мы ошиблись.

— *Нина Николаевна, в предисловии к тому стихов Ходасевича в большой серии «Библиотеки поэта», только что изданном у нас, написано: «22 июня 1922 года Ходасевич вместе с молодой поэтессой Берберовой покидает Россию и через Ригу прибывает в Берлин. Начинается жизнь, полная скитаний, поисков работы, часто почти*

нищенская и почти всегда трагическая». А что было дальше, как вам жилось?

— Я думаю, что все это чуть-чуть преувеличено. В Берлине в это время собралось неимоверное количество русских, и мы не чувствовали себя так одиноко и убого, как может показаться неискушенному человеку. Ходасевича, который был уже популярен в России, все привечали. Среди издателей были его друзья. Нас печатали, надо было только не лениться, работать. Однажды Ходасевич уговорил меня взяться за перевод знаменитого романа де Лакло «Опасные связи». За этот перевод я получила свой первый гонорар.

Жилось, конечно, нелегко, немецкая марка все падала и падала и уже почти ничего не стоила. До сих пор помню какого-то господина, стоявшего сзади меня в очереди и с глубокомысленным видом произносившего (так и не понимаю, была ли это шутка): «Все очень вздорожало». Когда в магазинах уже не было ни хлеба, ни мяса и жизнь стала невыносимой, мы переехали в Саар, где жил Горький. Я скажу вам об одной детали, о которой я крайне редко рассказываю, но именно она решила все. Ходасевич все время думал, что пройдет год, два — и мы вернемся, но прошло три года, и истек срок действия наших так называемых красных паспортов. Их номера были, кажется, пятнадцатый и шестнадцатый. Первый вроде бы значился за Эренбургом. Одними из первых мы законным образом выехали из России и таким же законным образом хотели вернуться домой. Так что, когда Ходасевич собрался в консульство, я была спокойна и даже не хотела с ним идти. Я была уверена, что визы нам продлят. Из консульства мы вернулись убитые: нас известили, что паспорта выданы на три года и что мы немедленно, чуть ли не на следующий день, должны покинуть пределы Франции. Ходасевич почувствовал, что нам отрезают путь. И сразу же как будто по чьей-то команде перестали приходить переводы на получение гонораров за пьесу, которая с огромным успехом шла в Малом театре. Ходасевич был переводчиком пьесы, и деньги, до этого регулярно высылаемые из Москвы, нас очень поддерживали. Так вот, оказывается, был, не знаю, гласный или негласный, такой закон: не продлять паспорта тем, кто брал его на год или два. Это только в легенде, что Ходасевич якобы сказал: «Я эмигрант, и я не поеду в Россию»...

О первом гонораре за рассказы об эмигрантском пролетариате Нина Берберова вспоминает так. Году в двадцать седьмом, чтобы заплатить за квартиру, в которой жила с Ходасевичем, она стала писать для газет небольшие рассказы о жизни простого русского люда. Прибывшие из России молодые люди разных сословий и званий шли работать на заводы Рено. Надо было жить, и надо было выжить. Кто-то открывал крохотную продовольственную лавчонку, кто-то сапожную мастерскую, красильню. Так вот, после нескольких публикаций, когда ее имя стало уже известно, один русский сапожник отдался брать с нее деньги за починку каблучков «Спасибо, что вы не гнушаетесь нашей жизнью», — сказал он при этом.

— Сейчас, когда меня стали вдруг издавать и переиздавать, я боюсь, как бы при переводе не пропал колорит русской речи той поры. Ведь это был старый русский язык офицерства и солдат преимущественно Юга России, язык Добровольческой армии. Русские мужчины как бы заменили полмиллиона французов, перебитых на фронтах войны, и большинство из них пережились на французенках. При этом многим пришлось изучать язык, и переделанный французский сленг на русский звучал подчас безумно трогательно. Например, слово «душ» — по-французски это «нежно». Я однажды слышала, как один говорил другому, выйдя из проходной: «Пошли в кафе, выпьем по стаканчику вина, только ты к ней (по-видимому, к барменше) с душманчиком подходи».

— *Нина Николаевна, известно, что вы сдержанно относитесь к религии, но можно ли эмиграцию назвать вашим тяжелым крестом?*

— Да, это был мой крест — то, что я жила в чужой стране. Конечно, вы можете возразить: у вас успех, вас издают повсюду, вы знамениты. Но все это случайность. Случайность, что я дожила до моих лет. А мой успех, издания, мой приезд в Москву, наконец, — это тоже чудо, неожиданное чудо.

...Теперь все позади: обласканная, обцелованная, обдаренная, ошеломленная, она улетела в маленький подньюйоркский Принстрн. Профессор в отставке, вдова Ходасевича, поэтесса, автор знаменитых романов, любимейшая во Франции, читаемая во многих странах Европы «железная женщина», одна из первых познавшая секреты русского масонства, великодушная, простите,

старуха, для многих принстонцев просто Нина. Для всех нас — Нина Николаевна Берберова. Ее приезд в Советский Союз стал событием в культурной жизни. Такого ошеломляющего интереса не вызывал еще ни один из эмигрантов, приезжавших в СССР в последнее время. Телевизионные передачи, интервью, публикации ее произведений, встречи с читателями. Она въехала в Москву на белом коне: умная, язвительная, обворожительная, она потрясла абсолютно всех, с кем общалась, кто видел ее на телеэкране. Обвал уникальной информации, которой она одаривала всех, с кем общалась, мгновенная реакция на все, даже на провокационные вопросы, в каждом взгляде, движении, слове — жизнь, ум, энергия.

Я общался с ней в Америке, проводя полдня в Принстоне, потом в Москве на ее вечерах, у себя дома, в часы записи телепередачи «Зеленая лампа», целый вечер (такой замечательный!) мы провели у Василия Катаняна и Юлии Гейс, в квартире Лили Брик.

Надо признаться, временами я менял к ней свое отношение: то восхищался, то недоумевал, то возмущался.

Временами она была безапелляционна, резка. Легенды ходят о ее капризах. Однажды ей показалось, что волшебный союз с Владиславом Ходасевичем грозит переродиться в скуку и повседневность, и она ушла от него. В одночасье, сразу. Сварила ему борщ на три дня, заштопала носки. И ушла. Не знаю, как кому, а мне очень жаль бедного, больного Владислава Фелициановича. Не могу понять, почему здесь, в Москве, «великая Берберова» (Андрей Вознесенский) гнала от себя любителей автографов. Один из них, убежденный сединой, самый настойчивый, почти фанатичный, он, как мальчишка, стерег гостью, чтобы заполучить от нее всего лишь несколько слов в альбом. Но она его не приняла. И мне также его жаль.

Но я никогда не забуду, какой душевной, внимательной, заботливой она была у себя дома, в Принстоне, когда я был у нее в гостях.

— Вас издают сегодня в самых разных странах. Но скажите при этом, что такое для вас напечататься гденибудь, скажем, на Огненной Земле или в Москве, ощущаете ли вы разницу?

— Я понимаю, что вопрос ваш иронический. Если же серьезно, я так отвечу: как литератор, я живу только русским языком. Французы мне ревниво иногда говорят: «Во Франции вы жили двадцать пять лет, а что

вы написали по-французски? Ни-че-го!» Они не совсем правы, по-французски я написала книгу о Блоке, но это не художественная вещь; роман, к примеру, или повесть я не смогла бы написать по-французски.

Русский язык для меня все. Я бы так сравнила: человеку, который всю жизнь лепит из глины, вдруг говорят, почему вы не работаете по металлу. Так и я: русский язык для меня — глина на всю жизнь.

У меня никогда не было какой-то нервности, что русский язык улетучится, что я его забуду. Помогало многое, в том числе и чтение советской литературы, и это, помимо всего прочего, я должна была делать профессионально. Я покупала журналы «Новый мир», а еще раньше «Красная новь». Конечно, затраты, но — необходимые. Знакомство с текущей советской литературой помогало мне выжить. А знаете, какое для меня было удовольствием открыть Ю. Олешу и В. Каверина, блистательных советских писателей.

Я горжусь, что мои книги, изданные на Западе, тайно привозились в Россию. Наверняка это было рискованно, не наверняка, а точно, об том мне говорили мои друзья. У одного из них, он потом стал эмигрантом, в доме была штаб-квартира по чтению Берберовой. Он мне сообщил, что не может показать, во что превратились мои книги после их почти круглосуточного непрерывного употребления на потоке. Конечно, мне это приятно.

Я знал, что журнал «Дружба народов» готовит публикацию романа «Железная женщина», и попросил Нину Николаевну сказать несколько слов об этой вещи

— Когда я села за роман об этой женщине, для меня был очень важен факт приезда Будберг в Москву после смерти Горького. Почему это так важно? Потому что именно она выполнила задание ГПУ и привезла Сталину итальянский архив Горького, а в нем содержалось то, что особенно интересовало Сталина, — переписка Горького с Бухариным, Рыковым и другими советскими деятелями, которые, вырвавшись из СССР в командировку, засыпали Горького письмами о злодеяниях «самого мудрого и великого». Так вот, я написала ее дочке письмо с четырнадцатью вопросами, а среди них был один, главный для меня: «Посещала ли Ваша мать Москву между 1921 годом, когда она убежала из России, и 1952-м, когда она официально приехала повидать Екатерину Павловну Пешкову?» И дочь Будберг, запутавшись в ответах, проговорила. Подтверждение этому я

нашла в письме (март 1935 г.) Алексея Толстого к жене Наталье Крандиевской, где он сообщает, что Мария Игнатьевна недавно приехала и завтра уезжает. И еще одно подтверждение: нашлась фотография, где Будберг рядом со Сталиным идет за гробом Горького.

— *Нина Николаевна, сейчас в России гласность и писать и печатать можно практически все и обо всем. Но мне кажется, у вас есть вещи, которые и нынче не преодолеют запретов.*

— Что вы имеете в виду? А, поняла: мой роман о Чайковском. Да, да, тут я вынуждена с вами согласиться. Думаю, что после опубликования в России «Лолиты» Набокова и «Гоморры и Содома» Пруста через какое-то количество лет, если Россия вообще будет дела и невредима, на что я хочу надеяться, и какие-то овощи еще будут там произрастать, я надеюсь мой «Чайковский» будет опубликован. Считаю, что этот роман принципиальнее «Лолиты» в сто раз. Некоторые могут сказать: «Боже упаси, это постыдная вещь, та-кое о великом композиторе! Как можно?» Но у меня к гомосексуализму самое либеральное отношение. Многие мальчики проходят через этот опыт. Почему это надо скрывать? Английская королева Виктория просто радуется в гробу, ведь она многое запрещала. Но как же молчать о чем-то, если это жизнь и это правда?!

Впрочем, я будто бы жалуюсь вам на русскую судьбу моего «Чайковского», выходит, я вроде бы жалуюсь на журнал «Музыкальная жизнь», который пока не думает печатать этот роман, хотя «Бородина» они публикуют.

— *Что вы скажете о Горьком, ведь вы его хорошо знали? Был ли он вашим кумиром?*

— Я люблю Горького, но он из девятнадцатого века. Он не для меня. Я училась у Кафки, Джойса, Пруста, но никогда — у Горького. Знала я его, конечно, неплохо, я много с ним разговаривала и общалась...

Нина Николаевна провела несколько часов с сотрудниками музея Горького и осталась очень довольна этой встречей.

— *Александр Керенский был свидетелем на вашей с Николаем Васильевичем Макеевым свадьбе. Вы знали хорошо Керенского. Скажите, сожалел ли он о своей во многом неудавшейся жизни?*

— Ну что вы, он был раздавлен, абсолютно раздавлен после выезда из России. Политическая карьера Ке-

ренского связана с масонством. Да, он соблюдал царские союзы, но Франция была для него, как и для всех масонов, прежде и превыше всего. Как же можно было бросить Францию в такой час?! В свое время мне казалось, что Александр Федорович, со своей точки зрения, прав, ведь немцы стояли под Парижем. Париж пал бы в три дня, если бы русская армия помирилась с немецкой. Он это, конечно, понимал. Поэтому до последнего, до 25 октября семнадцатого года, немцы старались наступать. Не выходило в Карпатах, наступали в Польше. Конечно, с точки зрения русского человека, Керенский мог сказать, что ради французов он дал возможность Ленину захватить власть. Если бы он арестовал Ленина в июле и замирился бы с немцами, революции могло не быть...

— *Нина Николаевна, какова судьба вашего уникального архива? Где он?*

— Меня часто спрашивают об этом, но я не то чтобы избегала, а считала, что не всем это интересно знать, при каких условиях я отдала их в университетские подвалы. Я приехала в США осенью пятидесятого года и привезла с собой из Парижа, где пробыла почти четверть века, огромный ящик с бумагами — все то, что я спасла в свое время из квартиры Ходасевича, разгромленной немцами. Я унесла все, что могла, как муравей, на своем горбу. Денег на такси у меня не имелось. Бумаги я решила взять с собой в Америку, потому что совершенно не представляла, куда я могу их спрятать в Париже.

В моей новой обители в США ящик этот занимал много места, комната была маленькая. Кроме того, мне говорили, почему бы не отдать или продать содержимое ящика в какой-нибудь университет или хранилище. И день такой настал. Ко мне пришел мой добрый знакомый, историк Борис Иванович Николаевский, женатый, кстати, на родственнице Бухарина, так что он Бухарина видел за границей (что, вероятно, Бухарину не помогло в дальнейшем). Вместе мы открыли драгоценный ящик: автографы, газетные, журнальные публикации Ходасевича, тетради, которые я, помню, сшивала цветной бумагой, а он в них клеивал вырезки из «Возрождения», «Последних новостей», где регулярно печатался. Были в ящиках мои материалы. Все это я предложила Борису Ивановичу купить. За какую цену? Вы думаете, я тогда понимала в этом? Борис Иванович

был человек небогатый, как и все эмигранты, и он сказал: «Я могу дать 50 долларов». А у меня в кармане в тот момент было только пять долларов, и на следующее утро я должна была внести плату за гостиницу, в неделю я платила пятнадцать долларов. В этой ситуации я сказала: «Хорошо». Теперь, когда я рассказываю об этом, все смеются. Но не пугайтесь, с архивом ничего не случилось. В конце концов, он благополучно хранится сегодня в двух великолепных американских архивах, в Стенфорде и в Йеле. В этих архивах много интересного для России...

Сентябрь 1989 г.

«РОДИНУ НАМ ДАЕТ БОГ»

Галина Вишневская там и здесь

Один из престижных районов Парижа. Улица Жоржа Манделл. Высокая металлическая ограда, за которой обитают миллионеры, банкиры, знаменитости. Ворота в дом, где на втором этаже живут Галина Вишневская и Мстислав Ростропович, распахнуты настежь. Ни замков, ни звонков, ни псов на цепи. Консьержки я тоже не обнаружил. «Смелые, однако, люди живут здесь», — подумал я.

— Это Левицкий: «Екатерина Вторая». Это Елизавета, очень известный портрет, может быть, рисовал Антропов. Но под вопросом. Это Петр I Моора, царь позировал художнику. Представляете? Ведь монархов чаще всего рисовали по памяти. Это портрет государя Николая II работы Серова, жаль, что руки как бы недописаны, но в этой незавершенности своя прелесть. А этот фарфор императорского завода, редкий, в особенности статуэтки. Мебель собиралась по разным странам: Аргентина, США, Англия. В основном на аукционах.

— *Какие замечательные шторы!*

— Из Зимнего дворца! Редчайшие! Дорожку ими очень. Раз в три года своими руками стираю, никому не доверяю эту прелесть. Там, наверху, Репин. Это Иванов — этюды к «Явлению Христа народу». Правда, потрясающие?! Это Боровиковский, женский портрет, рядом мадам Бестужева. А это, взгляните, Алексеев. Ну, Венецианова вы, конечно, узнали. Это...

Это ее русский дом, здесь все из России. Когда Брежнев лишил гражданства знаменитых музыкантов, они стали искать постоянный приют. До этого ничего не покупали, жилье снимали.

— *А это «палех» заказной?*

— Да, сделано еще в России. Подарок Славы. Я — в разных ролях. Художнику дали мои фотографии, имени моего не сказали, чтобы не портить ему карьеры. Как нас тогда называли в газетах: «идейные перерожденцы»,

антисоветчики, предатели родины?... О лишении нас гражданства мы узнали в Париже, сидя у телевизора. Шаяпина, кстати, о подобной новости предварительно известили.

Чувство, которое я испытала в тот день, это чувство унижения, глубочайшего оскорбления человеческого достоинства. Люди, стоявшие тогда у власти, позволившие себе так поступить с нами, были просто аморальны, ничтожны, нравственно ущербны. Родину дает нам Бог, мы принадлежим к русской культуре, мы русские люди по крови, по традициям, истории. Мы принадлежим народу, так же как народ принадлежит нам. Отнять все это или подарить — просто невозможно. Но вы знаете, я не испытала ощущения, что у меня отняли родину. Это ощущение не пришло ко мне и позднее. Но вот то, что меня человечески унизили,— это незабываемо, непростительно. Поэтому поехать в Россию после того, как тебя вытолкнули из дома, да еще и плюнули вслед, и с большим удовольствием не однажды плевали, я не считаю для себя возможным.

Но, знаете, моя душа во мне. Свой народ я люблю, никогда от него не отрекалась и не отрекусь. Несмотря на то что со мной так подло поступили, я была русская, русской и останусь. Да я и не хочу быть другой, я горжусь тем, что принадлежу к великому народу, с этим чувством жила, с этим чувством и буду жить столько, сколько угодно Богу...

Мне захотелось встретиться с Галиной Павловной Вишневской после того, как уже в Париже я прочитал ее книгу «Галина. История жизни». Начал читать и всю ночь напролет не сомкнул глаз, не мог отложить ее в сторону. Эта книга — одно из самых впечатляющих свидетельств современника о нашем времени. Рассказанная просто, безыскусно, искренне, честно, история жизни и творчества выдающейся певицы современности потрясает. Прочитав книгу, я пришел к Галине Вишневской уже не как к великой актрисе, а как к человеку уникальной трагической судьбы...

— Мне давно хотелось рассказать о том, что произошло со мной, о моей жизни. И вдруг как-то разом, было это году в восьмидесятом, стали все говорить: «Ты должна написать книгу. В твоей жизни столько интересного!» И я решила: найду-ка я человека, который написал бы книгу за меня. От моего имени. Мне и в голову не приходило, что сама я смогу это сделать. Я пи-

сем-то писать не терпела. Договорилась с одной эмигранткой. Но когда она сделала первые страницы, где каждая фраза, сказанная как-то не так, не по-моему, меня безумно раздражала, мы обе поняли, что у нас ничего из совместной работы не получится. Но что же делать с наговоренным уже материалом? Я сидела перед пустым белым листом бумаги и думала. С чего начинать? Как начинать? Ручка словно обжигала. Несколько дней просидела, как в забытьи, прежде чем вывела первые строчки. О самом начале: «Яркий солнечный день... Я бегу по зеленому изумрудному лугу — мне неполных четыре года — и с размаха вслед за мальчишками прыгаю с крутого берега в речку... В памяти навсегда остался мутно-зеленый цвет воды, я стою на дне, сжимая и разжимая ладошки вытянутых на поверхность рук — вероятно, чтобы ухватиться за что-то... Мои руки увидели с берега взрослые и вытащили меня. Я, наверное, не успела испугаться, но помню, что отлупила меня мать как следует. А я ревела и не понимала, почему меня ругают, а мальчишек — нет. Почему им можно нырять, а мне нельзя? Как это так — я не умею плавать? Раз они умеют — значит, и я умею! Вероятно, тогда я впервые пыталась отстаивать свое человеческое достоинство и право на свободу действий...»

И пошло, и пошло... Первой читательницей стала Татьяна Максимова, моя подруга, жена писателя Владимира Максимова. Она залпом прочитала от руки написанные страницы. «Только не останавливайся, пиши!» — сказала она уверенно. «А потом,— спрашиваю,— что делать будем?» — «А потом возьмешь машинистку, она тебе все перепечатает, ты пройдешься по тексту и многое увидишь по-другому». Слава о моих литературных опытах еще не знал. Таня не сдержала слова и показала написанное своему мужу. Я сгорала от стыда. И вдруг Владимир Емельянович, прославленный писатель, редактор журнала «Континент», прочитавший горы рукописей, мне звонит: «Начал читать и не мог оторваться...» Эти слова были мне подарком и поддержкой. Так родилась книга.

Книга Г. Вишневской впервые вышла в Америке на английском языке в 1984 году. Потом сразу же в Англии и во Франции. Четвертое издание вышло по-русски. Сейчас книгу перевели на пятнадцать языков. Она получила несколько литературных премий. Стала бестселлером.

— Книгу я писала не для советского читателя. Мне и в голову не приходило, что при моей жизни она будет опубликована в России. Поэтому я писала с расчетом, и это чувствуется в книге, на западного читателя. И если «Галину...» будут издавать в России, то переделывать ее я не буду, пусть все остается так, как было. Я не хочу подделывать ее под советского читателя.

Когда писала книгу, держала себя в узде. Вы думаете, я обо всем написала? Нет, далеко не обо всем. Если бы написала обо всем, мне бы уже никто не поверил. «Этого не может быть, это вранье».

— *Книга меня потрясла. Особенно страницы, где описаны ваше детство, юность, работа в Большом театре. Сколько раз вы были на краю смерти. На ваших глазах от рака умерла мать.*

— Бабушка сгорела на глазах — помните? Сидела у печки и платье вспыхнуло... Пережила блокаду. Не уезжала никуда. У художника Ильи Глазунова есть такой блокадный цикл. Я была на его выставке в ЦДРИ и до сих пор вижу перед собой картину, где изображен пустой стол и глаза ребенка, страшные, голодные. Не могу забыть, потому что все пережила сама.

— *А как страшен эпизод, когда вы убежали с операционного стола из-под скальпеля хирурга!*

— Да, словно открылось: сделают операцию на легких — мне больше не петь. А не петь значило не жить.

— *Какая же у вас сила воли! Скажите, вы верующая?*

— Конечно! А как же?!

— *И всегда были верующей?*

— Нет, не с детства, вера открылась жизнью. Я думаю, что к этому все приходят. Только одни посещают церкви, другие нет. Я считаю, что воспитание должно быть религиозным с детства. У меня была другая атмосфера.

Расспрашивая Галину Павловну, я как бы еще раз перелистывал страницы ее книги и, конечно, не мог не спросить о Большом театре, где она проработала двадцать два года.

— Большой театр переживает трагическое время, и больно наблюдать за этим. И что с ним сделать можно? Нужны большие личности, которые поведут за собой всех. Но их нет. Молодые, что приходят в театр, они должны видеть перед собой пример. Как мы пришли в свое время в театр? Я пришла в 1952 году, кто был перед нами? Козловский, Лемешев, Максакова, Давыдова,

Шпиллер, Ханаев, Пирогов, Рейзен, Михайлов... Боже мой, кого там только не было! Мы пришли в театр, и мы от них многое взяли, и прежде всего честное отношение к искусству.

Когда же нас постепенно стали гнуть, как меня, кто-то уволился, кто-то уехал, кто-то на пенсию ушел. Вот я здесь и оказалась. Театр обезглавлен, убрали режиссера Бориса Покровского, просто выжили его из театра. А кто его выжил? Да середняк воинствующий. Выжить такого режиссера, уникальную личность, единственную сегодня в мировом оперном искусстве!.. Выставили. Я не знаю такого, как Покровский, и чтобы так с ним рассчитаться и как ненужного отбросить от театра?! Вот вам и результат! Что еще нужно? Рождественский не работает, в таких условиях такому большому артисту, как он, работать невозможно. Светланов? Тоже не могут наладить с ним отношения. Вероятно, создают условия такие. Я пишу о Светланове в своей книге, мы начинали вместе. Были у него разные периоды. Большой мастер с богатейшим жизненным опытом, он мог бы принести огромную пользу театру. Ростропович? Вот такие люди могут спасти искусство, без них ничего не получится: на пустом месте плоды не растут.

— *Какой, по-вашему, театральный коллектив является сегодня ведущим в мире?*

— Коллектива я не вижу. Нигде. Разница лишь в подборе солистов, где-то более удачный подбор, где-то менее удачный. Где-то звезд больше, где-то меньше. Кстати, звезды не всегда ярко блестят. Вы, наверное, это тоже понимаете? Так вот, театра-ансамбля я не вижу. Не знаю такого. В том смысле, в каком мы понимали в свое время ансамбль. Как мы понимали ансамбль Большого театра? В слиянии, в порыве... Сегодня нет выдающихся солистов-личностей. Голоса есть, но личностей — единицы.

— *Вы тесно общаетесь с мировой культурой. Какие имена, по-вашему, символизируют уровень нынешнего музыкального искусства?*

— По-настоящему крупных — не так уж много. Певцы Доминго, Паваротти, дирижеры Джулини, Караян, недавно, к сожалению, умерший... Знаете, если же сравнивать советское искусство, то условный мировой стандарт значительно выше. Даже сам стандарт, он другого уровня, чем в Большом театре, где нет больших личностей.

А вообще мне кажется, что мир сейчас переживает не то чтобы застой в искусстве, и особенно в оперном искусстве, нет, но все как будто ждут каких-то внутренних потрясений. Что-то должно произойти, чтобы все сдвинулось.

Здесь, на Западе, у искусства совсем иные возможности. Хотя бы потому, что артисты могут зарабатывать большие деньги, они свободны во всем. И они знают: пока молод, надо зарабатывать себе на жизнь.

— *То есть здесь умеют ценить талант?*

— Да, конечно, о чем речь? Проработав пятнадцать — двадцать лет, артист обеспечивает себя, свою семью, детей на все дальнейшее время. Выдающемуся артисту не до ансамбля, ибо все вертится вокруг него.

У нас — другое дело: денег не платят, бытовые условия артистов ужасные, многие — на грани нищеты. Я еще сама помню, что высшая ставка в Большом театре была 550 рублей. Это за норму: шесть спектаклей. Но норму мы не пели, мы считали, что платят нам несоразмерно нашему труду. Несправедливо. Певица второго и третьего плана получала 300 рублей, а примадонна 550 рублей. Я пою, допустим, Аиду, а она поет Жрицу в «Аиде». Я тащу весь спектакль на себе, она выходит — три минуты поет, а разница в зарплате 50 процентов. Это раздражало, возмущало. Артисты не хотят работать. Особенно первые, особенно «первачи». Когда они имеют положение, известность, они могут на сторону куда-то поехать зарабатывать. А молодой еще тянется, поэтому «первач» поет один спектакль в месяц, а молодой, которому хочется как можно чаще выходить на сцену, доходит до потолка и перестает петь. Именно так случилось с Атлантовым. Мне сказали, что он ушел из театра. В мое время так нельзя было. А если можно было, еще тогда бы все разбежались.

— *А раньше могла у вас возникнуть мысль навсегда уехать?*

— Из России? Никогда.

— *Значит, все решили обстоятельства?*

— Абсолютно. В одну секунду все было решено. Слава пришел и говорит: «Пиши заявление, уезжаем отсюда на два года, пусть забудут, что мы существуем».

— *Мне приходилось слышать такое суждение: Галина Павловна Вишневецкая во всем давит на Ростроповича и все, дескать, от нее зависит. Это правда, что вы настояли на отъезде?*

— Да, это я настояла на отъезде, он бы никогда не уехал, его бы сгноили...

— *У Мстислава Леопольдовича другой характер...*

— Другой, другой... Вот и сейчас он решает в феврале поехать с оркестром в Москву и Ленинград, его попросили. Я считаю, что он не должен ехать, это оскорбительно для такого артиста ехать вот так. Как будто ничего и не произошло.

— *Гражданство, насколько мне известно, вам не вернули?*

— Нет. Ну хоть бы сказали: «Извините, так случилось. Был у нас такой маразматик Брежнев, который подписал указ о вашем отъезде». Так нет, ни словечка не говорят. Пусть Ростропович едет, а я не поеду.

— *А какое у вас гражданство?*

— Никакого. Мы — люди мира. Мы без гражданства.

— *И как долго можно жить без гражданства?*

— А сколько хочешь. Плати налоги и все. Вот мы и платим налоги в каждой стране отдельно. Где играем, там и платим.

— *Что бы вы, Галина Павловна, отсюда, из Парижа, прожив на Западе много лет, сказали сегодня о русской женщине? О ее судьбе, положении в обществе?*

Моя собеседница звонко рассмеялась.

— Русская женщина — выносливая лошадь. Ни одна женщина мира не согласилась бы так жить, как живут наши русские женщины. Бесконечное терпение и выносливость, тащить на себе все и при этом, если надо, все забывать, все прощать. Вот что такое русская женщина! Я иногда смотрю телевидение Москвы и Ленинграда. Боже мой, какие они измученные, издерганные, кровью сердце обливается. Как же можно так довести женщину?! Мужчины, черт возьми, и вы за это ответственны, что ваши женщины в таком виде пребывают! Самая тяжелая работа — на женщинах, самая грязная — на женщинах. Семья, эти чудовищные очереди! Как бедных русских женщин на все хватает! Диву даешься — почему они еще живы? А виноваты мужчины! Прежде всего.

— *А что такое женщина здесь, на Западе?*

— Здесь? Знаете как они качают свои права, как боются их мужчины! Посмотрите на улицах. Дело не только в тряпках, как одета женщина, нет, глаза другие, походка другая, какая уверенность! Особенно в Америке, там женщина — огромная сила.

— *Что нужно сделать, чтобы наша женщина стала иной, чтобы она действительно почувствовала себя женщиной?*

— Дать ей жить! Да вы что, Феликс, не знаете, что нужно сделать, чтобы ваша жена была счастливой? Знаете! Так вот, это надо всем. Дайте ей свободу, отнимите у нее унижение стоять в очередях. Когда сюда переезжают женщины из СССР, они не знают, куда девать время. В магазин зашла, потратив полчаса, принесла все и приготовила обед за несколько минут. В ее распоряжении всякие домашние машины, агрегаты. У нас же вся жизнь тупая, все в беготне, в доставаловке. В Большом театре я, кстати, никогда не пользовалась никакими привилегиями, принципиально не пользовалась, никогда не ходила с черного хода в Елисеевский магазин, где артисты под праздник концерты всегда дают. У меня домработница сейчас гостит, приехала на два месяца из Москвы, я ей на полгода визу сделала. Галина Павловна, говорит, что делать, как жить будем дальше? Когда она пошла в парижские магазины, с ней была истерика. До сих пор опомниться не может, ведь вся ее жизнь прошла в очередях. Это же ужас! За что русский человек должен так страдать, во имя чего, какая у него цель?!

— *Любопытно, а каковы были ваши первые заграничные впечатления?*

— Они связаны с гастролями в Праге. У меня там начался роман с Ростроповичем, я вообще ничего не видела — через четыре дня мы поженились. А в 1958 году выехала в Англию, в 1960 — в Америку... Но знаете какая вещь, на меня Запад не производил такого сумасшедшего впечатления. Может быть, потому, что я, артистка, осознавала ответственность встречи с публикой и мне было ни до чего. Я никогда не собиралась уезжать из Советского Союза. Я вся была в работе, здесь был мой театр, он давал мне жизнь.

— *Лучшая пора вашей жизни, Галина Павловна? Я не ошибусь, если...*

— ...не ошибетесь. Большой театр — как оперной певицы.

— *А в этой лучшей поре кто вам особенно дорог?*

— Если не брать моего мужа, с которым мы прожили тридцать пять лет, то Мелик-Пашаев и Покровский. Именно они — в самых счастливых годах моей работы. Я помню всегда это и чту.

— *Вы многого достигли, вы признаны лучшей певицей мира, а могли бы достичь большего?*

— Безусловно! Я много не сделала, даже в Большом театре. Репертуар из года в год один и тот же. Невозможно было пробить новую оперу. А я мечтала спеть Медею, что-то Керубини, оперы Верди... Многое.

— *А здесь, на Западе, вы не осуществили свои мечты?*

— А что здесь? Я ведь сюда приехала, проработав на сцене Большого театра тридцать лет. Включаться в новую упряжку и работать с такой отдачей, как требуют здесь, очень трудно. Я спела на Эдинбургском фестивале в «Макбете» Верди новую для меня роль. Было десять спектаклей. С удовольствием работала. Но вдруг поняла, почувствовала, что работать такую партию в десяти спектаклях в месяц я уже не имею права. Я и не привыкла работать так много в театре. В Большом такую партию я пела бы раз в месяц, раз в месяц в «Евгении Онегине», и еще спела бы в «Тоске». Это нормально — я бы выдержала. Но десять спектаклей «Макбета»?! Я поняла, что это очень опасно.

Я сделала здесь очень интересные записи. Полную запись «Екатерины Измайловой» в первой редакции Шостаковича. Записала пластинку-альбом: Глинка, Даргомыжский, Мусоргский, Бородин, Чайковский — всего сорок пять романсов, да вообще много всего. Последняя моя запись двухлетней давности «Война и мир» Прокофьева, в первой ее редакции. В свое время это было рассчитано па два вечера. Записала «Бориса Годунова», будет еще и фильм. За «Войну и мир» получила «Гран-при», что наполнило меня гордостью, потому что я записала эту вещь через тринадцать лет после первой пластинки. Первый раз с Мелик-Пашаевым в 1958-м, тогда меня удостоили «Гран-при». И вот через тридцать лет снова «Гран-при». Я была счастлива! Сейчас я пою меньше, это нормально, сорок пять лет на профессиональной сцене — срок большой. И в будущем буду что-нибудь делать. Но уже так, спокойно. Пора себя и пощадить.

— *Что пишут о вас на Западе?*

— Пресса прекрасная. Грех жаловаться.

— *Какая-нибудь книга о вас написана?*

— Нет, книги нет.

— *Не обижайтесь за такой вопрос, но я слышал от московских обывателей, дескать, Вишневецкая купается в лучах славы Ростроповича?*

— Эта болтовня меня несколько не уязвляет. Мы со Славой совершенно разные в творческом амплуа люди. Так что это несерьезно.

— *Что вы можете сказать в сравнительном смысле о западной культуре и нашей, русской?*

— Вы знаете, это разные качества. Общая культура на Западе выше, а не специальное искусство. Россия столько лет была закрытой, а люди должны пользоваться цивилизацией, видеть, что сотворил человек не только в своей стране. Для артиста это необходимо в первую очередь. Прежде чем прийти в театр, артист уже должен много знать. Он уже должен быть культурным. У нас же этого нет.

— *А что вы вообще думаете о семидесяти двух годах, прожитых вашей родиной после революции?*

— Вы знаете, я не настолько политически грамотна, чтобы делать какие-то выводы. Но одно могу вам сказать, прожив там сорок семь лет и зная систему,— не то, что хотел Ленин, не то, о чем мечтали большевики, а то, что получилось,— я считаю большим несчастьем, что прожила в такой стране. У меня нет больших надежд на то, что у вас возможны действительно большие перемены. Перемены внутри власти. Я убеждена: для того, чтобы произошли действительно радикальные большие изменения, нужна вторая партия. Изменения сейчас мне кажутся невозможными, вы трогаете одну ниточку, она тянет за собой такие страшные проблемы, что аппарат не может не сопротивляться. А это миллионы номенклатуры, да еще миллионы жен и детей номенклатуры... Конечно, гласность — невиданная вещь, но благодарить статистику за открытое признание того, что в стране угроблены десятки миллионов людей до войны, и падать благодарственно в ноги за то, что это открыли? Так, что ли? Ведь мы хотим чего-то другого взамен этого. Покаяния все-народного! Хватит Сталина в гробу трясти. Почему бы Коммунистической партии, которая у власти семьдесят два года, не принести покаяния перед всем народом. Цари выходили на народ, кланялись, простите. Народ русский прощает, бог велит нам прощать даже своих врагов. И народ простит. И это будет очищением души народа и правительства. Хватит врать друг другу. Валить все то на Бухарина, то на Сталина, то Бухарин хороший, то Троцкий хороший. Да они мертвецы, а вы попробуйте с живыми людьми разобраться, виновными во многих преступлениях. Ведь их еще много. Так и с эмигрантами:

как только закрыл глаза, ушел в иной мир, начинаются восхваления. Фимиа́м без меры, без такта. А почему с живыми-то не разговаривали?! Или ждут, пока мы все помрем здесь? Прах Шаляпина перетащили, чего его таскать-то было?! Жену, кстати, в могиле оставили, забросили. Это же безнравственно, это чудовищно. Сначала угрожают людей таких, как Тарковский, к примеру, а потом: великий, не отдадим. Вспоминаю, как он страдал, что его сына не выпускали. Ведь мы дружили с ним близко. Как он умолял, требовал, просил, что только ни делал, но мальчика к нему не выпускали. Я сама видела, как во время телевизионного интервью он просто заплакал. И обратился к людям: «Помогите увидеть сына. Если я его не увижу, я умру». Я уверена, что болезнь его, переживания, связанные с той ситуацией, в которой он оказался, в конечном итоге привели его к смерти. А теперь публикации, статьи, книги. Даже товарищ Ермаш написал огромную статью в «Советской культуре». Вы знаете, как только умер Тарковский, буквально через два часа позвонили из посольства, это рассказывала мне его жена Лариса, и предложили самолет, деньги, чтобы устроить Тарковскому всенародные похороны. Это с него, с мертвого, сдирают славу, как с мертвых солдат на поле боя сапоги. И так не только с Тарковским поступают. Как будто специально ждут смерти.

— *Такие невеселые мысли пришли к вам именно здесь?*

— Да, здесь.

— *Когда вы увидели эту жизнь?*

— Нет, не когда увидела, а когда пожила здесь пятнадцать лет. У людей в Советском Союзе мозги забиты ненужным каким-то хламом, они не успевают даже мыслить, потому что вся энергия уходит на какую-то возню: все чего-то надо достать, достучаться до какого-то чиновника, разобраться с доносом на тебя, и в этом ты копишишься. И жизнь уходит. Скажите, ну разве это не так?

Когда же я оказалась здесь, вдруг такая суeta спала, исчезла, растворилась, и я стала другим человеком. Повторяюсь, я с ужасом смотрю на то, что происходит в стране, точнее, на то, как живут там люди. Довести такую страну до состояния, чтобы не было мыла?! В мирное время. Мне рассказывала одна артистка из Ленинграда, что в школах вши появились. Я неделю спать не могла после ее рассказа. И это в Ленинграде?! Да, наверное, не только там. Почему же такое происходит? Бедный

Горбачев! Какое наследство ему досталось. И что с этим можно сделать?

— *А какое в вас сейчас чувство: боль, злора, сострадание?*

— Никакой злобы. Боль, я страдаю за этих людей, за детей, за несчастных женщин. И как же можно не страдать?!

— *У вас родственники в СССР остались?*

— Нет.

— *Кто, по-вашему, олицетворяет сопротивление режиму, сталинскому ли, брежневскому, у нас в стране?*

— Таких — единицы, их все знают. Солженицын, который грудью, танком шел, хоть дави его, он будет стоять на месте и отстаивать свое. Тарковский, естественно, Пастернак, Ахматова, столько лет страдавшая, но оставшаяся гордой, непреклонной.

— *Замечательные стихи посвятила вам Анна Ахматова: «Женский голос, как ветер несется...»*

— Но я с ней не была знакома. Стихотворение это она написала под впечатлением моего исполнения «Бразильской бахианы» 19 декабря 1961 года.

— *А как вы узнали об этом? Вам было известно, что Ахматова посвятила вам стихи?*

— Нет, только после ее смерти. Стихи она написала в больнице, мое пение слушала по радио.

— *Вы видите с Солженицыным?*

— С Солженицыным я не часто встречаюсь, он с семьей живет в Вермонте, в стороне от наших дорог. Последний раз я его видела, когда закончила книгу. Перед сдачей в издательство попросила его прочесть. Ужасно при этом волновалась. Ждала приговора, оценки, совета — не знаю чего. И вот приходит от него письмо: книга понравилась. Самое ценное в ней, пишет Александр Исаевич, это «искренность и интонация голоса... Я читаю вашу книгу и слышу ваш голос». Для меня оценка Солженицына очень дорога.

Последний раз я встречалась с ним шесть лет назад. Хотя по телефону говорим регулярно. У нас с ним хорошие отношения. Его сын Игнат живет в Лондоне, ему исполнилось семнадцать лет, очень талантливый, Слава с ним иногда занимается, Игнат — настоящий пианист. Это радует.

— *Как возникла идея приютить на даче Солженицына?*

Муж сказал мне: «Александр Исаевичу надо помочь».

Дом стоял свободный, в нем Солженицын и поселился с семьей. Потом остряки шутили, что у нас на даче сторож живет, Нобелевский лауреат. Жил он у нас на даче четыре с половиной года. Там и двое детей его родились...

— *Галина Павловна, а ваш знаменитый муж не пишет книгу?*

— Нет, ему некогда. И я считаю это преступлением, что он не пишет. Ведь он один из немногих, в России — Рихтер, скажем, а здесь — Ростропович, из тех, которые знали Прокофьева. С Сергеем Сергеевичем он дружил еще с юности. О Шостаковиче обязан писать! Ведь до сих пор о Шостаковиче книги нет.

— *А книга Соломона Волкова?*

— Волков? Вы знаете, это книга такого мелкого пошиба, до неприличия искажающая облик великого, величайшего композитора XX века. Как же не стыдно было Волкову издавать такое?! Это же собрание анекдотов, вложенное в уста великого человека, — безобразие! Анекдоты, о которых знала вся Москва. Особенно круг музыкальный. Мы все их слышали. Это нечестно. Деньги все-таки пахнут.

— *Что вы думаете о судьбе его сына Максима Шостаковича? У нас о нем разное говорят, что он уехал, дескать, за отцовскими деньгами...*

— Ну что вы! Он и в России был богатым человеком. Какой длинный рубль? Сын Шостаковича получал огромные авторские. Среди интеллигенции России он был одним из самых богатых людей. Уехал он совсем по другим причинам.

— *Даете ли вы благотворительные концерты?*

— Я — нет, а Слава довольно часто. В пользу больных, в пользу детей, стариков, в защиту животных. По всему миру он дает в год порядка двадцати бесплатных концертов.

— *Вы знакомы со здешними звездами? С Брижит Бардо, например, с Мариной Влади?*

— Бардо? Я ее не знаю, а Марина Влади как раз вчера была у нас дома.

— *А политические деятели входят в круг ваших знакомых?*

— Конечно, мы много раз бывали в Белом доме, общались с Рейганом, Картером, а с Бушем знакомы с той поры, когда он был еще вице-президентом.

— *В Париже вы живете постоянно?*

— Нет, мы не живем на одном месте, в Париже это

любимая моя квартира. Есть у нас квартира в Нью-Йорке, в Вашингтоне, в Лозанне, в Англии...

— *Каково расписание вашей жизни на ближайшее время?*

— Отсюда мы летим в Швецию, приглашены на церемонию вручения Нобелевских премий, оттуда в Голландию, потом будем в Лондоне, вернемся сюда на два дня и уедем в Лозанну, там встретим Новый год и 8 января мы будем в Вашингтоне — там оркестр у Славы. В феврале или в конце января мы едем в Японию. У Ростроповича — турне, я поеду вместе с ним. Из Токио он поедет в Москву, а я полечу в Париж.

— *Как жаль, что не в Москву.*

— Нет, не могу ехать, это выше моих сил. Мне стыдно, что русские люди так со мной поступили.

— *Вы довольны своими детьми?*

— Да, у нас два внука Иван и Сергей, шести и трех лет. Это дети моей младшей дочери. А старшая дочь сейчас не замужем, живет в Нью-Йорке, она виолончелистка, преподает в высшей музыкальной школе. Очень довольна.

— *Как вы относитесь к Алле Пугачевой?*

— Никогда ее не слышала, никогда. Ни в России, ни здесь. Так что извините за такое упущение.

— *Какое качество в человеке вы цените больше всего?*

— Честность. Моя бабушка учила меня двум заповедям: не врать и не воровать.

— *Вы знаете, я сейчас подумал, что вашей книгой «Галина...» вы как бы отдышались, выговорились. И вам стало легче. Не так ли?*

— Абсолютно верно. У меня была потребность рассказать о наболевшем, о своей сложной и нелегкой жизни. Я должна была это сделать. И это помогло мне жить дальше.

Октябрь 1989 г.

«И НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НА ТРОНЕ»

**Его Императорское Высочество
Владимир Кириллович Романов.
Париж**

Все было по этикету: просьба о приеме, рекомендация, ожидание ответа, приглашение ко двору, прекрасная квартира в центре Парижа, рядом Пале Рояль, Тюильри, «теплый и дружественный» прием, долгая беседа, обед (протертый крабовый суп, форель, деликатесы, вино), царские подарки — уникальные книги о родословии дома Романовых.

Мне показалось, что я пришел ко двору (простите за каламбур), и гостеприимные хозяева — Великий князь Владимир Кириллович Романов и его супруга Леонида Георгиевна Романова (Багратион) — соизволили позвать меня в гости еще и еще раз. Этим обстоятельством я был весьма доволен: не часто зовут на столь высокую аудиенцию. Мои свидания с Его Императорским Высочеством вызвали в русскоязычной парижской аудитории разноречивые отзывы. Некоторые были довольны, что советский журналист проявил интерес к особе престолонаследника, иные же отказали мне от дома, узнав, что я общался с якобы незаконным претендентом на царскую корону. Я не огорчился, не радовался. Не сплетничал, не выяснял сложных внутридинастических отношений. Я делал свое дело. Как журналисту мне любопытно общаться с любым интересующим меня человеком. Уточню — русским человеком вне России. Судьба каждого эмигранта, каждого русского за рубежом видится мне уникальной. Той судьбой, которая не может оставить тебя равнодушным, а дает возможность поразмышлять не только о пережитом одним человеком, но и о судьбе России-родины.

Вот почему мне было интересно встречаться с Владимиром Кирилловичем Романовым и разговаривать обстоятельно, почти протокольно, без каверзных намеков и экивоков. Я познавал судьбу и жизнь хорошего (как

мне показалось) человека. Русского человека. Моего, простите, государя-императора.

— *Скажите, как мне вас называть: «Ваше Императорское Высочество»?*

— Совершенно верно, вы, я вижу, это уже знаете. Мне к этому нечего прибавить.

— *Кем вы приходитеесь Николаю II?*

— Николаю II я прихожусь двоюродным племянником. Николай II и мой отец были двоюродными братьями.

— *Кто ваши родители?*

— Мой отец Великий князь Кирилл Владимирович. Он стал главой императорской семьи по той простой причине, что после убийства большевиками Николая II и его семьи, а также его брата пресеклась династическая линия Александра III.

И старшинство перешло к следующей линии, то есть к линии второго брата Александра III, моего деда, Великого князя Владимира Александровича, тоже сына Александра II.

Моя мать — английская принцесса, внучка королевы Виктории. Она была единственной дочерью Александра.

Довольно редкий случай для брака — мои родители были двоюродными братом и сестрой. Браки такого рода разрешались, и могу заметить, что этот брак был очень счастливым. Счастливыми были мое детство и юность. К сожалению, своих родителей я потерял сравнительно рано.

— *Где вы родились?*

— Я родился в Финляндии, в Борго, недалеко от Хельсинки. В этом небольшом местечке жили в свое время друзья родителей. В семнадцатом году, когда мать меня ждала, времена были тревожные, беспорядочные. Мой отец пребывал на военной службе в должности командира гвардейского экипажа. Это была единственная военноморская единица в гвардии. В дни правления Керенского отец подал в отставку и переехал в Борго, где было сравнительно спокойно. Там я и родился 30 августа 1917 года. Мать и отец вместе с двумя старшими моими сестрами прожили в Финляндии до двадцатого года.

— *А потом?*

— Финляндию заняли, или освободили (как хотите это считайте), войска генерала Маннергейма и немецкие войска. Из Финляндии мы выехали в Швейцарию, прожили там несколько месяцев, а зиму с двадцатого на двадцать первый год провели на юге Франции. Летнее

время там жаркое, и родители по совету друзей перебрались в Бретань, купили дом и навсегда обосновались в этой северо-западной части Франции. Дом этот я, слава Богу, сумел сохранить и часть времени в году провожу там с семьей.

— *Кстати, недавно над Бретанью пронесся катастрофический ураган, об этом писали в советских газетах.*

— Да, пострадали дом и сад. Погибло много старых деревьев. Но мы любим эти места и всегда стремимся в эти края.

— *Расскажите о вашей семье.*

— Охотно. Моя супруга Великая княгиня Леонида Георгиевна Багратион. Она из грузинской царской семьи, по мухранской линии, из рода Багратионов. Ее отец был старшим в семье всех Багратионов. Она православная, хорошо знает русскую жизнь, потому что молодость провела в России, даже училась там в школе. Мы встретились совершенно случайно в Испании после войны. Поженились в сорок восьмом году, и я благодарен Богу, что он дал мне такую хорошую, умную жену, такого хорошего человека. Она всегда была мне поддержкой и опорой.

У нас есть дочь Мария и внук Георгий, ее сын.

— *Кто из них является наследником престола?*

— Наследницей в первую очередь является моя дочь, а потом идет внук. К сожалению, брак дочери был неудачным, ей пришлось расстаться с мужем, немецким принцем, правнуком последнего немецкого императора Вильгельма II. Дело в том, что, когда он изъявил желание жениться на нашей дочери, он согласился подписать бумагу, что их дети примут православную веру и будут носить нашу семейную фамилию.

— *Как я понял, в Париже я застал вас случайно, мне просто повезло?*

— Мы здесь находимся сейчас из-за внука, он учится в парижской школе, а на каникулы мы уезжаем в Бретань или в Мадрид, где у нас также имеется дом. Но во Франции больше возможностей для хорошего образования.

— *Скажите, когда и при каких обстоятельствах вы присягали на трон?*

— Первая присяга, которую приносит член династии в своей жизни, происходит в шестнадцать лет, когда по нашим законам он достигает гепостического совершеннолетия. Он совершает присягу верности своему отцу или, во всяком случае, императору, главе семьи. Клянется со-

блюдать все российские законы, касающиеся династии или всей империи. А потом при коронации он присягает особой молитвенной присягой. То есть тот, кто должен стать царем, главой государства, при коронации получает миропомазание на царство. «Помазали на царство» — это старинное выражение, и оно означает таинство.

— *Ваше Императорское Высочество, а сколько в мире Романовых, имеющих прямое отношение к императорскому дому?*

— Трудно ответить, потому что дети, родившиеся от неравнородных браков, по нашим законам не считаются членами императорской фамилии. А таковых теперь довольно много. Я не подсчитывал сколько, но много. Да это и неважно, ибо никто из них не имеет права на престол.

— *А как вы относитесь к прихоти истории, когда во главе государства в России мог стать, и об этих закулисных кремлевских схватках сейчас известно, Георгий Романов, ленинградский партийный вождь. Правда, с другой стороны поговаривают, что его не избрали бы как раз из-за «царственной» фамилии.*

— Могу ответить вам с известным юмором, что, конечно, русский народ волен избрать себе любого государя или главу государства. Но это может стать отступлением от закономерности, от законности престолонаследования. Правда, в истории такие случаи бывали.

— *Какая у вас профессия, чем вы занимаетесь?*

— Главный интерес моей жизни — все, что касается нашей родины и эмиграции. Много времени занимает переписка с большим количеством россиян, разбросанных по Есему миру. Среди них много монархистов, некоторые из корреспондентов несут правые идеи, они не обязательно монархисты, и я тоже поддерживаю с ними отношения. Я считаю, что все мы сейчас должны действовать в одном и том же направлении. Главное, чтобы это было полезно родине.

Многих я принимаю лично, поддерживаю морально. То, что происходит сейчас в России, так важно, этого ждали семьдесят лет. Мы же никогда не теряли надежды и возможности увидеть Россию. Теперь же, даст Бог, это может осуществиться. Не знаю, сегодня или завтра, все зависит от того, какое развитие примут события.

— *То есть вы не исключаете возможности приехать по официальному приглашению? Простите, в качестве кого? По чьему приглашению? От частного лица, от ор-*

ганизации, от правительства СССР, от Михаила Горбачева?

— Да, я не хотел бы просить визу, чтобы вернуться к себе домой. А вот если мы получим приглашение, то воспользоваться им было бы нам интересно и полезно.

Приглашение должно исходить от самого верха. Ибо я считаю, что любая иная организация все равно должна получить разрешение на наш приезд сверху.

— *Обращались ли вы с просьбой о приезде на родину, как это сделали недавно, к примеру, румынский или болгарский короли?*

— В последнее время нет, но в течение моей жизни много раз.

— *Я слышал, что повсюду работает походная канцелярия, что у вас идет активная переписка с Россией? Это правда?*

— Да, это правда. Последнее время писем стало больше. Какие-то контакты были всегда, но, конечно, не открытые... Сейчас письма приходят совершенно свободно. Их много.

— *Ваше Императорское Высочество, как вы воспринимаете фигуру Ленина?*

— Это вопрос фундаментальный. Я считаю, что Ленин во многом положил начало всему периоду страданий, через которые прошел русский народ или, шире говоря, народы, населяющие бывшую Российскую империю, вошедшую в Советский Союз. Так что для меня он представляет фигуру отрицательную. Как и вообще доктрина коммунистической системы правления, которая, как мы убеждаемся сегодня, не оправдала себя не только на нашей родине, но и повсюду в мире. Коммунизм, как таковой, фактически обанкротился.

— *А как вы полагаете, имел ли Ленин отношение к расстрелу Николая II и его семьи?*

— По всей вероятности, да. Я не имею, правда, документальных этому доказательств, у меня прямых документов нет. Но я имею право считать, что это правдоподобно и вероятно. Но можно и предположить, что кто-то из большевистского руководства, скажем Свердлов, мог опередить Ленина с таким решением. Потому что, как вы, наверное, знаете, возможно, Ленин держал государя и его семью в запасе как козырь в вероятных мирных переговорах с Германией. Возможно и то, что в самом начале он не имел намерения уничтожить царя и его семью. А после заключения Брест-Литовского мира они

уже не представляли для Ленина прямого интереса, а до некоторой степени являлись даже неудобной обузой. Но указать пальцем на Ленина или на кого-то другого, отдавшего приказ уничтожить Николая II, думаю, сейчас исторически невозможно.

— *А как вы считаете, что нужно было сделать с подвалом Ипатьевского дома в Свердловске, где расстреляли царя? Борис Ельцин недавно признался, что он получил указание сверху ликвидировать то злосчастное помещение.*

— Считаю так, что, с одной стороны, место такого злодеяния надо было бы оставить истории. Или организовать музей, или зафиксировать как-то. Но с другой стороны, возможно, лучше, чтобы этого места не существовало бы вовсе. Уж слишком тяжка для русского человека память о той трагедии. Но если будут действительно найдены останки царской семьи, к этому будто бы имеется какое-то вероятие, и если бы эти останки были преданы должному погребению, как подобает царским особам, то это стало бы лучшим решением вопроса.

— *А как вообще вы относитесь к личности Николая II? Уж слишком противоположны мнения о нем разных людей, историков, биографов, тех, кто знал его лично, общался с ним. Мелкая, незначительная личность, говорят одни. Прекрасный человек, большой государственный деятель, считают другие.*

— Нет, я никогда не назвал бы его незначительной личностью. Это был выдающийся человек. Да, человек мягкого характера, которому претила всякая форма насилия. Думается мне, что эта черта его натуры стала одной из главных причин при его отречении от престола. Таким способом он надеялся избежать лишнего кровопролития. Именно в этой ситуации он вымолвил страшные слова, которые записал в своем дневнике. Слова о том, что кругом предательство, измена и трусость. Но при этом он не мог предвидеть тех последствий, которые принесло его отречение. И он не мог предвидеть, что его брат откажется от престола, а вокруг трона образуется пустота.

Для России стала трагичной ситуация, связанная с очень тяжелой и трудной войной с немцами. Наши силы истощились, мы потеряли лучшие наши части, включая гвардию. В самом начале войны, чтобы спасти наших союзников-французов от немецкого наступления, мы начали действия в Восточной Пруссии. Это заставило нем-

цев остановиться, а то, по всей вероятности, они дошли бы тогда в четырнадцатом году до Атлантического океана, как в сороковом году до него гитлеровские войска.

Трагедия революционной ситуации произошла, как я сейчас особенно вижу, из-за стечения тяжелых для монархии и монарха обстоятельств. Многие вопросы Николаю II приходилось решать практически одному. Он не чувствовал и не видел никакой поддержки. Даже его собственный дядя, Великий князь Николай Николаевич, который был одно время главнокомандующим нашими военными силами, и он прислал телеграмму, в которой коленопреклоненно просил его об отречении. Эта просьба, исходившая от одного из старейших членов императорской семьи, была равносильна предательству. Разве во время шторма, каким бы ни был капитан, можно допустить, чтобы он бросил свой корабль на произвол судьбы. Бедный Николай II...

— *Ваше Высочество, время от времени газеты сообщают о появляющихся в разных концах света претендентах на царский престол. Как бы вы прокомментировали такие сообщения?*

— Да, вы правы, с тех пор, как мы находимся за пределами нашего отечества, неоднократно появлялись люди, претендующие быть детьми покойного императора Николая II. Все это из области фантазии, и ни один из них не мог доказать свои претензии, и все они исчезали в небытии. Единственный раз довольно продолжительное время печать занималась возникшей якобы великой княжной Анастасией Николаевной, дочерью Николая II. Было проведено несколько проверок, экспертиз, которые не дали положительного результата. Да и представьте себе, если бы кто-то из царской семьи спасся, остался чудом жив, то это было бы только на нашу общую радость и ни о каком соперничестве не было бы и речи.

— *У нас в России возник большой интерес к фигуре близкого к царю государственного деятеля Петра Столыпина. Многие считают, что если бы довели до конца идеи и реформы Петра Аркадьевича, то не было бы революции и Россия была бы иной. Ваша точка зрения?*

— Думаю, что это совершенно правильно. Русская история пошла бы иначе, если бы не убили Столыпина. Он был крупной личностью, не только умным человеком, но и крупным мыслителем. Он глубоко входил во все подробности проводимых и предлагаемых им реформ.

— У нас в России сейчас сложная общественно-политическая обстановка. Проводимые Горбачевым реформы пока мало что дали. И прежде всего в смысле экономическом. В этой ситуации раздаются голоса о том, что, дескать, русский народ вообще не способен выйти на уровень с мировыми цивилизациями, что страна из тупика не выберется. Вам, наверное, больно это слышать?

— Конечно, больно. Но я верю, думаю, что если народу будут даны возможности и формы всякой жизни, при которых он будет заинтересованно трудиться и развиваться, то Россия довольно быстро сможет выйти из этого затруднительного положения. Ведь положение-то возникло из-за недостатков той системы, в которой пребывал русский народ и народы, населяющие территорию бывшей Российской империи. Народу надо дать возможность сочетать личные интересы с государственными, и тогда выявится много способных людей, способных поставить на ноги государство.

— Ваше Императорское Высочество, а что бы вы сделали на месте Горбачева, если бы стали действующим монархом? Как бы, к примеру, решали национальные проблемы?

— Вопрос непростой. Но я думаю, что сам факт падения коммунизма дал бы импульс всем положительным силам в стране с целью помочь тому человеку, который взял бы на себя бразды монаршего правления. Что бы я сделал? Я постарался бы найти себе соратников, которые желали бы честно трудиться на благо возрождения родины. И я не сомневаюсь, что такие люди бы нашлись. Задача, конечно, стояла бы нелегкая. Вы знаете, я не раз говорил и иностранцам здесь, и русским, что, если бы Горбачев решился на резкое изменение политической государственной структуры России, это был бы, конечно, рискованный шаг, но это был бы шаг большого гражданского мужества. Но Горбачев, как мне видится, старается делать многое, чтобы вывести страну из чрезвычайно тяжелого положения.

— У вас нет тайного предположения, что Горбачев хотел бы расстаться с идеей коммунизма?

— Горбачев умный человек, и я не исключаю возможности, что он отдает себе отчет в том, что коммунизм как система обанкротился. Ведь в течение более чем семидесяти лет эта система только обещала лучшую жизнь. Что же вышло на самом деле? Обещания не осуществились...

— *Кто, по-вашему, из русских царей наиболее велик в своих деяниях?*

— У каждого монарха свои положительные качества. При одном монархе были крупные военные достижения, при другом — свершались значительные гражданские реформы. Я бы не стал судить, кто из моих предков — наиболее удачный политик. Взять Петра Великого. Он чрезвычайно энергично провел большие реформы. И за это некоторое его осуждают, считая, что он слишком резко их проводил, пытаясь как бы сделать сразу не один, а два или даже три прыжка. И, дескать, потом развитие России затормозилось, что и привело к революции.

— *Как вы считаете, какая форма правления наиболее действенна для общества, для государства: монархия, республика или какая-то иная форма?*

— В принципе монархия представляется мне наиболее действенной политической системой из-за той простой причины, что она применима почти ко всякому политическому строю. В мире не так мало монархий, почти все они имеют конституционные формы правления. Их преимущество над республикой в том, что глава государства всегда постоянен. Как говорится, король умер, да здравствует король! Да, император, король является как бы нейтральным арбитром, который в случае надобности может разрешать разногласия между различными политическими партиями и фракциями и заставляет их работать вместе, несмотря на определенные или резко противоположные точки зрения, программы, взгляды.

— *Как вы думаете, Сталин был монархом?*

— Да, если иметь в виду прямой смысл этого слова. Но есть и другие термины, которым нас научила история: тирания, диктатура.

— *До вас не доходили сведения о том, что Сталин задумывал объявить себя императором? Мне рассказывал об этом наш известный писатель Владимир Солоухин. Кстати, вы не знакомы с ним?*

— Я не слышал о таком намерении Сталина, но думаю, что, если у него возникла такая мысль, он бы со временем провел ее в жизнь. Что касается Владимира Солоухина, то я недостаточно разносторонне осведомлен о нем.

— *Ваше Императорское Высочество, общаетесь ли вы с монархами, пребывающими в изгнании? Существует ли вообще для вас светская жизнь?*

— Да, у нас почти со всеми европейскими монархами и членами иностранных королевских царских домов очень близкая родственная связь. Время от времени мы встречаемся. Не так часто, как хотелось бы, ибо каждый занят своим делом.

Светская жизнь? По правде сказать, она для меня мало что представляет. И мало привлекает. Но отрешиться совершенно от светской жизни невозможно. Я бы сказал: бессмысленно. Это все равно, что отказаться от встреч с важными, интересными для тебя людьми.

— *Существуют ли символы державной власти: корона, скипетр, облачения, все другое?*

— Думаю, что они сохранились, возможно, находятся где-то в музее, может быть, в Эрмитаже, может быть, хранятся вместе с другими коронными драгоценностями. Ведь они принадлежали не лично государю-императору, они принадлежали стране. И государь, даже если и он нуждался бы в деньгах, не мог продать кому-то свою русскую корону. Он не имел на это права, ибо она принадлежит всему народу, государству.

— *Как вы относитесь к все более расширяющемуся в России движению среди верующих канонизировать Николая II как великомученика?*

— Я согласен в этом вопросе с подходом православной церкви за границей, которая не только канонизировала семью покойного государя и государыни, но и сонмы других христиан, убитых безбожной властью.

Да, все они заслужили звание новомучеников российских. И конечно, первый среди равных должен быть Николай II, император и человек, погибший на посту.

— *Когда впервые вы узнали о расстреле царской семьи?*

— Эта страшная новость дошла до нас, как помнится, в 1921 году. Но абсолютной уверенности мы еще тогда не имели. Эту уверенность мы получили только, в двадцать четвертом. И тогда мой отец объявил себя блюстителем престола. Термин этот совершенно легальный, он предвиделся в наших законах именно для того, чтобы подчеркнуть последовательность престолонаследия. Отец решил принять на себя императорский титул, в эмиграции до того не употреблявшийся. И многие русские монархисты стали обращаться к нему: «Ваше Величество», чем всецело признавали его права на возглавление нашей семьи.

— *Вы слышали о том, что у нас возрожден институт дворянства?*

— Как ответить на этот вопрос? Дворянства в России больше нет. Это во-первых, а во-вторых, вы, конечно, знаете породы собак, допустим сенбернар? Так вот, он всегда будет сенбернаром, его в таксу не превратить. Вот так с известной долей юмора я отвечаю на ваш вопрос.

— *В свое время, это было не так давно, у нас писали о том, что у Романовых за границей в банках осталось много денег и ценностей. Ваша семья, простите за такое любопытство, по-видимому, очень богата?*

— Да, определенные суммы за границей были, но император, когда началась война, вывез их обратно. Он сделал этот патриотический жест, с тем чтобы и другие так поступили. Но деньги эти были не личные сбережения царя и его семьи, а государственные. Ведь все союзники имели в западных банках некие суммы для военных нужд. Частных же денег ни у государя, ни у членов императорской фамилии за границей не оставалось, о чем можно, конечно, только пожалеть.

— *На какие же средства вы живете?*

— Помогают русские монархисты, собирают нам какие-то суммы. У матери скопилось немного денег, ну и какие-то драгоценности, как и в любой семье, сохранились, небольшая заначка.

— *А сохранились ли семейные реликвии, те, что передаются по наследству, имеющие историческую, культурную ценность?*

— К сожалению, нет. Почти ничего не осталось. Из-за того, я думаю, что моим родителям пришлось спешно покинуть тогдашний Петербург и они думали, что уезжают на время в Финляндию. И взяли с собой только необходимые вещи. Что сохранилось? Купель — такая серебряная ванночка с двумя ручками, на ней выгравированы имена моего отца, двух его братьев, моих сестер, мое имя, а также имя моей дочери и внука. Ценность эта, конечно, небольшая, но весьма дорогое для нас воспоминание.

— *А портреты, картины? Ну хотя бы те, что я вижу на стенах?*

— Да, какие-то произведения искусства нам остались в наследство. Моя бабушка, герцогиня Кобурдская, оставила в наследство своим дочерям кое-какие редкости. Моей матери достались русские портреты. Например, этот портрет Александра II, который вы видите. Император со своим любимым рысаком. Портрет хорош тем,

что художник писал лошадей, и хорошо писал. Главная фигура на этой картине — рысак. Кстати, картина довольно известная, я видел множество ее репродукций. Есть произведения живописцев, скульпторов, запечатлевших членов дома Романовых. Что-то вы видите на этих стенах, что-то находится в Бретани и в мадридском доме.

— *У вас есть архив? Какова его судьба сейчас и что будет с этим архивом?*

— Архив, безусловно, содержит немало интересного материала. И когда-нибудь, в подходящий момент, я думаю, можно будет частично или целиком предать его гласности. Если когда-нибудь представится возможность мне приехать на родину, некоторое время там пробыть или совсем остаться, обосноваться, то, конечно, я бы взял с собой архив.

— *А каковы сегодня, отношения внутри дома семьи Романовых?*

— Фактически никаких особых отношений нет. По той простой причине, что те, кто остались и являются родственниками, не являются больше членами императорской фамилии. Они живут как частные лица. И многим это не нравится. Но против закона идти невозможно. Особенно в нашем положении изгнанников, беженцев, эмигрантов. Единственная твердая, непоколебимая вещь, за которую мы обязаны держаться, — это наши законы. Если мы будем ими пренебрегать, все распадется окончательно, все расплывется, утратится. Так что у нас вроде бы есть права, но нет власти.

— *Значит, для вас власть — это нечто символическое, не так ли?*

— Да, конечно, но откуда она может быть.

— *А русские, живущие во Франции, признают в вас государя?*

— Для монархистов, не терявших связей с Россией, с традициями, я император.

— *Ваше Императорское Высочество, как вы оцениваете прожитую жизнь? Была ли она удачной, счастливой? Или нет?*

— Личная жизнь, я считаю, чрезвычайно счастлива. Я благодарю господу за то, что он помог мне пройти через жизнь, которая была нелегкой, целым и невредимым.

— *Бывали ли в вашей жизни трагические моменты?*

— Во-первых, конечно, как в жизни всякого человека, крупным горем была потеря родителей. И чрезвычайно

тревожным и печальным было пришествие второй мировой войны. Война приняла уже такие размеры, которые неизбежно должны были привести к катастрофическим последствиям для обеих сторон. В особенности нам было тревожно за судьбу нашей собственной родины. Она вышла из войны победительницей, но, несмотря на все надежды, которые мы тогда питали, период послевоенный оказался немногим легче, чем довоенный, даже в некотором отношении тяжелее. Это были моменты личной жизни моей семьи и близких мне людей. Это были самые тяжелые моменты в моей жизни. Остальное по сравнению с этим — мелочи.

— *Цель вашей жизни?*

— Цель и смысл моей жизни и надежда когда-нибудь до смерти моей иметь возможность быть полезным родине. Единственное оправдание нашего существования — готовность служить ей. В любой форме, в любой деятельности. И не обязательно на троне.

— *Как вы чувствуете, что будет с Россией?*

— Я вообще стараюсь избегать роли пророка — это несерьезно. Мы можем выражать надежду на какое-то дальнейшее развитие государства. И надежда всегда остается одна и та же: чтобы наша страна нашла наконец нормальный образ жизни, где человек может свободно развиваться, свободно заниматься тем, чем он хочет. На пользу стране и не в ущерб себе самому.

Октябрь 1989 г.

«ЧТОБЫ ПИСАТЬ ПО-СВОЕМУ, Я В ТЮРЬМУ ПОШЕЛ»

— ...Нет, не думал, что буду известен. Известным я стал после процесса. Я даже не знал, каким будет суд: открытым или закрытым. Следователь мне заявил, что он не знает, соврал. Процесс широко освещался в прессе, но я об этом не ведал. Поэтому было ощущение глухоты. Мне казалось, что впереди — полное забвение. Крышка. Ночь, Но я понимал, я чувствовал: неестественно писателю признавать себя преступником.

...За окнами смеркалось. Мы не заметили, что сидим почти в темноте. Я не видел лица своего собеседника, но седоватая его борода лопатой как бы высвечивалась в полумраке. Только я подумал о бороде, как Андрей Донатович сказал:

— Чекисты запугивали, что подожгут мою бороду, намекали, чтобы я побрился. «По-хорошему», — твердили они. Далась им моя борода! Но я ее не сбрил и, как потом выяснилось, правильно сделал.

— Почему?

— А потому, что в газетах меня очень ругали, а уголовники на это реагировали от обратного. Из публикаций следовало, что я не признал вины. А они-то знают, как заставляют признаваться, и тех, кто выдерживает, они уважают. «Ну и козу ты заделал, — говорили они, — и книгу на Запад переправил, и виновным себя не признал. И всего-то семь лет тебе дали, детский срок, подумаешь, да мы за такой шухер на вышак бы пошли». И тут еще и борода Дела. Они-то понимали, что бороду я тоже не отдал.

— Вы полностью отсидели срок?

— Нет, только шесть лет. Жена написала прошение о моем освобождении без признания вины. В этих делах есть свои хитрые формальности. Когда они сажали но-

вых политических, то кого-то выпускали из старых. Скажем, нас с Даниэлем посадили, а Бродского выпустили. Хотя срок ссылки еще не кончился. Баланс соблюдали.

— *А Даниэля вы так и не похоронили. Не успели на свежую могилу.*

— Нас долго не оформляли. Все тянули. Пришлось обращаться в посольство, к консулу. Я заявил, что журналисты спрашивают, почему меня, советского гражданина, не пускают на похороны друга? Что же мне отвечать? Тогда впустили, но на похороны я опоздал. Даниэль был настоящим другом, вынес все проверки: следствием, судом, лагерем. Следователи и адвокат уговаривали его меня заложить, но он выстоял. А ведь мог дать и слабину, вроде бы получалось, что это я подговаривал его печататься на Западе, хотя я его не подговаривал, а, наоборот, предупреждал, что это пахнет тюрьмой.

— *Проведенное в лагере время — это потерянная для вас часть жизни, пропавшая или что-то иное?*

— Я хорошо отношусь к этому времени, хотя оно было трудным и физическим, и психологическим испытанием. Физическим — потому что выполнялось указание из Москвы — использовать меня только на тяжелых физических работах. А психологическим было тяжело от того, что я не думал уже вернуться в литературу. Лагерь, извините, обогатил меня в эстетическом смысле как человека, но взгляды мои не изменились. Я, конечно, не представлял, что лагерь — это как бы Советский Союз в миниатюре.

Я сидел как политический преступник, хотя лагерей политических в СССР нет. Есть особо опасные государственные преступники. И это были довольно пестрые по своему составу люди. Сидели те, кто сотрудничал с немцами в годы войны, бериевцы. Сидели за религию разного рода сектанты. Народ был очень интересный, своеобразный. Это были люди, как бы отклонившиеся в сторону — либо в дурную, либо в хорошую.

Именно в лагере я убедился, как талантлив мой народ, вернее, народы, населяющие страну. Нет, не обязательно в творческом смысле, в создании художественных произведений. Просто невероятно талантливыми были рисунки судебных, мысли заключенных. Из лагеря я вернулся с ощущением, что у нас все-таки есть почва для возрождения культуры.

— Вам разрешалось пользоваться библиотекой, книгами?

— Библиотека в лагере была никудышная, но нам разрешалось получать книги из дома. Запрещали почему-то дореволюционные издания и иностранную литературу. А вот с Пушкиным проблем не было, и жена прислала его трехтомник.

— Вы писали в лагере?

— Да, писал. Только не говорил никому, что пишу книгу. На маленьких клочках бумаги я переправлял письма жене. Именно из них потом и сложились две книжки: «Голос из хора» и «Прогулки с Пушкиным».

— Наверное, не все знают, что «Прогулки с Пушкиным» вы писали в лагере?..

Монолог Марии Васильевны Розановой, жены А. Д. Синявского, издателя независимого русского журнала «Синтаксис» и книг, выходящих под маркой «Синтаксиса», одного из самых известных русскоязычных издательств на Западе. Мария Васильевна то молча слушала нашу беседу, то отвечала на телефонные звонки, то спускалась вниз в типографию, где всюду стучала печатная машина и текло своим чередом книгопечатное дело. А когда мы заговорили о «Прогулках с Пушкиным», она не выдержала:

— «Прогулки...» — моя любимая книжка. Мне кажется, все, что сделал Синявский в жизни, — написал эту книжку. Легкую, моцартовскую. Вы смотрели фильм Формана о Моцарте? Это там, где великий Моцарт на четвереньках гоняется под столом за возлюбленной. Вспоминаю, как недели три до ареста, когда тучи уже сгущались и мы чувствовали дыхание в спину, я сказала Синявскому: «Ну что ты пишешь все чего-то мрачное и мрачное, напиши в подарок нашему сыну (а ему было тогда восемь месяцев) что-нибудь веселое, радостное. Напиши про Моцарта». И я считаю, что он написал про Моцарта, ведь Пушкин это Моцарт в поэзии.

А знаете как начались «Прогулки...»?

Синявский меня извинит, если то, что я скажу, покажется нескромным. А было так. В классе пятом-шестом я совершила дурной поступок: взяв из школьной библиотеки книгу, я не вернула ее библиотекарю. Просто украла. Не могла устоять, и все тут. Каюсь, молю о прощении. Книжка эта прошла через всю мою жизнь и приехала сюда в Париж. И вот все десять лет,

те, что мы прожили с Синявским до ареста, я уговаривала его прочитать эту книжку. А ему, уже кандидату филологических наук, все было недосуг. Ничего, бывает... Так он и ушел в тюрьму, не прочитав «Пушкин в жизни» Вересаева. И вот последний день процесса. Мы в ожидании приговора. Приговор. Осужденных уводят. Я беседую с адвокатом и от него узнаю, чем занимался мой муж в процессе следствия. «Может быть, апелляцию сочинял», — говорю адвокату. «Нет, он писал о Пушкине, заметки о Пушкине». Мне это так понравилось, я так обрадовалась. А потом из заключения вдруг стали поступать ко мне написанные на обрывках бумаги размышления Синявского о Пушкине, то есть страницы будущей книги «Прогулки с Пушкиным», столь нашумевшие сегодня. Когда я их читала, записки поражали меня невероятной своей веселостью, легкостью, светлостью. Я и люблю эту книжку прежде всего потому, что она светлая и легкая. Мне она видится невероятно пушкинской по духу своему, по настроению, по эмоциям, заложенным в нее. И я вдруг поняла, что победила-таки, одолела ученого-филолога «своим» Пушкиным. Мне казалось, что он прочитал все-таки Вересаева, чуть позже я узнала, что это правда: Вересаев оказался в тюремной библиотеке. Заключенному выдали эту книгу, и заключенный влюбился в поэта, в его жизнь, судьбу, в его друзей, во все, что творил его гений.

И еще: цитированные в «Прогулках...» стихи — это именно те стихи, которые Синявский использовал по памяти в заключении. Ему сейчас вешают: «Убийца Пушкина, убийца Пушкина», но может ли такой, простите, злодей, знать так много стихов Пушкина наизусть?! Извините за такую резкость, но я не уверена, что, окажись завтра та же Глушкова (поэтесса и литературный критик. — *Ф. М.*) в ситуации, в которой оказался Синявский в 1966 году, вспомнила бы она что-либо из Пушкина, кроме «мой дядя самых честных правил». Да много ли знают Пушкина наши маститые ученые-литературоведы? Вот устроить бы с ними какие-нибудь состязания, пушкинские бега! Выяснили бы кое-что. Вам Андрей Донатович заявил, что лагерное время — одно из самых интересных периодов его жизни. Вроде бы как-то кошунственно звучит. В аду, наверное, тоже интересно, но это ведь ад. Но я его понимаю: при невероятном физическом напряжении ему было интересно жить. И во многом благодаря любви к Пушкину, познанию Пушкина.

Когда я и сегодня перечитываю «Прогулки...», я поражаюсь, как можно было умудриться не построить себе стенку из искусства и весь мрак лагеря не впустить в свои штудии? Книга вышла как бы в пушкинском ключе, живая, светлая, каким был сам поэт. Ведь поэта настоящего от нас забрали, отгородили каким-то другим Пушкиным, неестественным, картонным. Вспомните, к примеру, какие слова говорил Пушкин, когда на радостях плясал после написания «Бориса Годунова», хлопая себя по ляжкам?

— *«Ай да Пушкин, ай да молодец».*

— А вот и нет, вы — испорченное дитя кастрированного, изуродованного Пушкина. На самом же деле он кричал: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» А почему так? А потому что в представлении цензоров и запретителей как же мог великий поэт произносить «сукин сын»? А поэт именно так говорил, народным простецким языком, в этом выкрике его дыхание, его вольность, его, если хотите, ненормативность.

И поэтому, когда книга собралась, я сказала Синявскому, что многих пушкинистов хватит удар после прочтения «Прогулок...». И если совсем честно, мне не жаль этих пушкинистов, потому что, по-моему, именно они — убийцы подлинного Пушкина, они украли его у нас. И таким пушкинистам и всем Татьянам глушковым настоящего Пушкина, нашего Пушкина отдавать нельзя. Пушкина, который веселился, гулял, мудрствовал и обобщался так и эдак. -

Кстати, если хотите, я могу и политическую ситуацию в стране увязать с отношением к Пушкину. Вот мы сегодня — вы в Москве и мы здесь, в Париже, — рассуждаем о том, как же такое могло произойти, что мы во многих делах в калошу сели. Одни говорят, евреи попутали, другие говорят марксисты напутали, третьи считают, что и Ленин не во всем прав оказался. Сидели мы эти семьдесят лет и, простите меня за такое ненормативное сравнение, так это серьезно, тяжело тужились, живя, мечтая и стремясь к коммунизму. Все как-то слишком уж напыщенно было, тяжеловесно. У советских собственная гордость, твердили мы. Так вот, пока мы не изживем эту собственную гордость, это наше национальное самомнение и эту убийственную тяжеловесность, громадьё наших планов и помыслов, нам не сдвинуться с мертвой точки. Все утонет в декларациях и в декорациях, и мы должны учиться быть по-пушкински свободными, в

чем-то как бы запретными, легкомысленными, каким был наш великий поэт.

У «Прогулок с Пушкиным» много врагов. Например, Александр Солженицын. У Синявского с советской историей, и он говорил об этом на суде, глубокие, я бы сказала, стилистические разногласия. У Александра Исаевича до недавнего времени были разногласия политические. А политические — это что такое? Вот разрешили печатать, скажем, «ГУЛАГ» или что-то другое, вот и печатаются эти книги. Свои сочинения Солженицын писал из чернильницы нормативной эстетики, эстетики критического реализма. Вот почему Синявского сложнее печатать, чем многих других авторов. Стилистические разногласия глубже политических. Уважаемая, достойнейшая Лидия Корнеевна Чуковская, я ценю ее за многие гражданские подвиги, она терпеть не может Абрама Терца. И тем не менее, когда после приговора суда Шолохов сказал о том, что «их» надо стрелять, а не судить, Лидия Корнеевна обнародовала свое письмо-протест Шолохову. То, что она смогла выступить в защиту писателя, которого она не любит, мне представляется высоким и благородным. Писатель — это писатель, текст — это текст, а судьба человека — совсем другое.

«Прогулки...» очень любит литературная молодежь, то есть будущее самой литературы. И это очень важно. У иных, я знаю, она настольная книжка. Вот он вечный спор архайстов и новаторов. И пусть этот спор будет вечным.

— *А как вы, Андрей Донатович, реагируете на то, что сегодня происходит у нас после публикации в журнале «Октябрь»?*

— В истории с Пушкиным меня поразила прежде всего несоразмерность, непропорциональность повода, который вызвал эти события, и реакция на этот повод. Повод ничтожный — пять с половиной журнальных страничек. Реакция грандиозная, гиперболическая и, я бы сказал, стадная. Накал страстей, система преувеличений напоминает советскую реакцию на роман Пастернака «Доктор Живаго», на Ахматову и Зощенко по докладу Жданова, на Солженицына и Сахарова в пору Брежнева. Значит, все эти уроки советской истории прошли даром. И советские писатели, которые поддерживают кампанию против журнала «Октябрь», ничему не научились. Толпа способна точно так же ожесточаться и жаждать крови, как при Сталине. Пять с половиной моих страничек

и несколько страничек из повести Гроссмана «Все течет» вызвали такую же бурную реакцию, как, допустим, врачи-убийцы и процесс над троцкистами-бухаринцами, как судебный процесс надо мной в 1966 году. Только тогда писатели просили смерти изменникам родины, а сейчас они просят цензуры (!) и решительных перемен в журнально-газетной практике. Перемен в гласности, перемен, направленных на ужесточение запретов. Значит, то, что происходило при Сталине, было вполне закономерным для нашей страны? Другое, что меня огорчило и насмешило в этой реакции,— это неумение читать художественный текст, неумение, присущее нашей интеллигенции, и в том числе писательской интеллигенции. В книге «Прогулки с Пушкиным» я писал панегирик Пушкину и объяснялся в любви к Пушкину. А это приняли за пасквиль, за издевательство над Пушкиным. Просто потому, что текст необычно написан и любовь к Пушкину выражается другими словами, чем это принято. Я не меньше Куняева понимаю, что Пушкин — национальная святыня России и вообще великий писатель. Но говорю об этом без придыхания, без коленопреклонения, к которому мы так привыкли при Сталине. И третье, что я вынес из этой вакханалии,— это то, что стилистические разногласия могут быть глубже и принципиальнее политических. Важно, что автор, вызывающий возмущение, другой по сравнению с массой, не враг, а просто другой, стилистически другой. Но для того чтобы иметь право писать по-другому, по-своему, я в тюрьму пошел и писал в тюрьме «Прогулки с Пушкиным». Во славу любви и искусства, для того, чтобы остаться Абрамом Терцем. Это пусть Куняев ссылается теперь на авторитет Солженицына, как на положительный пример. Я что-то не припомню, чтобы Куняев выходил на защиту Солженицына, когда того громили и высылали из страны.

А «Прогулки с Пушкиным», если угодно, написаны против всех. В защиту одного Пушкина. И написаны из той же чернильницы, где Маяковский нашел слова в стихотворении «Юбилейное», слова во славу Пушкина: «Ненавижу всяческую мертвечину, обожаю всяческую жизнь».

— Простите, Андрей Донатович, что снова хочу напомнить вам о лагере, я ведь не ослышался, что лагерь был лучшими годами вашей жизни?

— Да, лагерь для меня был и интересным, и самым страшным периодом жизни, что конечно же не означает,

что для меня это была легкая жизнь. Люди гибнут, а я об эстетике рассуждаю. Но ведь я говорю только за самого себя. Повторяю, как писателю мне было там интересно. Обогастил же некоторых людей военный опыт. Скажем, для Виктора Платоновича Некрасова безусловно полезным был период войны. Он вообще был важнейшим этапом его жизни. Разве при этом он утверждал, что он сторонник войны? Это смешно — быть сторонником войны, так же как и сторонником лагеря. Это все равно что быть сторонником смерти. Ведь, как это ни кощунственно звучит, смерть даже очень близких людей в чем-то обновляет человека, давая ему зачастую какой-то нравственный толчок. Нельзя же из-за этого сказать, что нужно желать смерти ближнего. Все сложно в жизни и смерти, нельзя мыслить банально. Да, лучшее время моей жизни — лагерь, хотя одновременно и самое трудное.

— *Вам было страшно в лагере?*

— Человек я не храбрый, я не знаю, как бы я вел себя на фронте. Но я понял, что, попав в тюрьму, надо вести себя естественно. А для писателя естественно считать, что художественная литература неподсудна. Я занял именно такую позицию и поэтому не признался виновным, хотя давление на меня было огромное. Ведь от признания зависел срок, а меня все пугали, что арестуют жену. Физического воздействия не было, меня не били, а психическое давление я выдержал.

— *Вы верите в утверждение, что у нас сегодня нет политзаключенных?*

— Я и верю и не верю. Дело в том, что судьбы некоторых людей для меня какие-то запутанные. Я, например, не могу для себя уяснить, освободили или нет «карабахский комитет»? Французские журналисты были в советских лагерях, как им говорили, в политических. Многие осужденные сидят за измену родине. Ну, а как узнать об этом на самом деле?

— *Вас считают одним из блестящих умов эмиграции. Именно эмиграции. Не задает ли вас, что вас как бы отрезают от родины, от ее читателя?*

— Видите ли, я никогда не был писателем для широкого читателя. Мои вещи всегда были для немногих. Приведу такой пример. Следователь мне говорит: «Вот я три раза прочитал вашу повесть «Любимов» и ничего не понял». Я говорю: «У вас два образования, юридическое и экономическое. И вот вы, культурный человек,

три раза прочитали и ничего не поняли. Как же вы после этого можете квалифицировать мои книги как антисоветскую пропаганду и агитацию? Ведь агитация и пропаганда должна быть прежде всего доступными массовому воздействию. Листовки не пишут «заумным языком». Возразить следователю было трудно.

Другой пример, хотя в несколько ином контексте.

У меня не сложились отношения с Анной Ахматовой. Почему? Твардовский заказал мне к ее семидесятипятилетию маленькую статью. Статью я написал и позвонил Анне Андреевне, она как раз была в Москве, с тем чтобы показать ей свою работу. Мы встретились, но разговора не вышло. Статьей она осталась недовольна. Меня же задело, что она просто ее не дочитала. Точнее, читала ее фразами, абзацами. Скажем, в определенном контексте у меня звучит: «Многие думали, что Ахматова камерная поэтесса, что она и останется камерной, аристократкой». Анна Андреевна вспыхнула: «Я никогда не была камерной, я никогда не была аристократкой». Я говорю: «Анна Андреевна, вы дочитайте фразу до конца». Но она не захотела. Настроение испортилось. Я встал и заявил: «Пускай о вас статью пишет Алексей Сурков», — и пошел к выходу. Ахматова меня остановила: «Постойте, постойте...»

— *Как вы написали предисловие к тому Пастернака?*

— Том Пастернака в большой серии «Библиотека поэта» вышел за две недели до моего ареста. Кому-то я даже успел его подарить. Столько шума было вокруг этой статьи, столько суеты. Ведь перед моим предисловием напечатали от редакции маленькое предпредисловие. Так, на всякий случай, перестраховались.

История с этой статьей тянулась лет восемь. Я работал тогда в Институте мировой литературы, и институт готовил к печати новую редакцию истории советской литературы. Хрущевская оттепель уже началась. Задумали включить в новое издание и статьи, посвященные Бабелю и Пастернаку. Я написал статью о Пастернаке и послал ее Борису Леонидовичу. Лично мы были знакомы. От Пастернака я получил восторженный отзыв, где он, кстати, засомневался, что статья пройдет в печать. А вскоре началась антипастернаковская кампания в связи с публикацией на Западе романа «Доктор Живаго». Рикошетом досталось и мне — за статью. Причем за статью неопубликованную. От меня требовали, чтобы я

отрекся от статьи, от Пастернака. Я не отрекался. Хотя понимал, чем это грозит: вот-вот меня должны были уволить с работы. Пастернак обратился к Хрущеву с письмом, с просьбой, чтобы его не высылали за границу. И когда Хрущев остановил репрессии, то эта его «благодарность» автоматически перешла и на меня.

Позже, уже после смерти Пастернака, задумали выпустить том его стихов в большой серии «Библиотека поэта». Кто-то вспомнил, что у меня есть одобренная Борисом Леонидовичем статья. Предложили ее доработать, расширить, том издали в 1965 году. Так и вышло, что от момента написания до публикации прошло восемь лет.

— *Вы были одним из постоянных авторов «Нового мира». Как складывались ваши отношения с Твардовским?*

— Конечно, я признателен Твардовскому, каким замечательным был при нем «Новый мир». Лично же у меня с Твардовским не все было гладко, потому что я в основном занимался поэзией, а в поэзии он был консерватором. Между нами регулярно возникали легкие трения. Твардовский уговаривал меня изменить предисловие и не превращать Пастернака в классика. Он очень хотел, чтобы я для «Нового мира» написал статью о Маршаке. А я отказывался писать. Для него биографически Маршак был большой фигурой. В споре со мной о Пастернаке Твардовский говорил, что через двадцать лет две считалочки Маршака войдут в хрестоматию, а от «вашего» Пастернака ничего не останется. Так зачем издавать его в библиотеке поэта?

У Твардовского была своя теория, кого считать классиком. Когда я спросил его об этом, он стал мне объяснять весьма забавно. Себя классиком он впрямую не называл, но, конечно же, подразумевал. Он говорил, что классик — это поэт, который всенародно известен хотя бы одной вещью, у которого хотя бы одно произведение народ знает наизусть. Я про себя думал: Пушкина знают, Лермонтова, Некрасова, «Василия Теркина» наконец. А он вслух: «Кто вашего Пастернака знает?» И тут я глупость, на мой взгляд, совершил: «А вот Заболоцкий — большой поэт, а народ его не знает». Твардовский развел руками и объяснил мне, что это за поэт, Заболоцкий. Я не отступал: «А Тютчев? Вроде бы народ наизусть его не знает». Тютчева он пропустил мимо ушей, но чтобы подчеркнуть, какой Пастернак плохой, вдруг сказал: «Знаете, ваш Пастернак временами все равно что Ман-

дельштам». Мандельштам для Твардовского, по-видимому, был пределом падения.

«Новый мир» был силен прозой, деревенщиками, «Иваном Денисовичем», а поскольку поэзию курировал он сам, то он старался не открывать особо новых имен. Был очень ревнивым. Маршак для него был высшим авторитетом. Уже здесь, за границей, я пролистал том воспоминаний о Твардовском. И увидел, что самыми авторитетными писателями для него были Исаковский, Маршак и Фадеев. Маршак — критерий интеллигентности, потому что он признал его «Страну Муравию», «Василия Теркина». В «Новом мире» мало тогда печатались Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина: они были для него слишком левыми.

Нет, вы не подумайте, что я говорю о Твардовском как-то плохо. Я отношусь к нему с большим уважением, даже с любовью. Просто у нас с ним разные вкусы. В литературе мы разных ориентаций. Я понимаю, что «Василий Теркин» хорошая вещь, но чтобы упиваться ею? Я даже думал вывести такую идею, что Твардовский вышел из ершовского «Конька-Горбунка». Ершовский стих много определяет в «...Муравии» и в чем-то пересекается со сказками Пушкина.

— *Какой бы вы выстроили ряд среди русских советских поэтов XX века?*

— Думаю, что было семь или восемь гениев: Блок, Ахматова, Маяковский, Хлебников, Есенин, Цветаева, и еще я бы отнес Ходасевича. А из современных нам поэтов Бродского.

— *Твардовского в этом ряду нет?*

— Нет, я не думаю. А вот Пастернака и Мандельштама я упустил.

— *К Бродскому вы относитесь с особым пиететом?*

— Да, я его ценю, хотя личных отношений никаких, скорее холодные отношения.

— *А кто еще, кроме Бродского, в эмиграции интересен для вас?*

— Крупных поэтов нет. Интересные есть, Лимонов например, Лосев.

— *Что вы думаете сейчас о социалистическом реализме?*

— Так и думаю, как тогда, когда писал свою статью, за которую тоже пострадал. Социалистический реализм дело прошлое. Тот, кто пишет в этой манере, тот архаик: Проскурин, скажем, Иванов.

— Сама идея создания теории соцреализма, по-вашему, была ошибочной, искусственной?

— Думаю, что время было такое. Но я знаю одного хорошего социалистического реалиста, Маяковского. На этой основе он стал большим поэтом, потому что он классик, прекрасный стилист. В своей статье я трактую соцреализм как социалистический классицизм и пишу, что соцреализм (это было в 1957 году) уходит в прошлое, и ставлю вопрос, чем его заменить. Тогда я еще предполагал — критическим реализмом старого типа. Но тут раздолбали- «Не хлебом единым» Дудинцева. И я предложил одним из выходов из тупиковой ситуации — фантастический реализм. Назвал и себя до сих пор причисляю к этому направлению.

— А что, по-вашему, станет с литературой, созданной в застойные годы, в частности с так называемой секретарской литературой?

— Я думаю, что многое забудется. Из деревенской прозы я больше всего ценю Астафьева, он тянется к фантастике, и это мне близко.

Кстати, почти на уровне фантазмагорического я вижу размышления в журнале «Молодая гвардия» автора Кузьмина, который, с восторгом рассуждая о Бубеннове, говорит, что товарищ Сталин обратился к членам Политбюро прочитать всем, как один, замечательную книгу «Белая береза». Дальше, как говорится, куда уж?!

— Как вы относитесь к Шолохову?

— Во-первых, я все-таки по-прежнему сомневаюсь, что весь «Тихий Дон» написан Шолоховым. Очень уж неоднородная вещь. Стилистически, даже хронологически. «Тихий Дон» — это в целом не моя книга, но я думаю, что книга безусловно очень интересная, но вот какая заковыка: дальше эпопея стала развиваться не по шолоховской, а по другой линии, на другой основе.

...В часы наших встреч я просил разрешения Андрея Донатовича посмотреть его библиотеку. Я был поражен тем, как при суровых жизненных обстоятельствах Андрей Донатович и Мария Васильевна сумели сохранить редкие русские книги. Издания петровской поры, раскольничьи фолианты, ставшую ныне уникальной энциклопедию Брокгауза и Ефрона, редчайшие поэтические сборники. И как вообще библиотека оказалась под Парижем? Разве семнадцать лет назад, когда Синявские вынужденно покидали родину, наши власти были более милосердны и разрешали вывезти то, что для писателя

как воздух — книги? Оказалось, что поскольку инициатива отъезда семьи Синявского из СССР шла сверху, то одним из условий выезда был вывоз библиотеки.

— Книги я собирал всегда. Особенно поэзию. В свое время по молодости покупал все, что попадалось, на мой взгляд, интересного. В сталинские времена, когда букинисты не брали опальных авторов, я покупал их с рук. Помню, после смерти вдовы композитора Асафьева от родственников потребовали срочно освободить квартиру, и они даже заплатили истопнику, чтобы он в кочегарке сжег книги. Случайно узнал об этом и ринулся в эту кочегарку. Я ошалел, какие книги лежали передо мной, все символисты, все футуристы, редчайшие издания! Я тогда был студентом, денег — ни шиша. В кошельке лежал полтинник. Старыми, конечно, пятерка нынешними. Из этих денег я предложил ему половину. «Мало», — говорит. У меня все в душе опустилось. «А сколько?» — говорю. «Пятьдесят». В ту же минуту я поехал домой за чемоданами, привез, свалил все в комнате прямо на пол, лег на книги и купался от счастья...

Ноябрь 1989 г.

ВСТРЕЧА С НИМ, С ЭДИЧКОЙ ЛИМОНОВЫМ

С Эдуардом Лимоновым я встречался в Париже осенью 1989 года. Тогда я был одним из первых советских журналистов, посетивших известного эмигрантского писателя, автора знаменитого романа «Это я, Эдичка» и прекрасной книги стихов «Русское». Мне хотелось спросить Лимонова о его жизни на Западе, о его творчестве, планах на будущее. Он был тогда для меня личностью легендарной. Встреча с ним не разочаровала. Многие легенды подтвердились.

...На стенах непрезентабельной квартирki — портрет Дзержинского, советские плакаты самого застойного и самого сталинского толка, эпатирующие фотографии. На вешалке—«шинель солдата Советской Армии» (белое спальное покрывало декорировано серпом и молотом). Внушительная полка с книгами хозяина квартиры, изданными на самых разных языках. Это уже не шутка.

С той осенней поры Эдуард Лимонов не раз приезжал в СССР, дал множество интервью, печатался в самых разных газетах и журналах от «Огонька» и «Знамени» до «Правды» и «Советской России». Было с ним интервью во «Взгляде» и в бывшей программе «Время».

Он не изменился, остался самим собой. Его взглядов и позиций не меняет ни перестройка, ни ветреная политическая погода. С некоторыми его высказываниями я не мог согласиться уже тогда, целый ряд его сентенций вызывает у меня протест и сейчас, но моя цель — показать Лимонова, каков он есть, а не спорить и не оспаривать его.

...Итак, я поднимаюсь по скрипучей лестнице старого дома на пятый этаж.

— *И давно вы живете в этой квартире?*

— *Четыре года,*

— *А раньше?*

— Жил неподалеку отсюда. А еще раньше снимал квартиру на рю Экуффе, в еврейском квартале, эта улица упоминается в летописях тринадцатого века. Между прочим, и этот дом, где я сейчас занимаю чердак, тоже очень старый, семнадцатого века, запущенный, грязный и дряхлый.

— *Это последний этаж под крышей?*

— Настоящая парижская мансарда.

— *А почему вы выбрали этот район?*

— В общем-то случайно. В Париже трудно найти подходящую квартиру, цены безумно растут. Этот чердак стоит довольно дорого, 3200 франков в месяц. Но я люблю этот район, третий арондисмент Парижа и хотел бы здесь жить всегда. Чердак, конечно, маловат, но зато это центр города. Пользуюсь...

— *А сколько лет вы живете в Париже?*

— Первый раз я сюда приехал в восьмидесятом году. Из-за книги, из-за своего первого романа «Это я, Эдичка». Французы купили его через посредника, когда я жил еще в Нью-Йорке. Но вскоре я узнал, что мой издатель обанкротился, пришлось срочно прилететь, чтобы попытаться исправить ситуацию. Для меня очень важно опубликовать книгу на иностранном языке. Мне нужно было обязательно использовать этот шанс. И я прилетел. Познакомился с издателем. Как будто мы понравились друг другу. Подписали договор, и осенью вышла моя первая книга на французском языке.

Я снял квартиру, прожил здесь какое-то время, потом уехал в Нью-Йорк, пробыл там месяцев семь, продолжая наведываться в Париж. А с 1983 года я переехал во Францию, стал жителем Парижа.

— *Паспорт у вас советский?*

— Нет, советского паспорта меня лишили в Союзе. Вынужден был его сдать, подписывая отказ от гражданства. Вы, наверное, знаете о таком условии для всех выезжавших из СССР.

Андрей Синявский мне говорил, что у него двойное гражданство.

— Синявский выехал по другим мотивам, якобы читать лекции. Он был уже известным человеком, а я из себя ничего не представлял. В момент отъезда я был непечатаемым поэтом, со мной никто не церемонился, поэтому я разделил судьбу огромного числа людей, простых эмигрантов.

— Скажите, где вам лучше жилось, во Франции или в Америке?

— Я, человек, быстро адаптирующийся к обстоятельствам, жить могу везде. В свое время мне казалось, что в Америке больше возможностей сделать литературную карьеру. Но не удалось. Сейчас в Штатах я печатаюсь, меня переводят, вышло три книги, но не Америка открыла Лимонова. Там я стал издаваться после книг, вышедших в Германии, Голландии, в других странах. Но в 1977 году, когда я предлагал американским издателям свой первый роман, мне отказало приблизительно тридцать пять издательств. Представьте себе: показали от ворот поворот. Что мне было делать? И вот тогда я приехал в Европу в поисках издателя. Сколько сил я приложил в Америке, чтобы выучить английский язык, научиться на нем писать. А приехал сюда — и снова пришлось переучиваться. Но я одолел французский, теперь и говорю, и пишу на двух языках. Говорят, это неплохо у меня получается. Правда, пишу в основном публицистику, писать романы по-французски и по-английски пока для меня сложно.

— Таким образом, альма-матер для вас стала Франция. Она породила вас, признала, дала имя?

— Да, в определенном смысле. Правда сказать: Франция — это слишком общо. Я бы уточнил, меня «открыл» французский издатель Жан-Жак Повер. Он очень известный и необычный издатель для этой страны. Ему я обязан многим. Возможно, любой другой французский издатель меня бы никогда не купил, но Повер совершенно исключительный человек и издатель. В свое время именно он выпустил первое полное собрание сочинений маркиза де Сада. Он издавал Андре Бретена, антологию черного юмора, сюрреалистов, Жоржа Батали, очень сложного французского писателя. Да, с первым издателем мне повезло.

— Вы верили в то, что вам все-таки повезет? Ведь несколько лет у вас ничего не получалось, вы были на грани отчаяния?

— Да, три года я мыкался с готовым романом. Но отчаяния не было, у меня другой темперамент, Я никогда не впадал в депрессию, не паниковал. Наоборот, неудачи вызывали во мне злость, здоровый азарт, придававший силы и уверенность. Еще в Америке я нашел себе серьезного литературного агента и потом никогда не терял веры в свою книгу. Мало того, параллельно я писал вто-

рую. Писал, искал издателя и знал: пусть меня не хотят, но я пробуюсь.

— *Вы злились на кого-то конкретно или это была злость вообще?*

— Это была злость против косности американского книжного бизнеса, против ханжества. Американские издатели с удовольствием печатали массу бездарных книг советских диссидентов, направленных против советского режима, всяческих там разоблачений. Такое вообще легко писать, но я считал, что моя книга обладает большими художественными достоинствами, что она талантливее, чем многие русские книги, печатаемые на Западе. Я был для них новым типом русского писателя: не диссидентом, то есть активным антисоветчиком, и не советским писателем, то есть я не был никем из тех, кого они признавали. Я был просто писателем, чем и горжусь. Разобраться со мной для них было сложно. Я не могу сказать, что все отказавшие мне издатели посчитали книгу антиамериканской, но я уверен, что многие расценивали ее как антиамериканскую, хотя никакой социальной задачи я перед собой не ставил. Я писал о любви, о потере любви, но, конечно, без показа каких-то социальных условий Америки я обойтись не мог.

— *Кто вам дал этот первый успех? Как это все выглядело: отзывы в прессе, деньги, чувство уверенности?*

— Была очень хорошая пресса, не всегда, правда, точная. Здесь не то что в Советском Союзе, здесь нет крупных литературных критиков. Были отзывы в журналах с большими тиражами: в «Экспрессе», в «Ле Монте», в «Либерасьоне», хотя это скорее не литературная критика, а как бы анонс о выходящей книге. Не это влияло на читателей. Деньги? В первый год я получил их достаточно, так как издатель посчитал мою книгу перспективной. Но я выбивал свои деньги. Я торговался с французским издателем, и мне удалось получить более или менее сносный аванс. Хотя это были не те деньги, которые платят в Советском Союзе. Думаю, это было куда меньше-, но первое время аванс меня спас, давал возможность держаться на плаву, а потом мало-помалу стали поступать гонорары. В течение года-двух медленно, медленно пополнялся мой кошелек. Деньги стали поступать от продажи книг, от их издания в разных странах. Особенно хорошо пошел «...Эдичка» в Германии и в Голландии. Продали около восьмидесяти пяти тысяч

экземпляров. Для Запада — это большой тираж, тем более для автора, никому не известного. А потом я написал вторую книгу, и так пошло.

— *Вы считаете себя писателем на злобу дня?*

— Я считаю себя писателем и социальным и политическим, но не идеологическим. Вот в чем разница. Так или иначе политика всегда замешана в литературе, в любой крупице жизни, в каждом дне нашего существования...

— *Что вы написали и издали?*

— О, массу книг... Книгу под названием «Ля гранд эпок», в журнале «Знамя» она называлась «У нас была великая эпоха». Это десятая моя книга, изданная во Франции. «Русское» — первая книга стихов. Роман «Это я, Эдичка», потом «Дневник неудачника», «История его слуги» — три книги на американскую тематику. Эти все вещи написаны как бы в жанре автобиографического романа. Четвертая книга называется «Подросток Савенко», французское название «Автопортрет бандита в отрочестве». Вышла в 1986 году. А написал я ее в начале 1983-го. Это первая моя книга на советскую тему — описание жизни рабочего поселка 1958 года, в то время мне было пятнадцать лет. В книге мало политики. В ней не интеллигентский взгляд на реальность, а взгляд подростка, рабочего подростка, живущего среди людей его же социальной категории. Книжка получилась одновременно и живая и жестокая. Да, в полном смысле политики там нет, во всяком случае, если она и есть, то не в лоб, как это бывает в произведениях советских писателей. Моей целью было написать о занятиях, о жизни этого подростка. Действие двух основных сюжетов происходит 7 и 8 ноября 1958 года. Герою нужно достать деньги, чтобы повести любимую девушку в компанию. Что из этого выходит? История проста, как мир: подросток грабит столовую, напивается. Но благодаря простому сюжету, действие которого происходит в течение двух дней, удалось показать довольно плотный кусок жизни.

— *Вы не пытались на французском языке писать стихи?*

— Нет, не пытался. А на родном языке, вы знаете, у меня издан сборник «Русское». Вообще хочу сказать, что я потерял интерес к сочинению стихов. Но что касается французского, недавно у меня вышел сборник рассказов «Обыкновенные инциденты»: На русском языке не издавался. Это рассказы о том, как я работал в Америке

на разных совершенно безумных работах. Масса смешных конкретных эпизодов, порою почти сюрреалистические истории. Например, одна повествует о том, как я попал в разрушенный страшный район Нью-Йорка — Южный Бронкс. Я был в белом костюме, с 22 тысячами франков, с документами в кармане. По ошибке я сел не в то метро и попал в какую-то военную выжженную зону. Ночью, глубокой ночью. Следовало бы немедленно вернуться, но мне казалось, что знаю дорогу, и я заблудился. В рассказе ни крови, ни явного ужаса. Но есть скрытый ужас. Ужас проявляется острее всего в обыкновенных вещах. Одетый как будто бы для посещения театра, я оказался в жутком месте, как бы в Бейруте.

Рассказов у меня много. Они составили бы несколько сборников. Всего же я издал около сорока книг в разных странах, каждый год у меня выходит приблизительно по пять книг. Вот на днях еду в Голландию, на презентацию новой книги. В Греции выходит третья книга.

— *Эдуард, слава о вас в СССР, во всяком случае, в околολитературной среде, бежит впереди ваших книг. Ваших романов не знают, стихи живут только в устном исполнении. Мне, например, их читал бард Евгений Бачурин. Кстати, великолепное у вас стихотворение «Кропоткин». А фамилия ваша, да еще довольно необычная, скандально известна, как и то, что вы обшивали советских московских классиков литературы, что вашей женой была Елена Щапова, ныне графиня де Карли, что вы автор многих экстравагантных выходов. Что вы сами об этом думаете?*

— У меня есть определенный имидж и писателя и человека, и я всегда старался его культивировать. Не все мои книги автобиографичны, но то, что я использую себя в качестве персонажа книг, добавляет к этому имиджу ажиотаж. Читатели смешивают автора и его героев. Потом надо учесть, что первая моя книга была все-таки необычная. Это история русского человека в Нью-Йорке. Никто из русских писателей, когда-либо живших на Западе, не вживался в него таким образом, как я. И это моя заслуга. Да, никто не вживался в Запад до такой степени, чтобы чувствовать себя как рыба в воде. Чтобы быть практически здешним: Мне удалось написать очень странную книгу, разбивающую массу присущих русской литературе табу. Например, табу секса. В книге много шокирующих сексуальных сцен. В книге я опро-

кинул табу языка, язык героя и автора совпадают, В романе живет язык улицы, а у нас до сих пор такое не принято. Вот почему в советских публикациях чистят все «скверные» слова. А между тем я никогда не стремился писать такими словами, я их употребляю только тогда, когда в них есть необходимость. Так же как и необходимость в сексуальных сценах. Я не вводил их ради самого факта, нарочито. Если употреблял ругательства, то в этом была писательская надобность, мои герои — резкие люди, поставленные в тяжелые жизненные обстоятельства. В этих обстоятельствах они не изъясняются профессорским языком, они разговаривают нормально, как русский народ обычно разговаривает в быту, и заменить этот жаргон на арго было бы глупо.

Да, мне говорят: в твоей книге есть шокирующие эпизоды. Да. Определенная экстремистская вульгарность романа «Это я, Эдичка» обусловлена ситуацией: герой потерял любимую женщину. И от этого он бросается, что называется, во все тяжкие. Он начинает искать выход из кризиса, и поскольку любовь его к женщине действительно сильна, он парадоксально-извращенчески находит этот выход в пьянстве, в наркомании и даже в сексе с женщиной. Надеюсь, что мне удалось выразить чудовищное отчаяние, трагизм такого секса. Вот почему многие эпизоды романа шокируют читателя. Они-то и создают легенды обо мне.

Я не считаю, что совершал какие-то экстравагантные поступки, всегда говорю о том, что меня особенно волнует, максимально честно. Может быть, моя манера высказываться щекочет нервы обывателей.

У меня особая манера представлять себя. В книге «История его слуги» я предстал в костюме слуги. Я действительно полтора года в Нью-Йорке работал мажордомом у мультимиллионера. И в этот дом приезжал Евгений Евтушенко. В истории своей жизни я ничего не выдумываю, она сама по себе достаточно экстравагантна. Без усилий. До сих пор. Недавно, к примеру, на конференции русских писателей в Вене какой-то кретин-англичанин стал говорить мне гадости о России. Я попросил его извиниться. Он этого не сделал, и мне пришлось дать ему бутылкой по голове. Конечно же история эта попала в печать. Вот так и создаются легенды. Но ведь я никого не задирал, я был таким тихим, скромным и спокойным. Меня вынудили на резкий поступок. Иногда следует дать физический отпор.

— *Как вы понимаете патриотизм?*

— Вот перед вами патриот. Я всегда был патриотом и никогда не скрывал этого. В моих милитаристских устремлениях, я считаю, нет ничего зазорного. В отличие от многих русских, попавших на Запад, я России никогда не стеснялся. Скорее чувствовал определенный комплекс превосходства по отношению к Западу. Что же касается России, я всегда исходил из того, что мы — великая нация. Да, когда-то мы захватили земли, так уж это сделали наши деды, и я чувствую определенную гордость за мою родину, за ее историю.

— *Скажите, ваша жизнь — это комедия, драма, трагедия, фарс?*

— Считаю, что моя жизнь — нормальная здоровая жизнь. Внутри меня совершенно нормальный стержень. Никакой драмы в своей жизни особенно не вижу. Я из простой семьи, оба моих деда родились в деревне, отец и мать — в маленьких городках. Я родился в городе с населением в четыреста тысяч человек. Отец был солдатом. Мы совершенно простые люди. Думаю, что в моей душе нет интеллигентской истерики, а в моих жилах течет здоровая кровь, которая помогла мне пройти через все дерьмо жизни и остаться, по моим по крайней мере понятиям, вполне благородным джентльменом. Во всех смыслах, с момента моего приезда в Америку в 1974 году и до сих пор стою на той же самой позиции: я считаю неприлично «капать» на свою родину, на страну, в которой родился. И этого не делаю никогда. Хотя многие сделали на этом карьеру. Я немало потерял, может быть, несколько лет жизни, борясь за то, чтобы меня начали печатать, но никогда не позволял себе опускаться. Я сам себе установил моральную норму. Так считаю нужным себя вести. Уже в 1974-м, в сентябре, я написал и напечатал в русской газете в Нью-Йорке статью под названием «Разочарование». Довольно неплохая журналистская статья, практически первая на тему о том, как хреново чувствуют себя на Западе бывшие советские люди. Статью перепечатала «Неделя», и я вылетел с работы.

В мае 1976 года вместе с приятелями я устроил демонстрацию протеста против газеты «Нью-Йорк таймс», которая отказывалась нас печатать. Мы ходили с плакатами, послали письма многим иностранным и американским журналистам. Пригласили и советских журналистов. Но никто не пришел. И советские — ни гу-гу. Но я не озлобился. В 1980 году меня пригласили на Олим-

пийские игры поэзии. Они проходили в Лондоне. Из многих стран мира прилетели поэты. Я не представлял Советский Союз, но меня пригласили, поскольку ни Евтушенко, ни Вознесенского не пустили в Лондон, Я прочел стихотворение о русской революции. Мы стояли на мемориальных плитах с урнами — с прахом английских поэтов, писателей. В присутствии архиепископа я образно представил публике русскую революцию в виде красивой молодой девушки. Там была строка: «Целую руку русской революции...» Газета «Санди миррор» на следующий день раздала премии, я получил бронзовую медаль. Газеты писали, что, когда господин Лимонов целовал руку русской революции, не оказались ли его губы в крови. И снова я был удивлен таким обстоятельством: устроители поэтического шоу пригласили телевидение разных стран и журналисты снимали концерт, но советское телевидение отказалось приехать. И это при том, что я читал стихи о русской революции! Абсурд какой-то!

— *Вы прожили на Западе много лет. Ваш жизненный опыт, как мне кажется, уникален. Что вы скажете об этом?*

— Опыт, конечно, гигантский, но я никогда о нем не думал, не пытался его сформулировать. Живя на Западе, м-не, быть может, сделался доступным взгляд на Россию как бы со стороны, и, наверное, он более объективен, чем у русских, живущих там. И вот я думаю, что русские излишне каются, излишне считают себя хуже других, а свою систему — хуже всех систем на земле, и вообще, все, дескать, у них хуже всех. Но я так не думаю, глупо так думать — другим нациям тоже есть в чем каяться. Русский национальный характер не похож на западный. Да и не надо прямо уж так стараться быть похожим. К этим вещам я отношусь спокойно. Всегда очень гордился тем, что я русский, но никогда у меня в отличие от других советских писателей, оказавшихся на Западе, не было комплекса неполноценности. У них комплекс неполноценности по отношению к Западу, а у меня, наоборот, комплекс превосходства.

Конечно, много говорят о Сталине. Я, помню, участвовал в телепередаче «Право на ответ», которую вел Мишель Поляк. И я сказал: оставьте в покое нашего Сталина, у вас был кровавый деспот Наполеон, он угробил миллионы людей во всей Европе. Вы позволяете себе иметь в своей истории такого деспота. А нам вы не позволяете, вам можно все, а нам ничего нельзя.

Полагаю, вы не сталинист?

— Нет, конечно. Сталин — тиран, но я считаю, что иногда тиран бывает и полезен, потому что помимо своей воли он сплачивает людей в переломные моменты истории.

— Но человеческие жертвы? Разве их можно оправдать?

— Неизвестно еще, что лучше. Вот Франция с ее Петеном—страна, которая четыре года была союзником Гитлера, и об этом, я вас уверяю, французам забыть нелегко. В подсознании у них сидит определенный комплекс неполноценности. Да, Россия потеряла миллионы людей, но у нее хотя бы совесть чиста. Да, русские — варвары, а «цивилизованный» человек не хочет воевать с агрессором. И вот он сдается на милость агрессора. И я при выборе между маршалом и генералиссимусом все-таки предпочитаю генералиссимуса Сталина против маршала Петена.

— А тогда есть ли, по-вашему, выбор между Сталиным и Брежневым?

— Я считаю, что моральное осуждение истории, прошлого в известном смысле бесполезно. Противником Сталина надо было выступить в 1950-м, а сейчас, когда от мертвого деспота ничего не осталось, критика Сталина есть трусость. К истории неприменима моральная точка зрения. Сталин жил в свое время, и оно было тяжелое, другие руководители в то время были не лучше его. Трумэн взял на себя ответственность за две атомные бомбы и за бомбардировки Германии, Дрездена. Мирный договор с немцами можно было заключить в 1944 году, но именно американская сторона настаивала на безоговорочной капитуляции, что добавило миллионы новых жертв. И если разбираться в этом вопросе, то и сегодня можно обнаружить немало «забытых» военных преступников. Черчилль тоже был жестоким человеком. Так что не надо...

— Вы считаете себя русским, французским или американским писателем?

— Естественно, я русский писатель, живущий во Франции. Например, известный английский писатель Лоуренс Дюрелл живет на юге Франции уже лет тридцать, другой известный английский писатель, Грехэм Грин, живет в Ницце четверть века, если не больше (Грин скончался в 1991 году.— Ф. М.). И никто их не спрашивает: вы эмигранты или нет? Живут себе и живут.

Почему нам всегда хочется именно у русского писателя обязательно определить его политическое лицо?

— *Вы никогда не задумывались над судьбами известных французских писателей, родившихся в России, но живущих во Франции?*

— Вы имеете, по-видимому, в виду Анри Труайя и Натали Саррот? Что я думаю о них? Оба они буржуазные писатели. Правда, к Анри Труайя я отношусь лучше, но Натали Саррот — абсолютно лабораторная дама. Ужасно пугливая, трусливая, на мой взгляд, не связанная ни с Францией, ни с Россией. Да, пишет по-французски, но это орфография и грамматика, а не литература. У нее никакой социальной позиции, она не живая, она писательница-экспонат для музея, для архива. Труайя тоже не из храбрых. Я активно участвую в жизни этой страны: печатаюсь в самой сумасшедшей газете, пишу для них каждую неделю. Вот она лежит перед вами, называется «Интернациональный идиот». Да, это самая сумасшедшая газета, которая существует. Здесь печатаются самые «плохие» мальчики французской литературы и журналистики. В этом номере две мои статьи. Одна «Портрет Миттерана как Брежнева», вторая — по поводу Берлинской стены.

— *Расскажите, о чем они?*

— Я говорю в статье, что Миттеран — это Брежнев, это — предохранитель. Он сберегатель Франции от всяческих перемен. Именно так «оберегал» Россию от перемен Брежнев: ничего не предпринимать, лишь бы сохранить все в таком виде, как есть. Но я предупреждаю, что после восемнадцати лет правления Брежнева произошел взрыв. А это — почти три президентских срока Миттерана, и такой же взрыв во Франции так жажнет после ухода Миттерана, что все полетит вверх тормашками. Таково мое изображение Миттерана в виде Брежнева.

— *А вы не боитесь здесь, во Франции, печатать такую статью?*

— Конечно, мне вредит участие в такой газете, вредит моей литературной репутации. Это точно. Вот сейчас вышла моя новая книга, и на нее куда меньше рецензий, чем было раньше. Об этом говорит мой литературный агент, и мои издатели предупреждают, что публикации в этой газете мне вредят. Но я не могу не писать, это тоже часть меня, и я не могу не работать в «Интернациональном идиоте».

— *Но почему вы не можете печататься в других изданиях, не таких одиозных?*

— Дело в том, что это единственная газета по-настоящему свободная, не ангажированная. Да, многие газеты свободны, редкие принадлежат какой-то партии, группировке. Но тем не менее для всей прессы существуют общие табу, которые нарушать нельзя. Сама цензура. И только «Интернациональные идиоты» нарушают табу. Эта газета может судиться с кем угодно, с министерством культуры например. Она никого не боится. И многие за это против нее. Однако нас читают, и читают все больше: работники, студенты, школьники.

А во второй статье я рассказал историю Берлинской стены. Очень хорошо знаю эту историю. И считаю, что за Берлинскую стену в ответе не только Россия, потому что создавалась она в обстановке «холодной войны». Доктрина Трумэна состояла в том, чтобы поднять Германию из руин, чтобы Германия служила сдерживающим оплотом против коммунизма. Обо всем этом я написал просто и ясно.

— *Я чувствую, что вы всерьез увлекаетесь историей современности.*

— Я много читаю, и когда мне нужно на какую-то определенную тему писать статью, я быстро знакомлюсь с необходимой литературой. Дома или в библиотеке. Библиотека тут же, на моей улице, довольно часто ее посещаю.

— *Вы читаете русскоязычную прессу, газету «Русская мысль» например?*

— Нет, не читаю. Когда-то я работал в нью-йоркском «Новом русском слове» корректором. До тех пор, пока, как я вам уже рассказывал, меня не попросили уйти. Так что я хорошо знаком с закулисной жизнью эмигрантских газет. К тому же трудно объять необъятное. В том числе и советскую периодику, советские книги. Я читаю только в том случае, если мне советуют что-то не пропустить. А быть в курсе всего практически невозможно. Когда стали кричать о романе Рыбакова «Дети Арбата», я его тотчас достал. Читать не стал, но перелистал. Роман на меня не произвел впечатления. После всего, что здесь, за границей, было издано и напечатано на эту тему, а это буквально горы, в том числе и «Архипелаг ГУЛАГ», роман Рыбакова мне показался бедным. Написано профессионально, но как-то безжизненно, затянуто, нудно.

Я вообще не люблю книги проблемные, когда проблема решается в лоб. Да, конечно, варварство — выселять народы: чеченцев, крымских татар, но все это было в совершенно другую эпоху, когда были другие нравы, другой миропорядок. Сейчас, сидя в «цивилизованных» креслах, легко обвинять людей тридцатых, сороковых, пятидесятих годов. Но у них не было нашего опыта. Посмотрим еще, что оставит после себя перестройка... А что, если она прославится как эпоха упадка?

— *Читали ли вы роман Василия Гроссмана? Как реагируете на новые имена в литературе? Например, на Татьяну Толстую?*

— Гроссмана не читал. Прочитал два рассказа Толстой. Старушечий стиль, областные приговоры, плачники. Это не для меня. Вообще в современной русской литературе много провинциального.

Бурями своего времени меня выбросило на западный берег. И вы знаете, я не считаю это трагедией, как пишут о нас советские журналисты. Я считаю, что писателям полезно пожить в чужих странах. Они приобретают более широкое понятие о жизни, о людях, приобщаются к опыту других культур, расширяют свой горизонт. Их время от времени надо «выбрасывать» из своей страны, чтобы они не были провинциальными. Любое изгнание полезно.

— *Вы считаете, что русская словесность провинциальна? Если да, то в каком смысле провинциальны Валентин Распутин, к примеру, или Белла Ахмадулина?*

— Валентин Распутин пишет о простых людях, о людях деревни, Сибири, и я говорю не об этом. Я имею в виду провинциальность духа, слащавость во многом и русской литературы, и в особенности советской, современной литературы. Это — литература во многом адаптированная для юношества и стариков читателей. Могут сказать, что здесь была вина цензуры, которая не позволяла литературе быть такой, какой она должна быть. И это, по-моему, трагично. Почитайте ваши книги, посмотрите ваши фильмы и спектакли. Все очень слащаво, наигранно, искусственно. Через дорогу переводят какого-нибудь слепого, люди совершают какие-то непонятные и никому не нужные подвиги и поступки. А кругом нищета и по-настоящему великие проблемы жизни. В этом ханжество литературы, искусства. И еще: почему ваши писатели пишут, но не используют, боятся использовать все богатство русского языка.

— *Вы, конечно, имеете в виду ненормативную лексику?*

— И ее тоже. Ведь это тот язык, на котором говорят и нынче, да еще и в большей степени, чем вчера, живые люди. Послушайте, как говорит народ: это крепкая, живая, грубая, но настоящая речь. Так чего же ее бояться?! После публикации знаменитых книг Селина во Франции не стали же все писатели изъясняться матом. Так же как и после выхода в свет «Тропика Рака» Генри Миллера.

Понимаете, вы своего читателя делаете провинциальным. В журнале «Знамя», к примеру, в повести «У нас была великая эпоха» сокращена сцена детского секса. Но это же смешно. Моему герою четыре года, и то, что он делает,— это проявление функции детского любопытства. И вот в контексте традиционного ханжества русской литературы это коробит. Еще раз подчеркну: русский народ— это крепкий, могучий, здоровый народ. И литература русская должна быть могучей литературой реальной жизни.

— *Как же быть с вашим романом «Это я, Эдичка»? Ведь там, простите, много такого, к чему наш читатель просто не подготовлен?*

— Да, принеся мне известность, переведенный на многие языки роман в обозримом будущем не будет напечатан в Советском Союзе. К сожалению, я это понимаю.

— *Честно говоря, еще несколько лет назад я не мог себе представить, чтобы у нас напечатали «Лолиту» Набокова. А сейчас, смотрите, вот-вот выйдет в свет.*

— Но вы не забывайте, что Набоков — старый джентльмен, родившийся в 1899 году и писавший на изысканном, почти академическом языке. И в «Лолите» нет никаких особых неприличностей. «Лолиту» легче издать сегодня в России, нежели мою книгу.

— *Эдуард, какие-то моменты вашего отъезда из Советского Союза мне известны. Но все-таки расскажите об этих мотивах и обстоятельствах.*

— Шел 1973 год, когда я почему-то решил жениться, и непременно с венчанием. С моей Еленой мы выбрали для этого Брюсовскую церковь рядом с улицей Горького. Явилось туда огромное количество московской богемы, контркультуры, дипломатов. Мы дружили со многими дипломатами. Жизнь в Москве была скучная, и нас, молодую пару, охотно приглашали в гости на рауты, приемы, вечера. И вот ровно через неделю после вен-

чания к нам домой явились три человека и попросили меня поехать с ними. Надо заметить, что московской прописки у меня не было. Я и уехал из России в тот день, когда кончалась моя временная прописка на один год. Так вот, вызов в милицию был лишь поводом для проверки паспорта. Со мной поговорили, отпустили, а на другой день вызвали на- Лубянку. Выяснилось, что они хотели, чтобы я поставлял им сведения о Венесуэльском посольстве, куда мы частенько ходили с женой. И не просто ходили, с послом Бурелли мы были личными друзьями. Бедного Бурелли потом отчасти из-за нас тоже выжили из Москвы.

— *Как же вы познакомились с послом?*

— Однажды кто-то повел нас на вечер в посольство, предварительно спросив, не боимся ли мы. Мы не испугались. В посольстве было весело, раскованно, все танцевали, было много шампанского и все такое прочее. Нас с Еленой представили послу, и мы подружились.

Так вот, меня стали вербовать. Я отказался. Я сказал им, что мой отец работал в НКВД, потом в МВД и завещал мне никогда не связываться с вашей организацией. Наша семья, сказал я, свой долг Родине заплатила. Не хочу, и все. Мне еще с детства внушали, что стучать — это плохо, гадко. Если бы они мне предложили по-серьезному: «Дорогой товарищ Савенко-Лимонов, мы хотим направить вас в академию КГБ», я бы, наверное, пошел. Но стучать, быть какой-то шестеркой — отказался. Тогда мне подсунули бумагу о моем выселении из Москвы, катитесь, дескать, к такой-то матери в Харьков. Я подписал эту бумагу и собирался было уходить. Но тут меня остановили и говорят: «Знаете, наш большой начальник предложил, почему бы Савенко-Лимонову не уехать за границу. Насовсем». Я говорю, куда же я уеду, я ведь не еврей и жена моя не еврейка, у нас нет никаких формальных оснований для отъезда. «Мы вам советуем заполнить анкету на выезд, — сказали мне, — препятствий чинить не будем». Тогда, поразмыслив о том, что раз уж на меня положили глаз, я решил, что покоя мне не дадут. Уезжать, конечно, не хотелось. Я ни в чем не участвовал, не был, не состоял, жизнью был очень доволен. Только что женился на женщине, которую любил, зарабатывал какие-то деньги шитьем брюк, писал высокооцениваемые специалистами Стихи, имел массу друзей, знакомых. Не собирался я никуда уезжать! И вообще никуда не собирался из Москвы. Правда, где-то внутри сквозило

любопытство: что там у них за бугром происходит, на другой стороне глобуса? Но я понимал, что русскому человеку это любопытство осуществить невозможно. Мы понимали, что нас все равно никуда не выпустят. И тут мы с Леной решили — поедem. Тем более что уезжали друзья, художник Бахчинян со своей русской женой, Юрий Мамлеев, писатель. КГБ выбрасывало из страны «чуждые» с их точки зрения антисоциальные элементы.

...Мы прилетели в Вену. Поскольку мы не евреи, еврейские организации от нас отказались. Мне хотелось закрепиться в Вене: там жили мои знакомые, одна из них австрийская социалистка, работавшая когда-то в австрийском посольстве в Москве. Она переводила мои стихи. В Вене я получил за публикации какие-то деньги. В общем в Австрии мы задержались на пару месяцев. Но что делать дальше? Куда ехать? Для меня это было чисто эмоциональная проблема, я хотел ехать в Англию. В Америку не тянуло. Но для того чтобы поехать в Англию, надо было ждать восемь месяцев. Англия официально не принимала, у меня должен был быть австрийский вид на жительство. Советская выездная документом не считалась.

Жена очень страдала, в Вене было холодно, мрачно и пусто. Деньги кончались. Тогда мы поехали в Рим. Там было по крайней мере теплее. В Риме мы и приняли решение: ехать в США! Четыре месяца проверки американскими властями, и нам разрешили выехать в Нью-Йорк.

— *То есть на отъезд из страны вас, как я понимаю, спровоцировали?*

— Никаких конкретных поводов покинуть родину у меня не было. Мы не думали уезжать.

— *Эдуард, я заметил, что в эмигрантских кругах, за исключением, пожалуй, Синявского и Розановой, к вам какое-то резко негативное отношение. С чем вы это связываете?*

— Я никогда не любил всю эту публику. Считаю их, за редким исключением, глупыми и бездарными жертвами, беспринципными жополизами. И это мое право так считать. Они пресмыкались перед новыми властями. Особенно так называемые лидеры эмиграции. Вспоминается случай, когда немецкое издательство «Фишер», уже приняв мою книгу, вдруг отказалось ее публиковать. Как я потом узнал, вмешались какие-то люди из эмиграции. Что я им сделал плохого?! Ничего, просто им надо было

выслужиться. Это факт. Мне было страшно обидно. Это было в самом начале моей литературной карьеры. Между ними и мной действительно какая-то биологическая, классовая ненависть. Я думаю, что мне мстят за то, что я всегда держался в стороне, за мою жесткость, самоуверенность. Исключение составляют лишь Андрей Донатович Синявский — умный, интеллигентный человек, такой исчезающий тип русского интеллигента, и Мария Васильевна — женщина незаурядная, с сильным характером. К ним у меня отношение особое, теплое. Вы знаете, переворот Горбачева положил конец многим здешним карьерам. Мода на диссидентство прошла. Те, кто процветал на эмигрантской теме, сейчас горят. А я выстоял и в эпоху диссидентов, выстою и сейчас. На меня не повлияют никакие изменения политического климата. Я продолжаю оставаться писателем.

— Скажите, почему ваши родители носят фамилию Савенко, а вы Лимонов?

— Лимонов — это псевдоним, «партийная кличка». Много лет назад в Харькове была у нас такая литературная игра. Мы были все очень молоды. Среди нас был известный художник, бывший литгазетовец, проживающий ныне в Нью-Йорке, Вагрич Бахчинян. Он и является автором моего псевдонима. В этой игре мы давали друг другу имена-прозвища. Кто-то там был Буханкиным, кто-то Одеяловым, такие нелепейшие, смешные имена. Бах, так мы звали Бахчиняна, придумал, мне Лимонова. Так это прозвище стало моим псевдонимом и литературной фамилией. Что называется, прилипло.

Ноябрь 1989 г.

ПАРИЖ, УЛИЦА СВЯТОГО МАВРА..

Художник Олег Целков о себе и своем времени

Олег был еще молод, а к нему уже тянулись Назым Хикмет и Семен Кирсанов, великие физики и знатоки искусства. Тайной красок Целкова интересовались Ренато Гутузо и Давид Сикейрос. А однажды Луи Арагон, взглянув на его картины, бросил: «Скажите этому парню, что ему следует ехать в Париж». По тем временам это звучало приблизительно так, как если бы узнику колымского лагеря посоветовали: «Вам нужно хорошо питаться».

Власти предержащие этому совету вняли своеобразно: они вытолкали Целкова из страны. Теперь он уже много лет живет в Париже, на улице Святого Мавра. Здесь, в его доме, и состоялась наша встреча...

— Олег, если честно, в России вас несколько забыли. Кроме серьезной статьи Евгения Евтушенко практически ничего в печати. В общем, имя, что называется, не на слуху. Хочется, чтобы этот пробел был восполнен и о вас все-таки знали больше...

— Чтобы знать о художнике, надо по крайней мере иметь возможность видеть его картины. Их в России мало кто знает... А если о себе — так я написал маленькую автобиографию. Вручаю ее вам, можете использовать.

Из автобиографии Олега Целкова.

Я родился 15 июля 1934 года в Москве. Отец мой, Николай, родом из подмосковного города Дмитрова, где мой дед Иван работал мелким служащим на фабрике. Мать моя, Роза Цирельсон, родилась в Белоруссии, где дед тоже был мелким служащим по продаже леса. И мать и отец проработали до пенсии экономистами на огромном военном секретном авиационном заводе на окраине Москвы.

Детство свое я помню очень плохо: все как в молочном тумане.

Когда мне только-только исполнилось пятнадцать лет, я впервые познакомился с «живым» художником. Под влиянием его красочных рассказов однажды бессонной ночью в одно мгновение понял, что я — художник! С этого момента я как бы очнулся.

Этой же осенью, в 1949 году, выдержал конкурсный экзамен в Московскую среднюю художественную школу при Академии художеств СССР. Это было чудом, так как никакой профессиональной подготовки я не имел, ни у кого никогда рисованию не учился. Первые годы учебы совпали с последними годами жизни Сталина. Меня, наивного самоучку, не понимавшего, что происходит вокруг, сразу же начали «исправлять» и «бить». Удивленный, я стал анализировать происходящее. Глаза мои стали открываться. В это же время я знакомлюсь с картинами русских художников 30-х годов — с русским «авангардом». Картины эти сохранились в запасниках Третьяковской галереи, и мне удавалось там бывать. Я начал неумело и робко подражать увиденному.

Осенью 1953 года после окончания художественной школы меня не принимают в Московский художественный институт имени Сурикова. Я немедленно еду сдавать экзамены в Минск.

Один год учусь в художественном институте Минска. По окончании учебного года наши студенческие работы смотрит какой-то местный партийный ревизор. Мои работы вызывают его недоумение. Меня гонят вон.

Осенью 1954 года я уже в Ленинграде, прошел экзамены и учусь в Институте Репина. И опять меня выгоняют. На этот раз по требованию студентов-китайцев. Они обратились к ректору с протестом: оказалось, что мои ученические работы оказывают на них — китайских студентов — вредное «буржуазное» влияние.

Конечно, после смерти Сталина атмосфера чуть-чуть меняется. Начинается «оттепель». Меня взял в театральный институт на свой курс интересный режиссер и художник Николай Акимов.

1956 год. Два моих маленьких натюрморта попали в Москве на выставку молодых художников. В рецензиях многих газет их отругали, причина: известный чилийский поэт Пабло Неруда прислал мне ободряющее письмо.

1956 год. Физики-атомщики предложили сделать персональную выставку в институте имени Курчатова. Через несколько дней ее неожиданно закрыли. Меня пригласили на обсуждение, где устроители клялись и божились

больше никогда меня не выставят. Меня они заранее предупредили не обращать никакого внимания на то, что я услышу.

Я продолжал с упорством писать свои картины. Выставлять же их было для меня роскошью. Если же удавалось продать что-нибудь своим друзьям, я был счастлив.

Милиция и КГБ постоянно напоминали мне, что они в любой момент без труда смогут начать преследовать меня как ведущего «паразитический образ жизни». Спасение было — любыми путями пролезть в Союз художников СССР. И я пролез, я числюсь художником театра и кино.

1970 год. Центральный Дом архитектора СССР устроил мою выставку. Всего на один день. Через 15 минут после открытия какой-то тип, показав бегло удостоверение КГБ, приказал отключить освещение и вытолкать зрителей вон. А еще через день мне сообщили, что я (единогласно!) исключен из Союза художников СССР.

1975 год. На группу московских художников, устроивших выставку на пустыре на окраине Москвы, были брошены бульдозеры и поливальные машины. Скандал получил международный резонанс. Опозорившиеся власти, спасая свое «лицо», разрешили серию выставок. Таким образом и моя большая картина попала в павильон «Пчеловодство», а еще несколько картин были показаны в Союзе художников.

И вот летом 1977 года один высокопоставленный чиновник сообщил мне, что, если я захотел бы уехать по фиктивной израильской визе на Запад, власти гарантируют мне «зеленый свет».

Дверца клетки приоткрывалась...

Я оглянулся на прожитую жизнь. В конце концов, я доказал и себе и другим, что и в условиях тотального коммунистического гнета можно не терять мужества, можно оставаться личностью, можно делать дело по собственному выбору и вкусу. И хотя была создана такая система, в которой подобные мне не смогли бы и появиться, я не только появился, но и выстоял. И я был не один!

4 октября 1977 года я навсегда покинул Москву. 21 октября поселился в Париже.

— Олег, попав на Запад, вы стали, что называется, вольным художником, сами отвечаете за свою творческую судьбу...

— Я считаю, что всякая государственная поддержка искусства—это развращение искусства. В любом обществе. Художника кормить государство не только не обязательно, но и не должно. И общество тоже. Когда выделяются средства на поощрение искусства, всегда найдутся ловкие люди, которые эти средства получают и убедят всех: сделано благое дело, а истинный художник, не всегда понятный праздной публике, останется в стороне.

Знаете, здесь, на Западе, когда сын заявляет родителям, что он хочет быть художником или поэтом, ему говорят: это не профессия. И я сегодня скажу: нет, не профессия. Это служение! Деньги могут свалиться на тебя чудом. Но скорее всего их не будет. Живопись, искусство— это та область, где ты одинок, ибо художник должен быть свободным. Я бы даже сказал так: ты не должен быть обеспеченным, ты не должен иметь завтрашнего дня. Вот тогда-то и проверяется настоящий талант. И вывезет ли он тебя? Еще раз повторю: общество не должно кормить художника, в очередь к кормушке обязательно встанут не самые талантливые, а самые ловкие.

Вспоминаю такой случай. Когда я вступил в Союз, мне предложили поехать на творческую дачу на четыре месяца, и совершенно бесплатно. В то время я голодал и холодал, но нашел в себе силы отказаться. Я не хотел быть должником этой организации, не хотел ничего брать взаймы. Единственный раз я изменил себе. Для того, чтобы вступить в Союз. Мне навязали заказ от Союза художников, и я заработал на этом тысячу двести рублей.

— *Вы ощущали творческую несвободу в Советском Союзе, а чувствуете ли себя свободным здесь?*

— Отвечу. Вы знаете, что меня поначалу, быть может, больше всего здесь потрясло? То, что до меня никому нет дела. Хотите одну историю? Мой отец, рядовой член партии, очень верил во все коммунистические идеи, он был замечательным, чистым человеком. За свой партбилет жизнь бы отдал. Так вот, приходит к нему однажды милиционер и спрашивает: «Где работает ваш сын?» — «А что, мой сын ларек обокрал?» — «Нет, не обокрал,— говорит милиционер,— но у нас все работают». — «Так мой сын,— объясняет отец,— работает с утра до вечера» — «Но ведь он должен на что-то жить»,— не отступает настырный страж порядка. «А я его кормлю»,— не сдается отец. Такой между ними вышел разговор.

А однажды Евгений Евтушенко приехал ко мне с двумя друзьями, знакомит отца: «Николай Иванович, это члены ЦК Итальянской компартии». Мой папа привык видеть членов ЦК только на гигантских фотографиях, как богов, а тут вошли два скромных человека, один смущенно достал из кармана бутылку водки. Я принес из кухни селедку, мы разлили водку, выпили. Показалось мало, и навеселе мы двинулись уже в ресторан. Возвращаясь домой, а отец говорит: «Слушай, сынок, ты знаешь, где я был? В КГБ! Только вы захлопнули дверь, звонок. Кто был у вас, Николай Иванович? Не знаю, говорю, друг моего сына Евтушенко привел двух членов ЦК. А что, это не члены ЦК? Да нет, говорят, члены, члены. А часто такие к вам ходят? Да, частенько бывают, отвечаю. А те: но ведь здесь Тушино, военные заводы. Отец возразил: так что же теперь моему сыну делать, если вы тут военных заводов понастроили?»

Вот семейная, так сказать, история. Этим людям из КГБ, конечно, было все известно, но им было важно пугать и пугать. Потому что, пока запуганы люди, у КГБ есть власть.

Мне было очевидно, что я в Союзе — тело чужеродное, подлежащее обязательному уничтожению. Поэтому меня не удивляло, что меня не приглашали на выставки, и не должны были выставлять. Скорее удивляло, что я еще жив. Мое существование было вне этой системы. Вот почему, когда Оскар Рабин вышел на бульдозерную выставку с какими-то требованиями, я на нее не пошел, хотя приглашался. Почему не пошел? Да потому что чего я могу у них требовать? Я всегда считал, что прийти к ним — это все равно что прийти в компанию мелких карманников. Это выглядело бы как просьба: «Ребята, купите у меня картину!» У меня с ними были просто разные дороги. Конечно, я понимал, что именно те, кто «чищают карманы», как раз и заведуют выставочными залами. А раз так, значит они выставляют таких же карманников. Трагизм ситуации был в том, что рано или поздно они должны были меня ухлопать, я для них — элемент чуждый, разрушающий их систему.

— *Чем же вы ее разрушали?*

— А фактом своего неprisутствия. Ведь, глядя на Олега Целкова, можно научиться нигде не работать, но жить и есть. Выходит, лозунг «кто не работает, тот не ест» не срабатывает. Значит, найдутся последователи... Концепция, конечно, примитивная, но понятная. На са-

мом деле система и человек в ней гораздо сложнее, чем этот лозунг. Ведь многие не работали, но ели. Но они были преданы системе.

— *Как вы реагируете на то, что у нас стало модой продавать картины на аукционах? Многие считают, что национальное достояние нельзя разменивать ни на какие самые престижные аукционы.*

— Начну с того, что цены, которые фигурировали на московском аукционе «Сотбис», не снисли ни парижским, ни нью-йоркским художникам. Авторы, чьи работы я видел в каталоге, говорю это с полной ответственностью, таких цен не заслужили, за исключением, может быть, двух-трех имен. Думаю, что московский «Сотбис» — это политическая игра, и финансировалась она Советским Союзом. Есть еще одно предположение: это был рекламный трюк самих организаторов аукциона.

О вывозе картин я думаю давно. Русская культура многое уже потеряла. В том числе и в живописи. Картины — не деньги, они более чем деньги. Скажем, рукописи Пушкина, стихи его — они опубликованы, они есть в книгах. Сами же оригиналы, рукописи, как мощи святых, должны храниться в храме. Уход картин, их вывоз из страны — то же самое, что разрушение русских святынь.

Не думайте, что на Западе все держатся за свои святыни. Франция потеряла всех импрессионистов. Испания — Пикассо. Но тут дело в морали: Запад и не заявлял, что собирается хранить сотворенное мастерами. У нас же кричали на всех перекрестках, во всех докладах: не дадим, не отдадим, сохраним, преумножим! А под шумок разбазаривали народное достояние. Святыни пошли с молотка...

У меня есть одно предчувствие: в ближайшие двадцать лет в России появится художник, который переплюнет всех нас и станет гордостью русского искусства. И еще думается мне, что в ближайшие четверть века в России появятся новые Щукины, которые скупят все вывезенное и вернут родине. Почему-то я в этом совершенно уверен...

— *Неплохо, если бы такой Щукин появился скорее...*

— Сегодня это невозможно. России сегодня нет, но есть больное общество. И везти картины в это общество — все равно что отправлять их в морг. Конечно, помалу обстановка меняется, что, безусловно, меня радует. Но представьте себе: в тюрьме отменены наказания железными прутьями и заменены ремнями. В общем, необходимо время...

— Хотели бы вы организовать в Москве выставку своих картин?

— Нет. Быть знаменитым некрасиво. Поверьте, это не поза. И если вдруг я буду знаменитым в Москве, к моему изумлению, то меня пугает перспектива появления в Москве. Я люблю тихонько пройти по улице, зайти в кафе, сесть за столик, посмотреть по сторонам, никого не ждать, никого не слышать, в том числе и какие-то возможные комплименты...

Сейчас не время настоящих выставок, ибо выставка для сенсации мне не нужна. Мне не нужна такая выставка, на которую ломятся, как ломились на выставку Михаила Шемякина, когда рядом был, кажется, вернисаж шедевров из музея Бобур в Париже и выставка гениального итальянского художника Моранди. Но там почти никого не было. Я бы залез на стол и заорал: «Вон из этого зала, если рядом выставка Моранди. Вам не нужна живопись. Вы же оскорбляете меня, оказывается, вам совершенно плевать на искусство. Вы пришли просто поглазеть на человека, который прославился на Западе». Вот бы что я хотел сказать тем, кто пришел бы на мою выставку... Но, если честно, хотелось бы выставиться в Москве, но так, чтобы все прошло тихо, без ажиотажа и чтобы выставка была интересна прежде всего художникам, а не случайным зевакам. Я не хочу циркового номера...

— Покупают ли ваши картины музеи Франции?

— Нет. Скажу так: я работаю с Эдуардом Нахамкиным, который, как известно, имеет свои картинные галереи в Америке. Он и занимается продажей моих работ. Он говорил мне, что несколько музеев купили мои работы, в том числе японский музей, но я этим не очень интересуюсь. Мне почти безразлично, купил ли меня музей или частное лицо, ибо здесь, на Западе, многие частные коллекции сродни государственным музеям. Да честно говоря, не думаю, что я здесь такая знаменитость, чтобы меня знали в музеях.

— Вы много лет живете в Париже, вошли в местную художественную среду. Что такое сегодня искусство Франции?

— Давайте шире. Сегодня нет искусства Франции, ибо искусство Франции — это искусство всего мира, гигантский проходной двор. Здесь можно увидеть картины из Японии, Латинской Америки, США, здесь семьсот галерей. Это пир искусства, пир живописи. И я это очень

остро и радостно чувствую. Но, к моему сожалению, хочу добавить, что в таком своем ощущении я почти одинок: никто из моих русских друзей со мной не согласится в этой оценке. Они глухи к этому пиру, они не слышат и не видят его. Приезжающие сюда производят впечатление людей, попавших на лазурный берег под палящее солнце, но продолжающих кутаться в меховую доху, приговаривая: плевал я на это солнце, на всю эту красоту!

— *Как вы считаете, почему на выставки Ильи Глазунова собираются тысячи и тысячи зрителей?*

— Отвечу. Глазунов в своих картинах несет нечто абсолютно необходимое русскому человеку сегодня. Что именно? Объяснить трудно, может быть, даже невозможно. Но для меня очевидно, что есть в его творчестве некое свойство, которое привлекает к нему именно русскую публику. И свойство это совсем не шуточное. То есть я как бы в скобках замечу, что фигура Глазунова все время меня интригует и заставляет размышлять о русском искусстве. Хотя я должен сказать, что у Глазунова много, даже очень много слабых мест и как у художника, и как у человека. Но есть что-то такое, отчего дрожит, волнуется наша русская душа.

— *Если бы вы не уехали из России, что бы с вами стало?*

— Я сейчас уже отчетливо понимаю: останься я — давно бы погиб. Да, да, скорее всего. Дело в том, что есть у меня слабость, пристрастие, вполне вроде бы нормальное, не переходящее границ,— пристрастие к алкоголю. Так вот, думается мне, что слабость эта превратила бы меня сегодня в то, во что превратила она совершенно замечательного, удивительного, любимого мной художника Диму Краснопевцева. Кем бы я был, откажись уехать,— я был бы не Зверевым, а Димой Краснопевцевым... Вот вам и хорошая концовка для нашего интервью.

Целков не возвращен до сих пор. Как политический беженец, он проживает в Париже и выставляется, продается. Его имя давно уже стало символом неповторимого русского авангарда. Итальянское издательство «Фаббри» выпустило цветную монографию-гигант, посвященную Целкову. Сотни работ. Книга вышла в серии «Выдающиеся мастера XX века». Лишь немногие художники удостоивались чести быть изданными в этой серии.

Остается добавить, что Иосиф Бродский считает Олега Целкова самым замечательным художником послевоенного времени.

Ноябрь 1989 г.

НА КРАЮ ПОИСКА, ГДЕ ПРАВДА ПРЕДЕЛЬНО ЖЕСТОКА

К приезду на родину писателя Владимира Максимова

Поначалу было все официально: пришел, встретила секретарша, проводила в кабинет, «Здрасьте» — «Здрасьте», строгий, даже суровый взгляд (подумал, что его, наверное, боятся дети), нет, не напускное, потом мне говорили, что он всегда такой, жизнь позади нелегкая, да и видно, что человек неспроста занят делом, времени лишнего у него нет. Посмотрел по сторонам; глаза остановились на зелененьких переплетах посевского шеститомника и на огромной монографии Михаила Шемякина — его картины висели на стене. Где оказались, там и сели, я положил на краешек стола магнитофон, а Владимир Максимов, не дожидаясь первого вопроса, начал говорить — приглушенно, вроде бы нервно, но четко и уверенно.

Мы говорили не только и, пожалуй, не столько о литературе, сколько о политике, хотя на мой вопрос, что в нем сегодня глубже сидит: писательство или политика, ответил не задумываясь: «Я писатель». Разногласия с Виктором Некрасовым считает чисто редакционными: иногда примирительные тенденции заместителя главного редактора казались главному редактору разновидностью оппортунизма. Говорить над могилой Виктора Платоновича родственники попросили именно его, Максимова. Гордится тем, что в редколлегии «Континента» были и есть лучшие умы: Сахаров, Бродский, Буковский, Аксенов, Джилас, Ионеско, Конквест, Неизвестный, Коржавин... Кстати, добавил — 63 номер, «апрельский», планируют составить Игорь Виноградов и Сергей Каледин. Отверг мою параллель его судьбы и дела с Герценом: «Я не хочу никаких революций, нигде». Считает, что на Востоке нет политических структур, способных выдвинуть настоящего лидера. -Он не видит адекватных самому процессу фигур ни в Кренце, ни в Младенове, ни в Ярузельском. Рассказывал о встречах с Андреотти, Колем, Беги-

ном. Его мнение о Горбачеве: «Иностранная политика в высшей степени эффективна, внутренняя — краховая. Хорошо бы видеть в Горбачеве дальновидного стратега, но пока он часто идет за событиями».

— А можно посидеть в кресле редактора великого «Континента»?

Первая улыбка на лице моего собеседника:

— Посидите, но только штаб-квартиру я перевел в Бельгию. Это жилище у нас как бы временное, хочу, чтобы дочери доучились в парижской школе, а основной дом у нас в Брюсселе. Года через три-четыре переберусь туда. Там есть сад, там тихо, много места. Там я могу принимать своих друзей.

«Старую ложь на новую?! Ярлыков не боюсь. Мне дороги и Булат Окуджава, и Василий Белов. Все мы — жертвы социального соблазна».

— Я против того, чтобы ревизировать нашу собственную историю, чтобы новая ложь заменяла старую. Я против того, что люди, которые еще вчера говорили одно, теперь говорят другое, ни в чем не раскаиваясь. Не могу со всем этим согласиться. Мне скоро шестьдесят лет, мне не много осталось в этой жизни, чтобы я чему-то аплодировал. И пусть наклеивают какие угодно ярлыки, извлекая мои стихи о Сталине сорокалетней давности, как это сделал «Огонек», это прием дешевый. В те годы такие же стихи писали и Твардовский, и Яшин, и многие, многие другие. Я не боюсь ярлыков, уже давно поборол в себе страх перед интеллектуальным террором, изжил его из себя. И я буду говорить то, что думаю.

«Там, на крайней точке поиска, где правда жестоко предельна, где борьба приводит на край гибели, где абстрактный выбор становится абсурдом, а решает импульс живой души,— там, на краю, стоит сегодня Владимир Максимов». Лев Аннинский.

— Когда мне предлагают присоединиться то к одному лагерю, то к другому, будь то баклановское «Знамя», яковлевские «Московские новости» или лагерь славянофилов,— я не хочу присоединяться ни к кому. Я присоединяюсь только к отдельным людям. Для меня качество того, что делает человек, выше идеологии, которую он исповедует. С одной стороны, мне близок и дорог, пред-

положим, Булат Окуджава, но мне также близок и дорог, чтобы он там ни говорил, Василий Белов, потому что «Привычное дело», я утверждаю,— это классика русской литературы. Я могу с ним спорить, могу полемизировать, он слишком эмоционально воспринимает трагедию нашей деревни. Но пусть и Белов, и Распутин, и Астафьев посмотрят дальше: а что делало наше крестьянство в семнадцатом-восемнадцатом годах? Прочтите «Окаянные дни» Бунина! Вот я и говорю, что когда вы спуститесь в самое начало, дойдете до самой сути, то вы понимаете, что при всей чудовищности этого вывода виноватых-то не было. Каждый из нас в этом участвовал. И большевики виноваты, и Сталин виноват, и Ленин виноват. Он тоже был жертвой социального соблазна. Того, что преследует мир на всем протяжении его существования. Откуда родились утопии? Ранний Ленин? Поздний Маркс? Почитайте Платона, Кампанеллу, Томаса Мора! Там изложена вся программа того, что утопическое общество может стоять только на репрессивной системе, там все определено, кого надо сажать, кого убивать, как заставлять работать. И этот соблазн мне как христианину с религиозной точки зрения понятен. Соблазн этот еще с искушения Христа в пустыне. Соблазн равенством, братством, чудом всеобщего благоденствия. В конечном счете прикосновение к этому соблазну всегда оборачивается трагедией. Заметьте, когда человек выбирал в истории свободу, он обязательно имел хлеб. Когда он выбирал хлеб, он терял и хлеб и свободу. Вот почему мне кажется, что нынче всеобщее признание того, что все мы жертвы вне зависимости ни от чего, ни от кого, может стать оздоравливающим в нашей глубокой болезни.

Я никого не сужу, ни Бухарина, ни Тухачевского, ни Пятакова, ни Постышева, да и не мне судить (повторяю, я христианин), но я не хочу, чтобы мне и обществу навязывали их в качестве героев.

Ленин, будучи уверенным в своей правоте, ничего не скрывал, и все его приказы, указания, записки опубликованы в Собрании сочинений. Их надо читать, а не извлекать из Ленина то, что годится для текущей пропаганды.

Я не могу доверять Александру Борщаговскому, который, заявляя о моральном обновлении, ничего не говорит о том, что он был председателем при исключении меня из Союза писателей.

Когда Анатолий Рыбаков заявляет, что он никогда не участвовал в травле своих коллег, он лжет: он участвовал в травле Владимира Войновича. Да еще под предлогом того, что ему не нравится роман. Но тогда — волей-неволей придется согласиться и с Владимиром Солоухиным, когда он говорил, что ему не нравится роман Пастернака. Хотя я с Солоухиным никак согласиться не могу. Он, я считаю, обязан покаяться.

В конечном счете получается так: то, что я говорил, предположим, пятнадцать лет назад, сейчас говорят с трибун партийных съездов. То, что я говорил пять лет назад, начинают говорить люди, которые тогда меня ругали. Вот пример: в беседе с редактором «Обсерватор» Жаном Даниэлем Юрий Афанасьев, ректор Историко-архивного института, заявил, что недавно он был на конференции «ваших реакционеров». Жан Даниэль спросил, о ком идет речь? Среди прочих он назвал и меня.

Значит, я для него реакционер?! Когда меня отовсюду выгоняли, он, Афанасьев, делал карьеру.

Еще пример: на обсуждении фильма о Троцком он говорил правильные вещи о том, что Ленин, Сталин, Троцкий — это люди одной политической культуры. Ни один, так другой был бы на троне. То есть он призывает идти назад, возвращаться к причинам, а не к следствиям. Так, Ю. Афанасьев заговорил тем языком, которым я говорил уже двадцать лет. Как у нас в России — всё с раската! Зачем же мы все время ставим памятники и сносим. Подождем немного — и снова ставим.

«Шпрингер и «Континент». «Путь кровав, но цель — благая». Антирусским?! Никогда! С оружием не отступают, а наступают».

— Середина восьмидесятых — это были очень критические для стабильности на Западе годы. Принципиальные антикоммунисты считали, что они — на краю пропасти. Обстановка была такая, что Запад психологически удалось обезоружить. Брежневская пропаганда сыграла здесь свою роль. И тогда они активизировались. Я приехал сюда со своими довольно резкими заявлениями по поводу того, что происходит в России. Шпрингеру мои заявления, видимо, пришлось по сердцу. Сам я его не искал. Меня нашел, сейчас он у нас-член редколлегии, Карл Густав Штрём, корреспондент «Ди вельт» по Восточной Европе и Советскому Союзу. И сказал, что

Шпрингер хочет прислать за мной самолет, хочет встретиться. Перед поездкой к Шпрингеру я встретился с Генрихом Бёллем, и он мне наговорил либеральной чепухи, которая дурно пахнет еще со времен Сталина. Да, конечно, но зато какая цель! Это говорил и Бернард Шоу, это говорил и Эйнштейн. Да, путь сложен, кровав, но цель — благая. Я сказал: нет, никакая цель не стоит крови. С Бёллем мы не сошлись, хотя говорил он тогда очень жарко и очень долго. Я высоко ценю его как писателя, но тогдашние его речи принять не мог.

Я хорошо знал, чем эти речи кончаются.

И когда после встречи со Шпрингером стало известно, что у меня будет журнал, вся леволиберальная часть Запада выступила против. Ну когда в истории было такое, чтобы крупнейшие газеты от «Вашингтон пост» до «Монд» писали об эмигрантских проблемах?! А ведь Шпрингером-то детей пугали. Шпрингером, Штраусом... И вдруг Штраус становится лучшим другом Советского Союза. А меня за этого Штрауса!.. Потом я стал врагом Штрауса, потому, что я заявил, что такой оппортунизм принять не могу. Как думаю, так и буду думать. На меня рассердились. Я встречался с Солженицыным, он тоже сначала принял участие в журнале, дал, кстати, и название ему «Континент». Хотя предложения были разные.

Ведь я пригласил участвовать в журнале всех, от Синявского до Сахарова. Быть может, каждый надеялся повернуть направление журнала по-своему. Но моего характера не знали. Предлагали антирусскую направленность. Но я заявил, что журнал не будет ни антитатарский, ни антикиргизский, ни антисемитский, но он не будет и антирусским. Кто-то отказался сотрудничать. Ну что делать? Я никого не гнал. Солженицын, наоборот, считал, что в журнале слишком мало русской боли. Я ему возражал: Александр Исаевич, ну вы же сами сказали, что с самого начала надо думать о поляках. Если же я буду выставлять на первый план только русскую боль, они первые от нас уйдут: боль-то у нас общая. Солженицын парировал: в отличие от вас, от вашей эмиграции старая эмиграция с оружием в руках отходила, она в ОВИР не стучалась. Задним умом крепок человек: как-то позже Иосиф Бродский заметил на это — с оружием в руках не отступают, а наступают.

Я вообще хочу сказать, и это обдуманная мною концепция: для меня не национальность человека главное, а его человеческие качества. Если еврей сволочь, он не

становится для меня более приемлемой фигурой. И если негодяй русский, то он для меня негодяй.

«Саша Соколов и его размышления, что Запад — не сахар. Сколько стоит подвал Бродского в Нью-Йорке? Советские и американские пикули. Олег Ефремов и демократия в театре. Гонорары Феллини и Майкла Джексона. В ножки — нашему читателю!»

— Я ничего не могу сказать плохого о Западе. Здесь мне дали приют, дали журнал, меня издают. В России я жил впроголодь, здесь я сыт. Могу рассуждать и дальше в таком же духе, но какая-то доля правды в высказываниях Саши Соколова есть. Я слышал, что он по московскому телевидению и в газетах резко говорил о Западе.

Станислав Рассадин, один из приятелей моей молодости, заявил со страниц печати: дескать, вот мы гордились, что мы — самая читающая страна в мире, и догордились: самая читающая Пикуля страна. Дорогой мой, ну зачем же так говорить, это недобросовестно. Западные пикули живут в тысячу раз лучше наших советских пикулей. Тиражи у них в десятки раз больше тиража американских пикулей, в десять — пятнадцать миллионов экземпляров. Артур Миллер не может поставить пьесу в Америке, считает — дорого. Лауреат Нобелевской премии Клод Симон у нас, в интервью для «Континента», сам говорит, что больше тридцати тысяч никогда не продавал, что живет на оставленное ему небольшое наследство. Величайший эссеист нашего времени Чоран продает 500 экземпляров, живет на иждивении своей жены, учительницы, ни Бродский, ни Милош не живут стихами, сам Беллоу работает в поте лица. Вот эта квартира, в которой находитесь, стоит дороже Нобелевской премии, она стоит 600 тысяч долларов. Бродский получил 350 тысяч и на эти деньги до сих пор, кажется, выкупает тот подвал в Нью-Йорке, в котором живет. Хороший подвал, красивый, милый, только вот очень уж дорогой. Так вот, я спрашиваю: зачем же унижать своего собственного читателя, зачем плевать ему в лицо? Ему, обеспечивавшему огромные тиражи советских изданий! При Твардовском тираж «Нового мира» был 160 тысяч экземпляров, сейчас он два с половиной миллиона. Тираж у «Юности» три с половиной миллиона. В Америке десятитысячный тираж считается гигантским. Журнал

«Эспри», где перепечатываются выдающиеся авторы Франции, имеет тираж две тысячи, да и те почти бесплатно рассовывают по почтовым ящикам. Никто здесь не читает толстых журналов. Надо признать, что демократия-то — это не отбор лучших из лучших, это отбор себе подобных. Крупный деятель на Западе появляется в экстремальных ситуациях: Черчилль, де Голль... А в нормальной ситуации избиратель отдает предпочтение себе подобному. У него в голове мыслишка: дескать, и я могу быть на этом месте. Поэтому стоило кончиться войне — и на первых же выборах прокатывается герой Англии Черчилль, а здесь прокатывают де Голля. Демократия хороша, но у нее в области культуры есть огромные издержки.

Попробовал демократию в театре Олег Ефремов. Что из этого получилось? В театре, как правило, большинство актеров средних способностей, и они не выберут талантливое человека. Они всегда отдадут предпочтение среднему, у которого есть свои слабости, на него можно влиять, о котором можно сказать: «И ты такой же». Повторяю, все недостатки демократии аукаются в культуре. Но, дорогой Саша Соколов, надо выбирать. Я ловлю тебя на слове, оставайся в Москве. Это будет замечательно.

Ничего не хочу сказать плохого о Соколове, но есть люди, которым, как в том анекдоте, хорошо в дороге. Это приятно, когда аплодируют, когда приглашают на телевидение, но многие ли американские-то писатели появятся на экранах? Единицы, уверяю вас! Зрителям мнение писателя неинтересно.

Сравните гонорары, предположим, Федерико Феллини, и постановщиков какого-нибудь боевика. Да просто нищий, этот великий Феллини. Самый большой его гонорар равен пятистам тысячам долларов. За свой гениальный фильм Тарковский, это было на моих глазах, мы дружили, получил сто тысяч долларов, то есть зарплату американского чиновника средней руки. Рассчитайте эти 100 тысяч на несколько лет, и гениальный художник, словно безработный американец. Только концертная деятельность приносит доходы. Недавно мы смеялись: Ростропович считается богатым человеком, получает 30—40 тысяч за концерт — большие деньги. Но какой-то там дрыгающий ногами, плохо поющий Джексон получает пять миллионов за концерт. Что касается поэзии, то книги стихов раскупаются здесь плохо, а литературовед-

ческие изыскания вообще никому не нужны. Так что, дорогие наши критики, кланяйтесь в ножки вашим читателям, а не позорьте их.

Что поделаешь, во все времена пикули жили лучше. Когда Сервантес сидел в долговой тюрьме, испанские пикули процветали, когда Бальзак от кредиторов бегал, французские пикули процветали. Это издержки культуры, без пикулей тоже нельзя, это, как говорится, ее бульон.

«Кто встречал наши войска в сороковом? Из ямы надо выбираться вместе. Плохой писатель Анатолий Иванов».

...А то одни сваливают на евреев, другие сваливают на русских, третьи...

— Раз ты виноват, неси свою долю вины, своего соучастия. Когда латыши совершенно справедливо спрашивают русских, а что вы здесь у нас забыли, то русские вправе спросить у латышей, а что вы забыли в 1918 году в городе Москве? Да, действительно, оккупация Прибалтики была незаконной, насильственной, но есть же кинохроника, кто встречает наши войска—латыши, эстонцы, литовцы. Я не говорю, что встречал весь народ, но часть-то народа была на улицах и площадях? Так пусть хотя бы часть и возьмет на себя долю своей вины. Только так мы можем к чему-то прийти. Можно вывесить любой флаг, много говорить о независимости, но, к сожалению, все мы в одной лодке. Я говорю не только о Прибалтике, о всем социалистическом лагере. Это сложившаяся структура, из которой невозможно добиться свободы или независимости в одном взятом бараке лагеря. Свобода — она, как говорится, на вахте. Из ямы нужно выбираться вместе. И я уверен, прибалты скоро убедятся, что никакое провозглашение формальной независимости не выведет их из тупика экономического. Не выведет, это абсолютные иллюзии. Как бы мы ни относились друг к другу, мы можем выбраться только вместе. Как бы ни относились азербайджанцы к армянам, но путь к решению проблемы лежит только в переговорах между ними. А Россия не может до бесконечности исполнять роль жандарма и собирать на свою голову весь позор. Если завтра наступит независимость Армении и Азербайджана, вот вам готовая ливанская ситуация, из которой не будет выхода. И армяне, и азер-

байджанцы должны это понять. Во всяком случае, это должны понять их мыслящие люди, культурная элита, политические деятели. Выход один — переговоры.

И в литературе так же. Надо искать пути примирения между собой талантливых людей. Потому что на этом разоре, распрях греют руки и с той и с другой стороны люди бездарные. Вот он поставил на себе знак: я либерал — и на этом набирает политические очки, политический аморальный капитал. А другие — с другой стороны то же самое. Мне не важно, что исповедует, предположим, Анатолий Иванов, простите, он для меня прежде всего плохой писатель, и журнал «Молодая гвардия» у него никудышный, но я готов с ним разговаривать и садиться за один стол. И мне кажется, по этому компромиссному признаку и следует сейчас определять качество того или иного движения, той или иной позиции. Еще раз: только на путях общественного, общенационального, литературного примирения может что-то получиться. Иначе я лично вижу очень трагическую перспективу.

Литературный процесс не оставляет у меня особых надежд, потому что все уходит в разговоры, в полемику и драки между собой, стенка на стенку. Но сколько-нибудь заметных результатов от всего этого я не вижу. Все, что напечатано от Искандера и Битова до Домбровского и Шаламова, — все это вынуто из столов, все старое. А из нового два-три имени: я бы назвал Кима, Каледина, Паламарчука, у них, по-моему, талантливая проза. Но нет процесса, есть отдельные имена. Я не вижу достижений, равных явлениям, предположим, Солженицына или Бродского. Мне скажут: болезнь роста, количество в конечном счете превратится в качество. Может быть! Но пока я вижу разрушительный, энтропический процесс. В кино дали полную свободу, но, кроме «Маленькой Веры» или «Интердевочки», мы ничего не видим. Я, кстати, не против такого рода фильмов, они полезны и нужны. Но это же не явления порядка фильмов Тарковского. В театре — то же самое. Совершенно умолкли разговоры о театре Ефремова, будто бы его и нет. А Ефремов был флагманом нашего театрального искусства. Пьеса Шатрова уже никому не нужна, потому что это был политический ликбез, ныне пройденный нашими читателями. Вот что тревожно. Казалось бы, все можно. Но достойного пока нет.

«И вспомнилось... Храм святого Петра. Когда проходишь порталом, разглядываешь статуи, многое корбит, неприятно. А в целом нечто грандиозное.

Владимир Максимов, не возгордитесь! Вы не собор святого Петра. Далеко не собор. Но есть в вас мужицкая кряжистость, крепость. И в ней тонут ваши дефекты и недостатки».

Анатолий Краснов-Левитин, Париж, 1983

«Возвращение Солженицына поднимает планку... Надо ли ставить памятник Тухачевскому?»

— Я вам должен сказать прежде всего, что к Солженицыну у меня неоднозначное отношение. Но не будем об этом, слишком долгий разговор. При этом я считаю, что его произведения зададут уровень, поднимут планку. Одно у него лучше, другое хуже. Но уровень разговора он задает очень высокий. И не надо взвешивать, кто лучше: Киров, Пятаков, Орджоникидзе, Бухарин? Это не разговор для литературы. Я с высоким уважением отношусь к Владимиру Корнилову, но когда он пишет стихи о Томском, видно, что он плохо знает его биографию. Да, этот человек застрелился, но он достаточно сделал зла своей стране и своему народу. Все эти имена суть сталинские кадры. И не то чтобы они Сталина не любили, это он их невзлюбил. И писать об этом стихи? Можно ошибиться в статье, но стихотворение — явление литературы, и делать факты политической жизни явлениями литературы — не поэзия. Когда мой друг Юрий Левитанский, которого я высоко ценю и из-за которого у меня получилась баталия с «Огоньком», стыдит наш народ, что он не поставил памятника Тухачевскому, я с этим не могу согласиться. Ну пусть ему будет земля пухом, никто ему не судья. Но памятник, за что мы ему будем ставить?! Хорошо: кронштадтский мятеж, противник. Он военный, у него приказ, но пленные матросы — противник? Их расстреляли. Восстание в Тамбове, противник — у него приказ. Ну а восьмилетние заложники — это противники для офицера? А его начальник штаба Снесарев, которого он утопил на процессе 1930 года, как это назвать? Я мог бы продолжить. Так за что же памятник ему ставить и почему надо стыдить в связи с этим целый народ?

«Не унижусь до полемики с «Памятью». Под книгами Пайпса и Янова подписался бы сам... Розенберг».

— Да, не весь русский народ виноват, но поскольку русские — самое большое физическое тело внутри многонационального образования, поэтому и доля их вины велика. Что касается «Памяти», то я не считаю нужным полемизировать с этой публикой. Я готов полемизировать о судьбе России с людьми масштаба Астафьева, Распутина, Белова. И я не понимаю, почему реакция на их действие так неадекватна. Результаты выборов депутатов в союзный парламент в Ленинграде многое показали. Ведь Ленинград последние пятьдесят лет в основном состоит из выходцев Новгородской, Архангельской, Вологодской областей и Белорусской ССР, то есть, как мне кажется, из самого благородного материала для антисемитизма. Это вышедшие из деревни и не ставшие городскими люди. Два миллиона голосов получил в Ленинграде Иванов, соратник Гдляна. Представительница интеллигенции Салье — сто пятьдесят тысяч, «Память» получила семь тысяч голосов и пятнадцать тысяч получила экологическая «Память». Но, простите меня, в Париже этой публики раз в двадцать больше. Эта публика имеет своих представителей в европейском парламенте. В Америке Кахане собирает стотысячные стадионы, которые ревут: «Долой жидов!» По отчетам газеты «Найт Брит», совершенно более тысячи вооруженных антисемитских нападений, осквернения синагог и кладбищ. Я считаю, пусть это звучит странно, что в этом смысле в России благополучная обстановка. Семь тысяч на пятимиллионный город, я вам скажу, перед таким городом надо снять шляпу. Недавно я видел трехчасовую ленту с записью митинга «Памяти» в Ленинграде. Стоят человек двести пятьдесят — триста, среди которых люди в ермолках. Видимо, пришли полюбопытствовать. Выступающие — типичные футбольные болельщики, косноязычные, неприятные, агрессивные, мысли свои сформулировать не могут. И мне предлагают этих людей принять за серьезную силу?! Да вы сами создаете им рекламу, они стали знаменитыми людьми и на Западе. И как это ни парадоксально, на Западе у них много сторонников. Среди таких, как Ле Пен, некоторых новых деятелей, появившихся сейчас в Германии, или у того же Кахане они находят сочувствие. Так что в данном случае вы их не скомпрометируете, им неважно, что о них пишет «Нью-Йорк тайме». Поэтому я и призываю полемизировать с людьми действительно достойными, с людьми определенного уровня.

Конечно, в некотором смысле русофобия существует. И в связи с этим не могу понять истории, поднятой определенной частью нашего литературного спектра по поводу появления русофобских пассажей в публикациях В. Гроссмана и А. Синявского в журнале «Октябрь». Я сам категорически не принимаю взглядов этих авторов па русскую историю и русскую литературу, но периодическое издание по своему назначению обязано отражать не эстетическую или этическую тенденцию, а литературный процесс по возможности во всем его многообразии. Целиком не принимая, к примеру, «Прогулки с Пушкиным» и «В тени Гоголя» Синявского, я тем не менее поместил на страницах «Континента» положительные рецензии на обе книги (насколько я знаю, «Континент» оказался чуть ли не единственным русским журналом за рубежом, сделавшим это). Одно я мог бы пожелать редакторам, публикующим подобные вещи: соответствующе комментировать их. Хотя, каюсь, статью Синявского с его «Россией-сукой» я тоже не прокомментировал. А жаль. Себе в оправдание могу сказать только, что автор был тогда членом редколлегии нашего журнала.

Под книгами Пайпса или Янова подписались бы Розенберг и Геббельс. На Западе даже о последнем племени в Африке нельзя сказать, что они — рабы, о русских сказать можно. И мы, русские, спешим, кстати к нашей чести, сказать об этом первыми. Умеем мы о себе говорить горькие вещи. В моде хлесткие парадоксы наших классиков: «Черт меня дернул с умом и талантом родиться в России», «Нет ничего страшнее бунта, чем русский». А я хочу спросить, господа, назовите мне какой-нибудь бунт, который был бы осмысленным и не безобразным. Бунт есть бунт, и то, что здесь, во Франции, творилось во времена революции, не идет ни в какое сравнение с 1917 годом. Не надо красивых слов. Приводят пассажи Кюстина, но никто не знает, что спустя десять лет он же написал абсолютно «наоборотную» книгу. Марк Твен написал о Франции книгу пострашнее кюстиновской: Франция вообще не страна, французы не народ. Но почему-то французы все-таки не меряют свою историю по Марку Твену. Почему же мы должны под Кюстина мерить?! У нас своя история, мы народ молодой. Когда на Западе сложилась цивилизация, мы только грамоту получили. Да и потом, мы не просто народ — мы Америка византийского типа. На наших просторах

переваривались массы, национальности, культуры, религии. Наши классики все, можно сказать, инородцы. В русском паспорте стояло не русский, а российский подданный.

Но доля правды в том, что говорят радетели «русскости», и серьезная доля, конечно, есть. Что же это такое нынче, русская деревня. «Волжская правда», партийная газета, пишет о том, что в трех часах езды от Москвы, в деревне, в колхозе, нет не только водопровода, нет колодцев. Вырыли жители три ямы, в одной моют машины, в другой — поят скот и стирают белье, в третьей — моются. Это что такое? Это конец XX века. До чего же доведена страна, до чего доведен именно русский народ?! Народ талантливый, у которого есть кому памятники ставить, от Владимира Соловьева до Варлаама Шаламова.

Правда, со Столыпиным, который сейчас «на слуху в России», я бы не спешил. Это только кажется, что он панацея от всех бед. Возможно, осуществление его реформ привело бы к стабильности государства, возможно. Но отруба — это еще не самый главный выход. Вспоминаю свою беседу с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Он был у меня здесь, в Париже. Он мне сказал, что сейчас самое важное — это закон о земле. Вот примут его, и тогда все пойдет на лад. Я возразил: в Польше не было коллективизации, там земля принадлежит крестьянам, почему же ситуация та же самая? Значит, не выход, значит, все в комплексе должно решаться. Принимаю я это или не принимаю, но я должен вам сказать, самодержавие оторвалось от народа, не знало его нужд, отстало от исторического процесса. Николай II оказался неадекватен тому процессу, который начался в России. К сожалению, он был маленьким человеком, между прочим, хорошим человеком, глубоко порядочным. Как он вел себя в заключении, как умирал. Но в большой политике это был маленький рядовой человек. Он не отвечал месту, которое, говоря по-современному, занимал. К этому выводу в конце концов и пришел в своем «Красном колесе» Солженицын. Да и исторические документы многое подтверждают. О чем он пишет в своем дневнике, имея под рукой государство с такой взрывной ситуацией? Что поел, что сказал этому, другому... Трагедия! И я не думаю, что столыпинские реформы были бы панацеей от всех бед. В конечном счете министр земледелия Российской империи А. В. Кривошеин

продолжал их проводить. Здесь другое, здесь сошлись многие обстоятельства, причины, мотивы того, что произошло в России.

«Чиновники в рясах должны уйти»

— Процесс возвращения храмов — справедливый процесс. Но иерархи неадекватны тому, что церкви разрешает сегодня государство. Они отстают от событий. О чем они говорят даже на международных конференциях? О том, как тяжело жилось церкви до революции и как она расцвела после. Ну кто в это поверит? Это противоречит всем элементарным фактам. Для меня такие чиновники в рясе — из времен застоя. И они должны уйти. В церковь должна прийти новая генерация. Нынешние же стараются забежать вперед хозяина, и это очень огорчает. Правда, к сожалению, полное подчинение государству — давний грех русской иерархии, начиная с Петра. Не при Советской власти это началось, а с образования Синода при Петре. Сколько же у нас застарелых недугов?! К примеру, и до революции тайну исповеди нарушали.

Грех тащится за нами, за семьдесят лет он приобрел уже гипертрофированный характер. И пока не произойдет в нашей православной иерархии смены генерации и психологии, дела не будет, откройте хоть двести тысяч церквей. Не знаю вот, как сейчас, но и до самого последнего времени в церквях запрещались проповеди. А что же это за служба церковная без проповеди?!

«Пожить бы еще Андрею Тарковскому лет двадцать!»

— В России Андрея Тарковского я знал, как говорится, шапочно. Когда он решил остаться на Западе, он обратился ко мне за советом. Я приехал к нему в Рим и долго отговаривал его от этого поступка. Я говорил: «Смотрите, Андрей, по отношению к вам начнется другой счет, вы будете уже эмигрантом. А это другое отношение, другой круг знакомств, другие друзья». Но он отвечал одно: «Я решил!» Тогда я попросил молодежную католическую организацию, в которой он был популярен, устроить пресс-конференцию.

Выступали Ростропович, Любимов, Антониони... С тех пор мы подружились, я к нему очень привязался. А вскоре он заболел, и мы виделись или в больнице, или дома.

Андрей был человек удивительный. Я скептически отношусь к нашим деятелям театра. Чехов в свое время говорил, что наши актеры отстали от общества по крайней мере на семьдесят лет. Конечно, не все, но в основной массе. Тарковский был явлением исключительным. Он мыслитель, много думавший, много знавший, много понимавший. С ним было интересно говорить, интересно слушать. Мы в «Континенте» печатали его записи — вдова передала; они свидетельствуют, что это был режиссер-мыслитель. Фильмы его не так просты, в них сразу не проникнешь. Я, к примеру, высоко ценя художественные достоинства картины «Андрей Рублев», считаю тенденциозным истолкование в нем русской истории. Все было в русской истории, но и в любой истории было все. И стоило ли педалировать тем, что это могло быть только у русских.

Любая история построена на крови. Я видел все последующие фильмы Тарковского, он показывал их мне, едва склеив, и они меня всегда потрясали. Как мистически умел он проникать в жизненную ткань, как вызывал в душе процессы, дремавшие до сих пор. Все мечтал о Гофманиаде, об экранизации «Идиота». Как много было замыслов, в его лице мы потеряли что-то очень большое. Лет двадцать бы еще пожить ему на свете, ну хотя бы десять...

«Богатство сюжетов и стилей, тяготеющих к общему центру притяжения человека, носителю Божественного начала. Ключ ко всем романам Максимова: Библия».

Жан-Пьер Морель. 1978

«Никого не сужу. Смотрю на вещи уже иначе. Хочу встретиться со своим читателем. «Семь дней», «Ковчег для незваных», роман о Колчаке. Последняя статья Георгия Адамовича. Третий Пастернак, четвертый Достоевский».

— К наездам эмигрантов в СССР я относился с осуждением. По какой причине? Я считал, что, пока государство, общество в какой-либо, хотя бы в косвенной, форме не признает свою вину за то, что мы оказались здесь, мы не имеем морального права печататься и ездить на родину. Поэтому я очень негативно отнесся и к публикациям в СССР Солженицына. Знаете, или по лжи, или не по лжи. А если печататься там, откуда гнали без

извинения перед тобой, значит, по лжи. А я этого не принимаю. Я принял постулат Александра Исаевича и хочу ему следовать. Он же сам ему не следует... Толстовский вариант? Вы давайте, а я отдельно проживу. Вы давайте бросайте семьи, дома, бросайте все. А я буду жить так, как жил, — барином.

Надо вернуться к исконному смыслу христианства: если ты к чему-то призываешь, то и живи по своим принципам.

В конечном счете я дождался. «Правда» напечатала о том, что обсуждается указ о возвращении гражданства тем, кого его лишили при Брежневе. И не надо, чтобы меня восстанавливали в гражданстве. Мне важно, чтобы в преамбуле признались, что в 70—80-е годы были изданы необоснованные указы о лишении гражданства. Это меня удовлетворит, это уже форма извинения. Другие же затеяли, простите, тараканы бегать. Кто быстрее добежит, кто быстрее ухватится, как бы не опоздать. Зрелище, по-моему, постыдное. Никого я не сужу, не называю никаких фамилий. У каждого свои обстоятельства, сам я на это в свое время пойти не мог. Теперь же смотрю на вещи иначе.

В СССР готовятся мои публикации, театральные постановки, меня пригласили в Москву. Да и то, знаете ли, чтобы себя психологически чувствовать в своей тарелке, я должен быть уверенным, что моя проза вообще кому-то нужна. Со своим читателем я хотел бы встретиться. Со своим!

Здесь у меня в «Посеве» вышло 6-томное собрание сочинений. Но с господами из «Посева» я расстался, и издание остановилось. К нему можно прибавить еще два тома, вторая книга «Прощание из ниоткуда» и роман о Колчаке. Набралась бы книга публицистики, драматургический том. Всего томов десять.

- Мне бы хотелось, чтобы сначала вышел роман «Семь дней», а затем две близкие мне книги: «Ковчег для незваных» и роман о Колчаке. С ранней молодости интересовался я сталиниадой. Собрал много достоверного, потому что знал людей, которые общались с генералиссимусом. Два моих героя, земляки из деревни, но один делает карьеру, сталкиваясь со Сталиным, а другой, простой человек, вербует на Курильские острова. Одна история — с цунами, другая — сцены со Сталиным. Книга 1979 года. Сталин как бытовое существо, как существо в быту. Ни демонизации, ни апологизации, это о том,

как зло может быть банальным. Смерть одного человека — трагедия, смерть миллионов — статистика. Для него это была статистика, хотите или не хотите, но лично он ни в чем не участвовал, зато под каждой смертью стоит его подпись. Но при этом сам-то он статистический человек: ноги мерзнут, гипертония, дочка по рукам пошла, сын пьянствует, заботы семейные, воспоминания молодости давят — вот такой быт, старик в быту. И всякие истории, которые я знал о нем.

Роман о Колчаке — роман об одиночестве и любви. С возрастом понимаешь: человек становится более одиноким. И книга эта о любви между Колчаком и Теме-ревой. Любовь — фон, там о Колчаке-то немного глав, герой его адъютант, мужик-ординарец, все главные герои — реальные лица. Одна — близкая подруга Шпрингера, она и сейчас жива, немецкая актриса, дочка адъютанта Колчака, князя Удинцова, он у меня Удальцов.

Вы спрашиваете, чьим мнением о моих книгах я дорожу. Трезвую статью о «Семи днях» успел написать, именно трезвую, без апологетики, Георгий Адамович. Это была его последняя статья.

А вообще на Западе, я не знаю, как в области их собственных литератур, то что касается русской литературы, то как беспомощны их оценки, беспомощны до такой степени, что я и не ожидал. Категории оценок такие: или ты третий Пастернак, или пятый Толстой, четвертый Достоевский или второй Солженицын. Обязательно им надо кого-то притянуть. Ничего серьезного о себе я не читал. Да и не только о себе — о многих. Не хочу говорить о тех, кто бегают по рецензентам, навязывается, лстят. Не пойду я ни к каким профессорам, рецензентам. У меня семья, я занят, мне не до этого. Да и надоело, хватит с меня пятнадцати томов рецензий. Нахлебался этого всего, ну подумаешь, похвалят или не похвалят. Я вообще к рецензиям отношусь подозрительно, не верю, когда хвалят, не верю, когда ругают. Когда хвалят, думаешь, что он просто к тебе хорошо относится, но так ничего и не понял — это видно по отзыву.

И все-таки я понял: дело его жизни не только десять томов собрания сочинений, не только слово и свой чинитель. Цело его судьбы, всей самой сердцевинной части жизни (Владимир Максимов родился 27 ноября 1930 го-

да) — журнал «Континент». Его имя слилось с этим емким легкокрылым словом. Их не разорвать. Когда Максиму было тяжело, помогал «Континент». Сейчас, когда тяжело «Континенту», его создатель выручает его: последний, 62-й номер выпущен на средства главного редактора и его заместителя Наталии Горбаневской.

Нам это может показаться странным. Но нет ничего необычного в том, что человек «заглянул в бездну» (название романа писателя). Ведь Владимир Максимов всегда стоял на краю. На краю поиска, где правда предельно жестока.

Декабрь 1989 г.

Анатолий Рыбаков возражает Владимиру Максиму:
«Из Парижа! Понятно?!»*

Эту сцену я наблюдал летом 1979 года в Ялте.

Дорожный швейцар с галунами на форменной куртке и на фуражке, с орденскими планками на груди не впускал человека в гостиницу «Ялта». Человек был не один, их было двое, отец и сын. Украинцы. Отца швейцар пускал — иностранец, турист, а сына нет — советский гражданин.

...В 1938 году отец из Западной Украины уехал на заработки в Канаду, оставив дома жену и маленького сына. После войны отец перебрался во Францию и начал разыскивать семью. Жена умерла, мальчик воспитывался у чужих людей, разыскать его в тех условиях запросами и перепиской — задача, казалось, невыполнимая. Но отец искал и наконец нашел в конце семидесятых годов — сыну был® уже за сорок. Но увидеть его он мог, только приехав в СССР в составе туристской группы. Область, где жил сын, не входила в туристский маршрут. Сын следовал за отцом по Союзу из города в город. Как умудрялся доставать билеты и поспевать в назначенный день в назначенный город — непонятно. Но он хотел видеть отца и поспевал.

Группа приехала в Ялту. Приехал и сын. Отец жил в лучшей гостинице города, сын спал на скамейке возле гостиницы, отец питался в дорогом ресторане, сын — в закусочной на набережной, стараясь не уходить далеко

* Лит. газ. 1990. № 20.

от скамейки — единственного места встречи с отцом: того вообще из группы не отпускали. Дородный швейцар бдительно охранял вход, с холопским подобострастием раскрывая дверь перед иностранцами и с таким же холопским пренебрежением отталкивая граждан советских. Я спросил его:

— Что же вы сына к отцу не пускаете?

— Сын наш, советский, не полагается, а отец откуда? Из Парижа! Понятно?!

И, как человек государственный, добавил многозначительно:

— Валюта.

— Сын на скамейке спит.

— Перебьется, мы в войну на земле спали.

— Где воевали-то?

Оказалось, мы с ним почти однополчане, оба служили в 8-й Гвардейской армии, только в разных частях.

— Пустили бы сына этого...

— Не могу, не положено... Отец из Парижа! Понятно?!

Пошел я к администратору. То же самое.

— Не имеем права подселить советского гражданина к иностранцу.

— Но ведь отец.

— Отец из Парижа! Понятно?!

Что заставляло этих людей быть такими жестокими? Швейцар — кося сажень в плечах, воевал, смотрел смерти в лицо, у самого, наверно, сыновья, а вот поди же... Служба требует перед кем-то лебезить — валюта, зато можно и кем-то помыкать, душу отвести.

Времена изменились. Теперь сын может поехать к отцу во Францию, если тот жив, конечно. Времена изменились, а вот капля холопства в нас осталась. И не одна, наверно, капля.

Открыв газету «Книжное обозрение» (1990. № 14), вижу интервью, данное главным редактором «Континента» В. Максимовым корреспонденту газеты Феликсу Медведеву, читаю:

«...Когда Анатолий Рыбаков заявляет, что он никогда не участвовал в травле своих коллег, он лжет: он участвовал в травле Владимира Войновича. Да еще под предлогом того, что ему не нравился роман».

Звоню главному редактору «Книжного обозрения» Е. Аверину:

— Какие у вас доказательства, что я: а) лгу; б) травил Войновича?

— у Феликса Медведева есть пленка.

— Какая пленка?

— Со словами самого Максимова.

Приди в газету советский писатель, обвиняющий другого писателя во лжи и гонительстве, там наверняка потребовали бы доказательств. А от Максимова доказательств не требуется. Помилуйте, как можно! Ведь из Парижа! Понятно?!

Теперь по существу:

а) О лжи. В «Огоньке» (1989. № 21) я писал: «...Никогда, ни активно, ни пассивно, я не участвовал в исключении какого-либо писателя из членов Союза писателей СССР».

Повторяю это опять и могу сто раз повторить: ни разу, ни в устной, ни в письменной форме я не участвовал в исключении какого-либо писателя из Союза писателей, ни разу, нигде такого исключения не одобрял. И никто никогда этого опровергнуть не сможет, потому что это неопровержимо.

б) О травле. С марта 1969 по март 1971 года я, как председатель приемной комиссии, входил в состав секретариата Московской писательской организации. 14 октября 1970 года в «Литературной газете» появилось следующее письмо:

«В редакцию «Литературной газеты». Мне стало известно, что издающийся в ФРГ антисоветский журнал «Грани» каким-то образом раздобыл и опубликовал на своих страницах без моего ведома и разрешения мою рукопись «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина»... Я глубоко возмущен гангстерской акцией этого так называемого «журнала», преследующего грязные и явно провокационные цели. Я решительно протестую против незаконного использования моей незавершенной работы. В. Войнович».

Повесть была роздана членам секретариата для прочтения. 2 декабря 1970 года состоялось ее обсуждение. Мне она не понравилась. Я прошел войну от Москвы до Берлина, миллионы наших солдат усеяли своими телами этот скорбный путь, и до меня такого рода юмор не доходит. Я субъективен? Возможно. Но это мое право. Максимов на всех углах поносит роман «Дети Арбата», я ведь не обвиняю его в том, что он меня травит.

Войновичу на секретариате объявили выговор с предупреждением. Конечно, по нынешним временам опубликование рукописи за границей не криминал, выговоров за это не дают. Но по нынешним временам и Войнович, я думаю, не назвал бы печатание своего романа в «Гранях» «гангстерской акцией этого так называемого «журнала», преследующего грязные и явно провокационные цели».

Наша же цель заключалась в том, чтобы Войновича не исключили из союза. Этой цели мы достигли. Много позже в служебном бюллетене Союза писателей было опубликовано сообщение о выговоре с преамбулой в традиционных для того времени выражениях, но она была сочинена руководителями Московского отделения Союза писателей после обсуждения и без ведома его участников.

В марте 1971 года меня удалили из секретариата и из приемной комиссии. За что? Это тема другого разговора. Могу лишь сказать, что поступком, за который меня сняли, я горжусь.

Исключили же Войновича в марте 1974 года, то есть через три с лишним года после того обсуждения. Никакого отношения к этому исключению я не имел. Даже не знаю, за что исключили. Помню только какую-то публикацию Войновича о том, что при встрече с сотрудником КГБ в гостинице «Москва» его пытались отравить.

Вот как обстоит дело. Разве не обязан был корреспондент, отвечающий за достоверность своих публикаций, проверить у меня заявление Максимова? Да вы что?! Как можно?! Такая неслыханная удача для газеты! Ведь из Парижа! Понятно?!

В высказываниях Максимова на страницах некоторых московских изданий много, мягко говоря, любопытного.

Первый удар — по ПЕН-центру.

«Только что возник русский ПЕН-центр (к чему, каюсь, и я приложил руку) — и, как говорится, не сходя с места, ввязался во внутрилитературные склоки» (Лит. газ. 1990. № 9).

Какова же роль Максимова в создании ПЕН-центра? Я был на конгрессе международного ПЕН-клуба в Мaaстрихте, где нас приняли, выступал там, но Максимова не видел, слыхом о нем не слыхал и думаю, что не все участники конгресса вообще такое имя знают. Что же

касается нашей деятельности, то скажу следующее. Русский советский ПЕН-центр выступал и выступает в защиту многих репрессированных и гонимых писателей, обращаясь в соответствующие правительственные, судебные и иные инстанции как в СССР, так и в других странах. Публично, на страницах советской печати ПЕН-центр выступал дважды: в защиту главного редактора «Октября» А. Ананьева, шельмуемого за публикацию А. Синявского и В. Гроссмана, и в защиту главного редактора «Книжного обозрения» Е. Аверина. (Да, да, того самого Аверина.)

Второй удар — по «Апрелю».

«Апрель... превращается в карьеристскую лавочку по типу всех творческих союзов в СССР» (там же).

Интервью в «Книжном обозрении» весьма забавно. Диалог лакейской угодливости (Феликс Медведев) с агрессивной хвастливостью Ноздрева и Хлестакова (Владимир Максимов).

Ф. Медведев: «Отверг мою параллель его судьбы и дела с Герценом» (во как! — *А. Р.*)\ «Я не хочу никаких революций, нигде...» Рассказывал о встречах с Андреотти, Колем, Бегином. А можно посидеть в кресле редактора великого «Континента»?»

В. Максимов: «Вспоминаю свою беседу с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, он был у меня здесь, в Париже... Я встречался с Солженицыным... Меня нашел Карл Густав Штром: «Шпрингер хочет прислать за вами самолет, хочет встретиться...» То, что я говорил, предположим, пятнадцать лет назад, сейчас говорят с трибуны партийных съездов... Я никого не сужу... Ю. Афанасьев говорил тем языком, которым я говорю уже двадцать лет... Последняя пьеса Шатрова уже никому не нужна... Я никого не сужу, не называю никаких фамилий... Анатолий Иванов... прежде всего плохой писатель... Я встретился с Генрихом Бёллем, и он мне наговорил либеральной чепухи... Я никого не сужу... Владимир Корнилов плохо знает биографию Томского... Солоухин, я считаю, обязан покаяться...» О себе: «Категории оценок такие: или ты третий Пастернак или пятый Толстой, или четвертый Достоевский, второй Солженицын. Ничего серьезного о себе я не читал...»

Теперь прочитал наконец в «Книжном обозрении»: Герцен! Только тот был из какого-то Лондона, а этот из Парижа! Понятно?!

В интервью газете «Московские новости» (1988. № 29) под названием «С прошлым надо расставаться достойно» я говорил: «Часто слышу: надо разоблачать, приговодить к позорному столбу, судить. Кого?.. Мечь и ненависть — неплодотворные чувства. У кого есть смелость, пусть покается публично, у кого ее не хватает, пусть делает это в душе».

Повторял это и повторяю неоднократно. И никому никогда ничего не напоминал. Через полгода мне исполнится восемьдесят лет, я прожил долгую и сложную жизнь, повидал всякое, знаю, под каким чудовищным прессом мы жили, и никого не осуждаю.

А Максимов напоминает и осуждает, учит и наставляет других. Про себя же пишет так:

«Я против того, чтобы люди, которые еще вчера говорили одно, теперь говорили другое, ни в чем не раскаиваясь».

Что ж, посмотрим. КТО сейчас говорит одно, а раньше говорил другое.

Все мы помним 7—8 марта 1963 года, встречу руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства, вернее, не встречу, а погром, который учинил Никита Сергеевич и в котором сам потом раскаивался. Как же реагировал на этот погром В. Максимов, в то время автор руководимого В. Кочетовым реакционного журнала «Октябрь»?

Открываем седьмой номер упомянутого журнала. На первых страницах отклики писателей на погром под названием «Слово о партии», среди них, естественно, и В. Максимов с большой статьей «Эстафета века».

Заранее извиняюсь перед читателями за длинную цитату, но прошу терпеливо дочитать до конца. Итак, читаем:

«С самого начала нашего столетия передовой отряд рабочего класса России начал величайшую из битв человечества — битву за переустройство мира... И с первых же своих шагов огромное внимание партия уделяет становлению социалистической литературы... Только в условиях социалистического строя могла вырасти целая плеяда замечательных талантов... Пресловутая проблема «отцов и детей», кстати сказать, высосанная из пальца фрондствующими литмальчиками вкупе с группой эстетствующих старичков, никогда не вставала перед молодежью, верной революционным традициям советской литературы... После справедливой и принципиаль-

ной критики... прозвучавшей на встречах руководителей партии и правительства, с деятелями литературы и искусства... хотелось бы еще и еще раз повторить слова секретаря ЦК КПСС Л. Ф. Ильичева (следует обширная цитата из Ильичева.— *А. Р.*). Яснее и определеннее не скажешь... Всяким попыткам разъять... надо давать решительный отпор (следует обширная цитата из Хрущева.— *А. Р.*). Всем нам остается только присоединиться к этому исчерпывающему высказыванию и творить в этом направлении».

В октябре 1967 года Кочетов сделал Максимова членом редколлегии журнала — рвение должно вознаграждаться.

Руководящая работа в журнале «Октябрь» пошла В. Максиму на пользу, пригодилась в «Континенте». Те же приемы, тот же стиль. Вот последний образчик (цитирую «Огонек». 1989. № 8):

«...Только что нам переслано заявление журнала «Континент», в котором, в частности, сообщается:

«...на совещании в ЦК КПСС 9 ноября сего года сообщил собравшимся о поступившем к нему письме девятнадцати перестройщиков от культуры, протестующих против возможной публикации «Архипелага ГУЛАГ». И хотя содержание этого письма-доноса до сих пор, несмотря на разгул гласности, не доведено до сведения общественности, имена некоторых его авторов стали широко известны: Виталий Коротич, Михаил Шатров, Анатолий Рыбаков».

И комментарий «Огонька»: «Это заурядное вранье. Естественно, никакого письма не было. Однако мы понимаем, каковы причины возникновения этой лжи и каким кругам она выгодна».

Я люблю Париж, преклоняюсь перед Францией, перед ее великим свободолюбивым народом. Но Максимов не парижанин.

Мы живем во времена бурных перемен, одна из них — возвращение на родину русской зарубежной литературы. Это великий и благотворный процесс. Но волны несут и пену. Пена есть во всякой литературе, и здесь, и там. И не надо ее принимать за чистую струю. «Made in» — всего лишь этикетка. Даже если она приклеена в Париже. Понятно?!

*Отрывок из интервью писателя Владимира Войновича **

— После статьи А. Рыбакова «Из Парижа? Понятно?!» в редакцию обратился В. Максимов. Он сообщил, в частности: «Об участии А. Рыбакова в травле Войновича мне известно от самого В. Войновича. С его же согласия я сделал этот факт достоянием гласности».

В. Войнович: — Максиму о Рыбакове я рассказывал. Сам я не собирался об этом писать, но и хранить тайну тоже никому не обещал. Между прочим, в описываемые времена мы с Рыбаковым были вроде как бы приятели. Иногда он мне даже в чем-то помогал, и я это тоже помню. Он и другим людям помогал, и вообще я вовсе не считаю его негодяев. Но что было, то было. Когда заварилась эта каша с журналом «Грани», я вдруг узнаю, что моя рукопись дана на прочтение Рыбакову. Я даже воспрянул духом, ну, думаю, Рыбаков прочтет, позвонит, мы встретимся, обсудим какой-нибудь выход из положения. Но он не позвонил, и встретились мы только на закрытом заседании секретариата. И никто там меня не защищал. Меня не исключили, потому что не было указания. Указание было проработать и дать строгий выговор с последним предупреждением. А что выговор сопровождается другими репрессивными санкциями — непечатанием и лишением куска хлеба, об этом стоит ли говорить? Решение на секретариате было принято единогласно. Возражавших и воздержавшихся не было. Все меня обвиняли кто во что горазд. Речь Рыбакова я помню почти дословно. Он сказал, что у нас (это у нас-то!) критиковать можно что угодно и кого угодно, но есть один герой, которого критиковать нельзя, — это народ. Критиковать народ не позволяли себе (неужто не позволяли?) даже такие гиганты, как Салтыков-Щедрин и Гоголь. Теперь Рыбаков говорит, что ему «Чонкин» искренне не понравился. Охотно верю. Тем, кто выступал против Пастернака, «Доктор Живаго», может быть, тоже не нравился.

Я философию, которую проповедует сейчас Рыбаков, смолоду не принимал. В моей давней повести «Два товарища» бандиты нападают на двух близких друзей и за-

* Лит газ. 1990. № 25.

ставляют одного бить другого. Тот сначала сопротивляется, потом подчиняется и даже входит в раж. А спустя несколько лет говорит: «Они бы тебя били сильнее».

Между прочим, некоторые говорят: ах, ах, как нехорошо — «левые» ссорятся, «правые» радуются, сейчас это все вспоминать не время. А я с этим не согласен. Для правды никогда не подходящего времени не бывает, говорить ее нужно всегда. В свое время, когда некоторые «левые» участвовали в расправах над Пастернаком, Солженицыным, Галичем, Максимовым, Чуковской, Аксеновым и другими, «правые» радовались не хуже, чем сейчас. Впрочем, объективности ради замечу, что я лично «правым» противникам Рыбакова не много радости доставляю, что ими и отмечается в их желто-коричневых органах печати. Что же касается всяких призывов к покаянию, то я к ним не присоединяюсь. Искреннего покаяния нельзя достичь внешним давлением, а неискреннему — грош цена. Борис Слуцкий участвовал в травле Пастернака, а потом (хотя ему искренне стихи Пастернака не нравились) всю ж-изнь мучился и умер (так я считаю) от угрызений совести. Никто его не мог приговорить к большему наказанию. А Владимир Солоухин сделал то же самое и сам себе тоже великодушно простил. И не теряет ни бодрости духа, ни аппетита. Если нет раскаяния в душе, тут уж ничего не поделаешь...

Приношу извинения А. Рыбакову и В. Войновичу за использование их опубликованных материалов по поводу неожиданно возникшей полемики. Этим я никоим образом не хотел увеличивать объем своей книги (интервью с русскими за рубежом у меня хватит еще не на одну книгу), но мне кажется, что в позиции известных писателей на предмет того, кто как себя вел «тогда», должны быть поставлены все точки над i.

ЗОЛОТЫЕ ПЛОДЫ ОДИНОЧЕСТВА?..

Один из трех разговоров с Натали Саррот

Маленькая сухонькая женщина, открывшая мне дверь, уверенно протянула руку: «Раздевайтесь, а пальто бросайте прямо сюда»,— указала она на кушетку. Короткая стрижка. Седые волосы. Твердая, немного мужская походка. Тихий голос, медленный говор. Вдоль длинного коридора стол с ее книгами. Потом, после разговора, я получу в подарок последние издания Натали Саррот, Натальи Ильиничны Черняк, известнейшей французской писательницы русского происхождения. Живого классика.

«О ля-ля, вы идете брать интервью у Натали Саррот?!»— и со мной заговаривали как-то теплее. К Саррот одинаково по-доброму относятся и во французских, и в русских литературных кругах. Ее имя вызывает неизменный интерес и уважение.

— А сколько заплатят вам за это интервью в России? В любом случае я его перекупаю,— совершенно серьезно предложила мне одна издательница.

Помню бурную реакцию читателей и критики, когда в «Новом мире» много лет назад был напечатан роман Саррот «Золотые плоды». «Как такое можно было печатать?!» Вспоминаю, что и сам прочитал роман с большим трудом. Это было не чтение, не развлекательная прогулка по сюжету с почти обязательным угадыванием, чем все кончится и кто останется с кем. Читать Саррот надо по странице в день. На свежую голову, после чашки утреннего кофе.

У знаменитой писательницы побывали до меня Евгений Евтушенко и Зоя Богуславская. Зная об этом, я специально не стал перечитывать их интервью. Мне хотелось, чтобы мои представления о Натали Саррот были первозданными.

Наталья Черняк родилась в 1900 году в Иваново-Вознесенске. Трудной была ее литературная биография. Дол-

гое время писательница была практически одинока. Книжки ее решительно никого не интересовали. Издатели отвергали их как «бред» и «чушь». Однажды Саррот спросила себя: «А почему я не могу писать, как пишут все?» И написала книгу теоретических эссе «Эра подозрения», на которую клюнули сначала критики, а потом читатели. С этого все и началось. Было это более трех десятилетий назад. Чуть позже Жан Поль Сартр скажет о ее антироманах, что они читаются, как детектив. А вот что писала о литературном творчестве Саррот наша Краткая литературная энциклопедия издания 1971 года: «Основное содержание романов Саррот — неподлинность человеческого существования, некоммуникабельность, неадекватность внутренних реакций, приобретающих субъективные масштабы космических катаклизмов, внешним формам общения. Стилистически это находит выражение в стыке поэтического, насыщенного яркими метафорами потока сознания и банального, сведенного к стертым штампам диалога». Что ж, пусть будет так.

Встречался я с Натали Саррот три раза. Вышло как бы три разных интервью. Одна из бесед проходила в знаменитом кафе Флер на бульваре Сен-Жермен. Было приятно, что мою собеседницу узнавали. Выходя из кафе, я обратил внимание на витрину с книгами. «Что это?» — спросил я наивно. Довольный гарсон с гордостью парировал: «Это книги тех писателей, которые здесь работали. К сожалению, их уже нет в живых». Я вчитался в фамилии: Сартр, Элюар, Арагон, Эренбург...

Это интервью далось мне легко, разговор был естественным, без натуги: короткие вопросы, короткие ответы (я как бы принял стиль разговора моей собеседницы), «банальная, сведенная к стертым штампам диалога» магнитофонная запись. Но я беседую с человеком и писателем, на ладони которого лежит целый век. И здесь важно каждое слово, каждая реакция.

— ...Жизни мне осталось совсем немного. И это же естественно, что боишься болезней, каких-то неожиданностей.

— Но вы не устали?

— Нет, я не устала, просто я боюсь, я думаю, как это произойдет. Мои приятельницы очень трудно переносят возраст, эти последние годы. Вот и я все думаю об этом.

— Вас страшит физический конец или то, что вы не успеете завершить творческих замыслов?

— Писать я могла бы перестать и теперь. Мне довольно трудно работать. И всегда было трудно. Всегда волновалась, удовлетворения было мало. Я всегда боялась, что получится что-то не то и не так, а как только кончала одну вещь, сразу же думала о другой.

— Значит, вам всегда писалось тяжело?

— Всегда было трудно с выбором материала, который бы мне подошел.

— Материал, который ложится в книги, это вы сами или это чужой чей-то мир?

— Нет, это не я, это вещи, которые я как бы мимо-летно почувствовала. Ну как это бывает, наверное, у многих писателей. Кроме, конечно, «Детства», где я описала минуты первых лет своей жизни в Иванове. Все же остальное— это просто литература. Мне всегда трудно найти слова, найти внутренние движения, которые надо Описать на бумаге. Это нелегко.

— Когда вы задумываете свой очередной роман, что для вас служит началом, толчком: тема, случай, что-то другое?

— Всегда тема. Сначала общая тема, в нее, как при круговороте воды, должно входить несколько сцен, внутренних движений, как я их называю «тропизмы». А потом все идет как-то само по себе. Но идет нелегко.

— Все ваши романы не превышают двухсот страниц. Почему?

— Я написала небольшое количество книг, потому что пишу очень долго. У других получается легче, и они более плодovиты. Но я делаю, что могу, и стараюсь изо всех сил.

— Мне кажется, что вы сильный человек.

— Трудно сказать, иногда бываю сильной в некоторых вещах, а в других очень слаба, зависит от многого...

— А что вы больше всего любите в жизни?

— Мне кажется, писать. Трудно было бы теперь жить и не писать больше. Это центр моей жизни.

— А музыка, чтение книг?

— Очень люблю читать, но самая настоящая моя жизнь, когда я за рабочим столом.

— Известно, что вы пишете в кафе, а не дома. Правда ли это?

— Да, по утрам хожу в кафе, где сижу и думаю, вожу пером по бумаге.

— *И это давняя привычка?*

— Это вошло в моду после войны. В кафе тепло, а в квартире холодно. И я стала ходить работать в кафе. Многие годы так работали писатели, художники...

— *Как же можно в кафе писать? Мешает шум, голоса...*

— Мне ничего не мешает, абсолютно. Я никого не слышу.

— *Это же надо так отключаться!*

— В кафе отключаться легче, чем дома. Потому что все, что там происходит, меня не касается. А дома звонит телефон, беспокоит консьержка, приходят родные — и это все касается меня, все отвлекает.

— *Вы одна из самых известных писательниц Франции. Как вы к этому относитесь?*

— Это меня мало волнует. Я живу довольно однообразной жизнью, вижу не очень многих людей. Не хожу на коктейли, обеды, званые вечера. Паблисити не для меня.

— *А для кого?*

— Не знаю, для английской королевы...

— *Что такое литературная критика по отношению к вам?*

— Она меня раздражает. Впечатление такое, что тот, кто пишет обо мне, пишет как бы о другом, даже не открыв моих книг.

— *Это касается только французской критики?*

— Нет, критики вообще. Со мной всегда так было. Мои книги трудные, если их быстро перелистать, ничего не поймешь. Но бывают и хорошие статьи, приятно, когда чувствуешь, что тебя поняли.

— *А можете ли вы назвать имя критика, который, как вам кажется, вас понял бы до конца? Может быть даже из прошлого века. Сент-Бев, например?*

— Об этом я никогда не думала. На досуге поразмышляю.

— *Когда в 1968 году в «Новом мире» был напечатан ваш роман «Золотые плоды», я помню, все говорили: «Это новый роман, новая литература». Скажите, кто придумал этот термин «новый роман»?*

— Один французский критик. Он поначалу был с нами не согласен, но когда снова вышла моя первая книга «Тропизмы» и книга Роб-Грийе «Ревность», он назвал эти книги «новыми романами». И так пошло.

— *А вы с этим согласны?*

— Да. Потому что еще раньше я написала статьи о том, что литература, как всякое искусство, должна менять формы, находить новые сущности. Ведь каждый из нас писал совершенно разные вещи. Мы никогда не встречались и не говорили об этом. Но у нас было одинаковое мнение о том, что литература это тоже искусство, как поэзия, как всякий другой жанр.

— *Простите, мне сейчас пришло в голову: а не предлагали ли вы в свое время этим термином перестройку в литературе?*

— Это трудно назвать перестройкой, потому что каждый из нас был одинок, у меня, например, нет прямых наследников, да нет и школы. Люди продолжают писать как хотят, как умеют.

— *Значит, вы стоите в литературе почти особняком?*

— Да, я как-то замкнута в своем мире.

— *А каковы ваши отношения с нынешними французскими писателями, с кем-то общаетесь?*

— Очень мало.

— *И всегда так было? По-видимому, вы по натуре малообщительный человек?*

— Да, по натуре я довольно одинока, и меня, я уже сказала, не трогают всякие официальные приемы, встречи. Я на них не хожу.

— *Но кто же вам близок в жизни?*

— С моим мужем мы прожили шестьдесят лет. Он принимал, как это у вас говорят, активное участие в том, что я пишу. Он был адвокатом, но очень интересовался искусством, литературой и делал многое, чтобы поддержать меня. Он был моим первым читателем, его мнение играло большую роль для меня. Он умер в марте 1985 года.

— *Что вас сейчас, помимо работы, привязывает к этому миру, к этой земле?*

— Мне кажется, мой маленький домик в деревне, который я очень люблю. Местечко называется Шеронс.

— *Перед вами, Наталья Ильинична, прошел почти весь двадцатый век. Что вы думаете о нем?*

— По-моему, мы пережили ужасный период истории. Расизм. Гитлер — уникам в истории человечества. Ужасное время было, конечно, и при Сталине: насилие, убийство невинных. Пережито две войны, ужасной была и первая война, мне было четырнадцать лет, я многое помню, видела, что делалось вокруг... Что и говорить, невеселый был век.

— *А каким вам видится будущее человечества?*

— Сказать трудно. Кто бы мог подумать, что будут происходить такие события, как, например, ваша перестройка. Никогда бы не подумала, что это я еще увижу. Это невероятно, поэтому как можно предвидеть, что будет?

— *А вообще вы верите в астрологию, в гадания или это не для вас?*

— Абсолютно не верю. Никогда не общалась с астрологами, звездочетами. Мне кажется, что это противоречит всякой науке.

— *А у нас сейчас астрология в моде.*

— Здесь тоже. Да и повсюду.

— *К нам сейчас приходит и Фрейд, еще вчера бывший под запретом. Выходят его книги, о нем говорят, пишут. Мне кажется, что вы фрейдистка?*

— Терпеть не могу Фрейда, вы ошибаетесь. Он ужасно сузил все, что мы знаем. Во всяком случае, практические результаты лечения психоанализом в тех случаях, которые я наблюдала, были всегда плачевные. Хотя нельзя не признать, что он сделал интересные открытия в области подсознательного, точнее, бессознательного.

— *А ваше творчество — это не подсознательная работа?*

— Абсолютно нет. В природе творчества может разобратся каждый, не надо Фрейда, для этого не надо врачей. Просто следует остановиться на некоторых вещах и о них подумать, их почувствовать. Но нам ведь некогда, жизнь проходит быстро, и мы не останавливаемся на мелочах, на частностях, на деталях. А я стараюсь остановиться, посмотреть как бы в микроскоп на переживаемое, зафиксировать, как медленно проходит во мне осмысление чего-то, уловить какие-то токи. И это может каждый. Человек может познать себя и без Фрейда. Без психоанализа.

— *А ваша книга «Детство», напечатанная нашей «Иностранной литературой», — она не имеет отношения к подсознательному, ведь вы копаетесь как бы в далеких снах жизни?*

— Нет, это воспоминания, никакого подсознания. Там все конкретное, реальное, то, что я как бы старалась заново пережить.

— *Заново пережить... А какое событие в переживаемой вами жизни вас особенно взволновало, потрясло?*

— Думаю, что... запуск человека на Луну. Ну а в социальном плане — революция семнадцатого года.

— *Как вы ее воспринимали?*

— Я ругалась, спорила с отцом. Он лично знал Троцкого и Ленина и находил, что их действия — это действия определенной секты, что революция кончится ужасной диктатурой. Но я была «за» хотя бы потому, что революция эмансипировала женщину. Я была очень сильно за революцию. А мачеха моя была против. Многие я поняла, когда в 1937 году поехала с ней интуристкой в Москву на десять дней. Там я поняла, что и отец, и мачеха были во многом правы: ведь я попала в самое чудовищное время, после убийства Кирова, время репрессий, массовых убийств...

— *А как же вы не испугались? Сталин мог вас арестовать, ему это ничего не стоило!..*

— Тогда мы еще ничего не знали, это было в мае, даже ходили на праздничную демонстрацию на Красной площади, у меня фотография сохранилась.

— *А не сохранилось ли в архиве отца каких-то документов, связанных с Лениным, с событиями дореволюционными?*

— С Лениным нет. Только семейные предания. Отец уехал из Иванова, потому что брат его был максималистом, участвовал в ограблении банка в Фонарном переулке, и вот он, чтобы спасти брата, бросил Иваново и приехал сюда. И уже не мог вернуться. Сам он не был активным политическим деятелем.

— *Вы помните 5 марта 1953 года?*

— Конечно, я ликовала, думала, что он никогда не умрет. Так радовалась, я его просто ненавидела после того, что узнала о нем. Я так была рада, что не верила, что он умер.

— *Вас, наверное, потряс и XX съезд партии?*

— Нет, потому что одержание доклада Хрущева я уже знала. Съезд не был для меня неожиданностью. Мой отец знал прекрасно Бухарина и других вождей революции, и мне казалось странным, что такие храбрые, сильные люди на себя клеветали. Так низко клеветали. Я все думала, что им сделали, чем их напоили?

— *Но ведь была и такая книга, как «Москва. 1937» Фейхтвангера.*

— Я ее не помню.

— *Ну а книга Андре Жида «Возвращение в Россию» вам наверняка попадалась?*

— Да, ее я знала. И я восхищалась этим писателем: каким надо было быть храбрым, чтобы написать такую правду.

— *А как вы восприняли начало войны Германии с СССР?*

— Ужасное ощущение! Сначала мы были в ужасе от пакта России с Германией, мы были в ужасе, когда узнали, что Сталин с Гитлером идут рука в руку. Потом я дрожала, когда немцы наступали. Я дрожала до самого Сталинграда, думала, что Россия погибла. А когда передали, что под Сталинградом немцы попали в плен, родилась надежда. И я безумно радовалась. Стало легче жить.

— *Наверняка потрясением для вас была и капитуляция Франции?*

— Да, конечно, все плакали, когда немцы вошли в Париж.

— *Вы были тогда в Париже?*

— Я сперва бежала с детьми и с матерью в Бретань, моего мужа мобилизовали. Я жила там довольно спокойно до тех пор, пока немцы не пришли и туда, они объявили, что надо носить «звезду». А я не хотела этого делать, хотела оставаться свободной, уезжать куда хочу, и делать что хочу. Пришлось прятаться, ведь я объявила себя в префектуре еврейкой.

— *Как долго это продолжалось?*

— Эти «звезды» ввели, кажется, в сорок втором. Я пряталась у друзей, потом у одной мужественной и милой дамы в деревне, а потом вернулась сюда, в этот дом, потому что наш консьерж был в резистанс, в Сопротивлении.

— *А что для вас значила победа над Германией?*

— Мы ликовали, радовались, конечно.

— *Именно 9 мая 1945-го?*

— Когда приехал де Голль, я сидела с детьми, но я видела и сама переживала сумасшедшее состояние счастья. Совершенного счастья.

— *Ну а то, что победила Россия, эти чувства для вас были какие-то особенные?*

— Конечно, это было особое чувство. Оно родилось во мне еще тогда, когда русские отогнали немцев от Сталинграда.

— *Какова была ваша реакция на венгерские события 1956 года?*

— Это было чудовищно. А сейчас я рада за венгров, считаю, что в прошлом режиме жить было невозможно.

Шокировал меня и ввод советских войск в Чехословакию, очень шокировал.

— *А ситуация с Афганистаном?*

— Тогда казалось, что это будет то же самое, что случилось с американцами во Вьетнаме. Так и было.

— *Как вы отнеслись к высылке Солженицына из Советского Союза?*

— Я считаю, что это удивительно сильный человек, сумевший пойти против такой могучей державы. Он гигант в моих глазах. Абсолютный. Правда...

— *Что «правда»?..*

— Правда, я слышала, что он будто бы националист, правый, но я не знаю, так ли это. Во всяком случае «Архипелаг ГУЛАГ» — удивительная книга. И еще «Бодался теленок с дубом» — тоже замечательная книга.

— *А конец брежневской эпохи для вас был связан со смертью Брежнева? Вы понимали, что это был за человек?*

— Да, понимала. И когда его не стало, я вздохнула свободнее.

— *А кто ваша дочь? Она живет с вами?*

— Она фотограф, делает интересные работы. Помогает мне во всем. Она ни разу не была в России, я смогу ответить на приглашение Союза писателей и приехать в Москву, если со мной поедет дочь.

— *Это будет вашей второй поездкой в Россию?*

— Нет, совсем нет. Сейчас вспомню. С 1908 года по 1937-й не была ни разу. А потом четыре раза приезжала. Последний приезд был лет двадцать пять назад.

— *О чем ваш новый роман, который только что вышел у Галлимара?*

— Ах, это очень трудно пересказать! Кому-то сказали: ты себя не любишь. И он все спрашивает: кто не любит кого? Мы себя не знаем, кого я могу любить в себе? Но во мне столько разных «я», столько разных людей, что моя личность распадается на большое количество существ. Есть такие, которые себя любят, они как бы смотрят на себя со стороны и строят себе памятник. И вот как мы реагируем на них и как их тоже начинаем любить, обожать. Как Сталина. Роман так и называется — «Ты себя не любишь?». Я рада, что его хорошо приняли.

— *А будущий роман уже определен? О чем он?*

— Трудно сказать, все смутно...

— *Долговременных творческих планов, как это делают наши классики, вы не строите?*

— Нет, конечно, и никогда не строила.

— *А скажите, как ваши «Золотые плоды» попали к Твардовскому? Мне кажется, что этот роман—«не его», простите за каламбур, роман.*

— Вышло так, что «Золотые плоды» получили Интернациональный приз в шестьдесят четвертом году, и все издатели, участвовавшие в этом своеобразном конкурсе, должны были обязательно напечатать книгу на разных языках. «Новый мир» в этом конкурсе не участвовал, но роман перевели, и Александр Твардовский взял его.

— *Вы общались с Твардовским?*

— В одну из поездок в Москву я побывала на даче у Александра Трифоновича, помню его с женой Марией Илларионовной. А здесь, в Париже, однажды с ним и Луи Арагоном мы обедали в ресторане. Вот и все.

— *У вас есть желание и дальше издаваться в Советском Союзе?*

— Конечно.

— *А на сколько языков переведены ваши книги?*

— Кажется, на двадцать семь языков.

— *Литературные премии, награды вы получали?*

— «Золотой орел», Интернациональный приз, что-то еще, меня как-то мало это волнует.

— *Ваши книги, наверное, никогда не были в списке бестселлеров?*

— Вот последняя попала в эти списки. Я была изумлена, это в первый раз. А так — никогда. В университетах меня много изучают в Америке. В Англии я получила степень доктора. Как ваша Анна Ахматова когда-то.

— *Вы, наверное, могли бы занять место «бессмертных» во Французской академии?*

— Это не для меня, я об этом никогда не думала.

— *Скажите, ваши произведения социальны или нет?*

— Нет, совершенно нет.

— *А как вы оцениваете значение писательского слова в жизни общества, в судьбе человека?*

— Я сама очень люблю читать и думаю, что литература дает такое же удовлетворение, как и живопись, музыка, архитектура. Но для меня литература—это искусство, а не что-то такое, что должно улучшить жизнь или ее облегчить. Для этого хорошо подходит журнализм,

когда надо рассказать, чем живут фабрики, колхозы, какие-то коллективы.

— *Выходит, слова Достоевского о том, что красота спасет мир, по-вашему, слишком сильно сказаны?*

— Для меня это трудно понять, я не понимаю смысла этих слов.

— *Вообще, вы любите Достоевского?*

— Да, очень! Достоевского и Чехова.

— *Кто, по-вашему, самый крупный писатель XX века?*

— Мне кажется, что Пруст и Джойс.

— *А как вы относитесь к понятию метода так называемого социалистического реализма?*

— Абсолютно против. Мне кажется, русский народ гениальный в смысле литературы, а соцреализм остановил развитие литературы на какое-то время.

— *Как вы воспринимаете нынешнюю эмигрантскую литературу?*

— Я ее плохо знаю. Но есть интересные имена, интересные вещи у Синявского, Зиновьева, Аксенова... Это талантливые люди...

— *Какими именами для вас обозначена современная русская литература?*

— Я бы назвала Булгакова, Платонова, Гроссмана, много слышала и о писателях, пишущих о деревне, у них тоже есть талантливые произведения.

— *С кем вы общаетесь из наших писателей? Кто вас навещает?*

— Бывал Виктор Конецкий, он из Ленинграда. Раньше заходил, реже бывает Андрей Вознесенский, встречалась я в Париже и с Зоей Богуславской... Очень дружила с Виктором Некрасовым, он стал близким моим другом, я его очень любила. Он часто приходил в гости, одно время очень часто.

— *О чем вы говорили?*

— Он любил Францию, бывал здесь еще в детстве... О многом мы говорили. Он казался довольным... Много пил, потом перестал, но это было слишком поздно.

— *Я слышал, что вы встречались с Анной Ахматовой. Это правда?*

— Да, это так. Когда я была в Ленинграде, я спросила ее, могу ли к ней приехать. В Комарово меня повез такой красивый молодой писатель, она его очень любила, Борис Борисович Вахтин, его, к сожалению, нет в живых. Анна Андреевна была очень больна, лежала в постели, вокруг были склянки, лекарства. Я пробыла у нее

два часа, она все расспрашивала о Париже. Ахматова произвела на меня очень сильное впечатление своей красотой. Она была совершенно замечательна. Я очень люблю ее стихи.

— *Как вы относитесь к Набокову? Вы были знакомы?*

— Нет, мы не виделись. Вы знаете, я не могла оторваться от его «Лолиты», он очень талантлив. В некоторых местах своей прозы он напоминал мне Достоевского, хотя этого писателя он вроде бы не любил.

— *С Буниным вам не пришлось увидеться?*

— Нет, но его хорошо знал мой отец. Здесь в свое время бывали такие русские вечеринки, и я запомнила, как Бальмонт читал свои стихи. Кого еще я знала из русских? Ну, Эренбурга, причем я посещала его и в Москве. При его трудном характере общаться с ним было нелегко. У него всегда было плохое настроение.

Добрым словом вспоминаю замечательного человека публициста Василия Васильевича Сухомлина и его очаровательную жену Татьяну Ивановну. А мои друзья художники Наталья Гончарова и Михаил Ларионов! Какая трогательная, красивая была пара! Как они дружили, очень любили друг друга, но не женились. Гончарова всегда вспоминала свое детство, молодость в России, друзей по живописи. Я просто упивалась ее рассказами. Часто вспоминала Дягилева, с которым она приехала в Париж. Я знаю, что сегодня они очень знамениты в России.

— *По-русски вы никогда не писали?*

— Нет. Ведь первый мой язык был французский, за ним последовал русский. Мне было два года, когда меня привезли во Францию.

— *В семье вы, конечно, говорите по-французски?*

— Мой отец умер в 1949 году, мать в 1956-м. С отцом я говорила по-французски, а с мачехой — по-русски. Сколько меня учили в свое время, чтобы я «р» произносила по-русски, не могу. «На горе Арарат» или «тридцать три трубача тревожно трубили тревогу» меня заставляли повторять много раз каждый вечер. Я слушала пластинку с речью Ленина и с радостью узнала, что он тоже картавил.

— *А когда вы последний раз до беседы со мной говорили по-русски?*

— Полгода назад я обедала с Андреем Синявским и его женой.

— Наталья Ильинична, мы о многом с вами поговорили. Вы сказали, что прожитый вами век был невеселым: войны, нацизм, газовые камеры. Сталин... А вот если бы была возможность начать жизнь сначала, вы смогли бы ее прожить заново?

— Все зависит от характера. Если бы я была тем же человеком, что и теперь, я прожила бы так же, если бы была другой, то и жизнь была бы другая. На человеческую жизнь все влияет: люди, события, обстоятельства,

— *Вы бы хотели прожить еще одну жизнь?*

— Нет, не хочу. Все начинать с детства... не хочу.

— *Почему?*

— Потому что моя жизнь была нелегкой. И мне бы не хотелось заново переживать пережитое...

Декабрь 1989 г.

«ПАМЯТЬ, НЕ ПОДЛЕЖАЩАЯ ОТЧУЖДЕНИЮ»

**Впервые у Анри Труайя,
академика академии «Бессмертных»**

«Единогласное избрание — это неслыханно!» — воскликнул Жорж Дюамель. В восторге были все: Франсуа Мориак, Шарль де Голль, Эмиль Анрио, крупнейшие ученые Франции. В академию на кресло, освободившееся после смерти Клода Фаррера, академики в первом же туре единогласно избрали Льва (Люсьена) Тарасова, литературный псевдоним которого Анри Труайя. Читатели, следящие за литературной жизнью Франции, оценили по достоинству этот единственный в XX веке случай. Обычно избрание происходит после многих (от трех до семи) туров большинством в 13—18 голосов. На сей раз все до единого поданные голоса были в пользу Труайя.

Присутствовавшие на приеме академики наперебой рассказывали о том, как они сразу открыли в Труайя большой талант. Первенство здесь осталось за Андре Моруа, ведь именно его дочь принесла из лицея рассказ своего одноклассника Тарасова. Рассказ так понравился отцу, что он сразу же рекомендовал его для печати.

Сегодня только перечисление произведений Анри Труайя заняло бы целую тетрадь. Лев Тарасов, сын армянина и русской, покинувших Россию сразу же после революции, становится членом одной из самых престижных академий мира, членом академии «Бессмертных».

Не знаю, может, он и не принял бы меня, если бы не рекомендация Т. И. Леценко-Сухомлиной, одной из самых знаменитых женщин нашего времени. Татьяна Ивановна с давних пор вела дружбу с родственниками Льва Тарасова. И хотя писатель хорошо говорит по-русски, он пожелал, чтобы при беседе была переводчица, ибо, как он заметил, ему хотелось бы на некоторые наиболее принципиальные для него вопросы отвечать по-французски. И Татьяна Ивановна, которая тоже в эти дни находилась в Париже, согласилась быть моей переводчицей.

Квартира Труайя для меня — родная стихия: кругом книги, книги, книги. Толстые фолианты французских классиков, редчайшие библиофильские издания. Роскошные французские переплеты, кожа, муар. Отдельно высятся стопки только что вышедшего романа о Мопассане самого хозяина.

В доме восемнадцатого века в самом центре Парижа он живет почти тридцать лет. Мемориальная доска извещает, что в этом доме родился Эдуард Мане. Спрашиваю, не видится ли ему собственная мемориальная доска на фасаде. Шутка плосковатая, но Лев Асланович, не сердясь на меня, отшучивается: «Я хочу еще пожить на этом свете». Хотя, впрочем, вечность Анри Труайя уже обеспечена, ведь он член академии «Бессмертных».

На дорогом столе в маленьком предкабинете лежит огромный том — Высочайше утвержденное его Императорским Величеством «Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» с автографом царя Александра II (освободителя).

— На аукционе? — спросил я хозяина.

— Нет, подарок читателя. Что вам еще показать? Вот эта кружка раздавалась на Ходынке, помните, каждому, кто пришел на торжество коронации Николая II в Москве. Я нашел ее здесь, на толкучке. Маленькая частица истории России.

Некоторые из тех, кому я говорил об Анри Труайя, выражали скептическое отношение к его творчеству. Дескать, ничего нового он в литературу не внес, ни во французскую, ни тем более в русскую. Это несправедливо: в России имя Анри Труайя особенно лет пятнадцать — двадцать назад было весьма популярным, среди читателей. Знают его и сегодня, но издается он, к сожалению, весьма редко. Первого ноября 1991 года ему исполнится восемьдесят лет.

— Как часто бывают у вас гости из России, журналисты, писатели?

— Гости бывают крайне редко. А журналисты? Пожалуй, вы первый журналист, которому я даю интервью.

— Вы знакомы с кем-либо из русских писателей?

— Нет, ни с кем. Я даже французских писателей знаю мало. Живу, как медведь у себя в берлоге. Никого не вижу, сижу, работаю.

— Выходит, что вся ваша жизнь — это работа, творчество дома за столом. А общественная жизнь, контакты с коллегами?

— Каждый четверг я бываю во Французской академии. И кроме этих визитов, пожалуй, ничего больше. Никуда не выхожу, стараюсь вести очень спокойную и одинокую жизнь. Ну конечно, у меня есть семья, близкие друзья.

— *А что такое заседания Французской академии? Как они проходят?*

— Заседания длятся недолго, часа полтора-два. Обсуждают вопросы, касающиеся языка, литературы. Сейчас, например, готовится новое издание словаря французского языка, ибо последнее вышло в тридцатом году.

— *Интересно, что вы, человек, говорящий по-русски, участвуете в комиссии по канонизации языка французского. Вы владеете им в совершенстве?*

— Да, считаю, что да. По-русски труднее изъясняться, у меня мало практики. С тех пор, как скончались родители, мне не с кем разговаривать. Лишь изредка я говорю по-русски с братом.

— *А когда скончались ваши родители?*

— Отец в шестьдесят седьмом, мать тремя годами раньше. Они не давали мне возможности забыть русский. Да как же иначе, ведь я написал несколько биографий русских писателей. Все документы я читал по-русски. Французскому меня научила гувернантка-швейцарка, и я начал говорить одновременно на двух языках.

— *Вы стали членом академии «Бессмертных». Как это случилось, когда?*

— В то время мне было уже сорок девять лет, хотя я считался очень молодым академиком. Мой первый роман опубликован в 1935 году, и три года спустя я получил Гонкуровскую премию. После этого я написал роман, несколько биографий, и многие академики советовали мне представиться на кресло покойного Клода Фаррера. Подталкивали Мориак, Моруа, Жулия, самые великие писатели того времени.

— *От такого соблазна нельзя было отказываться?*

— Меня выбрали сразу. Было это в 1959 году.

— *Иосиф Бродский мне рассказывал, как выбирают в лауреаты Нобелевской премии, но любопытно, как становятся членом самой знаменитой Французской академии?*

— Все довольно просто. Вы сидите у себя дома и ждете телефонного звонка. В зале заседаний идет голосование, и вдруг вам телефонируют, что вас избрали. Сейчас же с поздравлениями к вам приезжают все академики,

друзья, а потом, через несколько месяцев происходит публичное чествование, произносится речь по поводу того, кого вы должны заместить. А вам отвечает другой академик. Мое слово было о Клоде Фаррере. Участники церемонии облачаются в специальные костюмы темно-синего цвета с вышивкой зеленым. Мне преподнесли специально изготовленную шпагу, которая входит в гардероб академика. Но русские друзья подарили другую шпагу, которую я не ношу, эта шпага камердинера времен Николая I.

— *Сколько книг написано вами за всю жизнь?*

— Около семидесяти томов, романы, биографии, эссе.

— *Это много или мало?*

— Слишком много.

— *Но ведь это приносит вам удовлетворение, потому что вы много работаете?*

— Да, это так. Вся моя жизнь — работа. И вы знаете, пишу я довольно легко, но самое приятное время — это время мечты. Когда ты задумываешь книгу и готовишься к ней.

— *А какая ваша книга дольше всего вынашивалась, не воплощалась на бумаге?*

— Трудно ответить. Пожалуй, трехтомный роман «Пока стоит земля», действие которого начинается в России 80-х годов XIX века и кончается во Франции в 1939 году; это история одной семьи в России, которая покинула ее в семнадцатом году и устроилась во Франции.

«...На каждого русского читателя сильное и незабываемое впечатление производят три увесистых тома «Пока земля стоит» и пятитомный роман «Посевы и жатвы». Начинается эта хроника с описания жизни его предков на Кавказе и доводится до параллельной истории двух семейств, одной чисто французской, а другой — армяно-русской, которым пришлось впоследствии соединить браком свои судьбы.

Читая эти романы, нельзя отделаться от чувства, что первые несколько томов написаны на основании рассказов родителей писателя, вывезенной еще в «первобытном» состоянии бабушки, дяди и тети по материнской линии. Потрясает правдивость и художественность описания всех подробностей быта Кавказа и Юга России, а впоследствии Москвы и Петрограда до 1920 года».

Из русскоязычной прессы Запада

— *А многие ваши книги связаны с Россией?*

— Да, много романов, биографий, да почти все мои биографии о великих русских людях. О Пушкине, Лермонтове, Достоевском, Гоголе, Толстом... Серия исторических романов «Свет праведных» посвящена восстанию декабристов, роман «Наследники будущего» — тоже о России, об отмене крепостного права...

— *Ваши источники библиотеки и архивы?*

— Во-первых, дома у меня много книг, вы видите сами, я покупаю их по задуманной теме, затем работаю в обширной библиотеке восточных языков, где масса книг на русском языке. Ну и, конечно, Национальная библиотека, где имеется большой департамент русских изданий.

— *Вы писатель исторический. Как вы смотрите на то, что сегодня в России резко меняются акценты, обновляется видение и ощущение прошлого нашей родины?*

— Я слежу за этим процессом с большим интересом, я радуюсь ему. Я чувствую, что в России все меняется и что мало-помалу Россия приближается к своим истокам.

— *В связи с большими социальными и политическими переменами в России не стареют ли те или иные страницы ваших книг?*

— Это уже политический вопрос. Мы не договаривались. Ну что ж, отвечу и на него. Я считаю, что тоталитарные системы должны исчезнуть, они обречены на гибель. Должно исчезнуть все, что было создано под игом тоталитаризма. Я за свободу.

— *Наверное, это и ответ на мой вопрос, если бы я спросил вас о Сталине?*

— Считаю период царствования Сталина гибельным для России. Он задушил Россию, ее народ, ее свободу. Но все началось с Ленина, потому что из него сделали бога, идола, и это глубоко ошибочно. Он был человеком, а не богом. Обожествляли его напрасно. В человеке всегда есть потребность кого-то обожать. Обожать — от слова бог. Поэтому религию заменили религией политической. И меня это очень беспокоит. Да и многих это беспокоит. Я боюсь еще одного: боюсь, что у нации не хватит смелости понять, что напрасно было всегда кивать наверх, соглашаться с верхом, с тем, что диктовали властелин, правительство.

— *А в том, что делает сегодня Михаил Горбачев, вы не видите признаков нового диктаторства, нового закабаления верховной властью?*

— Перед Горбачевым стоят огромные трудности. Ведь по-прежнему существует старый политический аппарат, который надо раздробить, разрушить. Затем постепенно надо приучать русских к ощущению свободы. Россия долгие годы была крепкой и единой под железным царским кулаком. Когда-то царь собрал воедино многие народы. Сможет ли Горбачев сохранить унаследованное?! Это нелегко, когда эти народы жаждут освободиться от железного кулака.

— *Как вы считаете, в какую эпоху русский народ был наиболее свободным?*

— Отвечу так: я считаю, что самое большое зло произошло из-за войны. Война породила революцию в России. Причин тому много, о них известно. Не было бы войны, не было бы революции. И это вовсе не означает, что Россия осталась бы прежней, во многом архаичной, отсталой страной. Нет, мало-помалу Россия пришла бы к демократии. И думаю, что это была бы демократия английского образца.

Мы заговорили о политике. Анри Труайя перешел на французский язык, и после перевода для меня последнего пассажи писателя Татьяна Ивановна протянула Льву Аслановичу руку в знак солидарности с его мыслями. И добавила: «Потому что тогда во главе правительства стоял бы царь и был бы парламент на образец английского. Так ведь и задумывали младоросы и их руководитель Саша Казинбек, которого я хорошо знала».

Анри Труайя внимательно слушал гостью своего дома. Мы на минуту отвлеклись, а потом я спросил:

— *А вообще какая эпоха в русской истории волнует вас больше всего?*

— Эпоха Пушкина, замечательная эпоха. Я много размышлял над ней, когда писал роман о Пушкине, довольно обширную биографию с неизвестными даже советским исследователям документами.

— *Откуда они оказались у вас, это не секрет?*

— Нет, конечно. О том, что я пишу биографию Пушкина, узнал Геккерен, наследник тех самых Геккеренов. Он написал мне и предложил ознакомиться с одним-двумя манускриптами из его семейного архива. Я прочитал их, но они мне не показались особенно важными. И тогда я спросил, нет ли у него еще чего-нибудь. Он ответил мне по телефону, что есть еще, приходите. И показал два письма Дантеса Геккерену, в которых Дантес сообщает, что обожает Наталью Пушкину, но что она не была его

любовницей, отказала ему в ответ на его домогания, признавшись, что будет верна мужу.

Книгу о Пушкине я писал во время войны, в оккупации, и она увидела свет в сорок шестом году.

— *И те письма так и хранятся в семье Геккеренов?*

— По всей видимости, но я привел в книге их факсимильные копии.

И здесь мне стало горько и обидно. Я вспомнил своего школьного учителя по литературе, в рассказах которого облик Натальи Николаевны носил ярко выраженный негативный характер: и ветреница, и блудница. Да что там школьный педагог, возможно, и не слышавший о пушкинисте Анри Труайя?! Практически во всех книгах о жизни и судьбе великого поэта до недавних еще пор (а точнее, до новонайденной литературоведами Ободовской и Дементьевым переписки Натальи Николаевны с родственниками) мы читали о жене Пушкина только плохое. Приговор был один: именно из-за ее флирта мы потеряли солнце русской поэзии. Так вот, мне было горько и обидно, что широкий читатель не знал о книге Анри Труайя, о письмах Дантеса, полученных писателем из архива Геккеренов. Да что там говорить: я и сегодня не слышал об издании биографий русских классиков, написанных пером крупнейшего французского писателя.

— *Знаете ли вы о других архивах, в которых могут сохраниться не известные исследователям документы, касающиеся трагической судьбы великого русского поэта?*

— Думаю, что во Франции больше таких документов нет. Много писем пушкинского круга имел Серж Лифарь, но он их опубликовал.

— *Ваша книга не переведена на русский, и я, к сожалению, не имею о ней представления. Скажите, каким вы почувствовали Пушкина, что это за человек в вашем восприятии?*

— Я хотел сделать Пушкина живым, а не статуей, со всеми его недостатками. В моей биографии это мужчина, любящий женщин.

— *А что, по-вашему, наиболее удачно из нашей пушкинианы?*

— Мне очень понравилась по материалу в свое время книга Щеголева. Ну и, конечно, Вересаев.

— *В вашей биографической серии есть книга о Горьком. Вышла она несколько лет назад. Отражен ли в ней*

подлинный Горький, певец социалистического строительства? Вы, конечно, знаете, как резко изменилось отношение вчерашних поклонников пролетарского писателя к его жизни и творчеству?

— Я нахожу, что он слишком уж преклонялся перед Сталиным, и в моей биографии это отражено.

— *А о чем самый последний ваш роман?*

— Называется он «Гувернер Франсез», это история юной французской гувернантки, которая оказалась в России во время революции и, вернувшись целой и невредимой, пишет свой дневник. А самая последняя книга — вот она перед вами, биография Мопассана, она вышла три недели назад. Скажите, кстати, а вот Мопассан, он популярен по-прежнему в России и по-прежнему издается? Его ведь очень любил Тургенев, это он «поднес» его России.

— *Да, можно сказать, что ничего не изменилось в нашем восприятии творчества замечательного французского писателя. По-прежнему он один из самых читаемых авторов в Советском Союзе. Лев Асланович, в книге о Мопассане вы творили и его эпоху или образ писателя осовременен? Ведь так быстро все меняется в мире.*

— Видите ли, когда я пишу биографии, я пишу их не как историк. Я как бы влезаю в кожу героя, которого описываю. Живу его жизнью, и то, что случается с ним, случается и со мной. Вот ответ на ваш вопрос.

— *Вы обмолвились, что роман о Пушкине писали в черные дни оккупации Франции фашистами. А как вы вообще переживали войну России с Гитлером?*

— Даже начало войны я воспринял с энтузиазмом, потому что верил в победу русских. Я чувствовал, что победа возможна. 22 июня мне позвонил один из моих друзей и сказал, что немцы начали войну с Россией. «С ними будет покончено. Они погибли», — сказал он о немцах. Так и вышло. Я был абсолютно уверен в победе России.

— *Скажите, духовно, как бы внутри себя, вы русский или француз?*

— Ощущение такое: корни русские, плоды французские. Моя жена француженка, моя семья французская, но если кто-нибудь когда-нибудь даст мне по голове, я по-русски вскрикну: «Ай!»

— *А как вы ощущаете в себе плоды французской культуры?*

— Дело в том, что мои родные очень хотели приобщить меня к русской культуре, хотя французская дала

мне, естественно, очень много. Дома я находил Россию, а в школе Францию. Одна моя нога опиралась на русскую культуру, другая — на французскую.

«Приехав во Францию ребенком, я, конечно, говорил по-русски, но читать не умел, так как в России не ходил еще в школу. Много времени прошло, пока, будучи очень ленивым и разбрасывающимся, я не подумал о том, как мне пополнить знание русского языка. Когда мне было четырнадцать лет, мать насильно вложила мне в руки русскую книгу. Это была «Война и мир». Я научился читать по-русски по великолепному произведению Льва Толстого.

Каждый вечер после обеда я разбирал несколько страниц вслух, в то время как мои родители, слушая меня с неистощимым терпением, указывали мне на мои ошибки в произношении. Я никогда не забуду ни музыки простых, правдивых и спокойных слов, ни лиц двух дорогих мне людей, приблизившихся в свете лампы и за ними всех героев мечты, населявших нашу маленькую парижскую квартиру.

За закрытыми ставнями, за сдвинутыми портьерами Париж удалялся, уплывал... Не было больше автомобилей на улицах, не было консьержки внизу дома, ни метро, ни Эйфелевой башни. На земле сглаженной, как по волшебству, появлялись степи, березовые рощи, избы, окружавшие церковь с зеленым куполом, длинные дороги под снегом, большие помещичьи дома, полные девушками-невестами... Моих друзей звали: князь Андрей, Пьер Безухов, Николай Ростов, Денисов, Марья, Наташа... Если я сделался писателем, я обязан этим, вне сомнения, длинным семейным вечерам, когда гений Толстого вводил меня в мир вымысла более живого, чем мои каждодневные опыты. Прибавьте к этому, что мои родители часто вызывали передо мной воспоминания о своей потерянной родине — воспоминания, конечно, немного приукрашенные тоской о том, что возврат туда невозможен. Я рос и вырос в этой тоске. Я построил для себя, из нескольких книг и картин, мою «внутреннюю» Россию. Тут я должен извиниться перед вами всеми, кто меня слушает: я уверен, что эта Россия, «внутри меня», не вполне соответствует той, которую вы знали. Я уверен, что, читая меня, вы иногда считаете себя обманутыми. Я убежден, что многие из вас говорят: «Во что он вмешивается? Как он смеет говорить о том, чего не знает!» В этом отношении щепетильность эмигрантов тем чувствительнее,

чем больше они ощущают себя последними стражами традиции. Маленькая неточность их возмущает, потрясает, как оскорбление того, что для них самое драгоценное в мире: сокровища памяти, не подлежащие отчуждению. Никто не непогрешим, когда дело касается воссоздания исчезнувшего мира по сведениям, данным посторонними».

Из речи А. Труайя по случаю избрания академиком.

— *Как вы относитесь к новой прозе, к новому роману?*

— Я против всех школ. Каждый должен писать соответственно своему темпераменту, взглядам, а' вовсе не следя за какими-то теориями. Да, была мода на так называемый новый роман, мода была в том, что истории писали без истории. Описывали личности, которые не были личностями. Это были лабораторные работы. Я же считаю, что настоящий роман надо писать не усилиями мозга и не животом. Должна быть работа интеллекта всего существа, сердца, а не только мозга.

— *Ромена Роллана вы не застали, не были с ним знакомы?*

— Нет, не удалось.

— *А Андре Жида?*

— Нет, не знал. Я вообще мало, как это ни странно, знаком с писателями. Очень хорошо знал Андре Моруа, ведь первый мой рассказ, написанный по-французски, я показал ему. Я знал его дочь Мишель Моруа, она и передала отцу мой рассказ. Он ему очень понравился, и Моруа рекомендовал меня одному издателю. Чуть позже я познакомился с Франсуа Мориаком...

— *А кого вы считаете наиболее крупным французским писателем XX века? Ну хотя бы вашего современника?*

— Трудно сказать, по-моему, Мориака.

— *А в русской литературе вообще?*

— Толстого, Чехова, я тоже написал о нем книгу. Его очень любят во Франции. Но странно, что во Франции любят его пьесы, а рассказы не читают. А ведь он рассказчик гениальный.

— *Лев Асланович, не обижайтесь, но вот о чем хочу вас спросить. Вы человек, облеченный званиями, наградами. У нас сейчас отношение ко всякого рода регалиям довольно скептическое. Как вы на это смотрите?*

— Сами по себе награды и звания — вещи ничтожные. Писателю главное верить в то, что он пишет, и писать только о том, во что веришь. Для меня гораздо большее значение, чем принятие в академики, имеет то, что я могу по четвергам встречаться с умными, интеллигентными людьми, а главное — свободомыслие. Эти «бесмертные», извините, свободомышленники.

Если же отойти от эмоций, то могу заметить и другое: Гонкуровская премия, к примеру, принесла мне и материальный достаток. Потому что до нее я продавал не так много своих книг. Гонкуровская премия — это такая реклама, что изо дня в день вы становитесь прямо сверхзнаменитостью...

— *Ваши книги были бестселлерами?*

— Конечно, многие. А так одни расходятся лучше, другие хуже.

— *Простите мое любопытство, вы не интересовались, как относятся к вашим произведениям на американском книжном рынке?*

— Американский читатель очень интересуется моими биографиями. Больше, чем романами. Меня это радует.

— *Я чувствую, что политикой вы не очень интересуетесь?*

— Да, политикой я не занимаюсь, совсем не занимаюсь. Газеты, конечно, читаю.

Когда я спросил своего собеседника о его отношении к религии, он снова заговорил по-французски:

— Я не церковник, но я никогда не чувствую себя покинутым, я всегда ощущаю возле себя присутствие чего-то, что меня направляет, руководит мною. Я глубоко это чувствую, во мне всегда это живет. Вспоминаю, что когда-то в свое время я играл в теннис... вы не играете в теннис?

— *Нет.*

— ...Так вот, когда я играл в теннис, я иногда чувствовал, что этот мяч идет ко мне, а этот должен пролететь мимо меня и попасть в моего партнера. Подобные бытовые мелочи придают ощущение того, что что-то руководит всем в нашей жизни. Вплоть до мелочей.

— *Я не спросил вас, как все-таки вы оказались во Франции?*

— В дни революции семнадцатого года мои родители покинули Москву и переселились в Кисловодск. Оттуда через Крым — в Новороссийск, из Новороссийска вся

семья перебралась в Константинополь, а потом в Париж. Когда мы приехали в Париж, мне было восемь лет. Я сразу же поступил в школу, и, так как уже говорил по-французски, проблем не было.

— *А страсть к сочинительству, когда она открылась в вас?*

— Когда я был ребенком, я не чувствовал, что больше меня влечет — живопись или писательство. Но уже в школе я выпускал собственную газету в одном экземпляре и продавал ее за пять сантимов друзьям. В тринадцать лет с другими моими товарищами, тоже любившими литературу, начали делать газету, но уже не от руки, газета набиралась. Именно в ней я обнародовал свои первые стихи. Я вообще старался все школьные задания по литературе писать стихами. Мне казалось, да и сейчас во многом кажется, что только стихами можно выразить свои чувства.

Закончив военную службу, я поступил редактором в департамент по бюджету в префектуру Сены в Париже. С утра до вечера я погружался в цифры. А по вечерам в свободные дни писал свои романы. А потом бросил службу и стал жить только пером.

— *На литературный заработок, конечно, нелегко прожить?*

— Вначале было очень трудно, но потом меня подержала Гонкуровская премия.

— *А в России вы не были с самого раннего детства?*

— Не был.

— *Почему же так вышло?*

Анри Труайя снова перешел на французский. Это началось, что мой вопрос его взволновал:

— Благодаря рассказам моих родителей, благодаря тому, что я жил русской литературой, писал о ее лучших представителях, я создал свое внутреннее ощущение России, Россию духовную. И мне всегда было страшно, если бы я решился на приезд в СССР, разрушить действительность: это хрупкое, но и прочное представление о своей родине. Мне было бы страшно смотреть на то, что потеряно и уничтожено. Я боюсь, что после поездки в Россию мои воспоминания о ней станут воспоминаниями туриста. Правда, может быть, я слишком категоричен, быть может, все получится наоборот.

— *То есть вы боитесь остаться разочарованным. Не так ли?*

— Нет, не так,

— *Вы боитесь увидеть нечто другое, иную Россию?*

— Я боюсь чужой России и не хочу быть в ней туристом. И я пока не собираюсь в Москву... И потом я уже говорил, что вообще малоподвижен. Из Парижа я выезжаю редко, не двигаюсь, не путешествую.

— *Еще раз хочу уточнить, неужели вас не посещали советские литературоведы, ведь вы крупнейший писатель Франции Анри Труайя, но вы и Лев Тарасов, наш соотечественник, вы русского происхождения?*

— Нет, никого не было. Никогда.

— *Это все-таки поразительно. Как можно было забыть о таком «бессмертном»?*

Вас считают самым плодовитым из живых французских классиков. Ну хотя бы по количеству изданных томов.

— Трудно сказать, но я пишу действительно много.

— *Но семьдесят томов вряд ли у кого наберется?*

— Не забывайте, что я пишу уже пятьдесят четыре года!

— *Не появлялось ли озорной мысли издать сто томов?*

— Нет... не появлялось...

Февраль 1990 г.

«ТОТ ЯЗЫК, КОТОРЫЙ Я УСЛЫШАЛ У АХМАТОВОЙ...»

С Никитой Струве в подвале ИМКи

Мы сидим с Никитой Алексеевичем Струве в подвале русскоязычного книжного магазина-издательства ИМКА-пресс на улице Монтань Сент-Женевьев. Не в первый раз прихожу я сюда, чтобы повидаться с ним. Его имя открывает ворота русской эмиграции во Франции. «Ах, вы от Струве, тогда я вас приму». «А вы не знакомы с Никитой Алексеевичем?» А совсем недавно эта фамилия наводила страх на наших пропагандистских бонз. Еще бы: главный редактор «Вестника русского христианского движения», директор издательства ИМКА-пресс. Видно, поэтому открывать русскую эмиграцию во Франции мы начали далеко не со Струве. Только недавно стало появляться в нашей печати его имя.

...Наверху суета, толпятся клиенты, рядом небольшой, но шумный рынок. Свежайшая рыба, овощи, фрукты. А в подвале глухо, как в танке. Повсюду книги: вокруг меня, надо и подо мной. Уже много лет Никита Алексеевич ведет поистине святое дело издания книг по русской религиозной философии, русской истории, литературе. ИМКА-пресс одно из самых, если не самое солидное в этом плане издательство в мире.

А для себя я Никиту Струве открыл впервые в 1968 году, когда во втором томе собрания сочинений Ахматовой в издании «Международного литературного сотрудничества» прочитал рассказ о восьми часах, проведенных им в Париже с Анной Андреевной. Думаю, что даже сегодня эта запись при необъятной ахматовиане — своего рода шедевр.

— Вы знаете, какое совпадение, Бердяев, Булгаков, Франк и мой дед Петр Струве, прожили на свете по 74 года и все четверо — соратники по переходу от марксизма к идеализму. Что касается Николая Бердяева, то у меня есть конкретные воспоминания, которые имеют

определенное историческое значение. В сорок пятом году перед отъездом в Англию с нами, в нашей квартире, жил некоторое время философ Семен Франк. Он решил навестить Бердяева. Помню, в каком возбуждении вернулся от него Семен Людвигович. По натуре своей не умеющий возмущаться, на этот раз он дал волю своему гневу. Он говорил: «С ним совершенно невозможно общаться. Он невменяем». Эти резкие слова касались советофильства Николая Александровича. Франк, который всю войну прожил во французских горах, скрываясь от немецкой полиции, он был еврей, он-то как раз мог уверовать в освободительную миссию Красной Армии, Советской России, но он не соблазнился. Я бы не назвал это непримиренчеством, я бы назвал это зрячеством. Бердяев же при его повышенной эмоциональности, при до конца дней неизжитой левизне, с ее непременным обличением «капиталистического зла» — обольстился. Ни Франк, ни Булгаков, ни мой дед не обольстились даже в войну, хотя твердо стояли на антинацистских позициях, абсолютно бескомпромиссных. Но они оставались абсолютно бескомпромиссными и по отношению к коммунистическому режиму. Они даже не могли до конца радоваться советским победам, так как победы эти для них означали порабощение новых стран и укрепление коммунизма в России и во всем мире.

На этой почве, на почве так называемых патриотических позиций у Бердяева произошел разрыв с эмиграцией. От своего советофильства он отказался незадолго перед смертью. Решающий удар по его новым убеждениям нанесло постановление об Ахматовой и Зощенко...

— *А каким остался в вашей памяти Семен Людвигович Франк? Творческое наследие этого выдающегося русского философа сейчас возвращается на родину, для которой, как мне говорил его сын Василий Франк, проживающий в Западной Германии, он и работал. Но, и я в этом уверен, многие не имеют представления о судьбе Франка, его философских трудах, его нелегкой жизни.*

— Если мой дед был человеком общественной жилки, любил борьбу, деятельность, то Семен Людвигович был человеком созерцательным, я бы даже сказал, надмирным. Хорошо я помню его в послевоенные годы, в сорок шестом году. Я был тогда совсем молодым человеком, но личность Франка не могла не оставить во мне ярких впечатлений. Два года спустя я жил у него летом в Англии,

в доме дочери, где под старость он с женой нашел тихое убежище. Мы сидели в саду, выходили на улицу, в разговорах обходили квартал или прогуливались по соседнему кладбищу. Наши беседы касались не философских проблем (в которых я был малокомпетентным). Мы говорили на темы, тоже ему близкие, музыкальные, литературные, литературно-философские. Да и вообще о жизни. Общение с Франком осталось одним из самых светлых моментов в моей молодости.

— *А о Пушкине, например, вы говорили с философ? Ведь его очень волновала судьба великого поэта.*

— Да, вы знаете, его книга о Пушкине, которую мы недавно переиздали,— это лучшее, что написано в эмиграции о Пушкине. Кстати, одна из статей в этой книге была заказана ему моим дедом, эмиграция объединялась, люди сближались. О Пушкине мы не говорили, а вот о Баратынском — много. Вышло как-то странно: я в свои восемнадцать, а он в свои семьдесят два, каждый со своей стороны, открывали прекрасного русского поэта. Я привез по его просьбе стихи Баратынского, и мы восторгались его философской поэзией. Правда, о нем он так ничего и не написал. Может быть, не успел.

— *А у вас-то этот интерес сохранился?*

— Да, он постоянен, я и лекции читал о Баратынском, и мечтаю написать о нем хотя бы краткий этюд. После Пушкина для меня почти наравне стояли Лермонтов, Баратынский и Тютчев. Чуть дальше Фет. Поэзия Баратынского уникальна во всей европейской литературе своей афористичностью.

Но хочу вернуться к Франку. В годы войны поневоле вдалеке от своих детей он жил в бедности, печататься, разумеется, не мог. Да и раньше публикации не приносили много денег. После войны был такой печальный факт, когда ИМКА-пресс в лице Бердяева отказалась напечатать его книгу о моем деде. Бердяеву, руководившему издательством с сорок восьмого года, в то время было несозвучно то, что написал Франк. Я, естественно, к этому печальному факту не имел никакого отношения, моя работа в ИМКе началась в 1959 году, когда издательство было передано членам «Русского христианского движения». (Кстати, в Берлине, пока оно там не заглохло, С. Франк был деятельным участником движения.) Увы, ни Франк, ни Булгаков, ни другие поистине большие русские философы не имели на Западе известности. Их знали в очень узком кругу ИМКА,

Фамилия Струве иностранного происхождения. Первый Струве приехал в Россию в начале прошлого века, не желая быть солдатом Наполеона. Приехал уже сложившимся ученым и создал Пулковскую обсерваторию, положив начало целому роду — четыре поколения! — астрономов. Нам, пожалуй, наиболее известен Петр Бернгардович Струве, «легальный марксист», помогавший Ленину печатать его первые статьи. От него пошла гуманистическая линия этой фамилии. Один из сыновей Петра Струве, Глеб Петрович, — известный литературовед, издатель Ахматовой, Мандельштама, автор единственной в своем роде книги о русской литературе за рубежом. Мой собеседник — племянник Глеба Петровича и внук знаменитого ленинского оппонента. Любопытно, что и по материнской линии Никита Алексеевич из семьи французских эмигрантов, приехавших в Россию после французской революции. Н. А. Струве родился во Франции в 1931 году. Учился во французской школе. Но одним из его внешкольных учителей был человек, имя которого известно нынче у нас лишь избранному кругу в среде творческой интеллигенции. Я помню, как лет двадцать назад впервые услышал имя Мочульского, услышал как легенду о талантливейшем литераторе, авторе великолепных монографий о Блоке, Соловьеве, Белом, Достоевском. Естественно, нам не известных.

— Думается мне, что до сих пор нет в мире более фундаментального исследования о Достоевском. Более цельного. В его книге как бы классически правильно сбалансированы все измерения великого писателя и философа, он нашел к нему наиболее глобальный подход. И все уместилось в одной монографии, в четырехстах страницах. Долго еще не появится подобная работа, поэтому тех, кому нужно узнать о Достоевском основное, главное, я всегда отсылаю к книге моего учителя.

— Но ведь исследований о Достоевском — море. Неужели оно так мелко?

— Я бы сказал, что таких вот обобщающих книг о Достоевском не так много. Довольно трагически сложилась судьба двух книг советского исследователя Чиркова, они изданы давно, и в изуродованном виде, и больше не издавались. Очень интересна бердяевская книга о Достоевском, хотя, пожалуй, в ней больше Бердяева нежели Достоевского. Обогатили достоевковедение и статьи Отца Сергия Булгакова. Определенному направлению в Изучении великого писателя положил начало Вячеслав

Иванов. Но Мочульский — это нечто особое. Скажем, у Алексея Лосева, профессионального философа, были более глубокие познания, чем у Мочульского, и книга Лосева о Соловьеве будет, пожалуй, лучше популярной монографии Мочульского. Но о Достоевском писать после Мочульского нелегко.

А вообще-то исследователи Достоевского в двадцатых годах достигли весьма высокого уровня (Долинин, Скрыфтымов и другие), но позже достоевскоеведение было разгромлено.

— *Простите, Никита Алексеевич, мы немного, хотя и по делу, отвлеклись. Вы начали вспоминать о Константине Мочульском.*

— Он был большим другом моего отца, учил меня русскому языку. А вы, кстати, знаете, кого учил греческому Мочульский?

— *Осипа Мандельштама.*

— Совершенно верно. Так вот, Константин Васильевич — благороднейшая фигура, один из представителей ушедшей цельной русской культуры. Судьба его была нелегкой. У кого, правда, она была легкой? Его жизнь резко изменило религиозное обращение, это случилось в тридцатых годах. Он стал близок к матери Марии. Уже после ее гибели я помню его читающим «часы» или шестопсалмие в ее церкви, на рю Лурмель, где он был верным прихожанином. У Осипа Мандельштама есть строки о келье бедного филолога. Это написано об уроках греческого языка, который давал юному поэту молодой специалист по греческому. Очевидно, у Мочульского в Петербурге была скромная комнатуха, и тут, в Париже, он, как и многие одинокие эмигранты, ютился в так называемых мансардах. Попросту на чердаках. Вот и я ходил к нему в такую крохотную, но опрятную комнату. Было это во время войны. Помню, он близко очень переживал все военные события. Но часто на уроках вместо Пушкина мы обсуждали московские вести.

Константин Васильевич был человеком обаятельным, очень большой культуры, ему уроки с юнцом были, конечно, в тягость, но и хлебом насущным. Я от него много получил. Не столько даже от уроков, сколько от его образа, от общения. Позже, в 1946 году, когда уже большим он оканчивал монографию о Блоке, а я бредил стихами из блоковского третьего тома, мы много и подолгу беседовали о поэте.

«Струве Петр Бернгардович (26.1.1870, Пермь — 26.2.1944, Париж) — русский политический деятель, экономист, философ, главный представитель «легального марксизма». Сын пермского губернатора. В 90-е годы редактировал журналы «Новое слово» и «Начало». В 1896 году участвовал в 4-м конгрессе 2-го Интернационала... Был привлечен членами ЦК РСДРП к составлению «Манифеста Российской социал-демократической рабочей партии». Впоследствии Струве отмежевался от «Манифеста», став противником революционного марксизма, в особенности учения о социалистической революции и диктатуре пролетариата... С 1905 года — член ЦК партии кадетов... был депутатом II Государственной думы, редактором журнала «Русская мысль». Враждебно встретил Октябрьскую революцию. В годы гражданской войны — член «Особого совещания» при генерале А. И. Деникине, член правительства генерала П. Н. Врангеля. После разгрома контрреволюции эмигрировал».

Так написано о деде моего собеседника в третьем издании БСЭ. Как видим, фигура далеко не ординарная, более того, выдающаяся фигура в русской истории. За что, по-видимому, и был приговорен в 1918 году к смертной казни. Казни избежал.

— Его было за что приговаривать; если бы он не эмигрировал, ему бы не поздоровилось. Он сбрил бороду, ушел в подполье, включился в «белое движение». Был бесстрашным политиком, убежденный государственный, но всю жизнь был в оппозиции к властям. За исключением, пожалуй, периода между революциями, когда призывал интеллигенцию к сотрудничеству. Помните, конечно, о сборнике «Вехи»? Жизнь в эмиграции была нелегкой. Он жил сначала в Праге, потом в Париже и все 30-е годы в Белграде. Именно в Белграде пропала основная часть его архива, который, уезжая, он передал на хранение друзьям. При подходе Красной Армии друзья испугались и все сожгли. Все или многое из всего, что он работал за долгие годы непрерывного труда.

Пребывал в страшной бедности. Перед войной отдал в Пражский архив письма своих личных корреспондентов, в частности, Бунина. Голодал, холодал. В его дом попала бомба, комнату продувало, на ремонт не было ни сил, ни денег. К нам в Париж приехал истощенный после ареста в Белграде немцами. Арестовали его в сорок первом году по доносу одного эмигранта как друга Ленина! Потом отпустили после суда, во всяком случае, по этой

линии оправдали. Он доказал, что не был так уж Любим Лениным впоследствии. Не отрицал, что они были соратниками в девяностых годах. Говорят, что письма Ленина к моему деду сохранились в России, как и многое другое из его революционного архива.

Семья Струве в Париже была, с одной стороны, культурная, с другой стороны, гостеприимная. Поэтому Никита Алексеевич общался со многими выдающимися людьми первой русской эмиграции, история которой кончается в пятидесятых годах со смертью Бунина, Ремизова. С Буниным Струве дружил семьями, Ремизов был их соседом, и Никита Алексеевич вспоминает, как еще до войны его отец устраивал Алексею Михайловичу домашние чтения, чтоб поддержать его материально. Потом Никита Алексеевич часто посещал его на квартире и ему, ослепшему, читал вслух древнерусскую рукопись.

Литературную жизнь он застал уже в ее общественном упадке. Помнит постановки Евреинова, декорации Анненкова. Георгий Иванов оставил о себе не совсем приятные воспоминания: он неоднократно видел его в жалком состоянии на эстраде. Тот также бывал у отца, просил денег, производил впечатление опустившегося.

Прошу Никиту Алексеевича поведать, как он брал интервью у Анны Ахматовой в июне 1965 года.

— Это было не интервью; если бы я пожелал взять интервью, она спустила бы меня с лестницы. Это была встреча, которая состоялась благодаря Надежде Яковлевне Мандельштам. Я встречался с Анной Андреевной несколько раз в гостинице «Наполеон». Разговоры заняли восемь часов. Вначале мы проговорили полтора часа, и она снова пригласила меня на встречу. Просидели целый вечер. Я сделал запись чтения ее стихов. Простились. Но она позвонила и снова пригласила зайти к ней перед отъездом. В результате вышло какое-то общение, оставившее в моей жизни неизгладимую память. Были, конечно, Франк, Бунин, Ремизов, но это давнее, они умерли в пятидесятых годах. Есть Александр Солженицын, общение с этим поистине сверхчеловеком продолжается вот уже более тринадцати лет. Анна Ахматова оставила во мне впечатление какого-то чуда гармонии и абсолютной подлинности: ни одной фальшивой ноты. Бунин был другим, любил красное словцо, эпатировать! Говорил он тоже выпукло, его речь, манеры хорошо запомнились. Да и весь он был какой-то скульптурный. Ахматова же при всей своей величавости была сама естественность,

В годы военных испытаний русского народа в семье Струве не возникало никаких иллюзий относительно коммунистического режима. Проблема невозвращенцев. Проблема насильственного возвращения. С востока шли люди, обгоревшие, опаленные коллективизацией, войной, пленом. Многие только чудом остались живы. Многие были вынуждены скрываться. Их вылавливала советская военная миссия. Никите Алексеевичу пришлось однажды присутствовать при задержке одного такого человека. Он жил в его же доме, все знали, что это советский человек, что он не хочет возвращаться. Однажды Струве услышал страшный крик: «Товарищи, помогите, спасите!» Он кинулся к окну и увидел внизу черный автомобиль. На всю жизнь запомнилось: истошный вопль, выломанная дверь, кровь.

— Мы говорили о судьбе русской эмиграции, о разных судьбах трех ее волн. Что будет дальше с людьми, оказавшимися во Франции: растворятся ли они в мировом пространстве, сольются с другим народом или сумеют сохраниться и сохранить свою русскость?

— Первая эмиграция сохраняла в себе то, чем была Россия до семнадцатого года. Попутно она творила, продолжала творческую линию дореволюционной России. Но эта эмиграция биологически сошла со сцены. Она жива еще в своих немногочисленных отпрысках, сумевших соединить в себе обе культуры.

Так, к примеру, Никита Струве издает два православных журнала разного содержания, один выходит на русском языке, другой — по-французски; пишет статьи и книги на обоих языках. Его первая книга, вышедшая в 1963 году, о христианстве в СССР, в своей последней главе разоблачавшая хрущевские гонения, написана на французском. Да и диссертация о Мандельштаме (1982) сначала вышла на французском, а потом уж в авторском переводе на русском (1988). Струве считает, что Россия всегда была Европой, только ее, несчастную, от Европы в 1917 году отсекли и тем самым изуродовали, оскотинили.

Вторая эмиграция, выкинутая войной, свидетельствовала о том, что произошло в России в сталинские времена: о терроре, об ужасах коллективизации, о закабалении человека государством.

Третья уже была в значительной мере эмиграцией советской. И здесь, в Париже, во Франции, встретились две разные России. Вторая эмиграция была сравнительно более близка к первой, хотя бы по времени (отстояние в

четверть века). Ее опалила своим огнем катастрофа войны, сама история. Встреча между ними была несложной. Более трудным было принятие третьей волны людей, покинувших родину. Но и эта встреча состоялась. Со временем многое утряслось, встало на место.

Сейчас можно говорить о четвертой волне. Это люди, разуверившиеся в том, что когда-нибудь жизнь в России станет нормальной. Их связь с русской культурой слабая, и надо полагать, что они захотят ассимилироваться побыстрее. Но сумеют ли?

Отрадно, что Россия просыпается, важно, чтобы существовала и зарубежная Россия, по крайней мере зарубежная русская культура.

И тут я решился наконец на комплимент Никите Струве, потому что меня удивил его русский язык. Родился во Франции, учился во французской школе, живет среди французов, профессорствует во французском университете. Откуда такая плавная, старомосковская правильная русская речь? Мы в Москве-то теряем ее глубину и самобытность, используя все больше и чаще штампованную газетно-телевизионную лексику. И я рассказал Никите Алексеевичу о приезде в Москву писательницы Нины Берберовой и о том, как мы восхищались ее разговорно-литературной речью.

— Не так давно в Вашингтоне на славянском конгрессе я встретил Нину Николаевну. Мы не видались с ней много-много лет, а она знала меня с детства. В Вашингтоне мы жили с ней под одной крышей, и, несмотря на острую разницу в наших мировоззрениях (она объявляет себя безбожницей), а я с того момента, как через брата попал в «Русское студенческое христианское движение», стараюсь быть сознательным христианином, мы дружно, хорошо общались. И вы знаете, меня поразил ее язык. Впервые после многих лет я услышал тот язык, который слышал в детстве, — язык нашего дома. Тот язык, кстати, который я услышал и у Ахматовой.

Вспоминаю такой случай, который в свое время меня весьма подбодрил. Это было давно, когда на радио «Свобода» работали последние представители русской эмиграционной культуры Георгий Адамович и Гайто Газданов. Они приглашали меня для совместных собеседований, посвященных русской литературе, или прослушивали мои передачи. Одна из них была посвящена сравнительной характеристике Бунина и Ремизова. И Газданов остался ею очень доволен, в частности он похвалил

ее язык. Для меня это была лестная аттестация, подбодрившая меня.

С Никитой Струве хотелось говорить о многом из того, что он пережил, перевидел. Это были рассказы в основном биографического, мемуарного плана. Но не мог же я не расспросить директора издательства ИМЦА-пресс о его работе, о книгах, которые выпускает знаменитое издательство. В частности, я поинтересовался, как отбираются рукописи, есть ли принципы отбора, от чего зависит судьба той или иной книги?

— Раньше все было проще. Ведь в Советской России на все лучшее в литературе был запрет. Не издавались Булгаков, Платонов, Домбровский, Надежда Мандельштам, не говоря уже о Солженицыне. Работать было проще. Теперь же может показаться, что нам стало сложнее, поскольку у вас почти все запреты сняли. Но наше издательство имеет давно завоеванный престиж: ведь это издательство Бердяева, Булгакова, Солженицына... У нас в запасе еще не изданные рукописи корифеев русской религиозной жизни. И потом, многие авторы, проживающие в Советской России, по-прежнему хотят печататься у нас. Так что мы будем издавать и русскую религиозную философию, и неизвестную в России прозу, и сочинения Александра Солженицына. Наше издательство имеет свою миссию перед русскоязычной аудиторией Запада. Необходимо оно и вашему читателю. Дело в том, что советские издания здесь, на Западе, быстро исчезают с прилавка. К примеру, если бы я решил поставить в программу университета Лермонтова, я не смог бы этого сделать. Почему? Потому что у нас нет в продаже его книг. А Пушкина, я знаю, многие мои студенты не могли купить даже в России. Так что я скорее оптимистически смотрю на наше поприще.

— *А как же будет теперь с книгами Солженицына? Ведь почти все они в ближайшее время будут напечатаны в СССР. А ваша ИМКА, насколько мне известно, имеет с автором договор на издание всех его произведений.*

— Прежде всего мы предприятие не коммерческое. Мы — культурное предприятие, мы служим культуре, просвещению. Нас так воспитали. Все, кто работает в издательстве, а нас всего «семь с половиной» человек, получают скромное жалованье, а кое-кто работает и безо всякого жалованья, ради русской культуры. Да, Александр Исаевич поручил нам авторские права на все свои сочинения. На русском языке, но с уговором «вне преде-

лов России». Книги его только начали издаваться. Он всегда был уверен, что книги, а затем и он сам в Россию вернутся. Но пока еще за «Архипелагом ГУЛАГом» приходят советские граждане в наш магазин...

— *ИМКой* изданы все труды Николая Бердяева, а сейчас выходит сборник сочинений, увидели свет три тома. Что будет дальше? Наши, советские читатели, я знаю, ждут выпуска очередных томов.

— Видите ли, Бердяев писатель очень плодовитый. Им написано книг двадцать, кое-что еще и не издано. Наверное, мы ограничимся таким вот основательным собранием сочинений томов в десять. Осенью выходит четвертый том. Кстати, замечу, что мы будем продолжать выпускать полное собрание сочинений Федотова и Флоренского. Советский читатель сейчас только начинает открывать какие-то имена, а мы своими изданиями как бы подводим итоги их творческой деятельности.

Март 1990 г.

«ПРОДЕРЖАТЬСЯ БЫ ЕЩЕ ГОДКОВ ПЯТЬ»

**Беседа в Мюнхене с Эдуардом Кузнецовым,
вчерашним смертником, участником
«Процесса самолетчиков»**

— Я всегда хотел уехать из страны. Сознательно. Это было мечтой моего детства. Отчасти от этого я и стал с ранних лет антисоветчиком и в отличие от многих других я более категорически не приемлю советскую систему. Бескомпромиссно. Плюс к этому я еще и сионист, что до сих пор воспринимается устрашающим жупелом советских масс-медиа. Они живут в плену созданного левыми образа сионизма. Я уж не говорю о полуграмотных членах общества «Память». Совокупность этих обстоятельств заставляет меня предполагать, что мои книги в СССР будут изданы в последнюю очередь.

«СПРАВЕДЛИВОЕ ВОЗМЕЗДИЕ. 24 декабря 1970 года Коллегия по уголовным делам Ленинградского городского суда в открытом судебном заседании с участием представителей защиты закончила рассмотрение уголовного дела в отношении Дымшица М. Ю., Кузнецова Э. С. ...В результате тщательного исследования материалов уголовного дела, вещественных доказательств, допросов подсудимых и свидетелей, рассмотрения заключений экспертов судом установлено, что организаторы преступления Дымшиц и Кузнецов с конца 1969 года активно занимались созданием преступной группы, подготовкой к разбойному захвату самолета и перелета в нем с целью измены родине за границу, а 15 июня сего года покушались на осуществление этого враждебного акта способом, опасным для жизни пилотов. В судебном заседании было также установлено, что подготовка к совершению этого преступления велась не без ведома сионистских кругов государства Израиль... Коллегия по уголовным делам, признав доказанной вину подсудимых по делу, приговорила организаторов особо опасного государ-

ственного преступления Дымшица и Кузнецова к смертной казни...»

«Ленинградская правда». 1970, декабрь.

Из полузабытья, из далеких уже семидесятых возникают отметины того смутного времени: «Самолетное дело», «Еврей-антисоветчики», «Кузнецовская «свадьба».

Я «вышел» на него совершенно случайно. В университетах ФРГ я выступал с лекциями и был приглашен в гости к хорошему человеку, бывшему московскому врачу. В разговоре за общим столом он упомянул имя Эдуарда Кузнецова, своего друга, который накануне говорил с ним по телефону. «Вот до кого не дошла еще ваша хваленая гласность,— сказал он,— а между тем то, что сделал в свое время Эдик, прорубило окно в Европу. Да и не только в Европу...»

На другой день я поехал в Мюнхен.

— Я москвич, наполовину русский, наполовину еврей, что довольно рано стал ощущать. Жили бедно, на грани нищеты. Да что там на грани, ниже... Кончил школу, призвали в армию, после полутора лет службы был уволен по знаменитому хрущевскому сокращению, помните? Правда, из нашего гарнизона сократили только двоих: одного инвалида и меня. Меня, чтобы дела не заводить: я так допек начальство своими бунтарскими выходками, что вместо штрафбата меня решили пустить под сокращение. Поступил на философский факультет МГУ. Прочитал полтора года. В 1961 году арестовали за известную деятельность на площади Маяковского. Арестовали меня, Александра Гинзбурга, Юрия Галанскова, Владимира Осипова и Владимира Буковского.

— *А, собственно, за что? За чтение стихов?*

— Стихи мы читали, журнал «Синтаксис» стали издавать, потом «Феникс». Как раз во время ареста я делал второй номер журнала, так что он не вышел. Судили. Мне и Осипову дали по семь лет. Приписали еще и подготовку покушения на Хрущева, что отчасти было правдой. Но только отчасти. В приговоре у меня записано: «Подготовка покушения на одного из членов Советского правительства».

— *Вы действительно хотели убить Хрущева?*

— Дело в том, что тогда в отношениях с Западом назревал кризис. Берлинскую стену стали возводить. У нас сложилось четкое ощущение того, что мы стоим на грани войны, и виной тому мы считали авантюрную политику

тогдашнего Первого секретаря ЦК КПСС. Мы были почти пацаны, мне — 21 год. И был среди нас снайпер Валерий Ремников, который сказал: «Я готов пожертвовать собственной жизнью ради такого дела». Нашли винтовку, изучили маршруты поездок Хрущева. Он тогда часто встречал космонавтов, ездил туда-сюда. Вроде бы все было готово, но нас заложил Анатолий Иванов (Скурлатов). Знаете такого?

— Да, его имя известно.

— Так вот, поскольку его признали сумасшедшим, так же как и Ремникова, то этот эпизод из нашего дела выпал и остался только фразой о подготовке покушения на «члена правительства». Так что мы, простите, чуть-чуть не спасли мир от войны, которая и так не случилась... Пацаны мы были, мальчишки, горячие, сумасшедшие. Становились рабами своих слов и клятв. Талдычили мы какие-то марксистские тезисы, понимали цену терроризма, достаточно скептически к нему относились. Так что во многом это была глупость, замешанная на юношеском максимализме, но с красивым подтекстом. Теперь-то мы понимаем, как далеко могут завести высокие порывы, экстремистский морализм... После нас поэтические бдения на площади Маяковского разогнали, человек семьдесят выгнали из университета.

Вообще-то у меня довольно рано сложилось критическое отношение ко многому. Без всяких учителей и наставников. Но точно запомнил, что поворот в мозгах начался с венгерских событий...

Эдуард Кузнецов израильский гражданин. Волею судьбы вынужден жить в Германии и работать на радио «Свобода». Скоро вновь возвращается в Израиль, где ему предложили пост главного редактора новой очень крупной русскоязычной газеты. В эмиграции такой газеты нет. Это будет издание европейского уровня, шестнадцатистраничное, с приложением в 36 страниц (по субботам). По предварительной договоренности с Максвеллом она будет продаваться и в Союзе. Э. Кузнецов—автор трех книг: «Дневники» (1973), «Мордовский марафон» (1976) и «Русский роман» (1982). Его книги удостаивались международных премий.

— Так вот, дали мне «семеру». Строгого. Отсидел все семь. За время сидения сильно поумнел, пообтерся и пришел к выводу, что Советская Россия, пока в ней советская система, страна совершенно бесперспективная, что будущего у нее нет. А в лагере я такого навиделся,

люди сидели по тридцать и по пятьдесят лет, и понял, что грозит мне та же участь. Отсиджу семь, а через годишко снова загребут и еще десятку дадут. И так далее, без конца. Единственное спасение — эмигрировать. Вот как одно из другого выходило.

Поселили меня на 101-м километре, в Струнине Владимирской области, под надзор милиции. Местный гэбешник не скрывал, что опять стряпается на меня новое дело. Я понимал, конечно, что есть за что: и с лагерниками бывшими я продолжал общаться, с самиздатом возился... Оказался я снова в отчаянном положении.

Я слушал Эдуарда Кузнецова, почти не прерывая. Передо мной был человек-легенда. Живой детективный роман. Персонаж нашей недавней истории, ее герой, ее изгой. И для меня он был весь — в прошлом. Приговоренный к смерти, отсидевший шестнадцать лет, прошедший если не все, то многие круги ада, человек из той, давно уже ставшей историей эпохи, этим мне и интересный, вдруг заговорил о нынешнем, о горячем...

— Я, конечно, потерял ощущение атмосферы происходящего нынче в России, но информации много, рассказов, свидетельств. Я чувствую, что там происходит, и меня мало волнует отсутствие колбасы, меня волнует настроение людей. Был тут у меня в гостях один мужичок, он неплохо описал ситуацию, говорил, что отчаяние и озлобленность всегда были в народе, всегда в очереди за водкой какой-нибудь блаженный прорывался к прилавку и народ его пропускал. А теперь же без очереди лезут один за другим, и по ним видно, что, если скажешь ему хоть слово, он разорвет тебя на куски. Помните, у Булгакова в «Мастере...» есть гениальная фраза о том, как герои подошли к ларьку «Пиво-воды» и спросили: «Пиво есть?» «Пива нет», — ответила продавщица и почему-то обиделась. Так вот теперь она бы ответила: «Пива нет», — и начала бы стрелять из автомата.

Такие эпизоды напоминают мое кризисное состояние в семидесятом году. В Москву ездить к матери не разрешали, дело новое стряпали, стукача завербовали (правда, я не дурак, раньше его завербовал, и мы вместе писали рапорты для КГБ). Я был на грани взрыва, боялся сорваться на любой мелочи. И я решил: за ерунду сидеть больше не буду. Если уж сяду, то за что-то крупное, стоящее. И вот вместе со своими будущими подельниками мы надумали следующее. Страна нуждалась в твердой ва-

люте, в западной технологии. Готовился так называемый «десант». Спасти Россию, как мы полагали в то время, мог только Запад. И вот в момент главного соглашения Союз будет готов пойти на уступки, если Запад этого потребует, рассуждали мы. В качестве уступки мы поставим проблему выезда, эмиграции. В те годы практически не выпускали, на Запад выезжали лишь единицы. Мало того, мы понимали, что вот-вот людей снова начнут сажать. И лучше уж сесть в тюрьму, чем так жить дальше. Перебрали массу вариантов, акций протеста: массовую голодовку на Красной площади, имитацию побега за рубеж на ТУ-104 человек 150 с детьми. Самолет не захватывать, но сделать заявление о наших требованиях. Выбрали вариант: имитация захвата шестнадцатую «заговорщиками» самолета первого секретаря Ленинградского обкома партии Толстикова. Он, кстати, пострадал из-за нас, сослал его послом в Китай. Одного мы не рассчитали: наверняка из шестнадцати один или заложит, или проговорится. Стукачество тогда цвело пышным цветом. Точно. Мы поняли, что за нами следят, и начали хитрую игру: делали вид, что слежки не замечаем, а подготовку к акции тем временем продолжали. Я говорил ребятам: «Нас все равно засеки, вот-вот всех арестуют, а мы еще ничего не сделали. Надо сделать так, чтобы нас арестовали в аэропорту». И действительно, интересы КГБ и наши совпали. Они тоже хотели арестовать нас именно в аэропорту. Чтобы показать всему миру, какие мы бандиты. И вот когда мы шли к аэропорту, за каждым кустиком сидели чекисты. Нас взяли, что называется, тепленькими. Судом, широко освещавшимся в печати, смертными приговорами, высокими сроками хотели запугать эмиграционное движение в СССР. Вышло же все наоборот. Начались демонстрации протеста в совершенно невиданных масштабах. Никсон звонил Брежневу. Главы девятнадцати государств послали протесты против приговоров. А тут еще нам помог генералиссимус Франко. У него под расстрелом за реальные убийства сидели три баска. И многие демонстрации в Европе шли под лозунгами отмены смертных приговоров и баскам, и нам. Франко «вышак» отменил и тем самым поставил в неудобное положение Брежнева, который вынужден был заменить смертный приговор мне и Дымшицу на 15 лет тюрьмы. Отсидел из них я девять, и в 1979 году меня и еще четверых обменяли на шпионов, арестованных в Америке. Меня лишили гражданства и в течение двух часов

предписали покинуть пределы страны. Я съязвил, нельзя ли побыстрее...

Передо мной, сгорбившись, в кресле сидел жесткий, угрюмый человек. За все время нашего общения, а я жил у него два дня, он почти ни разу не улыбнулся. Мне, стороннему, могло показаться, что вся его жизнь как бы надломлена, покалечена. Но это, наверное, не так: вся она причастна времени, отдана какой-то цели, устремлена. Передо мной он не исповедовался, нет, что я ему, заметный биограф, он просто констатировал факты и события своей биографии. И на мой естественный вопрос, ощущал ли он себя героем, ответил, что он не дурак, а нормальный человек, с нормальной психикой. И добавил: «В отличие от большинства диссидентов. Ведь что такое диссидент? Это человек с провалами в жизни, психической неустойчивостью, невротик, закомплексованный». Я поначалу вроде бы даже обиделся за диссидентов, но Эдуард Кузнецов продолжал: «Ведь они не могли вписаться в систему, которую предложила им жизнь. И потом, лагерь ломает человека, редко кто остается прежним».

— *А Сахаров, побывавший в ссылке?*

— Сахаров — это вообще во всех смыслах редчайшее исключение, это человек высочайшей нравственности. Кстати, с Еленой Боннэр он познакомился на моем кассационном суде. Так что в каком-то смысле я их крестный отец. Боннэр стала выдавать себя за мою тетку, а Андрей Дмитриевич за моего дядьку. Это давало им возможность приезжать ко мне на свидания, которые разрешались конечно же редко. Помню, на первом свидании в лагере Елена сказала: «Выхожу за Сахарова замуж». Андрею Дмитриевичу я обязан отчасти и жизнью. Это он обратился к президенту США с просьбой вступить за меня и моих друзей. Наше начальство, зная обо всем этом, боялось меня лишний раз трогать. Учудю голодовку, узнают в Москве, а там и весь мир. Кстати, Боннэр мне очень помогла в одном деле. В лагерь в Мордовию она привозила шариковые ручки с особо тонким пером. Ведь там я начал писать роман, а технически, сами понимаете, это было невероятно трудно. Сейчас я вам покажу.

Эдуард Самойлович достал из шкафа выцветший конверт и показал мне тоненькие листочки какой-то странной, жирной бумаги, на которых будто бы бисером что-то написано. Но прочесть нельзя, надо брать луну.

— Единственным побуждением написать книгу (а пи-

шу я довольно тяжело, хотя формулирую, по-моему, неплохо) была клевета против нас в советской и кое-какой левой западной прессе. Нас представляли только бандитами-убийцами. И мне надо было показать, как все начиналось, во имя чего, что нами двигало, каковы наши подлинные намерения. То есть меня подвигнуло желание общественного долга.

Писать, а главное, сохранить написанное практически невозможно. «Шманали» меня три-четыре раза в день. Откуда брали бумагу? Да, бумага уникальна. Такой нет нигде в мире. Этой бумагой рядом с нами в уголовной зоне заворачивали электродетали, и мы путем разных махинаций покупали ее. Вываривали, снимая пласт жира, а потом проглаживали. На таком прочном материале шариковые чернила держались вечно. Когда была опасность, я совал бумагу в рот, потом вынимал, продолжал писать. Если грозила большая опасность, я ее проглатывал. На крохотном листочке умещалось восемь книжных страниц.

«Лагерный дневник», переправленный из тюрьмы на Запад, вышел в 1973 году во Франции и в Италии и был признан лучшей книгой года. Перевели его и на другие языки.

— *Как же вы писали, текст заранее складывался в голове?*

— Конечно, с черновиками в лагере не больно-то разбежишься. Но черновик-конспект был довольно оригинальным. Его могли взять на проверку. И я должен был обмануть бдительность сторожей. Поэтому писал примерно так: «Горький сказал...», а дальше молочу, чего хочу, меняю коммунизм на фашизм. Кто там читал Горького, да хоть и Ленина пиши, что гебист Ленина читает? Под видом Горького и Ленина я писал все, что хотел. А потом уже, когда выдавался момент, переносил начисто.

— *А кто получал написанное на воле?*

— Я не думаю, что и сегодня можно называть имена, потому что все уходило на Запад. Елену Боннэр за это таскали, и ей хотели намотать дело.

— *С Владимиром Осиповым вы шли в одной упряжке?*

— Да, но потом лагерь развел нас по разные стороны, это нормально: мы почти все приходили в лагерь ревизионистами марксизма, потому что иных источников для мысли у нас не было. В отсидке же сталкивались со старыми лагерниками, представителями иных поколе-

ний, которые были носителями иных типов культур, а также с эмигрантами, и у нас мысль развивалась в другом направлении. Осипов пошел в русское национальное крыло, я оставался еще демократом с таким сионистским уклоном, а потом полностью переключился на сионистскую деятельность, скажем так. Осипов недавно был у меня в гостях. Мы по-прежнему поддерживаем приятельские отношения.

— *Какие чувства вы испытывали в ожидании исполнения смертного приговора?*

— Скажу так, по совести, без преувеличения: во-первых, я был к этому готов. По таким делам и по первому-то делу дают «вышак», а я был уже рецидивист, шел второй раз. Я почти не сомневался, что мне дадут «вышак», поэтому отнесся довольно спокойно. Ну, разумеется, чего-то там дрогнуло, не без того. Но в принципе ничего такого особенного о своем состоянии сказать не могу. У человека с нормальной психикой двойственные отношения. Дело не в моменте объявления приговора — этот момент недолгий. Человека может охватить паника, истерика, но и это пройдет. Тяжело, когда сидишь и ждешь. Недаром Достоевский писал, что ужас ожидания неотвратимой смерти ломает души. В такой ситуации человека или спасает психика или он сходит с ума. Я, в частности, сидел с приговоренным к смерти бывшим немецким коллаборационистом, он сильно сдвинулся по фазе и на любой стук волчка забивался в угол, ждал дула автомата. Его в конце концов расстреляли. Меня же сознание кидало из одной крайности в другую: то я думал — хана, то успокаивался — обойдется как-нибудь. Надеяться, что на Западе шум поднимут. А потом так стал думать: да и черт с ним, пусть как будет, столько людей они расстреляли, не хуже, а лучше меня, пусть расстреливают.

— *Сколько вам тогда было лет?*

— Тридцать. Жене моей тогда дали «десятку». Мою мать, когда объявили по радио о смертном приговоре (Люся Боннэр говорила ей, что дали десять лет, и мать относилась к этому более или менее спокойно, и вдруг по радио: смертная казнь), разбил паралич.

— *Жену тоже выпустили?*

— Да, по условиям обмена на шпионов был пункт о том, что наши родственники могут выехать за границу.

— *Как вы почувствовали, что все кругом мертво? Ведь вы были молоды.*

— Многое происходит случайно. Я не считаю, что у меня какие-то особые гены.

— *Так что же повернуло вашу жизнь — событие, встреча — в «политическую» сторону к диссидентству?*

— Видите ли, есть некая инерция действия. Если ты заявляешь себя в чем-то по глупости ли, по смелости, по случайному озарению, по случайно вырвавшейся фразе, то друзья, компания, окружение начинают тебя теревить, провоцировать. Такой провокацией был вызов меня к директору школы, когда я учился в десятом классе. А вызвали в связи с тем, что я не так отозвался о венгерских событиях.

— *А как вы отозвались?*

— Ну я заявил, что в Венгрии действительно была революция. Вот меня и вызвали в дирекцию, а там уже сидел человек в штатском. Вызывали еще двоих из нашей компании, но они испугались, а я сдуру не испугался. Вот и поехало и закрутилось. Теперь-то я знаю, что такие действия и мысли шаг за шагом приводят человека в тюрьму. Но достаточно было мне на каком-то этапе остановиться, испугаться... или власть была бы поумнее... Подачку бы предложила, а я по неопытности принял, многие же на это клевали. Достаточно было какому-то толковому человеку вызвать меня побеседовать: ты знаешь чего, иди-ка ты в партию, и мы будем изнутри перестройку вершить, и я мог бы на это клюнуть. Но этого не случилось... Дело в том, что система помогает держаться. Она так глупо устроена, советская система, что она помогает вам держаться героем. Если ты устал, что со всеми случается, и готов от всего отказаться — «мне все надоело, я ухожу в личную жизнь», — как только в тебе это почувствует, она не скажет тебе, давай уходи, она будет тебя ломать до конца. Она будет настаивать: «Ты должен у нас работать», то есть пытается тебя сломать. А если ты не хочешь ломаться, ты вынужден держаться. Понимаете, они тебе не дают отойти в сторону. Раз ты заявил по глупости, например, что ты герой и что ты стоишь на первой линии огня, ты должен быть на первой линии до конца. Иначе они тебя сломают. Возможности отойти в сторону они не дают. И этим самым они помогают тебе держаться. Так что вот...

— *Вы хотели убить Хрущева, а что вы думали о Сталине?*

— В то время о Сталине я уже все знал. А окончательно все понял после XX съезда. Воспринимал я его

резко отрицательно и пытался осмыслить Сталина как элемент советской системы, а не как случайное явление. С Лениным я разобрался чуть позже, году в 1961-м. То же за счет чтения. То, что сейчас сделал Ерофеев в «Моей маленькой Лениниане», мне тогда уже помогло при чтении.

— *Именно ленинских книг?*

— Да, источников, первых еще изданий с письмами, комментариями, то есть я читал еще не отредактированного Ленина. Помогло мне и чтение переводных романов. Я достаточно адекватно представлял Запад. Поэтому меня ничто тут не разочаровало. И ничто особенно не удивило, за исключением, правда, одного существенного момента: я все-таки не предполагал, в какой степени левые здесь сильны. То есть я знал, что они сильны, но не знал, что до такой степени.

А вообще, даже читая сугубо советские источники, можно было составить себе более или менее четкое представление о реальном мире. Естественно с какими-то поправками.

Эдуард Кузнецов—крепкий орешек. Даже если раскалывается, все равно не ясно, что там внутри. Рассказывает, вспоминает, философствует. Все интересно, многое необычно, —множатся мои вопросы к самому себе: кто он, человек, сидящий передо мной? Не слишком ли запутана его жизнь, не слишком ли он в ней настрадался, не сошел ли он с ума, не стал ли он одним из тех, на ком держится правда нашей горькой эпохи? А может быть, он простой уголовник? А может, великий диссидент? И снова вспоминаю: «Какой я герой, я нормальный человек».

Нормальный? Но с наших даже сверхперестроечных понятий многие не приемлют его суждений:

— Если страна хочет выздороветь, она должна за это заплатить. И я очень сильно подозреваю, с большой горечью, что страна зальет себя кровью. Что же вы хотите? Чтобы убить такое количество людей, десятки миллионов, сколько же надо было иметь палачей?! Это даром не дается. Германия за это расплатилась, Япония. До сих пор здесь сажают нацистских преступников. Страна продолжает платить. А у вас? Только-только начали раскапывать могилы. Да еще и ахают, надо ли? А чтобы наказать тех, кто убивал, этот вопрос даже не поставлен.

Единственно, в чем преуспела советская система, в том, что она сумела создать нацию рабов, лгунов, воров.

Людей, которые говорят одно, а думают другое. Разве дело в колбасе?!

Но не до конца человека растоптали. Сейчас при Горбачеве что-то вроде бы сдвинулось. Что-то светлеет в людях, надежда какая-то прорывается. Появились люди с разумными речами, мыслями. Я брал для «Свободы» телефонные интервью с шахтерами из Воркуты. Простые работяги, но как толково говорят, какой у них здравый смысл. Они очень быстро стали во всем разбираться. Просыпается человеческое достоинство. Еще годков бы пять продержаться России, переходный период нужен сейчас. Укрепилось бы завоеванное.

Особенно меня беспокоят злые, агрессивные люди. Они берут верх. Люди добрые, интеллигентные сидят себе по домам, на кухнях рассуждают. А агрессивные всегда динамичны. Это как в лагере, когда горстка уголовников держит в своих руках многотысячную толпу. И в принципе иногда и хороших людей...

Интеллигент для меня давно уже ругательное слово, и советская интеллигенция поражает меня своим идиотизмом, безволею, продажностью...

Самая большая гласность бывает в лагере. Но лагерная жизнь от этого сладкой не становилась. Так что гласности одной мало.

— *Как вы думаете, примет ли наконец Советский Союз закон об эмиграции?*

— Сам факт закона об эмиграции был бы положительным для закрытой системы. Хорошо сформулировал Сахаров: для чего нам нужна свобода эмиграции, даже если человек не собирается никуда уезжать? Сам факт, что открыты двери, уже впускает свежий ветер. Эмиграция ведь преимущественно еврейская, будем так говорить, немецкая совершенно незаметна и, как правило, из Казахстана. Большая часть выехала из ощущения антисемитизма. Поэтому многие унесли с собой враждебные чувства по отношению к советской системе, а многие по неразборчивости, маломыслию и к России питают вражду. Большинство из них представители, как очень четко и хлестко определил Солженицын, «образоватчины». То есть они привнесли элемент неприятия даже к России самой. Человеку, оторвавшемуся от корней, надо как-то словесно, вербально оторваться. Для того чтобы вжиться в новую среду, человека часто не хватает, а надо быть широким, чтобы сказать: о'кей, я сохраняю и те формы, и эти. Чтобы пустить новые корни, он должен

оттолкнуться от тех корней. И многие, чтобы укрепиться в какой-то позиции, пытаются обгадить своего соперника. Так и здесь, одни, отталкиваясь от вчерашней жизни, чтобы себя здесь психологически вжить, перегибают, преувеличивают тамошние минусы. Другие выставляют себя героями, дескать, и там они были врагами системы. Вообще эмиграция—это болезнь. Сама по себе, даже если она очень легко проходит. Эмигрантская психология больная, невротическая очень, часто на грани шизофрении, это скол сознания. Нелегко перенестись из одной культуры, причем из советской — это как с луны свалиться. И даром, легко это не дается никому. Только в Израиле вживание проходит относительно безболезненно, поскольку люди быстро теряют эмигрантский статус, вживаются в жизнь страны. И очень быстро забывают о том, что было. Жизнь там настолько полна иными событиями, что люди начинают ощущать, что они действительно живут на пупе мира. Там все пульсирует и бьется. И эмигрантское сознание сводится к минимуму. Человек быстро становится гражданином страны.

— *А вы ощущали на себе антисемитизм в СССР?*

— Ну а как же, неизбежно. Преимущественно в бытовом смысле. Я человек кулачный, реагирую жестко, и меня обходили, побаивались. Я поставил задачу никогда не молчать и никогда не сдерживаться. Покойный Натан Эйдельман — симпатичный человек, я с ним на эту тему дискутировал и говорил ему, что он зря ввязался в дискуссию с Виктором Астафьевым. Это же идиотизм, за такие вещи надо знаете... А то оглядываются интеллигентно то на Гоголя, то на Достоевского. Антисемиты понимают только одну вещь — бить в глаз. И я понял это еще в лагере. Я знал, что в этом лагере полно антисемитов, и попросил подельников при случае меня поддерживать. И вот на просмотре какого-то фильма кто-то рявкнул: «Жид». Я поднялся и врезал ему в рыло. Возникла маленькая потасовка, а я объявил: «Еще раз услышу, буду бить скамейкой по голове». Мне дали 15 суток, но зато потом стало тихо. И это проверенный способ, я вас уверяю. Ты должен себе сказать, что ты боишься меньше, чем он. И все. Только не надо говорить себе, что ты герой, что ты ничего не боишься. Поверьте, это сильно помогает. От тебя начинает исходить аура, ты никого и ничего не боишься. Мне приходилось быть в ситуации, когда меня сажали в камеру уголовников и их было полста, и все были готовы меня раздеть и продукты забрать, и

все же я ухитрялся уходить из этой камеры нетронутым. Потому что я уже приходил агрессивным. Он только приближается ко мне спросить: «А чего у тебя там, мужичок?», а я уже сам бью, приговаривая: «Ты что, не видишь, я в полосатом, я «на спец» иду, мне положено у тебя брать, ну-ка, что у тебя в мешке». И за его мешок. А они же между собой грызутся: «Ты что лезешь к мужику, ты что, не видишь, он «со спеца». И его же начинают колотить.

— *Что вы думаете о наших отношениях с Израилем?*

— Отношение СССР с Израилем—это один из признаков того, что в советской системе кардинально ничего не изменилось. Все публикации полны лжи, откровенной подтасовки, ложных формулировок, СССР продолжает поддерживать террористические организации. Еврейский вопрос чрезвычайно важен, чрезвычайно показателен для любой страны. Когда бьют узбека — я не хочу сказать, что узбек плохой,— или чукчу, то бьют человека. Когда бьют еврея, посягают на Бога, посягают на особый тип мироздания. Это попытка уничтожить целую вселенную, перечеркнуть нечто, а не просто уничтожить тот или иной народ, тут не учитывается ни демократическое, ни географическое положение. Когда турки резали армян, они хотели территорию освободить. Но когда убивают еврея—это попытка сказать нечто другое. Это замах на небо, на икону. То есть всегда имеется в виду: вы распяли Христа, получайте за это. То есть замах на еврея — это попытка переосмыслить весь смысл истории. Когда убивают народ, чтобы завладеть территорией — это одно. Сталин перемещал целые народы, решал демографические проблемы. С евреями нечто другое. Отношение к евреям и Израилю является более весомым, нежели решение демографической проблемы. Недаром антисемитизм существует даже в странах, где евреев уже нет и никогда даже не было. В чем дело? Я считаю, что евреи всем всегда нужны, потому что нужен образ врага, коварного, замышляющего. Примитивные люди всегда мыслят историю и события в концепции какого-то заговора. И лучше еврея-заговорщика не придумаешь: у него и облик чужеродный, и речь странная, и мышление иное, и пахнет от него не так. Поэтому евреи всем нужны в той или иной степени. Чем больше тому или иному народу еврей нужен в качестве врага, тем больше это свидетельствует, что этот народ болен, что эта система больна. Я бы сформулировал так: антисемитизм — это проблема

антисемитов. Потому что евреев уже столько раз уничтожали. Те, кто их уничтожал, очень часто исчезал сам с лица земли. Потому что антисемитизм разрушает саму страну. Он как бы подрывает саму душу людей, которые становятся антисемитами или их пособниками. Еще Деникин возмущался, когда начались погромы, он сказал, что армия разлагается, распадается. Да, антисемитизм — это проблема антисемитов. Меня лично эта проблема не волнует. Я знаю, как с ней справляться на личном уровне. А теперь и на государственном. Израиль нашел лучший способ борьбы с антисемитизмом: это военная мощь и превентивный удар. Ничего другого человечество не изобрело.

Я думаю, что Израиль — идеальное государство. Лучше не придумаешь. Люди там работают и воюют. Что может быть лучше?!

— *А по поводу расселения эмигрантов на арабских территориях?*

— Это ложь. Я предлагал Шаранскому опубликовать в «Нью-Йорк тайме» платное объявление, что Буш, Бейкер, Шеварднадзе и Горбачев, заявляющие, что советских расселяют на оккупированных территориях, — лжецы. Пусть подадут на нас в суд. Я выиграю. Потому что правда за мной. Кто, кого, где в демократической стране расселяет? Кому какое до тебя дело? Ты приезжаешь, получаешь шесть тысяч шекелей и ищешь квартиру. В течение года тебе будут ее оплачивать. Где ты ее будешь искать, дело твое. Ты приехал в Израиль, и ты свободен. Так что по поводу заселения арабских земель это откровенные пропагандистские трюки. Попытки заигрывать с арабами. Советский Союз выпускает евреев, ему надо оправдаться перед арабами. Да, известно, это не секрет, что за последние годы несколько сотен семей расселились на арабской территории по собственному желанию. Но никто никого туда не посылал. Это вы можете послать всех подальше.

— *А вообще, если уж мы «ввязались» в этот разговор, разрешима ли проблема, связанная с арабами и евреями?*

— Нет, неразрешима. И тот дурак, кто в это верит, или подлец, который разыгрывает все эти игры. Пока жили люди, всегда были войны, надо стараться их оттягивать, смягчать, но всегда на земле было рождение человека и смерть. Война, к сожалению, неизбежно сопутствует человеческой жизни. Войны иногда сводят к мини-

муму. И всё. Но конфликт между арабами и евреями — глубокий конфликт, арабы не терпят Израиль, для них это чужеродное включение в арабское мусульманское тело, и они не могут в принципе инстинктивно этого перенести. Они всегда будут стремиться уничтожить Израиль. И до тех пор, пока в Израиле не возобладают сторонники мира с арабами, Израиль может устоять. Такие страны гибли всегда от внутреннего разлада, а не от внешних врагов. Внешние враги только сплачивают. И внутренний разлад меня тревожит. Левые в Израиле стремятся к миру. Но какой мир, если мирный договор заключен только с Египтом. С остальными странами мы находимся в состоянии войны. А раз идет война, значит, надо завоевывать территории и не отдавать их. Или отдавать их по частям за гарантии: мир в обмен на мир. А не мир в обмен на территории. Израиль всегда предлагает арабам мир, но им нельзя доверять. С кем там заключать мир? Садата убили и другого кокнул. Хорошо, Мубарак не переменялся, могло бы быть хуже. Я уверен, что в ближайшее десятилетие конфликт не исчерпается. И Израилю надо быть постоянно в хорошей форме и защищаться.

— *Вы сказали, что антисемитизм — это проблема антисемитов. Ну а все-таки ваше мнение о так называемом еврейском вопросе в СССР? Вообще о роли евреев в революции. Об этом сейчас много говорят.*

— Сейчас ситуация в СССР намного ухудшилась и будет ухудшаться. Гласность развязала языки, инстинкты, люди почувствовали, что их за это не накажут. А кроме того, страна в тяжелейшем положении. Как же тут без евреев обойтись? Было бы даже странно.

Евреи участвовали в революции по вполне понятным причинам. Они были ущемлены в правах, плюс извечная и, я считаю, идиотская закваска еврейского характера участвовать во всех социальных движениях за справедливость, поскольку это заложено в иудаизме. Ведь все пророки — за справедливость, обличение богатых и все такое. Совокупность этих факторов, да еще энергичность, особенно местечковых евреев, которые вдруг вырывались в города, — все это содействовало их участию в революциях. Виновник революции — товарищ царь и его правительство. Если бы они пошли на своевременные реформы, в том числе и по еврейскому вопросу, то революции в России не было бы. Те, кто ищет виновников в революции, пусть посмотрят на Николая II. Он сделал для

революции так много, как ни один еврей. Вкупе с большевиками. Ленин в этом смысле был прав: неужели Николай такой идиот, что подарил нам войну. То есть он не верил, что война начнется. Когда она началась, он сказал: «Слава тебе, господи!» В революции виновен царь и интеллигенция. Бердяев четко сформулировал роль русской интеллигенции в том смысле, что одни евреи революции не сделали бы никогда. Но они действительно были важной составной частью движения. К сожалению. Вопреки призывам тогдашних сионистов.

— *«Память» для многих стала уже притчей во языцех. А для вас?*

— Это очень опасный признак разрушения и распада системы. Когда возникают такого рода движения, тем более организационно оформленные — это признак глубочайшего кризиса общества и знак того, что кризис может пойти в очень опасном направлении. Это движение разрушает саму ткань жизни общества. Они опаснее всех сионистов. Если бы сионисты были такими заговорщиками и злодеями, как их представляет «Память»? Лучше уж такие сионисты, чем такого рода патриоты. Страна в кризисе. Распадается мифология. Распадается величайший миф девятнадцатого и двадцатого веков: социалистический, коммунистический. Но шишка мифологическая у людей осталась. Большинство людей склонны к мифологии. Им надо заменить одну мифологию другой. Той, которая столь же просто и примитивно объясняет все, что происходит в мире. Еще недавно это объяснялось классовой борьбой и всякой прочей марксистской чепухой, теперь это объясняется происками сионистов. Люди, склонные к приятию мифов и мифотворчества, очень легко на это клюют. Так вот, мало уничтожить только мифологию. Надо уничтожить саму эту шишку. Но второе невозможно: большинство людей родилось с этой шишкой. Так было. И так будет. Один миф всегда будет замещаться другим.

— *Что такое для вас сегодня общественная активность?*

— Поскольку я был активен в общественно-политической жизни в СССР, то -и тут, хотя я не считаю себя склонным к политике, скорее заражаясь этим по необходимости, по инерции судьбы, потому что много интересов связано с СССР, я участвую в различных движениях. Существенным и важным было мое многолетнее участие в Интернационале сопротивления, который соз-

дан Буковским, Максимовым и мной. Вначале я был президентом, движение базируется в Париже. Потом был председателем правления, потом отошел в сторону, поскольку был занят работой на радио «Свобода», а один год, взяв отпуск на радио, переехал в Париж и занимался только делами сопротивления. Надо сказать, что мы сделали довольно много, хотя могли и больше, но руки были связаны финансовыми трудностями. Основная цель организации, объединяющей представителей 25 государств, которые находились или под властью коммунистических режимов, или под властью марионеточных правительств,— акции протеста, добывание объективной информации о происходящем. В частности, мы организовывали вывоз советских пленных из Афганистана. Тех, которые решили остаться на Западе. Это было нелегко, потому что та страна, через которую мы вывозили (назвать ее я не могу), не хотела, чтобы об этом было известно. Приходилось идти на всякие достаточно сложные дела, чтобы этих людей вывезти, дать им здесь прижиться, акклиматизироваться. Кое-кто из них потом попадал на родину. Мы создали радио «Кабул», вещавшее на советских солдат. Разумеется, не с призывами дезертировать, потому что моджахеды очень жестоко относились к советским пленным. Мы понимали, что было бы аморальным призывать советских солдат дезертировать, мы просто разъясняли смысл этой грязной, преступной войны. Чтобы люди знали, за что они тут умирают и кого они тут убивают. Наши люди отвозили афганцам медикаменты, издавали там газету «Красная звезда», где печатались Войнович, Зиновьев и другие известные авторы. Наши люди проникали в Кабул и расклеивали эту газету в центре города. Ездили мы в Анголу, в Никарагуа, снимали фильм об уничтожении сандинистским режимом индейского племени.

Сейчас Интернационал сопротивления практически прекратил существование, нас перестали финансировать частные источники и частично фонд поддержки демократии, то есть американский конгресс. По-видимому, повлияла перестройка в СССР. Думаю, что это типично западное сознательное заблуждение. Вместо того чтобы выстраивать широкомасштабную стратегию, требующую переосмысления всей ситуации в мире, они предпочитают находиться в плену мнений, что ничего не надо делать, все само образуется. Придет к власти голубь, заключает всех ястребов, и наступят мирные реформы. Вот и сей-

час они закрывают глаза на отрицательные моменты в правлении Горбачева, на тбилисскую бойню, на то, что сейчас происходит в Прибалтике. Они не хотят этого видеть, они простят Горбачеву все. Для того, чтобы он соответствовал их иллюзиям. Правда, это еще связано с тем, что в США есть закон, по которому благотворительные деньги списывались с налогов.

Мы создали Кельнский клуб. Раз в год собираем различные конференции по кардинальным вопросам. Последняя посвящалась проблемам СССР.

Вывоз пленного из Афганистана нам обходился примерно в 25 тысяч долларов. Мало того, что человека надо вывезти, надо еще иметь деньги на его жизнь. Представляете себе молодых парней, как правило, небольшой грамотности, как правило, испорченных советской идеологией; находившиеся в плену (причем многие из них наркоманы) попадают сюда не потому, что они сюда стремились, а потому, что оказались в безвыходной ситуации. Сплошь и рядом они дезертировали из армии не по идеологическим соображениям, а из-за дедовщины. Было много случаев самострелов, самоубийств. Оказавшись на Западе, подавляющее большинство из них не понимали новой жизни, требующей изучения языка, вживания в обычаи, в общественную жизнь. И они оставались одинокими. Так вот, эти 25 тысяч уходили еще и на курс обучения языку, содержание человека, который на первых порах был для афганца и папой и мамой. Многое кончалось печально, парни впадали в депрессию. Прошрое начинало представляться в более розовом цвете, чем оно было. Советское посольство интенсивно обрабатывало невозвращенцев. Дескать, родина вам не простит. И вот был такой Николай Рыжков, очень симпатичный парнишка, толковенький, решивший вернуться домой. Насколько мне известно, ему дали тринадцать лет. Но вроде бы потом, через четыре года, его освободили. Конечно, все мы не могли предусмотреть. Когда мы получали письма из Афганистана с мольбой «спасите нас, вывезите на Запад», мы должны были помочь ребятам, хотя отлично сознавали рискованность наших шагов.

— *Как вы лично относитесь к Горбачеву?*

— Он оказался намного опытнее и толковее, чем казался сначала. И на теперешнем горизонте надо признать, что крупнее его фигуры нет. Без всякого сомнения. Я ничуть не сомневаюсь в том, что единственная его цель — удержать власть. Это всегда было единственной

целью большевиков, и он в этом смысле вполне большевик. А в связи с этим он идет на различного рода маневры, и, я бы сказал, на очень толковые, умные маневры. Оказалось, что в нем хорошая хватка. Никакой он не гуманист, не демократ. Он делает все, чтобы спасти систему, которая сама себя загнала в тупик, и надо ей как-то выкарабкаться. Ради власти он будет готов и из партии выйти и войти в любую другую партию.

Да, резко говорил Эдуард Кузнецов. Но свое, выстраданное, обдуманное. Многие уже в его незаемной жизни отстоялось, просеялось. Многие еще забудется. Останется главное: борьба за свободу, неприятие рабской жизни. Останутся встречи с честными, бескомпромиссными, мужественными героями нашего времени. А может быть, останется только то, что к узнику мордовских лагерей ездил на свидание великий человек XX века — Андрей Сахаров.

Почти уже прощаясь, я спросил Эдуарда Самойловича, перечитывает ли он свои книги. Кузнецов задумался и, не сказав ни слова, вышел в другую комнату, сел за компьютер и через полчаса вручил мне страницу готового ответа. Вот она.

— Свое перечитывать, давнее — как-то коробит слегка. С фактами — все более или менее просто — или они точны, полны, или ложны, однобоки... А вот с мыслями всякими там, обобщениями неизбежно сложнее. Только дураку или гению даются истины раз и навсегда, во всей Их полноте и завершенности.

Вот фон: вышки, колючая проволока, холод, голод и прочая далеко не кабинетная атрибутика. И надо как-то выстоять, а значит, выстрогать из подручного убогого материала морально-идеологические костыли. А где костыль, там спрямление, там многое из сути уходит в стружку. Горечь — плохой советчик. Взять хотя бы один из тогдашних моих тезисов: социализм изначально, в сути своей порочен, им в той или иной степени болен весь мир, но раз именно в России он прежде всего грянул, следовательно, было и есть в нем нечто, к этому располагающее. То есть, перефразируя известное евангельское, в мир надобно прийти соблазну, но горе тому, через кого он приходит. Я и сейчас, столько лет спустя, чего только за эти годы не перечитав и не передумав, не вижу весомых аргументов, этот тезис опровергающих. Но раньше из моего сознания как-то выпадало, что «горе», свалившееся на Россию и все «подсоветские» народы, слишком уж

несоразмерно «вине», а следовательно... То есть было бы опрометчивым сказать, что пора махнуть рукой на столь многим свойственную болезненную страсть копаться в былом и более печься о том, как справиться с нынешними бедами. Страсть эта не менее укоренена в человеке, чем, к примеру, тот же частнособственнический инстинкт, а к чему приводят попытки искоренения того, что природно свойственно человеку, общеизвестно. И все же... Так ли уж достойно бесконечно уличать гуляку безоглядного, у которого уже и нос провалился, в былых грехах? Грех его не так уж и велик, а недуг-то смертельный. А потому представляется, что утверждение о неслучайности социализма в России — истина из разряда ясных, а не глубинных. По Нильсу Бору, ясной истине противостоит ложь (типа: коммунизм России навязали евреи и прочие чужаки), глубинной же — иная истина, тоже глубинная, такая, например: нет, не случайно именно через Россию пришел в мир соблазн коммунизма, но... пришел и уже уходит, она им почти уже переболела... и — за битого двух небитых дают.

...А мне остается добавить, что это первое интервью, данное Эдуардом Кузнецовым советскому журналисту.

Апрель, 1990 г.

Выдержки из этого интервью были опубликованы в еженедельнике «Мегаполис-Экспресс». 2 августа 1990 года в ответ на публикацию в газете появилось письмо Елены Боннэр.

О диссидентах и о комплексах

Открытое письмо Эдуарду Кузнецову

Дорогой Эдик!

Впервые пишу тебе письмо не в лагерь. Вызвано оно твоим интервью Феликсу Медведеву. Я сожалею, что не прочла его до нашей встречи месяц назад в вечном — белом и зеленом — городе Иерусалиме и упустила возможность ответить на него там. В твоей беседе с Медведевым для меня многое неприемлемо. А упоминание при этом Андрея Дмитриевича и меня не дает возможности отмолчаться.

Удивительно, что одиннадцать лет свободы и жизни на Западе не привили тебе уважение к праву, как необ-

ходимой составляющей существования цивилизованного и демократического общества, жизни любого культурного человека в нем. Оправдывая захват самолета, ты ставишь насилие выше закона. Но тогда становится возможным оправдывать любое насилие, начиная с насилия над одним человеком, потому что такова воля насильника, до сталинских магаданов и гитлеровских освенцимов. Вот уж точно — правозащитником ты не был. И, видно, уже не станешь. Поражает, что через 20 лет ты все еще не можешь разглядеть в «самолетном» деле, в своем поведении тогда безответственность, граничащую с нечаевщиной. Рисковать собственной жизнью — пожалуйста! Но ведь дело было не так. Ты говоришь: «мы выбрали», «мы не рассчитали», «мы решили». Кто эти «мы»? Мери Хнох, которой едва исполнилось восемнадцать? Девочки Дымшица? Изя Залмансон и другие мальчишки? И ты не хуже меня знаешь, что не собирался ваш «экипаж» прорубать дорогу в Израиль всем евреям, а надеялся вылететь.

Может, только ты из всех понимал, что это почти безнадежно. Вождем положено понимать больше. А ты был вождем, многоопытный лагерник — так на тебя смотрели остальные. Но не знали, что не дай Бог иметь вождя. Героизма на этом этапе не было. Героизм пришел позже. На следствии. Больше всех у Юры Федорова, который со следствием вообще не общался. На суде. Особенно у Сильвы, защищавшей тебя. И сумевшей с женской эмоциональностью в своем последнем слове придать мажорно-героическую тональность всему процессу. Я до сих пор помню ее голос, когда она говорила: «В следующем году — в Иерусалиме». Героизм всех участников вашего дела начался в лагере. Лагерное ваше — всех вас — бытие смыло тень безнравственности, которую вы чуть было не наложили на все движение евреев за эмиграцию.

И исторической неправде пора положить конец — не процесс «самолетчиков» открыл широкую эмиграцию. Она началась раньше. С письма тридцати девяти. И больше всего для нее сделали евреи-правозащитники. Те, кто не отделял себя от общего правозащитного движения. Диссиденты. Евреи и неевреи. Кто дал тебе право так говорить о диссидентах, почти дословно повторяя то, что годами твердили миру следователи, прокуроры, сотрудники КГБ? Интересно, как без диссидентов в мире узнали бы о вашем аресте, о вашем суде, о ваших лагерных мучениях? О других арестах и других судах, о других

заключенных? Ведь сидели не только одиннадцать участников «самолетного» дела. О посылках, которых лишают? О голодовках? О письмах, которые не доходят? О ваших мамах, которые болеют? О детях, которых надо накормить и одеть? Сорока на хвосте разнесла бы? А может, все-таки «Хроника», «Хельсинкские документы», письма в защиту, журнал «Евреи в СССР», еврейские семинары? Просто люди — твои друзья, друзья твоих подельников, друзья друзей — диссиденты. Совсем не каждый из них «с провалами в жизни, психической неустойчивостью, невротик, закомплексованный».

Вот ты меня вроде как по головке погладил: «помогла в одном деле» — привезла хорошие ручки на свидание. Почему так скромно? Я могу вспомнить куда более значительную помощь. Вечером того дня, когда вас арестовали, я вылетела в Ленинград и на аэродроме, где это случилось, у приемщика багажа выяснила, как все произошло. Первым утренним самолетом вернулась и Москву, чтобы через два часа об этом по радио услышал весь мир. Каждый месяц следствия возила в Ленинград передачи, заручившись у твоей мамы доверенностью. Устроила твою маму в дом для престарелых — один из лучших в стране («показательный»). Сумела попасть на суд. Ежедневно отправляла в Москву записи с суда, а твои дружки Тельников и Буковский переправляли их дальше. Добилась свидания с тобой, приговоренным к смерти. Послала телеграмму, когда смертную казнь отменили, и тем на неделю сократила тебе ожидание ее. Нанимала для нескольких из вас адвокатов на деньги, которые собирали твои, мои, ваши, наши друзья. Ездила на свидания в Мордовию.

Ну и книга, написанная теми ручками, о которых ты упомянул. Я переправила рукопись моему другу Марии Олсуфьевой. Она перевела, опубликовала ее в Италии и передала в Париж для издания на русском языке. Этот перечень не для самоутверждения. У неосведомленного советского читателя вполне может сложиться впечатление, что действительно эти диссиденты какие-то ущербные. Человек девять лет сидел, и всего-то помощи — ручки в лагерь передала. Так вот — это только моя помощь. Но ведь тебе помогали и другие. Многие несравнимо больше, чем я. И не всегда без риска для себя. Одни, находясь на свободе, другие — в лагере. Напомню только твоего солагерника Петра Рубана. Если б не он, вряд ли твоя рукопись дошла бы до меня. И без его подвига не

было бы твоего. Андрей Дмитриевич написал президенту Картеру письмо о Рубане. А у тебя неужели никогда не появилось желания вспомнить кого-то благодарно? Ведь ты давно уже не затравленный вечный лагерник, а вполне успевающий, благополучный, уважаемый господин среднего возраста. Откуда же в твоём интервью тоналность, которую по аналогии с грибоедовской «смесью нижегородского с французским» я назвала бы «смесью философского со шпанским»? И не скрываешь ли ты за этой смесью свою собственную, а не диссидентов закомплексованность? Многие люди, о которых ты сказал, что они «с провалами в жизни», становились диссидентами только потому, что не ставили свой собственный жизненный успех в зависимость от того, подпишут ли письмо в защиту, пошлют ли бандероль в лагерь, дадут ли деньги в фонд помощи. И помогали тебе, твоим товарищам по судьбе. Да и я заботилась не о тебе одном. Напомню только твоих подельников. Сказать, сколько часов я провела за машинкой с заявлениями мам Бори Пенсона и Юры Федорова, папы Иосифа Менделевича, твоего тестя? Сказать, где они жили, приезжая в Ленинград или в Москву? Недавно один бывший лагерник в своих воспоминаниях дом моих друзей в Ленинграде, где не раз останавливались папа Менделевича, твой тесть, твой лучший друг и многократно жена этого бывшего зека, назвал «салонем». Вот оно как бывает с воспоминаниями!

И с твоими не все гладко. Андрей Дмитриевич никогда не выдавал себя за твоего «дядьку». Для него вообще было невозможным выдавать себя за кого бы то ни было. Абсолютно исключено хоть раз в жизни солгать. И он не приезжал к тебе на свидания никогда. Однажды я его взяла с собой. Именно «взяла» в надежде, что при нем мне свидание дадут, так как несколько раз ездила в Потьму напрасно. И видел ты Андрея Дмитриевича только однажды во Флоренции за ужином в доме моей подруги, доктора Нины Харкевич. Но мне кажется, не разглядел, не понял, что Андрей Дмитриевич ушел в дружную комнату не только потому, что устал, но больше потому, что не выносил запанибратский тон, который сквозит и в твоём интервью.

Еще три замечания. Андрей Дмитриевич познакомился со мной не на твоём (между прочим — не твой, а вас всех) кассационном суде, а на суде Пименова и Вайля. Я не знаю, откуда тебе известно, что Никсон звонил Брежневу. И сомневаюсь в достоверности этого. Андрей

Дмитриевич обращался к Никсону и Брежневу после вынесения смертного приговора тебе и Дымшицу. Брежнев ему не ответил. А от Никсона было письмо, и если б он звонил Брежневу, то, видимо, написал бы об этом. Отмена смертного приговора баскам, наверно, имела значение в твоей и Дымшица судьбе. Но мне бы хотелось, чтобы ты знал, что первые массовые демонстрации против их и вашей смертной казни начались в Италии, в той же Флоренции, где была левая мэрия. Бывший мэр этого города коммунист Элио Габбуджани стоял рядом с трибуной в Лужниках на траурной панихиде по Андрею Дмитриевичу — приехал на похороны. И были эти демонстрации «левые», направленные в основном против «правого» режима Франко. Так что с «левым» и «правым» тоже сложно — как и с воспоминаниями.

Я вполне осознаю, что этим письмом навлеку на себя гнев многих наших общих знакомых в Израиле. Но я глубоко убеждена, что нельзя историю подменять мифами (а иногда и байками), в том числе и историю движения евреев СССР за эмиграцию.

Будь здоров. Как всегда, дружески

Елена Боннэр.

«МЫ — ДЕТИ РОССИИ»

— Ко мне попадают только избранные. И никому не дайте моего телефона. Характер у меня трудный, я не люблю пустых разговоров, и здесь, в Париже, мало людей, с которыми мне хотелось бы повидаться.

...Еще совсем недавно, еще буквально вчера наши «выездные» посещали ее тайно. А потом полушепотом в кулуарах ЦДЛ рассказывали о Зинаиде Шаховской. Она слыла яростной антисоветчицей, непримиримой, почти дьяволом. Крайне редко имя ее попадало в нашу печать, и почти всегда в негативе.

Зинаида Шаховская родилась в Москве, в 1906 году. Эвакуировалась с матерью и сестрами в феврале 1920 года из Новороссийска. Училась в Константинополе, Брюсселе и Париже. В 1926 году вышла замуж за Святослава Малевского — Малевич (1905—1973). В 1940 году — в санитарных частях французской армии, принимала участие в Сопротивлении. В январе 1942 года была переброшена через Гибралтар в Англию (где после Дюнкерка находился ее муж, доброволец бельгийской армии). В Лондоне была редактором АФИ (Французского информационного агентства), в 1945—1948 годах — военный корреспондент при союзных армиях в Германии, Австрии и Италии и корреспондент в Греции. Много путешествовала, жила в Африке, побывала в США, Мексике и Канаде.

В 1956—1957 годах с мужем, в то время бельгийским дипломатом, жила в Москве. С 1968 по 1978 годы редактировала газету «Русская мысль» в Париже. Выпустила много книг стихов и прозы, в том числе четыре тома воспоминаний (1910—1950). Член Союза французских писателей, ПЕН-клуба, Международной ассоциации литературных критиков, лауреат премии Парижа, дважды лауреат Французской академии, кавалер ордена Почетного легиона, офицер Ордена Искусств и Словесности.

Сегодня сочинения 3. Шаховской в пожарном порядке распечатываются в СССР: скорее, скорее издать ту, чье имя было за семью печатями. Говорят, что какой-то расторопный пионер из Тулы даже прочитал доклад, посвященный жизни и творческой деятельности опальной землячки.

Свой колоссальный архив она продала (не на что было жить) шесть лет назад в Америку частному лицу (плакать хочется!). Вторая часть завещана знаменитому коллекционеру профессору Рене Герра (с которым мы никак не можем наладить добрых отношений).

При прощании она просила меня не делать из нее героини (она этого не любит) и в следующий раз привезти ей из Москвы буханку бородинского хлеба и клюкву в сахаре.

— Вы хотите знать, кто я? Отвечаю: я — французский писатель русского происхождения, бельгийского гражданства. У меня есть король.

— Значит, вы подданная Его Величества короля Бельгии Бодуэна?

— У нас, слава Богу, нет подданных. Мы — граждане. Раньше присягали, а теперь не присягаем. Когда мы недовольны королем, выбираем другого. Так было, например, после войны. Меня это вполне удовлетворяет, потому что дает большую свободу. Я одновременно как бы внутри и вне событий. Благодарю Бога, что он дал мне живой интерес к истории, к жизни, к людям. На моем веку немного было таких же важных событий, как перестройка. Перестройка и меня обновила. Я люблю кризисы. В кризисах — движение. Мне кажется, что тот переворот, который произошел в России, во всем мире произойдет. К несчастью, к концу этого бенефиса меня уже не будет и я его не увижу. Есть такое выражение: для того чтобы править, нужно предвидеть. Но вот с перестройкой никто ничего не предвидел.

— А Октябрьскую революцию предвидели? Кстати, вы по-прежнему считаете, что Октябрьская революция — роковая ошибка истории?

— Да, это роковая ошибка, но... Я знала Феликса Юсупова, он был недалекий, но очень хороший, милый, добрый человек. Однажды я ему сказала, что если бы тогда, в плохое время, не ухлопали Распутина и если бы государь послушался Распутина и заключил бы тот самый Брест-Литовский мир, то в России не было бы революции. И вы, сказала я вашему тезке, сидели бы в

своем имении в Архангельском, а я была бы в Париже женой посла. Все самое трагическое началось с войны, с немцев...

— *Почему о вас, Зинаида Алексеевна, ходят такие легенды, что вы непримиримы с Советской властью, что вы никогда не пойдете на контакты с представителями «красных»?*

— Это неправда. Я не люблю идеологий. Капитализм то ругают, то хвалят, но капитализм это не идеология, а предприятие. Я не состояла и не состою в партиях. Ни в одной. Я слишком дорого заплатила за свободу, и я в двух станах не боец, а только гость случайный... Контакты с «красными»? К сожалению, я знаю, что творилось в России, кое-что видела своими глазами, когда с мужем-дипломатом жила в Москве. Поэтому я была осторожна.

А потом мой характер... Когда несколько месяцев назад мне позвонили из одного московского журнала и спросили разрешения что-то напечатать из книги о Набокове, я чуть со стула не упала, но сделала вид, что не упала, что будто все семьдесят лет только и ждала этого звонка. Я разрешила, но при этом сделала оговорку, что, если напечатают что-нибудь не так, я возьму самолет и, несмотря на мой возраст, прилечу в Москву и им всем набью морду. Сначала в трубке было тихо, а потом раздался взрыв хохота.

— *Значит, наша гласность дошла и до Зинаиды Шаховской. Немного поздновато, но ничего...*

— Не забывайте, что я французская писательница. Прозу по-русски я начала писать, когда мне было семьдесят лет.

Училась понемногу «чему-нибудь и как-нибудь» в разных местах, куда история забрасывала мою семью; кроме любви к литературе и истории, насыщаемой с раннего детства книжным запоем, никакого образования у меня не было. А прочла я многое, еще в нашем тульском имении Матово от 1917 до 1918 года, когда моя мать, как бы предчувствуя, что от матовских книг вскоре ничего, кроме пепла, не останется, открыла мне безо всякой цензуры помещичью библиотеку. Были тут Шекспир и Мольер, Толстой, и Боборыкин, Лесков и Лажечников, Надсон и Фет, Писемский и Достоевский, Белинский и Вальтер Скотт, вся «Нива» и все приложения к ней—добрая крошка, из которой я, не все, конечно, понимая и в шкале ценностей не разбираясь, все же вынесла немало,

а главное — пристрастилась к чтению даже трудных для одиннадцатилетнего ума книг.

Во Франции, на чужбине, я общалась с замечательными русскими людьми самых разных сословий: рабочими, военными, интеллигенцией, духовенством. В России эти круги, видимо, остались бы мне неизвестными. И я многое потеряла бы, если бы не узнала их.

То, что я считаю французской писательницей, почему-то стесняет тех, кто издает мои книги. Они стараются затушевать это, им кажется, что это измена. Но это никакая не измена, я осталась русской. В шестнадцати моих романах, изданных по-французски, написано и о России, о русских. Разве можно мне было без России, когда часть России — семьсот тысяч человек — была здесь? Это была «Россия вне России». Книга под таким названием выходит у меня в Ленинграде. Я всегда думала о судьбе своей родины, и у меня, и у моей семьи нет вражды с русским народом. Мы помним, как в лихие годы нас спасали крестьяне, и потомки тех крестьян пишут мне сегодня письма.

Для меня ваше правительство с точки зрения политической — чужое правительство, и я не считаю никаким образом для себя возможным давать советы советским людям. Но я хочу, если вашим читателям это интересно, рассказать о своей жизни, об эмиграции, о людях, с которыми я общалась. Моя память сохранила интересные исторические свидетельства. Я хорошо помню, к примеру, гражданскую войну. Помню Троцкого, въезжающего на коне в Харьков, запомнилось почему-то, как красиво он сидел в седле. Направо от него — латышские стрелки, налево — китайцы. Мы же ждали белую армию, потому что с Красной нам было опасно. Я жила рядом с чрезвычайкой и одиннадцатилетней девочкой, дрожа от страха, подбирала раненых.

— *Вы монархистка? Некоторые считают, что царская семья выродилась, деградировала?*

— Я всегда жалела несчастных, и когда сегодня встречаю Великого князя, я делаю маленький реверанс, потому что не хочу воспользоваться революцией. Я не против царя, но при этом я предпочитаю конституционную монархию, ибо абсолютизм могут исповедовать совершенно отсталые люди. Если бы не было революции, то в России, возможно, была именно такая форма правления. На это был способен Александр III, но, поскольку убили его отца, он отошел от решительных действий.

В Западной Европе шесть республик и шесть королевств. По-моему, королевства нисколько не хуже республик.

— *Как вы относитесь к развернувшемуся у нас движению за канонизацию царя?*

— Вы знаете, три поколения нашей семьи были либералы. Письма от потомков наших крестьян, которые относились по-доброму к хозяевам, подтверждают это. А жили мы верой в царя и отечество. Но поскольку у нас отобрали веру в царя и отечество, у меня, как и у моего брата Димитрия Шаховского, осталась только вера. И мы не обедняли. Но канонизировать? Не знаю, как бы отнестись к этому мой брат? Я не богословка, но мне кажется, что вы торопитесь. Не знаю, что-то здесь не то... Мой брат говорил, что нельзя политику примешивать к церкви потому, что она стоит так же высоко над политикой, как небо над деревом. Вера очень сильна! Тому, кто верит, легко жить. Вера укрепляет. Я не люблю этого проповедника Туту из Африки, Нобелевского лауреата, у него одновременно крест на груди и кулак над головой. Надо же выбрать: крест или кулак.

— *Любопытно, кого вы считаете самым крупным политическим деятелем Советской России, начиная с семнадцатого года?*

— Думаю, что Горбачев... По-доброму вспоминаю Хрущева, с которым нередко общалась в Москве. Хрущев мне imponировал при всей его глупости и ужасах, которые он творил на Украине, миллионы людей он выпустил из лагерей. Не будь Хрущева, не было бы Солженицына. Меня всегда шокировало, что Хрущева ругает ваша интеллигенция — за плохие манеры, за грубость. Я подумала: это неблагодарно. Я защищаю Хрущева перед оппонентами, он был единственным живым человеком в Кремле, не мумией. Только Никиту Сергеевича я могла с присущей мне бойкостью языка расшевелить и рассмешить. Могла я его и рассердить, но Он не обижался. Я пишу книгу, где расскажу и о Хрущеве.

...Да, Хрущев допустил много ошибок, но эти ошибки как бы усугублялись тем, что Запад всегда поддерживал бунты. Мы были как раз в Москве, когда возникли венгерские события, мы думали, что Запад вот-вот введет свои танки или, наоборот, уговорит Хрущева не вводить советские. Мой муж-дипломат считал, что многое в мире зависит от перемен в Советском Союзе. Потому что это

самая сильная страна, она не допустит изменений в Европе, пока не будут перемены внутри нее.

Я считаю, что при Хрущеве взошли ростки перестройки; немного терпения, и перестройка пришла бы к вам давным-давно. А Хрущева сбросили потому, что он стал ошибаться. Потом пришел Брежнев, и все остановилось. Во время недавних событий в Китае мои молодые друзья-журналистки считали, что студентам надо было продолжать сопротивление, а я говорила, что продолжать сопротивление при военном положении, значит, посылать людей на смерть. Я очень волновалась.

Вообще признаюсь, когда началась перестройка, я так боялась, что у вас снова все друг друга перережут.

Я очень люблю Испанию и после смерти Франко тоже очень боялась, что там прольется кровь. И так была рада, что и в том и в другом случае все произошло достойно. Подумать только — 70 лет никакого парламентского правления, люди не знали правды и только ругались.

— *Вы с Франко не встречались?*

— Нет, у меня с ним не было никаких отношений. Как многие, участвовавшие в Сопротивлении, я очень благодарна Франко, потому что если бы он пропустил после того, как Франция пала, германские войска через Испанию и Гибралтар, то Америка не была бы в войне. Погибла бы и Англия, погибла бы вся Европа. Гитлер кому-то сказал, что он ночами разговаривал с Франко и тот твердил, что не надо жить прописными истинами, что истины надо проверять. Вот и я, проверяя истины, как журналистка первого ноября сорок второго года нелегально перешла границу Испании по дороге в Гибралтар. Потом с мужем году в пятидесятом при этом «ужасном» Франко мы объехали на машине всю страну, и за нами никто не следовал, не следил, мы даже полиции не видели. Из нищей страны Франко сделал Испанию богатой, при этом еще и воспитал короля преемником. Большой был человек.

А о кладбище, где лежат вместе кости всех героев, белых и красных, вы знаете? Эта общая усыпальница впечатляет. Если бы так везде, на земле был бы мир. Я — за Франко. Хочу, чтобы ему воздали должное.

А вы, кстати, знаете, что я, наверное, единственная из журналистов была против Нюрнбергского процесса?

— *В каком смысле против? Поясните, Зинаида Алексеевна.*

— Да, из тысячи я была одна против. Конечно, я

обычная бельгийская журналистка, величина небольшая. Но я показала, что надо быть честным, чего бы это тебе ни стоило. Почему же я была против? Во-первых, закон не имеет права ретроактивной силы, то есть когда законы принимаются после событий. Положим, совершается преступление, а потом, чтобы осудить преступника, принимается закон. Однажды к этому прибег генерал де Голль, и я перестала его уважать. Во-вторых, на Нюрнбергском процессе победители судили побежденных. Но это же невозможно! Судить побежденных должны или нейтральные государства, или, что проще, сами немцы, которые, видя разорение своей страны, и решали бы судьбы виновных в катастрофе, убийствах безвинных людей, во всех преступлениях.

Были и другие эпизоды, когда я как журналистка писала нечто такое, о чем никто не осмеливался и помыслить.

Впрочем, что это я расхвасталась... Но вы знаете, с вами интересно говорить, вы интересуетесь разными вещами, а мне хочется вспоминать.

— *Спасибо, Зинаида Алексеевна, а что осталось в памяти о Москве 1956 года?*

— Да, мой муж был советником посла Бельгии в СССР. Что сказать, спустя полвека приехала я в свой родной, ведь я в Москве родилась, но совершенно чужой город. Глядя на грустные лица, я почувствовала себя особенно чужой именно в Москве. Я много ездила по свету, но нигде не испытывала такого отчуждения. Жила в Москве полтора года, вроде бы стала привыкать, на людей смотрела иначе, видела их в парках, в магазинах и постепенно стала находить то, что знала и ценила раньше в русском человеке, его замечательные нравственные качества.

Конечно, много воспоминаний от приемов в Кремле. Меня поначалу почему-то сажали около генерала Серова — тогдашнего председателя КГБ. Тот все старался подлить мне побольше водки, выпрашивал о чем-то, все куда-то нервно выбегал, возвращался.

Однажды я решила его спросить: «Вы записываете мои разговоры?» — «Нет, не волнуйтесь», — отвечал генерал. «А что же вы постоянно встаете из-за стола?» Нисколько не смутившись, генерал парировал: «Вы гость, и мне нужно, чтобы все вокруг было спокойно». — «Ну уж если в самом Кремле неспокойно, тогда извините...» — развела я в недоумении руками.

Когда я рассказала о своем соседе мужу, он побледнел и попросил меня не открывать рта, не отвечать ни на какие вопросы. Французская пресса называла шефа КГБ «Иваном Грозным». А один журналист, видно из страха, написал о нем как о гиганте. Когда же я увидела рядом совсем маленького, тщедушного человечка с красненькими глазами,— видно, что он любил выпить,— то я была удивлена неточностью журналистского впечатления.

Но не всегда, конечно, я сидела рядом с такими персонажами. Помню Екатерину Фурцеву, но особенно Марию Ковригину, кажется, она была министром здравоохранения, такая крестьянская красивая женщина. Встречалась и с маршалом Жуковым, но я его видела и раньше, когда военным корреспондентом разъезжала по фронтам.

— *Вы живете в стране, которая первой провозгласила лозунг: «Свобода, равенство, братство». Как вы понимаете эту формулу?*

— Я всегда говорила французам, что свобода и братство хорошо, но вот в равенство я совершенно не верю. Я считаю, что равенство — это уравниловка.

Всем понятно, что для того, чтобы окупались фильмы, нужен массовый зритель. А массовый зритель не посещает глубоких, серьезных фильмов, ему до них не подниматься. Это понижает высоту восприятия искусства. Вот вам и равенство. Еще пример. Когда вы находитесь в какой-то компании и среди вас один дурак, то из вежливости все как бы становятся глупыми, потому что этому обществу ужасно неприятно, что вы думаете, допустим, о Сахарове? Вы знаете, я отношусь к старому миру, где вопрос вежливости играет некоторую роль, хотя я человек суровый.

В мире все так быстро меняется. Наука не знает добра, морали у нее нет. И она единственная может сделать так, что от одной коровы родятся телята одинаковой масти. Мне уже начинает казаться, что и с человеком можно сделать то же самое. Хотя трудно. Если мне дадут тысячу долларов, то они у меня разойдутся в одну минуту, а мой знакомый превратит их в пять тысяч. В чем же дело? Идея равенства родилась у французов из-за зависти. Я это утверждаю. Я придумала такой афоризм: «Человека можно уважать, но его всегда можно пожалеть». Равенство ужасно мешает. Я вам скажу больше, только не удивляйтесь, внеклассовое общество — вредно. Никакие классы, ни в царской России, ни в Англии, непрони-

цаемы. Старые семьи распадаются, вырождаются, капиталы пропадают, но тем не менее люди все равно поднимаются. Сколько в России было безродных министров, которые сумели подняться, занять место в обществе. Это очень важно подняться из ничего, тогда идет обновление правящих классов, медленное, но постоянное. Скажем так, у нас была горничная, мать брала ее с собой в Париж, она выучилась по-французски, потом вышла замуж за нашего управляющего, дети ее гимназию окончили, университет. И если бы не было революции, ее внуки были бы очень важными людьми. Графьями, министрами...

— *А что вы вообще думаете о свободе человека, о свободе художника? Кто, по-вашему, свободнее: Горбачев, Сахаров, Солженицын, римский папа... вы?*

— Я думаю, что только тот человек свободен, кто ни от кого не зависит, ни от кого ничего не хочет, и если он писатель и его не печатают, доволен и этим. Настоящая подлинная свобода — внутренняя свобода. К примеру, я научила себя совершенно не страдать, если меня кто-то предаст... Я готова к этому с детства.

А вот Монтескье считал, что свобода должна быть ограничена законом, потому что, если она не ограждена Законом, тогда начинается насилие. И то, что сейчас случилось в России, понимаете, общественные законы общие — ситуация будет еще сложнее. Мы-то это уже пережили. Сейчас поговаривают, что, дескать, не наложить так свободно, слишком многое позволено. Оглядываемся на Достоевского. Почему молодежь обьял скепсис, почему ей так трудно жить сегодня? Потому что она ни во что не верит. Потому что трудно обожать Сталина, один раз пообожал, другой раз уже не хочется. Идет процесс разрушения семьи, нас окружает много одиноких людей. Брак не спасает. По-моему, брак это не только половые отношения. Через пятнадцать лет совместной жизни пол уже может не интересовать, но ведь остается содружество людей, верность друг другу. Так, во всяком случае, было раньше. Ныне нет. Супружеская мораль разрушена абсолютно. И поэтому мир потерян. Мир не знает, что хорошо.

Характер у меня неприятный, но я как-то стараюсь не обижать людей, стараюсь себя уговорить. Считаю, что в условиях свободы можно все сказать и можно против всего протестовать. Но в определенных рамках.

— *Судьба эмиграции... Что будет дальше с людьми,*

прижившимися во Франции? Они сольются с ее языком, нравами, историей?

— Третье поколение русской эмиграции доказывает, что Европа-то была одна, в особенности с XIX века, разница лишь в нравах. Вы знаете, сколько сегодня во Франции неграмотных? Два миллиона. В России, конечно, в свое время было больше. Россию просвещали Бальзак, и Дюма, и Лист, посещавшие и Петербург, и провинциальные города. Культуры конечно же во многом переплелись. Я считаю, что, несмотря на какое-то французское влияние, русские свое русское сохраняют как нечто драгоценное, как фамильный жемчуг.

— *Особая полоса в вашей жизни — редакторство в газете «Русская мысль». Расскажите об этом!*

— После внезапной смерти редактора газеты ко мне пришел ее администратор, мой старый знакомый американец Петр Шувалов, кстати, женатый на младшей дочке Шаляпина, и стал уговаривать меня взять газету в свои руки, стать ее редактором.

Если честно, то «Русская мысль» в то время была от меня далека. С русской эмиграцией я не была особенно близка, ее плохо знала, газету не читала, она мне виделась узкопровинциальной. Да и новости черпала из газет на разных языках. Шувалову мы с мужем отказали. Он повздыхал, повздыхал и сказал: «Тогда мне придется ее закрыть». И я решилась, подумала, что газета все еще нужна второй эмиграции. И потом мне приятно, что старшие коллеги Слоним, Струве хотели, чтобы я взяла дело в свои руки. В общем, очертя голову, ведь я никогда не делала журнал там или газету, бросилась в этот омут. Первым делом в газете я открыла свободную трибуну. Это не всем нравилось. К примеру, за то, что я напечатала Жореса Медведева, меня побранил Александр Исачевич, бывший в то время уже на Западе. Да и многие бранились, не привыкли к такой плюралистической газете, где оппоненты могут свободно высказывать свои суждения.

С коллективом у меня были чудесные отношения, работали мы без склок и ругани. Это в основном были старые эмигрантские дамы, которые получали мизерную зарплату и трудились во имя дела. Но когда в штате газеты появились сотрудники, представители вашей эмиграции...

— *То есть почему «моей», Зинаида Алексеевна, вы имеете в виду третью эмиграцию?*

— ...Да, да, третья, то тут я растерялась. Я поняла, что с ними работать не смогу. На работу приходили с опозданием, к делу проявляли незначительный интерес, жалованье ведь было по-прежнему малым. В коллективе появилась одна дама с высшим университетским образованием, но она так ругалась, что один из старых моих сотрудников сделал мне представление, что в такой ругани работать дальше невозможно.

Авторы требовали, настаивали, чтобы газета публиковала все, что они приносили, иногда это были материалы огромного размера. В общем, я была очень рада освободиться от всего этого. Я отказалась даже от почетного директорства.

— *А сейчас вы читаете «Русскую мысль»?*

— Я получаю, но, как правило, смотрю лишь, простите, некрологи. Там бывают подчас хорошие статьи, но перестроиться уже не могу.

— *Кто, по-вашему, наиболее талантлив в эмигрантской литературе?*

— Георгий Иванов! Которого не любила, я его терпеть не могла. Но он принадлежал к самому Серебряному веку. В следующем поколении очень талантливым был Иван Елагин.

— *Не могу не спросить о вашем отношении к Иосифу Бродскому?*

— Считаю его очень большим поэтом, но не люблю надменных поэтов. Я даже Ахматову за это не очень люблю.

— *Вы считаете Ахматову надменной?*

— Когда я читала книгу Лидии Чуковской об Ахматовой, я еще раз поняла, что Анна Андреевна была надменной. При моем характере я бы разошлась с Ахматовой. Поэт не должен быть надменным. Пушкин не был надменным, он со всеми шутил, он, конечно, был обидчив, потому что у него не было денег, он всегда считал себя обиженным, маленьким... Но когда поэт уже на месте, когда уже признан, тут он не должен свысока смотреть на мир, на людей.

— *А Марина Цветаева была надменной?*

— По-своему да, она была несчастным человеком, глубоко несчастным человеком, в ее надменности сквозила какая-то самозащита, она многое выдумывала. Она могла первой написать кому-то извинительное письмо, могла унижаться, как бы не думая об этом, просто импulsive,

— *А Бунин был надменным?*

— Да, в надменность он играл очень сильно, он мне всегда говорил: «Зина, помните, перед собой надо всегда держать свечу»... Вы знаете, не надо давать себя презирать. Не нужно и у всех просить прощения. Я считаю, что Бродский сегодня самый большой поэт. Я знаю, что мои слова многих обидят, но что поделаешь, я так считаю. Хотя очень люблю Беллу Ахмадулину, очень. Она бывала у меня в гостях. Я интересуюсь современной поэзией. Снова о Бродском: я предпочитала бы его первые, ранние стихи. Сейчас они слишком элитичны. А кроме того, маленький иногда бывает у него недостаток, прокол вкуса, Ахматова себе такого не позволяла. Ни в едином стихотворении. В ее поистине царственной поэзии все на месте.

— *Владимир Набоков был надменным?*

— Вы знаете, о Набокове разговор особый, это очень сложная личность, это самый большой писатель из моих современников. Я о нем много писала, у меня целая книга о нем: «В поисках Набокова». Некоторым показалось, что, описывая очень сложный внутренний мир писателя, я будто бы его в чем-то обесценила. Это глупо, — ибо я считаю: писатель одно, а человек — это другое. Не правда ли?

— *А Зинаида Гиппиус была надменной?*

— Сказать честно, я не особенно жаловала салонные знаменитости, и когда меня впервые привели к Гиппиус и Мережковскому, я заморозилась от их «замороженной» компании. Я подумала, что жизнь такая короткая, мне здесь скучно, и почему я должна сидеть с людьми, которые мне неинтересны. Там были молодые поэты, они пили свежесваренный чай, они пришли сюда из своих холодных мансард, и они внимали (или делали вид, что внимают) всему, что говорили хозяева дома. А я нет, я не слушала. Я была тогда горячо влюблена в Вячеслава Иванова. Не люблю ни Гиппиус, ни Мережковского, их стихи совершенно вне меня. Это все очень схоластично. Конечно, Гиппиус очень умная женщина. Она видится мне персонажем в своей эпохе. Считают, что она была красивой, но я, к несчастью, красоты ее не видела.

— *Как вы отнеслись к тому, что Ирина Одоевцева уехала из Парижа в Советский Союз?*

— Очень хорошо. Ей было очень трудно жить здесь. У нее не было славы, и она сама шутила: «Поеду в Рос-

сию за славкой». Вы знаете, я не сужу людей, всякий волен поступать так, как ему угодно.

— *Кстати, Ирина Владимировна действительно стала у нас очень известной. Она издает свои книги, выступает на литературных вечерах. Недавно в Москву приезжала из Принстона Нина Берберова, говорят, что в последние годы она стала здесь, во Франции, очень знаменитой.*

— Берберову я мало знаю. Но я не люблю ее книгу «Курсив мой». Она, по-моему, неблагородно плохо пишет. Ирина Одоевцева в своих мемуарах благожелательна, у нее какая-то есть фантазия. А Берберова, я не знаю почему, но вся такая озлобленная, ощеренная. Особенно меня возмутили страницы, посвященные Ивану Алексеевичу Бунину. Там сплошное вранье. Когда я еще работала в «Русской мысли», мне принесли эту книгу. Прочитала ее и очень возмутилась. Я предложила Вейдле, Слониму, Адамовичу и Струве разобраться в книге и написать в газету. Но они все отказались. Они заявили, что в книге столько неточностей, что нужно потратить много времени, чтобы во всем разобраться, очистить зерно от плевел. А недавно ко мне пришли представители телевидения и сообщили, что о Бунине готовится фильм. Я предложила свои услуги, с тем чтобы защитить память Бунина от Берберовой.

Вы знаете, я человек прямой, если вы будете у Берберовой в Принстоне, вы можете ей сказать, что она действительно много наврала о Бунине. В ее книге есть места, которые искажают облик Бунина последних годов его жизни. Она пишет о его слабости, о каком-то, простите, «горшке». Но он мужественно держался до самой смерти, никакого послабления ума у него не было, я знаю это по личным встречам. Конечно, дожить до таких годов, как Иван Алексеевич, непросто, да и я, знаете ли, не буду вальсы танцевать.

— *Вы упомянули о своем брате, князе Димитрии Алексеевиче, Иоанне Шаховском, архиепископе сан-францисском и западноамериканском. Я слышал о нем как об очень интересной личности.*

— К сожалению, во мне нет духовного достоинства брата, скончавшегося недавно. Поэтому, наверное, я такая жесткая. Он всех прощал, любил, не видел в людях зла. Приучил себя не видеть. С мальчишеских лет, еще лицеистом, он был очень остроумным, сочинял всякие эпиграммы, веселился, но, став монахом, отказался видеть смешное в жизни. Когда его в свое время навещали

писатели из России, я ему говорила, чтобы он не верил всем подряд, чтобы был осторожен. Я ему говорила: «Для меня всякий человек — это сено для писателя, а для тебя нет». Он на это отвечал: «Я тебе запрещаю так думать, ты должна в людях видеть только хорошее. Я рад им всем, дело не в вере. Может быть, в них что-то колыхается, они ищут поддержки».

Я скажу вам, друг мой, ничего в них тогда не колыхалось. На этот счет у меня нет никаких иллюзий.

В 1924 году брат стал главным редактором журнала «Благонамеренный», одного из лучших эмигрантских журналов. К сожалению, вышло только два номера. Как поэт он был не совсем моего вкуса: казался мудреным, современным. После пострига первое время он никого не принимал, отошел от всех, мало писал, отказавшись от искусства изящной поэзии.

Снова к поэзии его привел уже не искус, а проповедничество. Стихи его надо принимать как проповеди. Но насколько мне известно, Иоанн Шаховской, у него псевдоним Странник, у вас еще не печатался.

— *Извините за такой вопрос: где вы хотите быть похороненной?*

— Да что извиняться, я сама об этом думаю. Даже советовалась как-то с Никитой Алексеевичем Струве по этому печально-деликатному вопросу. Вот вы, наверное, побывали на кладбище Сент-Женевьев де Буа, видели, в каком состоянии русские могилы. К примеру, могилу моего мужа вы не найдете. Разрушаются памятники, зарастают могилы, нет списков имен людей, захороненных в разные годы. И дело даже не в каких-то громких именах, хотя конечно же святыми для каждого русского навсегда будут могилы писателей, художников, актеров, дело в том, что там покоятся останки воинов: корниловцев, марковцев, дроздовцев, простых людей, отдавших жизни во имя России. Мне так их жалко.

Вы знаете, мне все равно, где я буду лежать, здесь ли, где прошла почти вся моя жизнь, или где-то в другом месте, но придет время, когда из русской эмиграции никого не останется и кладбище придет в полный упадок. Могилы станут для всех чужими. Хорошо бы уже сегодня найти возможность сохранить русские кладбища, маленькие островки России, российской истории. Это было бы приятно, и Франции, давшей приют эмигрантам, России сегодняшней и будущей, которая бы рано или поздно поняла, что здесь лежат ее дети.

...И еще— Зинаида Шаховская несколько раз предупреждала меня: «Выключите магнитофон, то, что я сейчас скажу, у вас не пройдет». Но я не выключал, я верил в нашу гласность. Поэтому некоторые суждения моей собеседницы могут показаться слишком «крутыми» и рискованными, даже на фоне неслыханного плюрализма девяностого года.

Декабрь 1989 г.

Главному редактору
Евгению Сергеевичу Аверину.
«Книжное обозрение». Москва *

Многоуважаемый Евгений Сергеевич,
я была польщена, что «Книжное обозрение» уделило мне столько места и вызвало, судя по полученным мною откликам, большой интерес у Ваших читателей.

Сперва я хотела просто попросить Вас — авторское право — только об исправлении вкравшихся в текст ошибок. Потом подумала: интервью мое с Феликсом Медведевым было первым, данным мною советскому журналисту. Может быть, и Вам и Вашим читателям была бы интересна еще одна такая «премьера»: первая статья, написанная мною для советской газеты. Если это так, будьте любезны мне позвонить о Вашем решении, впрочем, если решение положительно, можете прямо его напечатать — во избежание потери времени. Без изменений и сокращений. Фотография может быть воспроизведена в «Книжном обозрении» только при публикации «Необычного комментария».

Примите мой привет и пожелания

Зинаида Шаховская.

Необычный комментарий

С большим интересом прочла я в «Книжном обозрении» от 9 марта текст моего интервью с Феликсом Медведевым — первое данное мною интервью советскому журналисту. Феликс Медведев был мне рекомендован Н. А. Струве. Я знала, что до меня был он у Анри Труайя и у Натали Саррот, и я предполагала и надеялась, что он включит меня в цикл французских писателей, родивших-

* Книжное обозрение. 1990. № 30.

ся в России, и что я избежну обычных вопросов, которые нам задают посещающие нас советские литераторы и журналисты о «печальной нашей участи». Отступать было поздно, но я видела, что Ф. Медведев опытный журналист. Диалог у нас установился живой — хотя не всегда мы были на одной и той же волне, что совсем естественно. Я даже забыла включить мой магнитофон, прослушать запись или попросить Ф. Медведева (самый верный способ избежать недоразумения) прислать мне до публикации переписанный на машинке текст — что обычно делаю, давая интервью иностранным журналистам.

Я никак не хочу сказать, что Ф. Медведев сознательно изменил наш долгий разговор, и признаю, что за некоторую небрежность результата ответственность падает и на меня. Прослушав запись, я могла бы внести поправки — и письменный комментарий был бы ни к чему, но в наше время газеты и журналы не эфемерны. Они сохраняются на микрофильмах, и нехорошо будет, если любознательные потомки, случайно заинтересовавшиеся мною просто как весьма деятельным и, смею сказать, беспристрастным свидетелем моего века, будут удивлены несоответствием между тем, что было напечатано обо мне при моей жизни, и проверенными сведениями моей биографии.

Сперва я хотела ограничиться только поправкой неточностей, а потом я подумала, что, может быть, читателям, да и главному редактору «Книжного обозрения» будет уж не так неприятно, если на страницах его будет новая «премьера» — мое первое личное выступление в советской прессе в виде комментария к интервью.

1.

Неужели я начала мой разговор с Ф. Медведевым такой фразой: «Ко мне попадают только избранные»? Последнее слово не из моего словаря. И что подразумевать под «избранные»: известные или неизвестные? важные или скромные? бедные или богатые? умные или глупые? злые или добрые? и т. д. Дело обстоит проще: я продолжаю работать, пока могу. Возраст мой работу мою не облегчает, время неумолимо — два ограничения. Помех много. Вот и приходится выбирать среди уважительных и неуважительных помех: праздные встречи и праздные речи одна из них. А для отдыха иногда удастся приберечь часок-другой для общения с друзьями, без этого жить нелегко.

Да, согласна — я всегда была так же непримирима к коммунизму, его идеологии и его методам, как и сейчас. Если термин «антисоветчица» означает, что я желала зла гражданам СССР, то это не так. Я всегда сочувствовала им, во всех их испытаниях.

А вот что в «кулуарах ЦДЛ» называли меня «почти дьяволом», меня сперва возмутило — для православного человека такое соседство, хотя бы словесное, омерзительно. Потом позабавило. Я не знаю, что означают буквы ЦДЛ, но дьявол — отец лжи. Вот он и попутал таинственные «кулуары», вряд ли знакомые с метафизикой, опорочить меня. Он-то знает, что я за Правду.

Малая историческая поправка. Я достигла Англии в январе 1942 года, после 13 месяцев интересных и нелегальных попыток с сентября 1940 года. Гитлер еще не вторгся в СССР, США еще не вошли в войну. В сентябре 1940 года Англия была единственным свободным центром сопротивления и казалась обреченной. В оккупированных странах: в 1940 году сопротивленцев была горстка, в 1941-м их стало больше, в 1942-м — еще больше, в 1943-м и 1944-м примкнули опоздавшие, с 1945 года героев и не сосчитать.

Дальше — совсем неважное. Ф. Медведев меня «разжаловал», не проверив устаревшие сведения на обложке моей книги «Отражения». В 80-х годах меня из кавалера произвели в офицеры Почетного легиона, и из офицера ордена Искусств и Словесности — в командоры этого ордена. Это только для того, чтобы читатели моих книг, которые выйдут скоро в Советском Союзе с новыми биографическими данными, не подумали, что я там прихвастнула.

«Колоссального» архива у меня не было, скажем — интересный и трехязычный. Часть его я продала, часть подарила известному, любящему Россию и русских американцу для его частной коллекции — для того, чтобы архив был в надежных руках. И вот опять это вечное подчеркивание эмигрантской бедности: «не на что было жить». Если бы мне не было на что жить, то я могла бы переехать в чудный замок, куда престарелые французские писатели могут приезжать на отдых и на постоянное жительство, или на выбор в два других замка для членов

Почетного легиона, прекрасно расположенных среди парков и при медицинском уходе. Но даже такие «роскошные» общежития меня не соблазняют. Я люблю Париж, мой квартал, где живу 14 лет и где все меня знают. Непоправимая индивидуалистка, я люблю общаться с людьми разных социальных положений и разных профессий, не только интеллектуальных.

Тут, кстати, напомним о «бедности Бунина». В «Отражениях» я подчеркнула, что Бунин — единственный лауреат Нобелевской премии, умерший не в нищете, но в бедности. Причина этому — типично старорусское неумение обращаться с деньгами. Бунин раздал, растратил по ресторанам, сам не зная куда и зачем, отдал даром свои права на иностранные переводы, угощал прихлебателей, доверял аферистам, а мог бы купить дачу на Юге, или квартиру в Париже и получать ренту из банка до конца дней своих. Вера Николаевна была тоже вполне бесхозяйственна. Я могла убедиться, что многие советские эмигранты 70-х годов очень быстро усвоили все возможности капитализма — при умении они безграничны.

Никак я не могла сказать, что я завещаю остаток моего архива профессору Р. Герра. Заслуги его по собиранию и сохранению русских культурных ценностей во Франции всем известны, и оспаривать их никто не может. Без его коллекционерской страсти многое из им собранного было бы безвозвратно потеряно. Поэтому я уже несколько лет тому назад кое-что ему подарила, кое-что продала, надеясь, что его коллекция не станет мертвым, то есть закрытым для исследователей, архивом.

Мотивы мои для продажи части моего архива Ф. Медведев ошибочно определяет неким узкопрактическим императивом: «есть нечего». Просто я могла бы не беспокоиться об участии книг, свидетельств, корреспонденции, фотографий, картин и т. д., которые чудесным образом сохранились, несмотря на мою приключенческую жизнь. Все они были приобретены или подарены мне уже на Западе. С детства, по понятным причинам, смерть никогда не отсутствовала из моего сознания, а чувство ответственности за то, что имеешь, у меня наследственно. Дарю легко, но и продаю в хорошие руки. Ничего с собою в последнее путешествие не возьмешь.

Задолго до «перестройки» приезжали сюда эмиссары из советских архивов и музеев, упрашивали «вернуть родине» то, что у нас имеется. Я не смешиваю доброту с сентиментальностью, но сентиментальных людей чрезвычайно много — вот их-то и тронуло обращение к их любви к России. Многие из моих знакомых передали тогда свои архивы этим эмиссарам. Время прошло, что с этими вкладами случилось, я не знаю. Хотелось бы думать, что они не затерялись. Не хочу тут вспоминать, что в 1918 году девочкой была свидетельницей уничтожения русского культурного наследия в нашей усадьбе и в других местах. В первом томе моих мемуаров на французском языке «Таков мой век» об этом написано.

О духовном завещании. Оно держится у нас втайне, открывается после смерти нотариусом или душеприказчиками — мудрая предосторожность, а то еще чего доброго наследник будет думать то, что думал молодой Онегин, «лтя в пыли на почтовых», или еще хуже — если завещатель очень богат — захочет нетерпеливый наследник послать ему отравленных конфет.

О «либералах»: наша семья на либералов Февральской революции не походила. Феликс Медведев, понятно, не может знать, что никак нельзя писать, что мы жили «верой в царя и отечество». «За веру, царя и отечество» умерло множество русских воинов, но **верить** в царя и отечество было не надо, надо было им служить. Вера же тут понятие духовное — вера в Бога, и ее отнять никакой тиран не может. Отняли у нас царя и отечество, но вера в Бога — единственное существенное — у нас сохранилась.

Там же — на пленке этого **быть не может** — я называю моего брата Димитрием. В 1925 году, когда мой брат Димитрий принял постриг на Афоне, было ему дано новое имя — Иоанн, и с тех пор **никто** из нас, даже моя мать, не называл его иначе, чем отец Иоанн, а затем — Владыка Иоанн. А стихи он подписывал «Странник». Видимо, Ф. Медведев пленку слушал невнимательно.

О Хрущеве — не наша, а ваша (советская) интеллигенция бранила его за плохие манеры.

Франко не об истине говорил с Гитлером. Он упрямо отказывался пропустить германские войска к Гибралта-

ру и вовлечь Испанию, уже обескровленную гражданской войной, в войну с союзниками.

2.

Мой муж был не советником посла, а первым секретарем бельгийского посольства.

Это Екатерина Фурцева была статной русской красавицей типа «Есть женщины в русских селеньях...». Мария же Ковригина, может быть, была хорошим министром, но красивой ее назвать было нельзя.

Я не могла сказать, что Бальзак, Дюма, Лист просвещали Россию в XIX веке. Россия тоже просвещала Европу, между ними не было железного занавеса.

О Георгии Иванове. Ф. Медведев спросил меня, кто как поэт наиболее талантлив в эмигрантской литературе. Я задумалась, он подсказал — назовите первое имя, пришедшее на ум. Я ответила: Георгий Иванов. Могла бы сказать: Цветаева, Бунин, Ходасевич... Все это прекрасные и друг на друга не похожие поэты.

Вот если бы Ф. М. спросил, какой поэт Серебряного века меня более других восхищает, я бы, не задумываясь, ответила: Осип Мандельштам. И личность его мне тоже нравится — не такое уж частое совпадение.

Совершенная белиберда в фразе «я была тогда горячо влюблена в Вячеслава Иванова». Боюсь, что Ф. М. из моей книги «Отражения» прочел только мою дарственную надпись ему, а там в отделе ' «Мимолетные встречи» я описываю мое первое посещение Вячеслава Иванова в Риме в 1946 г. Ему тогда было 80 лет.

Стараясь понять непонятное, я порылась в моей памяти, ища среди посетителей салона Мережковских, и даже среди тех парижан, которые у них не бывали, в кого бы я могла быть «горячо влюблена», но найти не могла, как ни старалась.

Также из «Отражений» Ф. М. мог бы узнать, что Бунин никогда не звал меня Зиной (близкие мне люди зовут меня другим уменьшительным именем) и я его никогда не звала Яном или Иваном.

В заключение, перейдя от частного к общему — помимо множества фактических ошибок,— меня удивило и то,

что я не узнала своего языка, говора, выражений. В молодости я брала интервью от самых различных по своему социальному положению или образованию людей. Магнитофонов тогда не было. Приходилось рассчитывать на память и на отрывочные записи. И много надо было приложить усилий, чтобы не моими словами, а словами, выражениями — «словесным почерком» — другого человека выразить его мысль, не перекраивая их на мой лад, — знак уважения к неповторимости личности того, с кем я говорила.

Вряд ли в беседе с кн. Юсуповым сказала я «ухлопали Распутина» — «убили» больше в моем стиле. А мой тон разговора с «Юностью» просто фольклорная шутка.

Самый разительный пример — это два моих афоризма в передаче Ф. Медведева. Афоризмы — мысли, выраженные в наиболее краткой форме, — мне привычны, и даже тетрадошка для них специально заведена.

Моя версия: Мало кто заслуживает уважения, но всякий (человек) заслуживает жалости.

Версия Ф. М.: Человека можно уважать, но его всегда можно пожалеть.

Моя версия: Свободен только тот, кого нельзя ни купить, ни испугать (устрашить).

Версия Ф. М.: Только тот человек свободен, кто ни от кого не зависит, ни от кого ничего не хочет.

В обоих случаях и формулировка и смысл не те.

Ф. М. меня ничем не обидел. Не хотела и я его обидеть этим комментарием. Он просто объясняет, почему мне было так трудно согласиться на интервью с советским журналистом: не только поколение нас разделяет, но и жизненный опыт, и привычки. Может быть, и мой «архаический» язык — другого вокруг себя не слышала десятки лет. Но следует постараться эти трудности преодолеть.

Зинаида Шаховская

**И все-таки, Зинаида Алексеевна,
«ухлопали» Распутина-то, «ухлопали»...**

Отзет Феликса Медведева Зинаде Шаховской

Письмо Зинаиды Шаховской, напечатанное в «Книжном обозрении», может показаться неким выпадом против меня: «Поделом досталось ему на орехи...» Поэтому сразу ставлю все на места: пока письмо шло в редакцию

и готовилось к печати, я уже дважды побывал в Париже и заходил на «огонек» к Зинаиде Алексеевне. Она мне и поведала о письме в «КО». Короче говоря, я расцениваю письмо Шаховской как желание продолжить на страницах популярной газеты разговор о ее творческой и жизненной судьбе. Конечно же она права: читателю это должно быть интересно. Но мне бы не хотелось только отшутиться в связи с письмом известной французской писательницы. Тем более что оно вроде бы должно было меня уязвить: «...сознательно изменил наш долгий разговор», «я предполагала и надеялась», «дальше совсем неважное», «Феликс Медведев, понятно, не может знать» и т. д. Но я, простите, не почувствовал себя уязвленным. Недаром в начале своего послания Зинаида Алексеевна заметила: «Медведев—журналист опытный». Хочу верить, что практика интервьюера меня кое-чему научила: хотя бы тому, что самым надежным моим оправданием в возможной конфликтной ситуации всегда является магнитофонная пленка, то есть живой голос человека, свидетельствующего, рассказывающего, отвечающего на вопросы. И неоднократное прослушивание мною магнитофонной записи беседы подтверждает достоверность изложения нашего разговора. И слово «колоссальный» по отношению к архиву, мне кажется, я употребил в своем тексте верно, ибо разве нельзя назвать колоссальным архив, если его хозяин утверждает (цитирую): «Писем у меня было безумное количество» и что часть своего архива Шаховская продала в Америку по причине того, что (цитирую): «жить-то все-таки надо». Точно так же, слово в слово, звучит фраза: «в то время я любила Вячеслава Иванова». Согласно вашему же, Зинаида Алексеевна, голосу, Бунин назвал вас Зиной, и афоризм, который вы придумали, звучит на пленке именно так, как я привел его в «КО». И как бы ни раздражало тонкое лингвистическое обоняние моей собеседницы просторечное «ухлопали», включая магнитофон — «ухлопали» его, Зинаида Алексеевна...

Для меня интервью всегда начинается с первой телефонной фразы. С того, как мой герой эту фразу произносит: доброжелательно, высокомерно, нехотя, скоропалительно... Первые ваши слова, Зинаида Алексеевна, были о том, что вам некогда, что к вам многие стучатся, звонят, что вы принимаете только избирательно и что меня принимаете только благодаря рекомендации Никиты Струве. А под конец почему-то предложили по пути к вам за-

глянуть в маленькое арабское кафе на углу и за ваш счет выпить чашку кофе. Мне это очень понравилось (то есть не то, что за ваш счет, а просто сам этот неожиданный пассаж). И хотя зайти таким образом в кафе я, конечно, не посмел, да и не успел, ведь вы очень строго предупредили не опаздывать, я долго мучился, не начать ли свой рассказ о вас с этого момента. Но начал с фразы: «Ко мне попадают только избранные».

Но было бы не по-европейски совсем никакой вины не признать. Приношу искренние извинения Зинаиде Алексеевне Шаховской за то, что не знал о произведении моей собеседницы из офицера ордена Искусств и Словесности в командора, а из кавалера Почетного легиона — в офицеры. Действительно, из-за разного рода перестроечных новаций как-то перестали уделять должное внимание разного рода регалиям. Даже уважаемый Сергей Михалков не всегда надевает все свои восемьдесят знаков отличия.

И еще с одним не могу не согласиться. Зинаида Алексеевна права: нас разделяют и жизненный опыт, и привычки, и «словесный почерк». Да и что уж греха таить, во многом оправданное предубеждение к советской журналистике. Что ж, виноват, если не сумел развеять это недоверие.

...Снова собираюсь в Париж. И снова позвоню вам, Зинаида Алексеевна, и снова, наверное, зайду в гости. Только теперь, как вы и советовали (это тоже есть на пленке), перед тем как войти, трижды перекрещусь.

Август 1990 г.

"И ВСХОДЫ ЕСТЬ, И ПЛОДЫ"

Беседа с главным редактором журнала «Посев»
А. М. Юговым

В воскресенье 11 ноября 1945 года в лагере беженцев из России — у поселения Менхегоф близ города Касселя в Западной Германии — вышел первый номер еженедельника «Посев». Тираж — двести экземпляров. Из-за нехватки бумаги два номера пришлось печатать на обратной стороне бланков одной немецкой фирмы. Сегодня тираж журнала — несколько десятков тысяч. О его существовании советские читатели хорошо слышаны: не было такого издания в СССР, которое хоть разок бы не обругало «ставленников НТС».

— *Что означает название журнала «Посев»?*

— Сеем разумное, доброе, вечное.

— *А многие в СССР полагают, что вы сеете злое: антикоммунизм, национальную рознь...*

— Да, мы привыкли к пропагандистским клише о нашей работе, о «посеве без всходов». Но мы считаем, что всходы есть. Может, поэтому советская пресса нас не жалует до сих пор и всячески порочит наши идеи и принципы.

— *А каковы они?*

— В двух словах об этом не скажешь. Но если говорить обобщенно, это принципы солидаризма, исповедуемые Народно-трудовым союзом российских солидаристов. Ведь наш журнал — орган НТС, журнал общественно-политической мысли. Наши теоретики подчеркивали, что солидаризм — это не идеология, он отрицает классовую борьбу. Солидаристы считают, что сотрудничество, взаимодействие людей выше по природе, по своей первооснове, нежели классовая борьба, идеи классового, антагонистического разделения общества, то есть первоосновы марксистского учения.

— *Скажите, была ли неожиданной для вас нынешняя ситуация в России: Горбачев, перестройка, гласность?*

— Мы всегда считали, что тоталитарная система не может существовать долго, она идет к пропасти, прежде всего в области экономической. Эти прогнозы я высказывал. Например, в 1984 году в статье «Четыре причины ухудшения экономики СССР». И они сбылись.

— *Что ж, ваша работа, по-видимому, была не напрасна.*

— Да, мы считаем, работали не напрасно, хотя наши идеи, наши статьи, наши теоретические разработки — все они замалчиваются в СССР.

Мы считаем себя оппозицией в стопроцентном смысле этого слова, оппозицией, которая ею стала не сегодня и не вдруг, а существовала многие десятилетия.

— *Насколько мне известно, вы первыми начали писать о Сахарове?*

— Во всяком случае, одними из первых. Было это году в шестьдесят седьмом. И потом не раз обращались к его публицистическим трудам. Недаром в 1973 году Андрей Дмитриевич в интервью шведскому журналисту заявил (и это был мужественный поступок), что он благодарен «Посеву» за его деятельность.

В журнале работали разные люди из разных волн эмиграции, но линия журнала не менялась: мы всегда говорили правду. И всегда в этом опережали советскую прессу. К примеру, в советской официальной прессе правдивая информация о коллективизации появилась только в конце восьмидесятых, а у нас — еще в годы сталинщины.

А вот что писал в нашем журнале в марте 1956 года В. Арсеньев: «Нынешний идеологический застой КПСС больше напоминает мертвящий холод сталинщины, чем период бурных и страстных исканий, которые имели место при Ленине. Подлинный смысл возведения на пьедестал Ленина и его периода заключается в другом. Власти нужно, как это уже делалось ею неоднократно, ввести народ в заблуждение, чтобы выиграть время. Выиграть же время власти нужно для того, чтобы разрешить очень сложную задачу — или идти по пути подлинной демократизации (на что власть не способна), или вернуться к единоличной диктатуре (что при настоящих настроениях в народе и даже в партии очень затруднительно), или сохранить нынешнее положение (невыгодное своей неопределенностью и неустойчивостью)».

Извините за длинное цитирование, но кажется, что последние фразы еще более актуальны сегодня, чем 35 лет назад...

— Печататься в «Посеве» всегда было опасно для советского человека, наверное, и вашим сотрудникам грозила опасность?

— Да, можно назвать имена действительно людей героических, рисковавших жизнью. Многие из них погибли, многие стали жертвами КГБ. Так — это было в пятьдесят третьем году — большой резонанс в западной прессе получило дело Александра Рудольфовича Трушновича, который исчез при до сих пор не выясненных до конца обстоятельствах. Его похитили, завернув в ковер. Неизвестно, сразу ли его убили, или это был неудавшийся розыгрыш с якобы его перебегом. Но, по-видимому, при похищении он сопротивлялся и его пришлось уничтожить. Слухи были разные, даже, мол, его видели в лагере вместе с Валленбергом. История Валленберга широко освещается в советской прессе, а вот о Трушновиче молчат. А между тем биография его необыкновенна. Серб Александр Трушнович в первую мировую войну перешел на сторону России, затем воевал на стороне белых в корниловском полку. Поскольку он был югославским подданным, ему удалось с семьей выехать в двадцатых годах на родину, где он стал активным деятелем нашего Союза, а в конце сороковых годов вел работу в Западном Берлине. Работа НТС в Западном Берлине вызывала раздражение советских органов. Именно в пятидесятые годы была совершена серия терактов против НТС и «Посева».

Другой жертвой был Юрий Андреевич Трегубов, похищенный КГБ и отсидевший восемь лет. Он написал книгу «Восемь лет под властью Лубянки». Он жив и сейчас, пишет книги на немецком языке, стал немецким писателем.

В Австрии похитили Кремля — да, был человек с такой странной фамилией. Фамилия нерусская, но был он русским человеком и, по некоторым сведениям, умер в лагере. Сын Кремля стал профессором одного из американских университетов.

Широкую огласку получила и попытка покушения на тогдашнего председателя Исполнительного бюро Каловича. Гебист Николай Хохлов, посланный на это дело, в последний момент отказался его выполнять и перешел на сторону «противника». Он жив и сейчас, преподает психологию где-то в Калифорнии. Давно уже у него вышла книга «Право на совесть», весьма неплохая книжка, ее не мешало бы разыскать и переиздать. Героиня этой кни-

ги—любимая женщина Хохлова, кажется, ее звали Ядвига, благословившая его на решительный поступок. Конечно, Москва не могла простить измены. И на одной из лосевских конференций Николаю Хохлову подсыпали радиоактивный талий. По-моему, это был первый случай такого применения препарата. В перерыве конференции восточногерманский резидент, работавший на КГБ, подсыпал Николаю Евгеньевичу этот страшный яд, но тот успел выпить лишь глоток. Поэтому и выжил. Лишился, правда, волос. Его быстро отвезли в американскую клинику и выходили.

Террор против нас начался сразу после смерти Сталина. Известно, что некоторые распоряжения на убийства подписаны Маленковым и Хрущевым.

— *Неужели вопросы решались на столь высоком уровне?*

— Да, не секрет, что советские правители решали судьбы некоторых из нас. Особенно мстили перебежчикам.

— *Но сегодня вам уже не грозит такая опасность. Как теперь работаете?*

— Конечно, в переломные моменты истории становится интереснее и жить и работать. Интереснее, но и сложнее. Мы видим, как на родине повторяются наши идеи, наши мысли в документах, статьях, публикациях экономистов, историков, социологов. Поразительно, но повторяются даже программные положения НТС. В частности, именно наши постулаты в области экономической сферы, социальных отношений. Мы писали о том, что перестройку надо начинать с сельского хозяйства — в ненакормленной стране не проходят никакие реформы, писали о том, что какую-то часть пути надо пройти в рамках тоталитарного режима, но совершив перестройку, которая в тех масштабах максимально возможна. Тем не менее признавать нас Союз не хочет. Может, потому, что мы по-прежнему считаем: не может обанкротившаяся партия, чьи идеи и дела потерпели фиаско, вести и дальше страну «вперед». Мы, естественно, не хотим ни взрывов, ни крови, все это нам приписывается советской стороной, но, уверяю вас, это неправда. Все наши помыслы, в особенности последних лет, направлены только к одному — к варианту максимально безболезненного перехода к рыночной экономике. А самая первая статья на эту тему была напечатана «Посевом» в январе 1972 года и называлась «Плата за эксперимент».

— *Имелся в виду марксистско-ленинский эксперимент?*

— Ну конечно. И тогда я писал, что без помощи Запада России в этом вопросе не обойтись, и теперь считаю так же, потому что Россия на своей шкуре экспериментировала за весь мир и расплатилась за весь мир. Я помню, когда мы опубликовали статью, наши оппоненты говорили, что это наивно, на это Запад не пойдет и эту помощь Россия не примет. А что происходит сегодня?

«Посев» писал и о президентском правлении в СССР, и о многопартийности, и, естественно, о плюрализме мнений, о гласности.

— *Скажите, являются ли секретом формы распространения «Посева»?*

— До недавних пор мы распространяли журнал среди тех, кто попадал на Запад: моряков, туристов, артистов... Сегодня стало возможным просто ввозить журнал в СССР, посылать его по почте. Но это финансовые расходы. А мы ведь небогаты. Это в рассказах КГБ у нас огромные деньги, нас содержат спецслужбы всех стран... У нас такие же финансовые условия, как в старые добрые времена у коммунистов, — партмаксимум. На него и существуем. Да вы и сами видите, как живут сотрудники «Посева». Небогато по здешним меркам. Мой пример еще нетипичен, потому что жена-француженка получила наследство. На него и купили сначала квартиру, а потом и этот дом.

— *Хотелось бы узнать о вашей личной судьбе. Как вы попали на Запад?*

— Это не так интересно. Уезжал из Одессы в 1971 году. За участие в демократическом движении грозила тюрьма. Меня открыто предупредили, что копится материал. Стоило подать заявление на отъезд — все оформили мигром. Тогда еще пути через Америку не было, все ехали через Израиль. Поехал и я, хотя я не сионист. Больше года проработал конструктором, потом, так вышло, разошелся с женой и уехал в Германию по договору. С тех пор здесь. Безвыездно.

— *А в «Посеве»?*

— С семьдесят третьего года. Писал. Был ответственным секретарем. Штат у нас небольшой, всего несколько человек, объединенных любовью к родине России.

Август 1990 г.

ПАДЕНИЕ с «ЗИЯЮЩИХ ВЫСОТ»

У Александра Зиновьева в Мюнхене

С писателем Александром Александровичем Зиновьевым я беседовал в Мюнхене, где он живет, летом 1990 года. Признаюсь, не раз выслушивал от своих друзей и читателей претензии-просьбы: почему не встречаюсь с Зиновьевым — необыкновенным писателем, интересным человеком. Честно говоря, я немного побаивался встречи с ним. Побоялся его парадоксального, взрывчатого, неожиданного, но, как потом выяснилось, абсолютно логического ума. Оппонировать Зиновьеву я не собирался, зная, что переубедить его в чем-то бесполезно. Поэтому, сидя в его уютном небольшом доме на окраине огромного мегаполиса за чашкой вкусного чая в присутствии его замечательной жены и друга Ольги Зиновьевой, а также писателя Эдуарда Кузнецова, я записал почти четырехчасовой монолог писателя. Лишь изредка пытался вставить какие-то вопросы, чтобы хоть как-то направить беседу в нужное мне русло.

Когда позже (через полгода), после Указа Президента СССР о возвращении Зиновьеву гражданства, я прочитал в итальянской газете «Стампа» его интервью, то понял: писатель по-прежнему верен себе. Вот как приблизительно звучит один из пассажей этого интервью: «Обнародование решения Михаила Горбачева о возвращении гражданства диссидентам-изгнанникам меня не касается. Я остаюсь жить в Западной Германии, где живу с 1978 года, когда был вынужден покинуть СССР... Что разбито, то разбито».

Добавить здесь нечего. Но писатель А. Зиновьев, без творчества которого невозможно представить литературу русского зарубежья, возвращается на свою родину, поэтому нам интересны его мысли, его парадоксы, даже его политический эпатаж...

— *Александр Александрович, я почти ничего не знаю о вашей семье, о родителях?*

— Семья наша простая, крестьянская, но по тем временам и условиям высококультурная. В наших краях сохранилось много старинных традиций. Одна из них такая—земля не могла прокормить большие семьи, и мужчины уходили на заработки в город. Родом я из Чухломы Костромской области. Дед работал в Москве, отец тоже подался в столицу, а мать осталась в деревне. Мужики приносили культуру городов на село. В нашем доме было огромное количество книг, картин. Вообще-то наша деревушка и район считались медвежьим углом. Но вот пример. Один из наших чухломских купцов, Юдин, едва ли не первый в России основал фотографию. Он владел такой огромной библиотекой, что позднее ее купили для библиотеки Конгресса США. К сожалению, Россия тогда не могла предотвратить эту продажу. Так вот, в наших краях была поголовная грамотность. Смешно, но когда вследствие коллективизации люди бежали в города, бросая дома, то мы, мальчишки, лазили по чуланам и чердакам и находили книги. Так, в ту пору я прочитал Кнута Гамсуна, Гюго. Когда в 1933 году меня отправили учиться в столицу, я говорил почти правильным московским говором.

Семья у нас была огромная, и родители действовали так: пока отец жил в Москве, мать отправляла туда детей одного за другим. Бегство из деревни для семейства Зиновьевых растянулось на шестнадцать лет.

— *Я слышал, что в войну вы были летчиком?*

— По-всякому было. Начал войну танкистом, но в танке воевать не пришлось. Хотя мы знали, что войны не миновать, по чьему-то, однако, приказу, чтобы навести тень на плетень, мы законсервировали танки, в результате чего наш полк бежал пешим порядком. Нелепость! Потом я попал в авиационное училище, некоторое время участвовал в боях.

— *Как вы тогда воспринимали Сталина?*

— Антисталинистом я стал уже в 1938 году, а через год — членом небольшой группки, собиравшейся убить вождя народов. В том же году меня арестовали. За что? За выступления против культа Сталина. Однажды с Лубянки меня переводили на квартиру КГБ, чтобы там я раскрыл своих сообщников. По дороге произошло замешательство и я сбежал. Год странствовал без документов в Сибири, на севере. В сороковом попал в армию. Но

антисталинистской пропагандой занимался вплоть до смерти Сталина, до хрущевского доклада. Причем занимался почти открыто. Удивительно? Вроде бы да. Хочу в связи с этим заметить, что советская печать искаженно освещает тот период. Любопытный пример. О том, что я арестовывался, о том, что скрывался в 1939-м, знали многие. Однако я поступил в университет, и на меня никто не донес.

— *Случайно...*

— Почему случайно? Мой близкий друг того времени был парторгом факультета, а я беспартийным. Он знал все мои «грехи». И вместе с тем благодаря ему я остался в аспирантуре. На третьем курсе меня собирались исключить за нехорошие разговорчики. Спас секретарь парткома университета, который также многое обо мне знал.

Дело в том, что уже во время войны сформировались сильные антисталинистские настроения в стране, среди бывших фронтовиков на этот счет появилась какая-то солидарность. Но после смерти великого вождя моя борьба утратила смысл. Сталина уже многие клеймили открыто. И я стал относиться к нему как к явлению истории, отстранение и взвешенно.

Здесь у меня вышла книга «Нашей юности полет», в которой я подхожу к Сталину с объективно-социологической точки зрения. Я не считаю Сталина хорошим человеком, он совершил огромные злодеяния. Но вместе с тем, на мой взгляд, он является величайшим политическим деятелем XX века. Великий не значит хороший. Наполеон мерзавец, но XIX век — это век Наполеона. XX век я считаю веком Ленина и Сталина, самых крупных политических фигур. Когда у нас говорят «великий», подразумевают «добрый», «хороший»... Чепуха! Чингисхан — великий исторический деятель, но о нем не скажешь, что он добрый, хороший. А сколько было добрых и Хороших, но ничтожеств!

В своей книге я даю мое понимание сталинской эпохи.

— *И себя вы тоже считаете ее продуктом?*

— Несомненно. Но это не значит, что я сталинист. Ничего подобного. Сталинская эпоха породила много людей, к которым я отношусь с величайшим уважением. Собственно, мое поколение спасло страну от гитлеризма. Я имею в виду людей, родившихся в 1918—1922 годах, то есть в сталинские годы достигших зрелости. И моему поколению не повезло больше всех, это оно вынесло

самые большие тяготы советской истории. К моему поколению принадлежат такие люди, как Солженицын, Окуджава, Галич, Сахаров.

— Скажите, вам приходила мысль сравнить Сталина с Гитлером?

— Я всегда протестовал против такого сравнения. В свое время ходила такая шутка: «Кто такой Гитлер? Это мелкий бандит сталинской эпохи». Эту шутку я пустил в оборот еще в сороковом, когда появились тенденции такого сравнения. Сталин и Гитлер — качественно различные явления. Другое дело — они уподоблялись друг другу. Но это же естественно, в истории так бывает, когда соприкасаются враги, они уподобляются друг другу во многом. Но эти двое принципиально различны. Гитлер — явление западной демократии. Сталин — коммунистической системы. Гитлера надо было судить как преступника. Сталин не преступник. При нем совершалось много злодейств, но Сталин явление нового качества — явление коммунистической революции.

— Но как же миллионы уничтоженных им людей? Десятки миллионов! Разве вы отрицаете это?

Чингисхан тоже уничтожал людей. Он занимал какой-то район и десятки или сотни тысяч людей вырезал. Вы будете сравнивать Чингисхана с Гитлером? Мало ли кто кого вырезал? По приказу президента США на японцев сбросили две атомные бомбы. Будем сравнивать? А что тогда выбирать в качестве критерия? Если коварство, уничтожение людей без суда и следствия, то пропадут все основания для серьезного отношения к истории. Сравнивать вы можете кого угодно с кем угодно. Черчилль был подлец дай бог всякому, а его считают на Западе великим политическим деятелем, хотя в сравнении с Гитлером и Сталиным он червяк. Все зависит от того, с какой стороны подойти, с моральной ли точки зрения, с юридической, социологической, исторической.

' — А не говорит ли в вас сейчас холодный логик?

— Логика анализирует правила мышления. В данном случае я подхожу к проблеме как социолог. Я не политик, никогда им не был. На короткий промежуток времени я попал в группку, которая хотела убить Сталина, но мы не имели политических целей, у нас не было задачи преобразования мира. Лично мною двигал протест: тяжелое положение, разорение деревни, голод и так далее. Кроме того, меня раздражал сам путь Сталина и то, что возвеличивают человека недостойного.

Я сейчас написал много критических статей о Горбачеве не потому, что я питаю к нему какие-то положительные или отрицательные эмоции, а потому, что здесь, на Западе, его стали раздувать до размеров величайшего политического деятеля XX века. Чепуха это! Такие вещи у меня всегда вызывали протест. К Сталину было особое отношение, он символизировал для меня мир зла. И я знал, что мы погибнем и ничего из нашей затеи не выйдет, но моими настроениями владели демонические начала; враг — огромный, масштабный и борьба с этим врагом для меня была адекватной ему...

Антисоветчик, высосанный из пальца

— *А как вы пришли в литературу?*

— Я не состоял в Союзе писателей, не был профессиональным литератором, и я плевал на принятые литературные каноны и все такое прочее. Чувствуя себя абсолютно свободным, я использовал все литературные средства, которыми располагал: серьезные теоретические эссе, шутки, памфлеты, фельетоны, стихи, анекдоты. Кстати, я был одним из создателей множества анекдотов, появившихся в Москве в послевоенные годы и бытовавших в форме народного фольклора. Часть из них вошла в мои книги.

То, что я создал, то, что получилось в результате, я называю синтетической литературой. Это не компиляция, не машинальное соединение различных приемов. Это новая форма. Так что с самого начала я сознавал, что творил: мой первый роман социологический по содержанию и синтетический по литературным средствам.

— *Что движет вами, литература или политика?*

— Политиком я не был никогда. Свою деятельность начинал как социолог, потом меня бросили в философию, из философии в логику. В логике я добился успеха, международного признания.

— *Почему же занялись литературой?*

— Трудно объяснить. Просто время пришло, в голове что-то накопилось. Никакой цели перед собой я не имел — мне хотелось облегчить душу. Я потерял контакты с друзьями, оказался в изоляции, в одиночестве, стал разговаривать с самим собой. Позади была прожитая жизнь, и хотелось объяснить свое отношение к обществу, окружению, к определенным жизненным проблемам.

Но расчёта стать писателем, повторяю, у меня не было. Расчёта на то, чтобы потрясти мир, вызвать какой-то эффект, принимать участие в диссидентских акциях. Ничего подобного.

Диссидентом я не был, моя жизненная позиция — это позиция крайнего индивидуализма. Теперь, конечно, можно обмысливать, анализировать мои книги, придумывать любую концепцию, но я этого не хочу. Я исхожу из факта: так получилось. Я создал собственную идеологию, отличную от марксизма, от всего того, что было до этого, построил свою теорию советского коммунистического общества. В значительной мере она у меня изложена в «Зияющих высотах». Я стал думать, что, может быть, я первый, кто рассматривает коммунистическое общество не через призму марксистских представлений и прожектов, а как эмпирически данный факт. Профессионал в области логики и теории познания, я знал, как эмпирически нужно исследовать данные явления. И применил выработанные мной логические и философские методы к феномену советского общества.

— *Создается впечатление, что «Зияющие высоты» вы писали как бы для себя...*

— Я и сейчас продолжаю разговаривать с самим собой. До сих пор я сам себе главный и, может быть, единственный оппонент. Конечно, я общаюсь, разговариваю, полемизирую со многими, какие-то точки соприкосновения, взаимопонимания мы находим, но равноправных партнеров, к сожалению, нет.

— *А, собственно, литературное-то творчество интересует вас или по-прежнему не волнует?*

— Интересует, но своеобразно. Я пишу книги таким образом, чтобы их можно было читать во всех направлениях. Что это значит? Откройте книгу посередине, начинайте читать. Вам интересно? Считайте, что я достиг своей цели. В моих книгах нет сюжета. Почему так? Поясню. Я писал свои книги в расчете на такого читателя, каким был я сам. А прежде чем самому писать книги, я читал их пятьдесят лет, и у меня, как у читателя, сложились определенные претензии к разным авторам. Ведь читал я их определенным образом. В частности, «Войну и мир», «Братьев Карамазовых», «Тихий Дон», другие великие книги я читал так: брал какой-нибудь кусочек, прочитывал, потом в другом месте читал, а потом уже читал книгу целиком. Таков мой метод знакомства с литературными произведениями. А когда я стал писать

сам, я перенес такое отношение к другим на самого себя. Прайда, к такому необычному методу писания я был вынужден прибегнуть еще и по причинам иным. Мне стало известно, что в органы безопасности на меня пошли доносы, дескать, занимаюсь чем-то нехорошим. Установили за мной наблюдение. При такой ситуации каждая страничка могла оказаться последней. Я вынужден был так написать эту страничку или главку, чтобы она была законченным произведением. Поэтому, обратите внимание, все мои книги сконструированы из небольших кусочков, в каждом из которых содержится та или иная оформленная идея. Для меня важен не сквозной сюжет, как в традиционном романе, а некое развитие идей, и главными героями моих литературных произведений являются не люди, а идеи. Люди для меня важны прежде всего как носители идей. Я не являюсь писателем-живописцем в традиционном смысле, я не описываю внешность людей, природу, для меня это несущественно. Для меня главным являются идеи.

— *А как вы относитесь к тому, что некоторые читатели называют вас графоманом?*

— Ну пусть эти люди напишут хотя бы строчку такую, какую написал я.

— *А как вы вообще относитесь к оценкам вашего творчества?*

— Я вовсе не рассчитываю на бурные аплодисменты, а оценкам придаю мало значения. Впрочем, для меня важны оценки только определенных лиц.

— *Вы можете их назвать? Это любопытно.*

— Когда вышли «Зияющие высоты», я встретился с Надеждой Яковлевной Мандельштам. Держа книгу в руках, она прямо с порога сказала: «Эта книга моя, такую книгу я ждала всю жизнь...»

Сходную оценку дала Раиса Борисовна Лерт. Первая рецензия на книгу написана ею. Рецензия положительная. Так вот, мнение таких читателей было для меня чрезвычайно важно.

Еще пример. Во Франции организовали мой литературный фестиваль. Пришла на него одна пожилая женщина и сказала, что «Зияющие высоты» она прочитала двадцать раз и что она читает ее как библию. Так вот, для меня такие мнения важнее любой Нобелевской премии. Нобелевская премия является политической премией, стоит только посмотреть, кто ее получал за последние десятилетия. И присуждали ее отнюдь

не за литературные достоинства. А оценка таких людей, о которых я говорил, касается сути.

Ведь я не традиционный писатель, и мне до сих пор дела нет, какой у меня статус.

— *Вы назвали имена Льва Толстого, Достоевского, Шолохова. Каковы ваши претензии к классикам литературы?*

— Если я принимаю писателя, то принимаю безоговорочно. Никаких претензий у меня к нему нет и быть не может. Скажем, если я принимаю Маяковского, он для меня царь и бог. Я считаю Маяковского одним из величайших поэтов за всю историю литературы. Или, скажем, для меня вне критики Михаил Лермонтов.

— *Кто еще?*

— Венедикт Ерофеев, его повесть «Москва — Петушки» вне критики. Как жаль, что он так рано умер. Высоцкий вне критики, стихи Окуджавы, Галича... Но я это говорю как читатель, а не как писатель. Как писатель, я о себе говорю, что я так писать не буду... Не потому, что не могу.

— *А как вы можете?*

— Я могу лучше. И я знаю, что у меня нет конкурентов в том, что я могу. А конкурировать с такими людьми бессмысленно...

— *Александр Александрович, а что заставило вас уехать на Запад?*

— Нас просто выслали, меня и жену с дочерью. Предложили убраться, в противном случае грозились арестовать. Причины—опубликование на Западе книг «Зияющие высоты» и «Светлое будущее». Уволили с работы, отобрали степени, звания. Два года я, доктор наук, имеющий мировую известность как логик, профессор, жил без работы.

— *А что вам инкриминировалось?*

— Антисоветская деятельность. Потом, когда лишали гражданства, сформулировали так: «За деятельность, несовместимую со званием гражданина Советского Союза...»

— *Скажите, что же все-таки привело вас к разочарованию в системе?*

— Ни к какому разочарованию меня ничто не приводило, я просто в своих книгах анализировал советский образ жизни. И результаты излагал в литературной форме. В «Зияющих высотах» показаны все аспекты жизни советского общества.

— *И вы не считаете себя антисоветчиком?*

— Ни в коем случае. Конечно, я не могу сказать, что я апологет советского общества. Нет, я не апологет, но я и не антисоветчик. Я не апологет коммунизма, но я и не антикоммунист. Просто я открыл в себе кое-какие способности понимать советское общество, анализировать его. И результат моего анализа не понравился власти имущим, моему окружению. Как это ни покажется странным, у меня не было особого конфликта с властями, у меня прежде всего возник конфликт с друзьями, коллегами, ведь главным объектом моей сатиры были прежде всего они. И рекомендации властям они давали, и рецензии на мои работы они писали. Ситуация, в некотором роде сходная с той, в которой оказался Гоголь, написав «Мертвые души», или Щедрин, написав «Историю города Глупова». Меня подвергли ostracismu. Вы думаете, Брежнев читал «Зияющие высоты»? Да нет, конечно. Ему заключения писали другие'. Кто? Да мои бывшие друзья, с которыми я был знаком десятки лет. Я это точно знаю, мне потом рассказали, кто писал заключения на социологические аспекты, кто на литературные, а кто на философские.

— *Если я вас правильно понял, вы не против ни Сталина, ни Ленина, ни Брежнева?*

— Я не против и не за. Я принимаю все как реальность. И вижу свою задачу в одном: изучить эту реальность и описать ее. Как исследователь, хочу понять эту реальность как можно лучше и построить теорию, которая дает мне возможность делать прогнозы. Как писатель, я хочу реализовать свои литературные способности. Большого и не надо.

— *Но вы принимаете эту систему или не принимаете?*

— Такой постановки проблемы у меня нет. Она для меня, повторяю, реальность. С таким же успехом вы можете у меня спросить: «Принимаю я солнце или нет?» Я никогда не ставил перед собой задачу свержения коммунизма или реформы его. Если бы я был сейчас в Советском Союзе, я не-принимал бы участия ни в каких оппозициях, ни в каких движениях. Это не мое дело. Скажем, если бы я был певец, я бы пел. У меня есть способность делать то дело, которое я делаю. И большего я не хочу. А кто и как это использует — не мое дело. Иногда мне говорят: «А не думаете ли вы, что ваши книги используют во зло?» Но кто судья и что считать злом, а что не злом, что может причинить зло, а что

не может? Кроме своей собственной совести — других судей нет. В принципе я, русский человек, не хочу зла своей стране, моей родине. И я не собираюсь отрекаться ни от русской истории, ни от всего, что было. Вот Лермонтов, мой любимый с детства писатель, в предисловии к «Герою нашего времени» писал, что нужны горькие лекарства. А сейчас вся Россия заполнена разоблачительными сообщениями. Я же начал писать много лет назад, и, кроме того, то, что я делал, этого не делал никто и до сих пор еще не делает. Было принято считать, что все, кто выехал на Запад, это антисоветчики и непременно должны играть роль антисоветчиков. Я был единственным, кто по приезду сказал: «Я — советский человек». И потом все время это подчеркивал. И я не собираюсь отрекаться от «советскости».

Гора, которая родила мышь

— *Ваши научные труды — препарирование марксизма. Что же могло вызвать к вам резко негативное отношение?*

— Да, кандидатскую я писал о «Капитале» Маркса в 1954 году. Диссертацию запретили, она находилась в секретном фонде и циркулировала в машинописных копиях, которые были как бы предшественниками самиздата шестидесятых — семидесятых годов.

— *Почему же ее запретили?*

— В силу необычности подхода к теме. Ситуация случилась забавная. Я отказывался ссылаться на Сталина. И вы знаете, кто помог мне вытащить диссертацию на защиту? Александров, заведующий отделом ЦК. Он дружил с Марком Донским, а я благодаря Григорию Чухраю и Карлу Кантору, моим друзьям, был знаком с Марком Семеновичем. Я рассказал ему эту историю. Он поведал ее Александрову, который приказал выпустить работу, не читая. А кто же потом препятствовал утверждению моей работы? Так называемые либералы, прогрессисты. В моей судьбе переплелись два совершенно различных аспекта: отношение среды ко мне и политический аспект. Люди, для которых я был неприемлем как ученый и как писатель, использовали политическую ситуацию, чтобы помешать мне проявиться. Если бы сейчас советским писателям предложили проголосовать — публиковать книги Зиновьева в СССР или нет, то, уверяю вас, подавляющее большинство высказалось бы против.

Почему? Потому что мои книги нарушают принятый в литературе порядок. Логика—аполитичная наука. Почему, спрашивается, мои коллеги так набросились на меня? Потому что я создал мою собственную логическую концепцию, которая сводила на нет все, что они делали.

Когда я приехал сюда, меня пытались изобразить жертвой режима, но я заявил, что я не жертва режима, режим — моя жертва. Режим от меня пострадал больше, чем я от него. Я — характерный пример действия тех законов коммуналности, которые сам описывал. Одним из проявлений этих законов является то, что для необычного писателя, для писателя-новатора главный враг — другие писатели, а не какие-то политики, как для ученого — ученые, для артиста — артисты... Но одно дело, когда в стране полсотни писателей, и другое — когда их десятки тысяч.

— *Вы знаток Маркса. Мы сегодня критически подходим к тому, насколько его теория оправдалась практикой. Какова ваша точка зрения на этот счет?*

— Марксизм — явление сложное. Те, кто сегодня отвергают марксизм, как правило, его не знают. Мое отношение к нему было критическим с самого начала. Но я не отвергал марксизм. Я его изучал. Досконально, основательно, как логик. В Москве есть немало людей, которые вам могут подтвердить, что вряд ли в мире найдется кто-то еще, кто знает «Капитал» так, как знает его Зиновьев. Я считал и считало марксизм не наукой, а идеологией, величайшей идеологией в истории человечества. То, что его сейчас оплеывают и во многом отбросили, не значит, что марксизм ничто. Я видел свою задачу не в том, чтобы его отбросить, а в том, чтобы его преодолеть, сотворив что-то получше. И я думаю, мне это удалось, я построил свою концепцию, которая лучше марксистской. Да, да, не удивляйтесь. Одним из сильнейших аспектов марксизма был диамат. Нынче он во всем мире дискредитирован и оплеван. А между тем это огромная потеря для человечества. Без диалектического материализма понять современный мир, и в особенности советское общество, абсолютно невозможно. В марксизме многое переплелось, были сделаны огромные открытия. Скажем, марксистская критика капитализма в огромной степени сохраняет свое значение и для современности. Марксизм — явление культуры. Но знаете, что произошло в Советском Союзе? Сделав марксизм государственной идеологией, его вульгаризировали. Появилось огром-

ное количество идеологов, профессионалов-марксистов. Их интеллектуальный уровень чрезвычайно низкий, это в основном бездарные люди. Они довели марксизм до состояния, достойного насмешки. А ведь произведения Маркса, Энгельса, Ленина — величайшие явления в истории культуры, а такие сочинения Маркса, как «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», или Энгельса «Крестьянская война в Германии», или ленинские работы,— это великолепные памфлеты, замечательные по своему интеллектуальному уровню. А марксизмом принято считать то, что получилось на деле. Как говорит один из моих литературных героев: «Гора марксизма родила мышь — работу Сталина о диалектическом и историческом материализме и всю последующую вульгаризацию идеологий». Теперь другое. Советская идеология, которая считается марксизмом-ленинизмом, в массе своей явление довольно жалкое. И, кстати, одной из причин кризиса советского общества является именно жалкое состояние идеологии, жизненная ее неспособность, неадекватность времени. Но и это не означает, что марксизм есть вздор.

— *Вы так жарко отстаиваете марксизм, хотя во всех ваших произведениях вы его критикуете, развенчиваете? Как это понять?*

— Да, мои книги полны издевок. Но я издевался над марксизмом, имея перед собой его реальных носителей — советских философов, пропагандистов... Если взять нынешнее интеллектуальное состояние советского общества, оно достойно презрения и насмешки. Вот и в моей последней книге — «Катастрожка» я продолжаю эту критическую линию.

— *Вопрос из разряда банальных. Во всяком случае, уже банальных. Как вы расцениваете такую идеологическую фигуру, как Суслов?*

— Считаю, что в брежневские годы в советском обществе были две самые крупные политические и идеологические фигуры — Андропов и Суслов. Андропов создал агентурную империю, самую мощную агентурную сеть, быть может, за всю историю человечества. Эта сеть на Западе сыграла огромную роль, и именно Андропов во многом подготовил нынешнюю ситуацию. Горбачев— преемник Андропова, а не кого-то другого. Суслов же создал беспрецедентную идеологическую империю, гораздо более мощную, чем в сталинские годы. И вот вам пример диалектики: создавая эту империю, Суслов одно-

временно наносил огромный ущерб и самой идеологии. Мера была нарушена. Идеология была настолько огромна, что она стала вызывать отвращение, протест и превратилась в предмет насмешки. В советской истории Суслов — одна из самых гнусных фигур. Он стоит в одном ряду с Берией и Ждановым...

Чем кончаются коллективные прыжки в высоту

— Многие из нас полагают, что мы по-прежнему строим социализм. Я уверен, есть и такие, которые верят в построение коммунизма...

— То, что называют перестройкой, это не оздоровление, не прогресс, это — болезнь. Перестройка есть кризис, который выражается в том, что система власти потеряла контроль над обществом, высшая власть потеряла контроль над системой власти. В том, что нарушены принципы социальной организации, в частности приватизация, поиски рыночной экономики,— это кризисные явления, это болезнь. Раскол общества, демонстрации и все такое прочее — это болезненные явления. Кризис в СССР на Западе считают крахом, дескать, на Советах можно ставить крест. А я считаю такую точку зрения абсурдной и даю пять-шесть лет с сегодняшнего дня, в течение которых Советский Союз начнет выходить из состояния кризиса. Считаю, что и судьба Восточной Европы еще не решена. Не надо торопиться с выводами.

Все зависит от того, как понимать коммунизм. Если понимать коммунизм как политический режим, выдуманный марксистами,— это чепуха, абсурд. Коммунизм есть строй, есть социальная организация, и вырастает он естественным образом, корни коммунизма есть во всяком обществе, я называю эти корни явлениями коммунальности. Они заключаются в том, что масса людей вынуждена жить совместно. И элементы коммунизма вы можете видеть в любом обществе, есть они и на Западе. К явлениям коммунизма относится государственный аппарат в любом западном государстве, полиция, армия, всякого рода общественные организации, любые фирмы организованы примерно по тем же принципам. Когда в Советском Союзе думают, что здесь, на Западе, что-то другое,— это чепуха, здесь вы найдете все то же самое. Иногда даже в гораздо большей степени.

Вот говорят, план виноват. А западная экономика гораздо больше плановая, чем советская.

Влияние на индивида коллектива, окружения? Здесь то же самое, только давление это страшнейшее. Советское идеологическое оболванивание в подметки не годится западному. Разница в том, что в Советском Союзе это оболванивание вызывает протест, а здесь его потребляют с удовольствием. Ежеминутно, ежечасно кино, литература, телевидение, реклама каждую минуту оболванивают людей настолько, что они даже не замечают того, что оболванены.

В СССР понятия не имеют о том, каковы закономерности коммунистического советского общества. Политика и властей, и оппозиции — это авантюризм общественного развития. В СССР не имеют ни малейшего понятия о том, что из себя представляет западное общество, что такое парламентаризм, что такое демократия, рыночная экономика. Если бы сейчас я собрал советских идеологов, руководителей всех рангов и устроил им экзамен по западному парламентаризму, по рыночной экономике, то, уверяю вас, это был бы фантастический материал для сатиры.

— *Но у нас есть наука, есть ученые. Вы считаете, они ни в чем не разбираются?*

— Во-первых, построить науку не так-то просто. Один из принципов коммунальности, о которых я писал в своих книгах, таков: чем больше людей стремится к истине, тем больше заблуждений. На Западе десятки, сотни тысяч специалистов по Советскому Союзу один другого глупее. Причем, чем больше они получают образование, тем глупее. Глупость — это не есть отсутствие ума, это особая культура, и она культивируется. Так называемая советология, кремленология—это же сборище шарлатанов. Приведу такую аналогию. Нужно прыгать в высоту. В СССР 290 миллионов человек. Разве все они могут прыгнуть выше, чем один чемпион? Нет, конечно. Научные открытия делают одиночки, истина есть удел одиночек, а не масс. Чем больше людей разделяет какое-то убеждение, больше гарантии того, что они заблуждаются. Кроме того, люди не заинтересованы в истине. Они заинтересованы в том, чтобы получать аплодисменты на Западе, аплодисменты толпы. Истина им не доступна, она им не нужна. Вы думаете, Горбачев и другие заинтересованы в истине? Они ее боятся. Истина—это чувовищная вещь, это большая ответственность.

Такого интеллектуального идиотизма, какой сейчас в Советском Союзе, никогда в советской истории не было.

Все стараются друг друга перешеголять. Никакое здоровое слово в этой ситуации услышать невозможно, тем более основанное на каких-то научных соображениях, выводах.

В СССР уже, наверное, 50 тысяч дипломированных философов. Чего они все стоят? Не в порядке хвастовства, но я вызываю их на соревнование. Вызываю один. Пусть все они пишут учебник по философии, по идеологии. Я буду писать один. И напишу лучше. Почему? Да потому что за моими плечами опыт научной работы. Л этим тысячам нужна не истина. А что-то другое.

А сколько в Советском Союзе экономистов! И самые крупные из них порят чушь! Самыми здравомыслящими людьми у вас, несмотря ни на что, остаются либо люди, не имеющие никакого образования, либо так называемые консерваторы. Они имеют опыт в жизни, и они знают, что есть вещи, которые по-другому делать и воспринимать невозможно.

— *Но тот же Ельцин не с неба ведь свалился, за его плечами богатый жизненный опыт? Получается, что вы отвергаете абсолютно все, что происходит в Советском Союзе? Саму перестройку...*

— Я ничего не отвергаю, я анализирую, констатирую факт кризиса: кризис власти, кризис идеологии, интеллектуальный кризис, выражающийся в буйстве идиотизма, моральный кризис, психологический кризис. Страна находится в состоянии разбушевавшейся помойки...

— *Ну хорошо, есть ли выход из кризиса, о котором вы говорите? Что вы предлагаете?*

— Я не политик, у меня нет никаких предложений, я делаю предсказания. Я утверждаю, что кризис скоро кончится, максимум через пять лет страна будет выходить из кризиса, уже началась в стране контрперестройка, ключом контрперестройки является вопрос о власти, ключом внутри власти является вопрос о сверхвласти. Эти манипуляции Горбачева с президентством есть путь к сверхвласти. Общая историческая закономерность: когда-то говорили, что судьба Сталина совпала с судьбой страны, сейчас судьба страны совпадает с судьбой Горбачева. А ему нужно создать аппарат сверхвласти, подчинить себе партийный аппарат, навести порядок в системе власти и управления и, используя систему власти и управления, восстановить брежневский порядок в стране, восстановить, не идти куда-то. Другого пути не существует. Пройдет время, и брежневские годы люди будут вспоминать, как золотые годы советской истории.

— *Что ж, по-вашему у нас не было застоя, брежневщины?*

— Все эти словечки: «консерваторы», «застой», в сталинские годы «враги народа» — чепуха. Объективный исследователь элементарно может показать, что за брежневские годы сделали больше, чем за всю предшествующую советскую историю.

— *Что вы имеете в виду? Жизненный уровень?*

— Хотя бы. Возьмите количество семей, получивших отдельные квартиры в брежневские годы. Это ли не жизненный уровень?

— *Согласен. Один из показателей.*

— Телевизоры были, холодильники были, автомашины, да все было. Чего на Запад-то смотреть! Уровня Швейцарии вы и через тысячу лет не достигнете! Нужно исходить из возможностей страны.

Будущее России — за Россией

Я вовсе не оправдываю Брежнева, я только утверждаю, что термин «застойные годы» — идеологическая пустышка, ложь, несправедливость, Брежнев — ничтожество, но дело не в нем... История страны не есть история правительства, это прежде всего история народа. Народ принес неслыханные жертвы, выдержал огромные испытания. Миллионы людей работали, в каждом коллективе были самоотверженные люди. Но все сводить к каким-то махинациям Сталина, Брежнева, Хрущева?

— *Так вы не видите в современной истории ни одной личности, которая могла бы хоть что-то изменить?*

— Дело не в личности. Я в свое время говорил: «Если бы Брежнев умер и из него сделали бы чучело, то оно правило бы страной, может быть, лучше, чем живой Брежнев». Дело не в личности. Личность играет какую-то роль, если деятельность личности совпадает с определенными объективными тенденциями. Горбачев сыграл огромную роль в советской истории. Какую? Прежде всего он сыграл огромную роль в создании кризисной ситуации. Ведь многие так думают: при Брежневе был кризис, а Горбачев стал из кризиса выводить. Чепуха! При Брежневе не было кризиса, Горбачев ввергнул страну в состояние кризиса. Перестройка и есть политика, которая привела к кризису. И Горбачев сыграл здесь роковую роль. И продолжает ее играть.

Но одновременно он начинает играть роль контрпестройщика. И если уцелеет у власти, через пять-шесть лет он будет играть такую же роль, какую играл Брежнев, а может быть, и сам Сталин.

Я часто выступаю, и мне говорят: «Господин Зиновьев, а вот если бы вы были генсеком, что бы вы сделали?»

Отвечаю обычно так: первым декретом отдал бы власть вам. Даже Бог сам не способен выдумать сейчас ничего оригинального. Нужно понять, что есть принцип исторической закономерности: любые идеалы, воплощаясь в реальность, порождают непредвиденные последствия. Но дело не в идеалах, если нет никакой программы преобразования.

Ваши оппозиционеры хотят жить так, как живут на Западе. Но жизнь на Западе они представляют в ложном виде, в идеализированном. Дескать, приходи в супермаркет и покупай все, что угодно. А деньги где взять? Хорошо, если ты по наследству получил или должность какую-то имеешь. А если ты эти деньги начинаешь зарабатывать, ты опускаешься в преисподнюю общества, которая не лучше советской.

Запад, Запад... Надо же понимать, что каждый народ, каждая страна имеет свою историческую судьбу. Не могут эскимосы претендовать на такую же роль в истории и на такое положение, как, скажем, швейцарцы. Не выйдет из этого ничего. Бессмысленно и России претендовать на то же самое, что есть во Франции, в Италии... Там за плечами века цивилизаций, культуры, демократии! Что стоит в прошлом русской истории? Надо же принимать во внимание и природные обстоятельства, и человеческий материал!

Еще Гоголь писал 150 лет назад, что хороших распоряжений, постановлений — пруд пруди, все государи хотели благо народу. А как только дело доходило до исполнения — увы. Человеческий материал играет первостепенную роль. Можно наладить в России такой высокий жизненный уровень, как на Западе? Можно через двести — триста лет. Но стоит ли этот высокий уровень таких ожиданий...

— *Ваше отношение к Александру Солженицыну?*

— Считаю, что Солженицын сыграл огромную роль в советской истории. «Архипелаг ГУЛАГ» — очень значительная книга, это, бесспорно, книга такого же масштаба, как «Записки из мертвого дома» Достоевского.

Но в целом как писатель он средний. И его социальную концепцию я считаю глубоко реакционной. Он не понимает советского общества и видит идеалы в прошлом.

А вот другая фигура — Сахаров. Он в значительной степени западное изобретение. Так же как и Солженицын, Сахаров был сильно раздут на Западе. Как социальный мыслитель он примитивен. Меня всегда оскорбляло в этой ситуации вот что: огромная страна, в которой масса образованных и умных людей. И вдруг эту страну начинает представлять человек с очень примитивным способом мышления, я имею в виду, конечно, не физику, а именно социальное мышление. В моих книгах я критиковал как Солженицына, так и Сахарова. Сахаров принадлежит к той оппозиции, о которой я говорил. Я к этой оппозиции отношусь с презрением. И считаю, что она играет в современной истории страны негативную и глубоко реакционную роль.

— *Что вы думаете о нынешнем литературном процессе в России?*

— Я полностью согласен с Виктором Ерофеевым. Он сказал, что настоящая литература в советской ситуации убита. Есть два способа уничтожить настоящих писателей: первый — уничтожить их индивидуально. Есть два способа (по аналогии) ликвидировать культурные растения: первый способ — вырвать культурные растения, второй — засеять поле сорняками. Литературное поле России засеяно сорняками. По-моему, происходит колоссальная деградация советской литературы. И в этом литературном поле, где буйствуют сорняки, настоящей литературе места не остается. Нарушены все критерии оценки литературных произведений. Теперь, чем больше оплывает человек советское общество, тем выше он ценится. По сравнению с теми шедеврами, которые в советской литературе создавались, и даже по сравнению с той литературной вспышкой, которая имела место в брежневские годы, пусть она носила нелегальный характер, это чудовищная деградация. И ничего путного из этого процесса не выйдет. Для настоящей литературы нужна не столько свобода, сколько покровительство. Свобода нужна литературной бездарности и всякого рода литературным проходимцам. А если писатель может написать что-то значительное, все равно его труд так или иначе уцелеет, так или иначе пробьется. Вышли же в конце концов «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Москва — Петушки» Ерофеева. Напечатали

и «Архипелаг ГУЛАГ», и «Чонкина» Войновича, и «Три минуты молчания», и «Верный Руслан» Владимова — это более или менее значительные литературные вещи.

— Я чувствую, что ваша точка зрения на многое, особенно на судьбу русского народа, совпадает с точкой зрения Льва Гумилева. В частности, о том, что возрождение России еще впереди...

— Я очень люблю Гумилева, нет, я не считаю его истинным, я нахожу его оригинальным мыслителем. Я в свое время получал наслаждение от его статей и книжек. Но с таким прогнозом согласиться не могу. Триста, четыреста, пятьсот лет — загадывать так далеко просто бессмысленно. В мире происходят мощнейшие процессы. К концу века население Земли увеличится на один миллиард. За счет кого? За счет народов Азии, Африки. Европейское население и население, которое создало современную европейскую цивилизацию и поддерживает ее, сокращается. А если произойдет мировая война? Что случится с человечеством? Судьба русского народа трагична. Россия стала складываться в нацию к концу XIX — началу XX века, в нацию в собственном смысле этого слова. Не всякий народ есть нация. Революция прервала этот процесс. После революции в СССР проводилась антирусская политика. Россия как нация разрушена. Есть народ, есть множество людей, разбросанных по огромной территории, но думаю, что нации, русской солидарности в хорошем смысле слова не существует. Я и на себе это испытывал сотни раз. Кроме того, история России складывалась весьма неблагоприятно для русского населения. Это и сегодня ощутимо. Что же делать? Россия имеет шансы стать великой державой, но есть, по-моему, один путь для этого, один-единственный путь — делать реальный вклад в мировую культуру. А для этого нужно вкладывать себя в литературу, в музыку, в искусство. Чем больше русских имен будет появляться в мировой культуре, тем величественнее будет Россия.

Когда в свое время создавалась Британская империя, Англия была носительницей мировой культуры. Когда Гитлер претендовал на мировое господство, Германия была на вершине научных, технических достижений. На что можем претендовать мы? Россия в 1917 году совершила великую революцию. Надо осмыслить результаты этой революции. Вспомните двадцатые годы. Где появились самые прогрессивные идеи в поэзии?

В России. В архитектуре? В России. В живописи? В России. В кино? В России. Куда это все исчезло?

Повторяю, я не вижу другого пути для России не то что завоевывать мир — это нелепо, шансов на это никаких нет, а войти в число уважаемых народов европейской цивилизации.

— *И последний вопрос: как вы работаете, что вы думаете о своих детях?*

— Я работаю всегда и никогда. Вот сейчас я с вами разговариваю — это для меня работа. Я ложусь спать, вижу какой-то сон, вскакиваю, записываю. Многие мои книги написаны в самолетах, в поездах. Но моя жизнь — это еще и мои дети. Старшая дочь, Полина, кончает гимназию, собирается стать художницей. Были выставки, и кое-какие ее работы проданы, она делала обложки моих книг, в частности обложку для французского издания «Катастройки». Кем будет младшая дочь, которая родилась месяц назад, трудно сказать. Но старшая дочь обещает «сделать» ее художницей. Уже традиция. Это хорошо. Другая моя старшая дочь, Тамара, живет в Москве, тоже художница, она выставилась вместе с Полиной в Милане.

Полина принимала участие в моих выставках в Лозанне, Авиньоне, Милане.

— *Тамара приезжает к вам в гости?*

— Нет.

— *И вы не были в Советском Союзе? Собираетесь в Москву?*

— Ехать просто так человеком, книги которого не известны, нет никакого смысла. Пусть издадут мои книги, а у меня их таки двадцать пять, пусть люди узнают, что я такое есть. Ведь о человеке судить на основании одного интервью невозможно...

Сентябрь 1990 г.

У «СВОБОДЫ» ВСЕ ВПЕРЕДИ

**Беседа с Владимиром Матвеевичем,
директором русской службы радио «Свобода»**

— Генри Киссинджер никогда не сможет стать президентом США, потому что он не родился в Америке, он натурализованный американец, а я родился в Америке...

— Простите, значит...

— Да, да, теоретически я могу стать президентом США.

В столовке «Свободы» шум и гвалт. Обеденный перерыв, и все места, их около ста, заняты пришедшими перекусить сотрудниками радиостанции. За обедом продолжается обсуждение эфирных новостей, сообщений с Востока. Вижу знакомые московские лица: Александр Кабаков, Игорь Кохановский, Андрей Черкизов... Прямотаки филиал Союза писателей...

— Мой отец работал в Амторге. В сороковом семья вернулась в Россию, мне было четыре года. Отца конечно же сразу взяли как американского шпиона. В следующий раз я его увидел через шестнадцать лет. В общем-то чего уж там, банальная советская история...

Весь день у директора русской службы радио «Свобода» закручен, как мощная пружина. Ни времени расслабиться, ни возможности передохнуть. Вот и совместили нашу беседу с обедом. О Владимире Матусевиче я наслышан давно. Думаю, так, как и почти всякого человека, его мазали и черной и белой краской. Кое-кто добавлял желтизны, не забывался и красный оттенок. Добавила и родная советская пресса. Особенно доперестроечная. Уж она-то поливала, не жалея мазута:

«Он достал папку с последними сообщениями внутренних информаторов РС и углубился в чтение. Внутренних агентов сотрудники Каммингса принимали в старом здании на Арабеллаштрассе, где на втором этаже, непосредственно под «Школой экономики», были оборудованы девять комнат со звуконепроницаемыми стенами

и дверьми. С высокопоставленными информаторами сам Ричард встречался в отеле «Хилтон». Итак, информаторы сигнализировали: «Сотрудники национальных редакций за немногим исключением не смогли влиться в западногерманское общество. Основное место в их личной жизни занимает работа на РСЕ — РС и контакты только с коллегами по станции, так как немцы принимают их за людей второго сорта...»

Скучное чтение... Перевернул сразу несколько страниц, открыл раздел «По кадровому составу». Информаторы кляузничали друг на друга и на каждого, кто попадал в их поле зрения. Характеристики были убийственные. Били наотмашь в тайной погоне за лучшей должностью, за благосклонным отношением администрации, в страстном рвении доказать свою лояльность:

Лев Ройтман, Юлия Вишневская, Рахиль Федосеева, Вадим Белоцерковский...

«Владимир Матусевич, информатор Джона Лодеизина, склочный характер, инициатор конфликтов, был понижен в должности, патологический трус, сексуально озабочен (мечтает о половых сношениях с несовершеннолетними), дома содержит большую коллекцию порнографии...»

В. Викторов

Журналист, 1985

Тон резко изменился после сообщения в «Московских новостях» 18 декабря 1988 года «Большие не глушим».

«Директор русской службы Владимир Матусевич... Он шеф «играющий», ему импонируют процессы обновления, и он может быть жестким именно к тем, кто здесь пытается компенсировать небольшие профессиональные способности саркастическим брюзжанием по поводу наших нехваток и в каждую свою передачу привносит злобный шепоток... Его принцип: настоящий комментатор тот, в чьем подсознании критикуемые им политические или другие силы отделены от слушающих передачу людей. Никто не вправе бросить тень на их достоинство».

Л. Шинкарев

Известия, 1990

Но политическая погода у нас хуже девицы-ветреницы. Вот и новое сообщение. Это уже из «Гласности»: «Свободе» нейдет».

«...Не следует уподобляться кролику, который попадает в ловушку, зацепившись за нее своими ушами. Так на

Западе говорят о тех, кто принимает дезинформацию за чистую монету».

Знаменитое трехэтажное белое здание РСЕ — РС в Мюнхене прямо примыкает к старинному Английскому парку. Помните художественный фильм «Канкан в Английском парке». Да, да, в десяти метрах отсюда, в помещении чехословацкой редакции десять лет назад раздался мощный взрыв. Об этом так много писали и говорили, что сегодня уже нечего добавить. До сих пор только не ясно, кто устроил диверсию: ЦРУ, КГБ, Моссад, фанатик-турок?

— Главный редактор радио «Свобода» — это головокружительная карьера. По ведомству ЦРУ, говорят, вы явно в генеральском чине.

— Карьера меня никогда не интересовала, и я уже отказывался в свое время от этой, как вы выразились, генеральской должности. Я люблю свое дело — журналистику. Я журналист, а не администратор.

А касательно того, что мы находимся на содержании ЦРУ, полные данные вы можете получить, обратившись к сочинению некоего Василия Викторова, который явно обладает информацией не ниже генерала КГБ, опубликованному в «Журналисте» в начале 1985 года под игривым заголовком «Февральское «квадро». Мне просто нечего прибавить к байкам о финансировании «Свободы» ЦРУ, помещенным в этой разухабистой повестушке, и, кстати, к множеству других сообщений на эту тему в доперестроечной советской прессе. А если серьезно, то Конгрессом США на этот финансовый год нам выделено 190 миллионов долларов.

— Вы сказали, что вы не администратор. Но как расценивать такой факт: русский отдел «Голоса Америки» долго занимал первое место по аудитории в Советском Союзе. В последние же годы, когда вы уже пребывали в должности главного, аудитория «Свободы» стала в два раза больше аудитории своих заокеанских конкурентов. Чем это можно объяснить?

— Боже упаси, если вы подумали, что это результат моего титанического труда. Многое объясняется так: ситуация в Советском Союзе сегодня такова, что людям совершенно наплевать на события, происходящие в Америке, скажем, или в Англии. Им хочется знать и слышать только о себе. И радио «Свобода», в силу целого ряда и субъективных и объективных обстоятельств, в этом смысле вне конкуренции с другими зарубежными радиостан-

циями. Могу потешить себя надеждой, что есть в этом и малая толика моего журналистского труда.

— *Были ли вы готовы к отмене глушения, или это событие не стало для вас неожиданностью?*

— Если честно, это было неожиданно. И радостно. Правда, один нюанс. Думаю, что к отмене Глушения СССР и США шли уже с Рейкьявика. Не знаю, известно ли вам о том, что Горбачев предложил Рейгану дать возможность Московскому радио вещать средними волнами на США. Взамен он обещал остановить глушение западных станций. Так вот, переговоры и уговоры друга друга шли несколько лет.

— *Как вы расцениваете заявление Эдуарда Лимонова в советской прессе о том, что прийти на «Свободу» все равно что прийти в ЦРУ?*

— Простите меня, неужели мы всерьез будем говорить о Лимонове? У меня нет никакого желания расценивать все, что он опубликовал и в жанре публицистики, и в жанре беллетристики. Это несерьезно.

— *Хорошо, а что за фигура Борис Туманов? Ведь именно его вы сменили на посту главного редактора. О нем, правда, у нас уже давно забыли, и я как бы провоцирую вас на реанимацию этого одиозного имени.*

— Понимаете, рутина развития событий в СССР сделала его фигурой более жалкой, трагикомичной, чем изначально задумывалось. Поначалу Центральное телевидение демонстрировало его зрителям, устраивало круглые столы и все такое прочее. Потом его послали в Майкоп, чтобы на встрече с учителями развенчать генерала Калугина. А история с депутатом Манаенковым, который победил своих соперников по выборам в Верховный Совет РСФСР не вопреки своему сотрудничеству с радио «Свобода», а благодаря этому сотрудничеству. Во время предвыборной кампании в этом округе для контрпропаганды против кандидата — активиста «Свободы» привезли в Новосибирск Туманова. Затевавшие этот трюк надеялись с его помощью развенчать Манаенкова, показать, с кем он «вяжется». И что же вышло из этого, когда местное телевидение устроило интервью с Тумановым? Дважды перебежчику была дана убийственная характеристика: подонок, беспринципный интриган, изменник, предавший товарищей по «Свободе», с которыми проработал двадцать лет, а теперь поливающий их грязью. Сотрудники новосибирского телевидения, включая журналиста, бравшего интервью, выразили протест

руководству областного телерадиокомитета против использования грязных трюков в борьбе с неугодным кандидатом.

Говорят, что Туманов, работавший ранее под крышей АПН, числится теперь референтом Гостелерадио.

— *Сегодня я стал случайным свидетелем вашего разговора с художником Ильей Глазуновым, который, позвонив из Гамбурга, выразил недовольство тем, что вы «поливаете» его в своих комментариях. В чем тут дело? Личная неприязнь? Старые счеты? И в порядке ли вещей такая резкая реакция оппонентов на ваши материалы?*

— Скажу прямо, Илья Глазунов не самый любимый мой художник. Последний раз я о нем передавал, будучи лондонским корреспондентом радио «Свобода», в 1986 году. Тогда в Лондоне состоялась его персональная выставка. Я предоставил слово английским критикам, которые действительно измордовали ее в пух и прах.

— *И часто ли оппоненты выражают вам недовольство, свои личные претензии. Как вы реагируете на них?*

— У нас в Париже есть отдел изучения слушательской аудитории «Свободы». В свое время, до гласности, до того, как советские люди стали сами приезжать к нам в студии, мы получали письма с откликами на наши передачи. Письма были единственным источником контакта, возможностью получения информации о результативности нашей работы. Так вот, социологическая группа пригласила в парижское отделение радио «Свобода» несколько десятков советских граждан, оказавшихся в те дни по самым разным обстоятельствам в Париже. Дали им прослушать несколько программ, связанных с тем, как радио «Свобода» освещает национальные проблемы в СССР. И вот в этот опрос, не совсем, может быть, по адресу, попал и мой комментарий в двести секунд, посвященный открытию съезда Российской компартии. Мнения об этом комментарии резко разделились. Причем фифти-фифти, половина на половину. Позитивное: информация была точной, исчерпывающей, хорошо продуманной, комментарий пробуждает интерес слушателя, комментарий живой и достоверный, материал подан с большой искренностью, видно, что автор сам прочувствовал проблему, ситуацию. Матусевич заслуживает самых высоких похвал.

А вот другое: комментарий агрессивен, саркастичен, безответствен, потому что сегодня реалистические надежды на прогресс и демократию полностью зависят от

Горбачева. И вообще, не надо его критиковать. В материале нет фактов, только комментарий.

Со второй точкой зрения я не согласен: комментарий он и есть комментарий. Для фактов существуют другие программы. Но как автор, как журналист, я удовлетворен и польщен такой плюралистической реакцией. Самой страшной, убийственной реакцией для меня было бы равнодушие.

Если хотите, могу вспомнить и личностную реакцию на мои программы. В 1989 году, во время предвыборной кампании в Верховный Совет, писатель Василий Белов встречался с избирателями. И с ним была обширная беседа, кажется в «Правде», которая меня чрезвычайно возмутила. Прозвучал в беседе и обычный беловский мотив — протест против рока, поп-масскультуры, которые «уродуют общество». Особенно резко досталось Америке. Писатель нашел возможность увязать взаимозависимость рок-музыки и СПИДа. Даже цифру назвал зараженных СПИДом грудных детей — 100 тысяч. Я позвонил в официальный американский центр, собирающий медицинскую статистику, и узнал, что цифра эта завышена раз в тридцать — пятьдесят. Я сделал вывод, что Белов лжет, лжет последовательно, трезво, расчетливо. Меня дико возмутил его роман «Все впереди», в котором несколько раз повторяется мысль, что радио «Свобода» соблазняет русского слушателя, подбивает его на алкоголизм. Извините, но большей чуши нельзя себе представить. И об этом он пишет в романе как бы от себя. Возмутительно, несерьезно.

Почему я упоминаю именно об этом комментарии? Потому что он фигурирует и в статье Шафаревича, и в предшествовавшей ей статье Назарова в «Литературной России». Вообще ваши национал-патриоты постоянно выступают против меня лично и русской службы радио «Свобода» за то, что мы нападаем на таких писателей, как Распутин и Белов. Дескать, раз мы не любим Распутина и Белова, почвенных писателей, значит, мы вообще ненавидим русаков, значит, мы вообще ненавидим Россию. То есть налицо полная идентификация. Скажи мне, как ты относишься к Белову, и я скажу тебе, как ты относишься к России и русскому народу. Абсолютно абсурдная позиция, извините, полный идиотизм. Потому что для меня, скажем, если уж говорить о писателях — символах России и русского народа, то для меня это Владимир Маканин, которого я считаю лучшим из живущих

ныне русских писателей, включая даже тех, которые живут вне России, за рубежом.

Но чтобы меня правильно поняли, замечу, что и Распутин и Белов — художники, для меня это — не что иное, нежели общественные деятели, публицисты. Не часто, наверное, взрослый человек плачет над книгой. А я плакал. Вы улыбнулись, может быть, это и смешно, но это было. Довольно поздно набрел я на «Прощание с Матерой». Не то чтобы набрел, но поздно улучил время взять книгу в руки. А в Финляндии на отдыхе это время нашлось. Я снял лесную хибарку на берегу озера, окруженную диким лесом. И вот там в абсолютной тишине читал «Прощание с Матерой». Читал и плакал. Вот что значит для меня Распутин-писатель. И вообще, все или почти все, что он написал, я ценю очень высоко.

К Василию Белову отношусь более прохладно. Но понимаю, что если его «Плотницкие рассказы» безусловно высокая литература, то роман «Все впереди» для меня хрестоматийный школьный пример того, как нравственная идеологическая озлобленность губит и душит талант. Роман этот написан другим пером, пером Проскуриных и Ивановых. Если заняться скрупулезным литературоведческим анализом, скажем, лучших вещей Белова и романа «Все впереди», то можно написать новое исследование, подобное истории создания шолоховского «Тихого Дона». Можно даже предположить, что либо предыдущие вещи писал другой человек, либо эту писал не Белов.

Я не могу, скажем, на дух принять политическую публицистику Рихарда Вагнера, зоологического антисемита, омерзительного немецкого шовиниста. Но это мой самый любимый композитор. «Кольцо Нибелунга» для меня — одно дело, а писания Вагнера — другое. И я их никак не отождествляю. И когда В. Распутин — создатель и редактор «Литературного Иркутска», печатающий анонимное обращение деятелей русской культуры еще к XIX партконференции, в котором не упомянутые имярекки требуют того, что потом, спустя полтора года, станет требовать Смирнов-Осташвили, а именно процентного соотношения представительства наций в учебных заведениях, в редакциях и т. д., то это для меня уже другой Распутин. Вызывающий отвращение и стыд.

— *А как у вас на «Свободе» с плюрализмом мнений и терпимостью по отношению к разного рода выступлениям? Я, к примеру, встретил в коридорах «Свободы»*

московского публициста, литературного критика Владимира Бондаренко, представителя консервативных взглядов в сегодняшней общественной жизни. Если ваши сотрудники подготовят с ним интервью, вы не станете возражать, я так думаю?

— Все будет зависеть от контекста. Приведу пример. Год тому назад у нас в парижской студии записали беседу о Солженицыне с писателем Петром Паламарчуком. В этой беседе, не столько по поводу Солженицына, сколько по другим соображениям, Паламарчук высказал нечто, что, прямо... ну, понимаете, здесь дело не в моих личных вкусах. Я люблю свою работу, наслаждаюсь ею и считаю, что мои личные убеждения полностью совпадают с нашим официальным документом — кодом журналистской этики и журналистской работы сотрудника радио «Свободная Европа» и «Свобода», учрежденным Советом международного радиовещания в Вашингтоне. Код этот категорически запрещает любые материалы, которые можно интерпретировать как оскорбление людей по национальным, расовым, религиозным и прочим признакам. И когда Паламарчук, ерничая, рассказывал о юбилейных вечерах Солженицына, в том числе и о вечерах в Доме кино, и акцентировал внимание на том, что вечер в Доме кино организован неспроста, не случайно, ибо это здание построено на месте, где когда-то была синагога, а вот, дескать, вечер, организованный Распутиным, состоялся на месте, где когда-то был храм Спаса на Крови. О таких вещах пусть он в «Нашем современнике» пишет, а по радио «Свобода» без возражения, без активного противостояния его собеседника такие рассказы не пройдут. И не потому, что мне лично они не нравятся, а потому, что я должен соблюдать код журналистской этики. Мы не можем допустить шовинистических выпадов по голосу радио «Свобода». Так что я не знаю, в какой форме прозвучит на наших волнах голос Бондаренко, если он пришел к нам, чтобы дать интервью, но во всяком случае одно из двух: либо он может говорить все, что у него на душе, со мной или с кем-то из моих коллег и мы ему будем возражать, будем с ним полемизировать, либо он не прозвучит в эфире. Это, естественно, в том случае, если он, скажем, предложит нашему слушателю джентльменский набор тех же идей... Или если он, предположим, захочет рассказать нашему слушателю то, что он рассказал читателям «Литературной России», что процесс по делу Смирнова-Осташвили — это

возмутительно, что это как сталинские процессы конца 30-х годов. Такую точку зрения без противопоставления ей другого мнения мы передавать не будем.

— *Судились ли с вами по статье дезинформации оскорбленные оппоненты, герои ваших передач, проживающие в СССР?*

— Такого случая не припомню.

«На РС привыкли работать в обстановке бесцензурного свободного слова, пользуясь правом высказывать мнение, руководствуясь здравым смыслом и собственными нравственными правилами. Здесь не боятся преследования властей, даже не страшатся произвола руководства станции, зная, что могут быть уволены или в чем-то ущемлены лишь по решению суда».

Известия, 1990

— *Владимир Борисович, как вы оказались на Западе?*

— По профессии я киновед и работал в институте истории культуры, специализировался на скандинавском кино. Писал диссертацию о драматургии Нурдала Грига, норвежского писателя. На канадском бомбардировщике он погиб над Берлином, хотя летчиком не был. Работая над диссертацией, изучая творчество Грига, его жизнь, я испытал глубочайший шок, после которого не мог продолжать работу. Дело в том, что до войны, в самое страшное время процессов, после испанской гражданской войны, во время чисток 30-х годов, он жил в Советском Союзе. Не был членом партии, но считал себя ярым коммунистом. Мне удалось найти живых свидетелей, и я узнал следующее: у Грига была любимая женщина, латышка по национальности, но советская гражданка, убежденнейшая коммунистка. Он описывает ее в своем романе «Может стать молодым», романе, в котором Григ практически оправдывает ужас террора, оправдывает сталинские процессы. На русский язык роман не переводился. И вот после того, как я узнал, и узнал с абсолютной степенью достоверности, что он выдал эту женщину, выдал совершенно спокойно, уверовав в то, что это предательство нужно для дела, и она исчезла на Лубянке, я не мог уже всерьез заниматься творчеством этого человека. Диссертацию свою я не дописал.

Так вот, мне дико повезло, когда осенью 1967 года министерство культуры Дании пригласило' меня на месяц на работу в Копенгаген. Одновременно я получил

приглашение от шведского киноинститута участвовать в международной конференции, посвященной молодому шведскому кино; меня выпустили. Пробыв за границей, я вернулся домой, но вернулся уже другим человеком. Все было невмоготу. Когда потом меня расспрашивали, почему я решил покинуть родину, я для самого себя и для других, не кривя душой, объяснял: не приемлю систему. Но если быть абсолютно честным, для меня толчком к отъезду за границу стал, в сущности, незначительный, но сильный эпизод. Во время моего пребывания в Дании я случайно на улице познакомился с одной датчанкой. Она была из тех семей, в которых один день похож на другой. Вся жизнь до гробовой доски расписана, благополучная, скучная, добропорядочная семья.

И вот она начала легкий, ни к чему не обязывающий роман. Все тут было понятно, я для нее был экзотическим русским, а ей захотелось совершить такой безопасный прыжок в сторону от рутины размеренной, по ниточке выверенной жизни. Меня же пленила экзотика, ну как же — датчанка! И вот однажды в один прекрасный день она повезла меня на машине на излюбленное место прогулок, такого любовного шушуканья в центре Копенгагена, у набережной Ланьетини, где знаменитая русалка. Мы сидели в машине, целовались, и вдруг я с ужасом увидел, что рядом с нами встал «Москвич», а в нем два молодых человека и наружностью и одеждой вроде бы советские. Моя подруга увидела, что я переменялся в лице, побледнел, обмер, черт знает что происходило в те минуты со мной. «В чем дело, что случилось?» — недоуменно спросила она. «Знаешь, я боюсь, мне кажется, что эти двое из советского посольства». Она спокойно посмотрела на меня и сказала: «Ну и что?» И вдруг стала тихо плакать. А потом промолвила: «Владимир, я не могла помыслить, что встречу такого несчастного человека». Я сначала не понял. Это я-то несчастный?! На дворе 1967 год, я, бедный советский человек, нахожусь в Дании, в Европе, без присмотра, есть какие-то деньги, у меня впереди еще целый месяц. Да кто может быть счастливее меня! И тут я посмотрел на себя ее глазами и увидел себя холуем, крепостным, доверенным холуем. Холуем, которому неожиданно-негаданно с барского стола, понимаете, кинули блин с паюсной икрой. Именно в те минуты я стал другим человеком. Я понял: как же страшна моя жизнь. На родину я вернулся. Надо было завершить сложные отношения с женой. Вскоре я развелся и

стал свободным. Свободным и готовым к отъезду. Спустя семь месяцев, когда мне снова выпал случай поехать в Норвегию, я уже не колебался.

— *Как дальше складывалась Ваша судьба, какова была дорога к «Свободе», сюда в Мюнхен?*

— Когда после основательной проверки мне дали политическое убежище в Дании, зашумели газеты и на меня посыпались предложения из самых разных учреждений и ведомств. В то время каждый новый человек из Советского Союза был на вес золота, не то что потом, когда валом пошла эмиграция. Я выбрал радиостанцию «Свобода». Я любил Данию, любил Копенгаген, и мне не хотелось никуда уезжать, а на «Свободе» я мог работать скандинавским корреспондентом. Жил я там до 1973 года, пока меня не уломали приехать сюда в Мюнхен главным редактором. Через несколько лет ушел в комментаторы, потом захотелось пожить в Англии. А потом снова сюда, в Мюнхен.

— *Владимир Борисович, кто первым из советских людей «живьем» пришел на «Свободу» в качестве интервьюируемого?*

— Могу ошибиться, но, кажется, режиссер Марк Захаров и с ним актеры Александр Абдулов и Олег Янковский.

— *Когда это было?*

— В феврале 1988 года, тогда в Мюнхене проводился фестиваль советского театра.

— *Простите, я будто допрашиваю вас, но история тоже любит протокольность: они пришли сами?*

— Нет, их пригласили наши сотрудники. А вслед за ними, уже, по-видимому, осмелев, потянулись другие. Сегодня, я думаю, нет ни одной мало-мальски популярной в Советском Союзе личности, политического ли деятеля, писателя, актера, чьи голоса не звучали бы в нашем эфире. Нет вдохновения перечислять... Выступали министры, секретари обкомов партии, три члена Политбюро и Президентского совета.

— *Вы довольны?*

— Как ни странно, нет. Потому что звучат голоса одних и тех же людей, своеобразная обойма из тридцати-сорока человек. Отчасти это, по-видимому, оттого, что именно эти наши корреспонденты общительны по натуре, активны, и, пребывая в командировках или на гастролях в разных странах, они охотно дают интервью нашим сотрудникам.

Так вот, как раз сегодня утром я попросил наших московских корреспондентов находить новые имена, новых людей, способных интересно мыслить, анализировать события. Я убежден: таких в стране немало. К примеру, услышав в программе «Время» короткие интервью с профессором Яблоковым и с академиком Емельяновым, я подумал: «Вот бы пригласить их на «Свободу»!» Понимаю, что они могут отказаться, не захотят, как сказали бы некоторые наши недоброжелатели, «пачкаться», но в России немало людей высокого интеллектуального, нравственного, профессионального уровня. Их надо искать, приглашать, тормозить.

— *Каковы на «Свободе» гонорары? Сколько зарабатывают ваши сотрудники? Каков ваш оклад, Владимир Борисович? Я как-то прочитал в нашей прессе, что Матусевич зарабатывает как американский конгрессмен. Если не секрет, сколько вы «стоите»?*

— Все зарабатывают очень хорошо. Жизненный уровень практически любого сотрудника выше среднего жизненного уровня среднего немца. Минута эфирного времени стоит десять марок. Между прочим, журнал «Журналист» жаловался, что «Свобода» занимается дискриминацией, что, мол, людям, живущим на Западе, платится тридцать марок за минуту, а советским авторам пятнадцать марок. Так оно и есть, только это не дискриминация, это реалии жизни, и если эти реалии учесть, то для человека, живущего в Германии, в Америке или где угодно на Западе, тридцать марок за минуту куда меньшие деньги, чем пятнадцать марок для человека, живущего в Советском Союзе. Кстати, добавлю, что та же самая дискриминация распространяется на наших авторов из Венгрии, Польши и других стран.

— *Многие ваши сотрудники — звезды у нас в стране. Их имена известны миллионам. А кого вы сами считаете наиболее интересными из них?*

— Мои критерии просты: все те, кто хорошо, самостоятельно, добротнo, с увлечением работают. Кто умен, интеллигентен. Среди них: Сергей Юрьенен, Владимир Малинкович, Владимир Тольц, Ирина Каневская, Фатима Салказанова и Семен Мирский в Париже, Борис Парамонов, Петр Вайль в Нью-Йорке, это Игорь Померанцев. Достойных на «Свободе», конечно, много, всех не назовешь, но при этом у нас сильны кадровые трудности. И это наша беда, ибо мы идем в бой, утрирую, инвалидной командой.

— *В каком смысле?*

— Ну не в буквальном. Во-первых, так. Есть жестко определенное число ставок, рабочих мест, которые создавались давно, в те годы, когда наши функции, наше вещание было упрощенным. Выдавали в эфир тексты того же Солженицына, того же Бердяева, того же Некрасова. Не надо было задумываться: гони информацию, и все. Сегодня многое изменилось, и нам приходится работать в уровнях жесточайшей конкуренции с первоклассными советскими средствами массовой информации, какими они стали в последнее время. Вещать 24 часа в сутки, выдавать на-гора уйму оригинального материала при штате в 95 человек, включая секретарш и машинисток. Поверьте, это безумно трудно. Но это еще не все. Если бы все журналисты были бы адекватны задачам, которые мы решаем! Многие годы люди принимались американцами на работу по принципу: профессия? — русский. Ситуация была такова: не до жиру, быть бы живу. Принимали кого угодно, выбирать было не из кого. И вот в течение многих лет у нас «скопился» балласт. А местные законы о труде таковы, что вы не можете пойти в немецкий суд. Судья вам скажет: десять лет сотрудник был хорош — и вдруг стал непрофессионален, идите гуляйте.

— *А вы можете пригласить в штат «Свободы» советского журналиста?*

— В штат брать не обязательно, особенно в нынешних условиях. Ведь, цинично говоря, нештатный автор во многих отношениях куда эффективнее. Он сам заинтересован, чтобы сделать больше и лучше. Впрочем, ситуация эта универсальна, у вас, наверное, так же. Нам безумно нужны редакторы, составители, ведущие программ, то есть личности, радиолитичности. Кроме того, сейчас бы голову отдал за толкового журналиста, знающего немецкий и знающего Германию. Германия, немецкая тема, Германия в Европе на многие годы будет одной из самых интересных и наиболее драматичных страниц современной истории.

— *И вы не можете найти человека?*

— Нет. То есть у нас есть люди, которые пишут время от времени, но нет такого, который бы осел, прилип к нам. Парадокс! Понимаю ваше удивление: мы живем и работаем в Германии, а «нужного» человека не можем найти.

«...Я ничего не имею против «Свободы», которая в перестройку положила свой кирпичик. Я слушал смелые

философские статьи «Свободы». Нашей журналистике нужно поучиться у нее. Учиться никогда не поздно и не заторно».

Из выступления поэта Алексея Маркова на пленуме СП РСФСР. 1990 г.

— *Выступал ли Александр Солженицын перед микрофоном «Свободы»?*

— Нет. Читались только главы из «Архипелага ГУЛАГ». Выступает он крайне редко. И по «Голосу Америки» он ни разу не говорил. Пожалуй, один-единственный раз, если мне не изменяет память, он дал интервью Би-би-си. Другое дело, почти все, о чем мы просили Александра Исаевича, он нам разрешал. Положим, неоднократно мы повторяли интервью, которое он дал Никите Струве. Оно было записано на видео пленку, я уж не знаю, где эта видео пленка использовалась, но мы ее запросили, и Солженицын разрешил нам с ней работать. Не могу не добавить, что отношения Солженицына со «Свободой» испортились, вернее, его отношение к «Свободе», да и к «Голосу Америки», испортилось в году 1980-м. Он тогда дал огромное интервью одному американскому журналисту, где писатель очень, очень резко говорит об обеих радиостанциях, высказывая к ним целый ряд претензий. А главная состояла в том, что мы, дескать, морочим голову советским слушателям всякой ерундой, всякой чепухой, тогда как советским слушателям нужны только передачи по российской истории и религиозные программы. В этом случае, считал Солженицын, все образуется, все возродится.

— *Ваше личное отношение к Александру Солженицыну? Что вы думаете о его проектах «Обустройства России»?*

— Я прочитал с большим интересом и с несомненным уважением его брошюру «Как обустроить Россию?». Прочитав, убедился, что по большей части все соображения и все идеи, высказанные им, я уже читал и слышал в его публицистике, в публичных выступлениях последних лет, начиная, скажем, с «Письма вождям» 1974 года и дальше идя через его гарвардскую речь в Америке, статью «Наши плюралисты» и так далее. Так что в общем-то ничего нового, принципиального для себя я не нашел, что ему, конечно, отнюдь не в укор. У человека есть определённая сумма воззрений, сумма взглядов, и, естественно, он ее повторяет. Но я Заметил, что эта работа, скажем, мягче, сдержаннее, менее колючая, менее гневная,

чем прошлая публицистика. Но зато как поданы эти тридцать миллионов копий! Как откровение пророка! Мне думается, что неистовство последнего времени вокруг имени Солженицына и его работ, неумная, беспорядочная несогласованность публикаций, когда водопад солженицынских текстов, разобранных, расхвачанных по различным журналам, обрушился на читателя,— это в общем-то не в пользу Солженицына. Это подрывает и даже умаляет, если хотите, несомненное величие и несомненную глубину встречи русского читателя (наконец-то!) с его работами, с его творениями, с его мыслями. Мне думается, что возвращению Солженицына домой вредит вот эта экзальтация, истерические восторги. Умный, совестливый, симпатичный человек Юрий Карякин. Но не далее как вчера в программе «Время» ему дали слово об этой брошюре. И Ю. Карякин одически заговорил о том, что вот сейчас впервые живой голос живого великого писателя долетел до нас. Это же все равно, продолжал оратор, как если бы с нами заговорили Достоевский или Толстой. Ну скажите, зачем эта дешевка, рикошетом бьющая по самому Солженицыну? Я убежден, что тот же Толстой поморщился бы, если бы тогдашний Карякин сказал нечто такое: к нам обратился Лев Николаевич, это же все равно что к нам обратился бы Пушкин. Это мельтешение сбивает, отвлекает, мешает людям действительно взвесить и осознать свои серьезные и выстраданные наблюдения, соображения, идеи, остаться с ними один на один, почитать, посидеть, поразмыслить. А вокруг подняли какой-то хиппиш...

— *Я чувствую, вы противник всякого кумирства. А как же вы приветаете знаменитых людей, специалистов по русскому вопросу, проживающих на Западе? Неужели у вас нет человека, которому бы вы отдали все свои симпатии?*

— Я должен признаться все-таки, что был в моей жизни один кумир. Настоящий, и я действительно отдал ему свою любовь — это Андрей Тарковский.

— *Вы были знакомы?*

— Да не очень хорошо, но знал его еще в Советском Союзе. А потом мы встречались на Западе. Я чувствую, вам это интересно, и расскажу об одном эпизоде, о первой встрече с ним в Европе, поразившей меня.

Она произошла в Канне в 1972 году во время кинофестиваля. Он привез «Солярис». В Советском Союзе я был кинокритиком, членом Союза кинематографистов.

Здесь же я стал работать на радио «Свобода» и каждый год ездил на международные кинофестивали. Когда приходилось встречать там бывших коллег, все они единодушно зеленели, как будто они видели Кощея Бессмертного. И так по стеночке уходили от меня подальше, чтобы, не дай Бог, я не спровоцировал их на контакт. А мне и в голову не приходило такое.

Так вот, совершенно неожиданно, проходя по набережной в Каннах... перед Дворцом фестивалей, я увидел советских товарищей, деятелей кино во главе с тогдашним председателем Госкино Романовым. Среди них был и Андрей Тарковский. Я, естественно, прохожу мимо, делаю вид, что их не вижу. И вдруг громко, четко раздастся голос Андрея: «Володя, добрый день, что ж ты не здороваешься?» Подошел ко мне, и между нами начался нормальный, естественный разговор. Я тогда понял, насколько этот человек органически свободен и независим. В нем не было позы, не было жеста. Все, что он говорил, как вел себя, выдавало в нем естественное поведение естественного человека, над которым власти, как ни трудились, не сломали его, не испортили.

А вечером Тарковский, Наташа Бондарчук и я пошли в ресторан. Андрей жадно расспрашивал о моем житье-бытье. Мне показалось, его очень интересовало, как здесь можно жить. И, по-моему, немножко разочаровали мои совершенно искренние ответы, что здесь чудесно можно жить, и без ностальгии. В шутку я заметил, что не снятся белые березки, тем более что и их на Западе хватает. Да, мне показалось, что он был разочарован. И я его понимаю, потому что для него связь с родной землей была абсолютно буквальной.

Кстати, в связи с Глазуновым, Солженицыным и Тарковским я вспомнил вот о чем. Да, Андрей был, есть и останется моим единственным кумиром. Долгое время мною владел и Александр Исаевич. Но знаете, мои иллюзии по отношению к этому великому человеку были развеяны после публикации им в 1982 году в «Вестнике Российского христианского движения» небольшого эссе о фильме Тарковского «Андрей Рублев». Любопытно, но, наверное, это случайное совпадение: несколькими месяцами позже об этом же фильме высказался в журнале «Советский экран» Илья Глазунов. Тарковский тогда находился в вынужденной эмиграции.

Через несколько лет в том же духе высказался в журнале «Искусство кино» и Игорь Шафаревич. Все трое в

меру и силу своих литературных талантов, я не говорю сейчас о литературном уровне этих высказываний, но все трое поливали, поносили Тарковского и фильм «Андрей Рублев». За что? Да за то, якобы, что он создал антирусский фильм, что в этом фильме героями стали темные, злые мужики; беспрерывно льется дождь и хлупает грязь; история Руси на фоне княжеских раздоров выглядит очень мрачно и трагично, а не славно, как в операх Римского-Корсакова, скажем. Такая точка зрения трех авторов-единомышленников многое для меня определяет в раскладе и тогдашних и сегодняшних споров о России, об искусстве и, если хотите, о патриотизме и национализме. Для меня истинный патриотизм — это Тарковский — человек и художник. А взгляды его оппонентов — националистические взгляды.

— *Как вы, советский человек, попавший за границу, работающий с русскими на Россию, воспринимаете будущее своей бывшей родины?*

— Меня приводит в тихое отчаяние невозможность вычислить, представить дальнейший ход событий. Даже если я пытаюсь для себя или в разговорах с людьми отсюда выстроить хотя бы условно более или менее оптимистическую схему, мои собеседники из Советского Союза немедленно разбивают ее вдрезг и смотрят на дело куда более мрачно, чем я. Я понимаю, что у них для этого есть основания. И поэтому я совершенно не берусь предсказывать, гадать, анализировать возможные варианты.

— *Ну хорошо, что бы вы пожелали своей родине в таком случае? Какой бы предложили путь? Ведь вы еще и политолог?*

— Одно могу сказать, и, наверное, не буду оригинален, что все споры идут между теми, кто считает, как Александр Исаевич Солженицын, что Россия должна идти только своим, особым путем, и теми, кто считает, что этот особый путь, которым мы шли долго-долго, никуда, кроме тупика, кроме как в провалы, пропасти и катаклизмы, не приведет и привести не может. В этой ситуации я лично считаю так: единственно возможный путь — это путь адаптирования, модифицирования на свой российский покрыв общедемократических ценностей общедемократических институтов. Это единственная альтернатива. Считаю, что ее просто наивно, бесчестно отождествлять с утратой России и русскими своего своеобразия, своей уникальности. Да это просто неправда. Сейчас любят ссылаться на пример Японии, так давайте и впрямь

сошлемся на пример Японии, которая в силу очень удачных, цинично говоря, обстоятельств ее истории, ее чудовищного разгрома безоговорочно приняла готовенькое, с иголки сшитое ей американскими портными платье: и конституцию, и политическую систему, и профсоюзную систему, и аграрную реформу, и черта, и дьявола... И идет себе путем либерально-демократической цивилизации западного или, если хотите, христианского образца. Начем при этом не поступившись, не потеряв ни своей национальной культуры, традиций, характера, ни самосознания. Так почему же Россия должна утратить свое естество на этом пути? Дико! Если подходит для Японии, то подойдет и для России, которая все-таки еще и Евразия. Это страна христианской традиции. Значит, куда ближе к системе цивилизации, нежели Япония. Почему же Россия на этом пути должна все растерять?!

— *Владимир Борисович, что вас больше всего потрясло из происходившего в России?*

— Безумно трудный вопрос. Все невероятно важно. Дайте подумать...

Ну вот первое, что приходит на ум. Меня действительно потрясло, когда я узнал, что «Новый мир» публикует «1984» Оруэлла. Потрясло сильнее, чем, скажем, сообщение о предстоящей публикации «Архипелага ГУЛАГ». Потому что «Архипелаг...» — это понятно... По крайней мере, теоретически можно себе представить социализм или любую другую общественную систему без «Архипелага...». Теоретически... Но ведь «1984» Оруэлла — это убийственный анализ самой идеи и ее воплощения сверху донизу, горизонтально, вертикально, как угодно.

— *Долгие годы вы вращались в среде русской эмиграции. Вы застали и тех, кто приехал на Запад давно, сразу же после революции, и в годы войны. Что осталось в вашей памяти от этих встреч?*

— Да, здесь на «Свободе» я встретил работавших еще на радио или уходивших на пенсию людей, которые покинули родину либо детьми, либо подростками. Эти люди меня поражали. Они говорили удивительно чистым, удивительно богатым, свободным от советизма русским языком, они поражали подлинной интеллигентностью, удивительной, я бы сказал, европейской образованностью. Я имею в виду Виктора Франка, Александра Бахраха, Гайто Газданова, Владимира Варшавского... К сожалению, я застал их уже на излете. В то время для

меня, приехавшего из СССР, все было непривычным, неожиданным. Честно говоря, я и не знал, не подозревал о существовании таких людей, целого пласта нашей русской культуры. Причем культуры не книжной, не той, для постижения которой надо пойти в научный зал Ленинской библиотеки. Эти люди культуру носили в себе.

— *Фигура Михаила Горбачева в вашем восприятии?*

— Поначалу я с какой-то замороженностью смотрел на него, настолько он не походил на своих предшественников. Я помню, меня потрясло, когда во время одного из первых его «вхождений в народ» он стал появляться на улице. Меня потрясла непосредственность его рассказа, как он с Раисой Максимовной читает Достоевского, Чтобы Генсек читал Достоевского. Мамачки, до чего дожили, что происходит? Представить его предшественника читающим Достоевского просто немыслимо.

Горбачев интересует меня до сих пор, потому что в нем много человеческого, и слабости его человеческие, и достоинства его человеческие. Он не памятник, он не робот партийный, он — человек.

— *Были ли случаи, когда вы как редактор останавливали негативную информацию о М. Горбачеве? И вообще, есть ли у вас цензура?*

— Один из народных депутатов Верховного Совета выдал нам монолог, в котором Горбачев являлся чуть ли не главным мафиози в Советском Союзе, что он-де замешан в самых грязных, мерзких российских и южнорусских партийно-мафиозных делах. Материал я зарубил: какое мы имеем право давать его в эфир? Ради дешевой сенсации? А где документы, где подтверждение? Это гдьяновско-ивановский уровень: «У нас есть все доказательства. Они в сейфе». Но, простите, откройте ваш сейф.

— *Нет ли у вас ощущения, что радио «Свобода» вот-вот «сыграет в ящик» и перестанет быть необходимым советскому слушателю?*

— Теоретически я это допускаю. Но практически? Вот вы меня спросили о том, каким мне видится будущее России, и я категорически отказываюсь предлагать какие-то варианты. Мне как-то даже странно думать о них. Ясно одно, что в самом лучшем, в самом оптимальном варианте, если действительно Россия встанет на путь демократических, радикальных преобразований, экономического, социального, политического порядка, тут, по моему, однозначно, даже, простите, по Нине Андреевой,

это будет процесс чрезвычайно мучительный и длительный. Так что теоретически — да, я могу себе представить момент, когда радио «Свобода» перестанет быть нужным. Но в течение ближайших пятнадцати — двадцати лет очень трудно вообразить, что Россия достигнет, скажем, если говорить об органическом демократизме всех институтов, чешского уровня. Я действительно могу себе представить, что через пару лет чехословацкая редакция радио «Свободная Европа» станет нонсенсом. Но представить себе, что такое может случиться через пару лет с русской редакцией радио «Свобода», мне очень трудно. Так что у «Свободы» все впереди.

— *А каким вам видится ваше личное будущее?*

— Работа, семья.

— *Вы были во многих странах мира, многое видели, многое успели. Что бы вам хотелось еще увидеть, пере-чувствовать как журналисту, как творческому человеку?*

— Ну боже мой, мечты есть, но они неосуществимы. Честно говоря, пятнадцать лет назад со мной случилось вот что: я заболел Дальним Востоком, Японией, Кореей, я прочитал на всех доступных мне языках массу книг, информацию об этих странах. Я бывал в них как журналист, много писал об истории, быте, традициях Востока, но тогда уже понял, что поздно, жизни уже не хватит и серьезно изучить языки, и хотя бы поверхностно познать тысячелетние традиции и нравы труднодоступной цивилизации. Это исключено. Это абстрактная мечта. А я безумно этого хотел, была бы жизнь подольше, были бы мозги и физические силы, было бы все, как четверть века назад. Так что многое уже из области неосуществимых грез.

— *Ну а поехать в Москву, в Россию — вы же не были там так много лет, с тех пор как покинули ее?*

— Вы знаете, на эту тему со мной немало заговаривали. Между прочим, Илья Сергеевич Глазунов по телефону приглашал меня от имени Российской Академии художеств посетить Петербург и Москву. Академия оплатит расходы. Спасибо, конечно, но ехать я не могу. Существует закон, по которому я, невозвращенец, совершил преступление, и на этом основании въезд в страну мне заказан. Хотя я знаю, что многие в моей ситуации все-таки ездили. Дело не в этом, дело в том, что возвращение для меня вопрос принципа. Я считаю так: либо законы есть, либо законов нет. Это ваше дело — соблюдать их или закрывать на них глаза. Если закон дурацкий,

меняйте его, да, впрочем, и об этом уже много писалось. Так вот, резюмирую: надо изменить закон, по которому такие, как я, считаемся преступниками.

А для себя считаю унижительным, даже если дали бы визу и обнадежили, что никто меня пальцем не тронет, да, считаю унижительным ехать на милость каких-то органов из доброго их расположения или каких-то таких там иных сиюминутных мотивов.

...Чтобы не было кривотолков: материал мой в общем положительный, точнее, объективно-положительный. Ставлю все точки над «і». На радио «Свобода» я попал не как командированный советский журналист. Меня пригласили немного поработать. И приехал я в Мюнхен за свой счет. Поработал. Да так, что до сих пор спина болит. Работа на «Свободе» — это действительно работа. Нет у тебя ни нянь, ни посыльных, ни начальства. Все делаешь сам, от поиска и подачи материала до его «выброса» в эфир.

Естественно, я кое-что и заработал. Одни посчитают, что заработал заслуженно, другие скажут: «Получил свои тридцать сребреников». Только думается мне: по тридцать сребреников мы все получали семьдесят три года. Уж так сами себя истязали и сами на себя клеветали, что по миру пошли. Прости мя, Господи! А в Мюнхене я еще раз понял, что свобода — осознанная необходимость. В том числе и с кавычками-в слове «Свобода».

Сентябрь 1990 г.

СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ ЖИТЬ БЕЗ МИФОВ

Он был первым (или почти первым), кто двадцать лет назад легально вырвался из железной клетки. Как это произошло, как прожил он эти двадцать лет вдали от родины, что вообще он думает о своей судьбе и о своем времени? На эти вопросы мне хотелось получить от него ответы.

*До знакомства, а оно произошло в мае 1990 года на сцене Концертного зала Олимпийской деревни, где я вел вечер, посвященный радио «Свобода», много слышал о нем, читал в нашей прессе. Начиная примерно с 1977 года его имя замелькало в погромных контекстах в «Неделе», «Комсомольской правде», «Международной жизни», «Известиях». В статьях беспардонно извращались и выдумывались факты биографий — его, жены, коллег, поло-
скалось имя его тестя, тенора Михаила Александровича. Дальше всех в своих «разоблачениях» пошел софроновский «Огонек», объявивший его основоположником «махлисовской формации изменников». Этот бред продолжался и в период гласности, до 1987 года.*

Леонид Махлис родился в Москве в 1945 году. Филолог, журналист, издатель. С 1963 года работал внештатным корреспондентом ряда центральных изданий и АПН. Закончил филологический факультет МГУ. В 1971 году эмигрировал. Редактировал русскую газету «Трибуна», выходившую в Израиле. Последние восемнадцать лет живет и работает в Мюнхене.

Итак, я веду вечер радио «Свобода», первый открытый вечер в СССР этой «зловещей» радиостанции, и мы все — и люди, сидящие на сцене, и те, кто находился в зале, — ждем появления гостя, штатного сотрудника радио «Свобода» Леонида Махлиса. Ждем-ждем, а его все нет. Ведь он единственный участник вечера, который мог

бы из первых уст поведать о деятельности радиостанции, которую только-только перестали глушить. На сцену шли записки: «Где Махлис?» Мне уже казалось, что (как могло это быть в старые «добрые» времена) наше здание оцеплено, что Махлис арестован, что ему по меньшей мере не дали визы. Опасения оказались напрасными, когда он уже под занавес появился на сцене и рассказал о том, что действительно получил въездную визу в самый последний момент и по этой причине прибыл из аэропорта с опозданием. Выступал Леонид недолго, но емко, убедительно, умно. Среди множества записок, обращенных к нему, была одна, весьма принципиальная: «Говорите еще, как приятно слышать настоящую старинную русскую речь».

И эту речь я через несколько месяцев слушал уже в Мюнхене. Я подружился с Леонидом и его женой Илонной, дочерью замечательного советского (в прошлом) певца, необыкновенно у нас популярного (ныне он живет в США), Михаила Александровича (собственно, и тот приезд Махлиса в Москву был связан с попыткой переиздания у нас его книги воспоминаний). Беседы свои я не записывал на магнитофон, а запоминал. Эпизоды жизни, поведенные мне Леонидом, были настолько яркими, что оставались в памяти, как казалось, навсегда.

Но, сев за это интервью, я понял, что все-таки кое-что забыл, и очень расстроился. Лишний раз не полетишь в Мюнхен. Выручила журналистка Анжелика Васильева, сумевшая побеседовать с Махлисом в тот самый первый его приезд в Москву. Она предоставила в мое распоряжение свои записи.

Кстати, по отношению к Махлису, человеку, как мне, во всяком случае, показалось, честнейшему и безобидному, лишенному всяких экстремистских побуждений, у нас продолжают какие-то странные манипуляции. То его снова не впускают в Москву, к собственным живым родителям, то распускают слухи, что он арестован. И даже хваленый рас-пере-гласный «Огонек» ставит вето на интервью с этим человеком.

Так кто же он, Леонид Махлис?

— Ты берешь у меня интервью. Для меня это весьма необычно. До сих пор меня интервьюировали только следователи КГБ, отбирая при этом подписки о неразглашении. Естественно, это было, когда я жил в СССР. Правда, и после моего отъезда КГБ внес значительный вклад

в популяризацию моей скромной персоны. Начиная примерно с семьдесят седьмого года мое имя регулярно мелькало на страницах советской прессы.

Я иногда жалею, что никто не взял у меня интервью двумя десятилетиями раньше, когда я покидал страну. Мне было о чем рассказать. Вообще, вместо заполнения многочисленных анкет следовало бы у каждого отъезжающего брать интервью и публиковать его. Людям легче было бы понять, что такое эмиграция, кто в ней повинен, что СССР — это страна внутренних эмигрантов, что патриотизм — это не улица с односторонним движением. Но отвечать на такие вопросы мне впервые пришлось уже после приезда в Израиль в 1971 году. А спустя короткое время я отправился в поездку в США и Канаду по приглашению тамошних общественных организаций. Она длилась три месяца и целиком состояла из интервью, пресс-конференций, публичных выступлений. Я только тем и занимался, что отвечал на вопросы американцев — студентов, школьников, журналистов, конгрессменов, сенаторов, министров, мэров.

Чем это вызвано?

В то время я был первой ласточкой, легально вырвавшейся из страны победившего социализма. К тому же у американцев был большой интерес к так называемым еврейским активистам и отказникам. Меня показывали в теленовостях, газеты печатали фотографии, прохожие останавливали на улице, приглашали в дома, предлагали помощь. Я в свою очередь использовал этот интерес к себе, чтобы организовать кампанию в поддержку моего брата-отказника и других людей, оказавшихся в роли заложников. Так, 24 апреля я начал голодовку протеста у здания ООН. Ко мне приходили простые люди, журналисты, политики, чтобы выразить поддержку. Одним из первых пришел Джордж Буш — в то время американский представитель в ООН. После голодовки меня приняли сенаторы Эдвард Коч и Эдвард Кеннеди, конгрессмены Кемп, Шоер, министр иностранных дел Канады Митчел Шарп и другие политики, была назначена дата встречи с президентом Никсоном.

Но было бы ошибкой думать, что их интересовал исключительно еврейский вопрос. СССР всегда был для простых американцев «терра инкогнита». Людей интересовало все — от рецептов приготовления кваса до народных способов лечения радикулита. Во время беседы в редакции журнала «Тайм» корреспондент любопытст-

вовал, правда ли, что в СССР гомосексуалистов содержат в клетке.

— *Ну а допросы в КГБ. Чем они были вызваны?*

— Первое «интервью» состоялось в 1965 году. Мне тогда едва исполнилось двадцать. Внимание же я привлек гораздо раньше. Меня вызвали на допрос в следственную тюрьму в Лефортово, расспрашивали о настроениях, взаимоотношениях с некоторыми приятелями и даже спросили, не вынашивал ли я планы нелегального перелета границы. И чтобы уличить меня в неискренности, следователь по особо важным делам подполковник Алексаночкин извлек из папки фотокопию частного письма, написанного мной... в 15-летнем возрасте. Это была психологическая обработка — дескать, мы все равно знаем о каждом твоём шаге, поэтому не вздумай впредь отпираться. Эффект был достигнут, но не тот, на который рассчитывал следователь. За то время, что я перечитывал свое письмо, я повзрослел на 10 лет. В действительности именно тогда я принял решение уехать любой ценой из страны, где даже дети — объект слежки. В тот момент я пережил шок, который во многом определил мою жизнь. Впоследствии КГБ не раз занимался перехватом моей корреспонденции и прямыми провокациями с использованием перехваченных сведений.

— *В каком качестве тебя допрашивали? Что служило прямым поводом для этого?*

— Сперва в качестве свидетеля и подозреваемого, затем последовала профилактика и попытка вербовки, включая прямой подкуп. А все началось с песенки.

Однажды я попал на вечеринку в еврейскую молодежную компанию. Слушали магнитозаписи еврейских песен, читали еврейских классиков Бялика и Жаботинского. Кто-то предлагал свои стихи. Слушали рассказы человека, только что освободившегося из заключения, он провел в лагерях 5 лет за пропаганду «сионизма». Человек, устроивший эту вечеринку, пенсионер Соломон Дольник (тогда я даже не знал его имени) вскоре был арестован и обвинен в шпионаже. Уже через месяц он начал сотрудничать со следствием и всех участников вечеринки принялись таскать в Лефортово.

Меня предупредили: если я не буду давать нужные показания, выгонят из МГУ и заведут дело на основании показаний Дольника, который утверждал, что получил от меня две книги по национальной теме. Книги были мне предъявлены, обе дореволюционного издания. Ни к сио-

нистской, ни к какой-либо другой пропаганде отношения не имели. Угрожали предъявить обвинения в распространении нелегальной литературы, участии в сионистской организации, связи с агентами иностранной разведки и... исполнении сионистских песен. Почему-то последнее обвинение прозвучало наиболее угрожающее. Следовательно долго допытывался, пел ли я «Пальмах» — марш еврейских бригад времен войны за независимость в Палестине. И даже с негодованием пересказал ее содержание.

Когда дело закрыли, вызовы в КГБ прекратились не сразу. Под видом воспитательных бесед фактически шла вербовка. Мои собеседники открывали перед молодым безработным журналистом широчайшие «творческие» возможности. Все, что мне следовало делать, говорили они, — это писать очерки о счастливой жизни евреев в СССР, ну и, конечно, если рядом возникнут какие-то подозрительные люди с нестандартными настроениями, проявить бдительность. Не понимаю, чем не устраивали их Цезарь Солодарь и Арон Вергелис.

Однажды мой «куратор» Евгений Иванович (фамилии не назывались) открыл сейф, повозился в нем и, изобразив на лице сострадание, положил передо мной 30 рублей. Это было приглашение вступить в их кассу взаимопомощи. В этот момент во мне пылали два чувства — отвращение и страх...

— *Ты всегда был бескомпромиссным? Или это мне только кажется?*

— Да что ты, моя жизнь — это один большой компромисс. Но я брезглив и недоверчив. Брезгливость — это интуитивная принципиальность. Поразительно, но всякая нечисть меня сторонится.

— *Значит, если бы не преследования, ты бы остался?*

— Преследования — это лишь наиболее откровенная форма подавления естественных интересов. Мне постоянно сопутствовали и другие формы унижения — жесточайшая дискриминация при устройстве на работу, изощренные издевательства над братом, вежливое дистанцирование сокурсников.

Но причины, толкающие людей на эмиграцию, не ограничиваются личной судьбой. Это было бы слишком просто. Такие решения зреют иногда на протяжении всей жизни.

Мне было семнадцать лет, когда меня взяли на работу в библиотеку Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. За полтора года работы я перерыл чуть ли не

весь спецхран, к которому имел неофициальный доступ. Перечитал книг, наверное, больше, чем за всю предшествовавшую жизнь. Читал все подряд — от Фрейда до Роже Гароди. Зарплата — 45 рублей в месяц, работа связана с физическими нагрузками. Но я и не помышлял об уходе, понимая, что это уникальный шанс.

Штат научных сотрудников был укомплектован в значительной мере из детей видных революционеров и партийных вождей. Каждый из них кормился за счет прославленного предка. Атмосфера была вполне домашняя, уютная. И ушел я оттуда вовсе не из-за зарплаты.

Я сдружился с заведующим так называемым запасным фондом. Сюда сваливали ненужные для научной работы поступления, а затем раскидывали по другим библиотекам. Мой приятель однажды пригласил меня к себе в отдел в обеденное время, завел меня в какую-то комнату и сказал:

— Побудь здесь до конца обеда — не пожалеешь. Я за тобой приду.

И повернул в замке ключ. Комната до потолка была завалена связками книг. Я начал в них рыться — это занятие обошло с детства. Большинство книг были с авторскими автографами и надписями, содержание которых не оставляло сомнения — это была личная библиотека Сталина. Попадались документы и записки, написанные рукой самого вождя. На полях нередко красовались его пометки. Позднее я узнал, что до тех пор книги эти хранились в кабинете Сталина в Кремле, но Хрущев распорядился очистить кабинет. Многие книги были уникальны. Например, я наткнулся на роскошный фолиант в серебряном окладе. На титульном листе значилось: «Максим Горький. Мать... Тираж—1 экземпляр. Москва. 1934».

Через несколько дней я попросил моего друга снова впустить меня в волшебную комнату.

— Опоздал,— сказал он.— Сожгли. Вчера во дворе.

Вот так. Просто и обыденно. Я не любил, когда жгут книги. В тот же день я уволился. Это был, быть может, первый шаг к эмиграции, хотя тогда я еще это полностью не осознавал.

Или другой случай.

В 1966 году я подал заявление на частную поездку в Польшу. В ОВИРе сказали: «Зачем вам Польша? Разве в нашей стране мало интересного? Попутешествуйте дома». Ах какую они сделали ошибку! Поскольку мне действительно ничего другого не оставалось, я решил

путешествовать. Завербовался рабочим в гидрогеологическую экспедицию на Колыму. Представляете, три долгих месяца жил в покинутых сталинских лагерях—они теперь используются как базы для геологов, топографов, пастухов. Я обшарил и перефотографировал все бараки и лагерные постройки, карцеры и фабричные сооружения, штольни и кладбища... Начитался писем зеков и лагерной периодики, раскопал множество приказов и прочей неуничтоженной документации. Оказалось, что до сих пор никто этим не интересовался. Познакомился с десятками поселенцев, недавно освобожденных из этих лагерей... Я узнал столько, что мог бы тогда редактировать «Архипелаг ГУЛАГ». Все эти находки я в двух чемоданах привез в Москву.

— *Где эти материалы сейчас?*

— В результате обыска они перекочевали в том же году в архивы КГБ. Круг замкнулся. У меня сохранились только фотографии. Ты должен их увидеть. Все оборудование лагерной фабрики стояло в смазке. Законсервировали— кто знает, может, еще пригодится.

Глупые, глупые начальники, отказавшие мне в невинной поездке в братскую Польшу. Если бы они знали, какие впечатления я привезу из поездки в глубинку, меня пустили бы не только в Польшу, но и в ЮАР.

Я увидел хорошо спрятанную изнанку нашей жизни.

Но и личная судьба, преследования и вся история моей семьи сыграли в моем решении не последнюю роль.

— *Но, несмотря на это, ты закончил филологический факультет МГУ — один из самых престижных в стране?*

— Признаться, это по сей день для меня самого загадка. Несмотря на бешеный конкурс—19 человек на место,—я сдал экзамены без проблем, и до самого диплома мне ни разу никто прямо не напомнил о моем еврействе. Это, однако, не означает, что вокруг меня не возникали эксцессы. Они не имели ко мне прямого отношения, но давали обильную пищу для размышлений. Мой научный руководитель П. Ф. Юшин, парторг факультета, известный своими откровенными юдофобскими и просталинистскими выступлениями, мной весьма дорожил и всячески старался удержать меня в своем семинаре. Это давало ему повод всякий раз парировать обвинения в антисемитизме железным аргументом — «какой же я антисемит, когда мой лучший студент — еврей, да вы у него работайте». При этом он старательно вымарывал в моих работах любые ссылки на литературоведов с «подозри-

тельными» фамилиями: Михайловского, Эйхенбаума, Томашевского и других, заменяя их классиками марксизма. А однажды он приказал снять с выставочного стенда в факультетской библиотеке сборник стихов Павла Когана. «Я не считаю этого космополита советским поэтом,— изрек профессор.— Советский поэт не может «задохнуться интернационалом».

— *Ты человек, остро чувствующий свое еврейство, выбрал русское отделение филфака МГУ. Почему?*

— Даже в то скверное время еще никто не отгонял евреев от русской литературы, как это делают сегодня «патриоты». Даже антисемиты, те, что сегодня по призыву Куняева рассматривают через лупу посмертные фотографии Есенина в поисках следов насильственной смерти от рук убийц-евреев и, не обнаружив оных, приписывают свою неудачу ловкости еврея-фотографа, в то время относились ко мне и к моему выбору с уважением. Кстати, Есенин был темой моего диплома. Больше того, я с увлечением занимался русским фольклором и древнерусским искусством.

Я не собираюсь обсуждать вопрос, есть ли место евреям в «чужих» литературах. Оставляю это Татьяне Глушковой.

Я считаю, что гораздо естественней литературоведу-еврею толковать стилистику Есенина, чем литературоведу-русскому тратить время на сомнительные толкования происхождения международного сионизма, чем занимается, например, Вадим Кожин на страницах «Молодой гвардии».

— *Как ты расцениваешь тезис идеологов «Памяти» о том, что евреи — главные виновники российских бед?*

— Есть другой тезис — евреи неимоверно богаты, поскольку они всегда за все платят. Я готов принять на себя ту долю ответственности, которая соответствует степени моего участия в разрушении России, если будет признан принцип равенства в ответственности. Но кто сконструирует такой компьютер, чтобы рассчитать, кто кому должен? Чтобы отделить жертв от палачей?

Три человека в моей семье были в 1943 году расстреляны немцами как партизаны. Донос в гестапо написан рукой украинки Веры Канцедальной. Ее судили за это преступление и дали 10 лет. Умерла в своей постели. Старший из этой тройки — Василий Кривонос, еврей — сражался под русским флагом в 1903, 1914 и 1941.

Младшему не было шестнадцати лет. Кому мне выстав-
лять счет — немцам, украинцам или русским?

А кто сможет проверить, не заплатил ли по счетам гу-
лаговского палача Френкеля мой дядя Зяма Болотин, ин-
валид, обманувший медкомиссию, чтобы уйти на фронт
добровольцем и погибнуть 20 апреля сорок пятого года в
местечке Фюрстенвальде под Берлином? Если эта цена
кому-то покажется слишком малой, подброшу им еще
одну похоронку, другого дяди — Льва Махлиса, 1943-й,
Курская дуга. Да и отцовские ордена не на Тишинском
рынке куплены.

Покажите мне того экономиста, который разберется
в этом дьявольском грессбухе. Это для шафаревичей и
сычевых все просто, для них мир еще не разрушен до ос-
нования. Еще есть над чем поработать.

Если погорельцы, ползающие на развалинах общего
жилья, вместо того чтобы объединить усилия и спасти то,
что еще можно, начнут отгонять друг друга от пепла не-
когда принадлежавших им табуреток и веников, да еще
произносить при этом возвышенные слова, им никогда
уже не подняться с четверенек.

— *То есть ты считаешь, что евреи сегодня должны
участвовать в спасении России? Как в таком случае ты
смотришь на нынешний взрыв еврейской эмиграции?*

— Это вопрос личного мужества. Мы живем с вами в
то время, когда на свет появилась русская «Майн
Кампф» — книга Шафаревича «Русофобия» (Ленинград,
1990), когда тиражи откровенно расистских «Молодой
гвардии», «Нашего современника», «Литературной Рос-
сии» и др. в несколько раз превышают тиражи «Штюрме-
ра» и «Фолькише беобахтер» периода их расцвета, когда
еврейские могилы на Ваганьково разрисованы свастика-
ми, когда Гитлера в советской печати критикуют справа,
когда действует фашистское подполье. Мудрено ли, что
самые большие оптимисты прощаются с иллюзиями? Что
дальше?

Кроме того, я не уверен, что нынешний взрыв эми-
грантских настроений — чисто еврейский феномен. Изме-
нились условия выезда и легальные возможности устройст-
ва людей «там», евреи сразу столкнутся с серьезной кон-
куренцией со стороны русских. Я далек от того, чтобы до-
казывать истину анекдотами, но мне вспомнился «застой-
ный» анекдот. Громыко говорит Брежневу: «Леонид Иль-
ич, Косыгин считает, что пора открыть границу». Бреж-
нев: «Ты что, Андрюша, не пройдет и недели, как в

СССР мы втроем и останемся». Громыко (мечтательно): «Не думаю. Вы один останетесь».

Во время моей поездки в Москву ко мне не раз обращались неевреи с просьбой о содействии в выезде. Молодая сибирячка, музыковед, спросила: «Если я приеду в Израиль по подделанному свидетельству о рождении, меня не вышлют обратно?»

Не могу удержаться от другой истории, рассказанной мне в Израиле заведующей отделом «Сохнута» (еврейское агентство), который занимается оформлением вызовов.

Из Барнаула позвонила некая Соколова Екатерина Ивановна и попросила вызов для своей семьи, в которой, как выяснилось, нет евреев. Женщине вежливо объяснили, что это противоречит международным и израильским законам, что вызов может быть послан только евреям и членам их семей. Простодушная Екатерина Ивановна все поняла и, извинившись за беспокойство, сказала:

— Мне, конечно, дали не тот телефон. А вы не могли бы сообщить телефон русского «Сохнута»?

— *Но ведь не все евреи уедут. Кто-то останется. Что им делать?*

— То, что евреи делали на протяжении большей части истории, — молиться. Есть такая еврейская поговорка — «Господи, напугай, но не наказывай».

— *Как ты попал на «Свободу»?*

— Советские газеты с небольшими расхождениями — в зависимости от полета фантазии авторов — живописали историю «вербовки». Кто только не занимался мной — американская разведка, из лиги защиты евреев, некая чета бывших гестаповцев. А в одной статье рассказывалось даже о какой-то финансовой афере, в которую мы с женой якобы влипли в Израиле, чем и привлекли внимание «вербовщиков», так как «людей без грязных пятен в биографии на РС не берут». На самом деле вербуют только в Вормсу или в иностранный легион. На Западе все куда прозаичней — подписывают рабочий контракт, при этом у нанятого, по крайней мере в ФРГ, по трудовому законодательству больше прав, чем у работодателя. Это значит, что вас не могут без серьезной причины ни уволить, ни понизить в должности.

Еще в Вене в первые часы новой жизни я встретил человека, который приехал из Парижа увидеться с родственниками. Он был одним из руководителей РС, где тогда преобладали потомки старой довоенной эмиграции,

люди из так называемой «второй волны», и несколько переезжчиков. Искали новые квалифицированные кадры. Мне предложили работу. Многие тогда сочли бы такое предложение удачей. Но я отказался и уехал в Израиль.

— *Ты был идейным сионистом?*

— Советские газеты предпочитали другой эпитет — «ярый». Но дело не в эпитетах. Меня влекла эта страна. Можете называть это сионизмом, романтикой, но я просто не мог отказаться от мечты, которая сбывалась. Я за нее боролся. В тот момент это было единственное место, где я чувствовал себя в безопасности. Я прожил в Израиле около двух лет. Это были лучшие дни моей жизни. Работал на радио, затем редактировал русскую газету.

— *Почему не остался?*

— Остался. Я приехал в Германию не как эмигрант или искатель счастья, а как гражданин Израйля, заключивший договор с американской компанией. Я никогда не прерывал моих отношений с Израилем, ездил туда служить в армии, проводить отпуск, печататься в газетах. В Германии я иностранец. Едва ли захочу здесь остаться дольше, чем того требует моя работа.

— *А как еврею легко было принять решение переселиться в Германию?*

— Мучительно трудно. При всем том, что ФРГ может служить сегодня образцом терпимости к евреям, чертовски трудно было преодолеть чувство национальной подозрительности.

Мне случилось за несколько дней до приезда в Мюнхен оказаться в кабинете врача в Тель-Авиве. Узнав, что я направляюсь в Германию, врач швырнул мою папку в корзину со словами: «Такой еврей, как вы, не заслуживает своего государства. Я отказываюсь вас лечить». И указал мне на дверь рукой, на которой я разглядел корявую татуировку из 5 цифр. Понимаете, для него в тот момент было что-то более важное, чем клятва Гиппократа. Это меня пришибло. Сцена до сих пор у меня перед глазами.

— *И все-таки поехал?*

— Поехал. И правильно сделал. Если бы я тогда остался, то, наверное, до сих пор в глубине души считал бы, что ничего не изменилось, что все немцы — прирожденные нацисты и жидоеды, что они ничего не сделали для искупления страшной вины перед человечеством. А это не так.

— *И ты им все простил?*

— Ничего я не простил. Кто я такой, чтобы прощать убийство? Но я и не вправе презирать и наказывать тех, кто к этому не имеет отношения, кто родился после этого кошмара, и лишь для того, чтобы всю жизнь платить по счетам родителей. И они безропотно платят. Немецкий закон преследует даже тех, кто пытается отрицать или фальсифицировать позорные факты немецкой истории. Это приравнивается к нацистской пропаганде... Такие издания, как «Молодая гвардия», «Наш современник» или «Пульс Тушино», здесь не просуществовали бы и дня. Я понял, что ненависть — плохой советчик.

Несколько лет назад судьба свела меня с молодой женщиной, католичкой, перешедшей в иудаизм. На мой не очень тактичный вопрос — почему? — она объяснила: «Когда я узнала, что сделали мои соотечественники с еврейским народом, я не находила себе места из-за того, что не в силах повернуть историю вспять. И тогда я сказала себе — если такое случится еще раз, я хочу быть на стороне преследуемых».

— *Твои самые сильные впечатления от Москвы и москвичей после 20 лет отсутствия?*

— Полная мифологизация мышления людей, да и вообще всей жизни. Все верят в существование каких-то мифологических чудовищ — мафии, масонов, теневиков, хотя никто их в глаза не видел. Эти чудовища пожирают все — хлеб, водку, мыльницы, бумагу, озоновую оболочку, авиационные билеты, бензин, золотой запас... Советский человек не может жить без мифов. Это его среда обитания. До приезда в Москву я наивно верил, что Горбачев освободил людей от страха. Это верно только отчасти. Люди действительно стали меньше бояться властей. Зато душами завладели другие страхи. Писатели боятся, что скоро не на чем будет печатать их книги. Кооператоры сбрасывают усы и, выходя на улицу, напяливают женские парики, чтобы обмануть бдительность рэкетиоров. Московские армяне боятся, что в час «икс» их примут за евреев, бакинские евреи опасаются разделить участь армян. И те и другие боятся, что американское посольство откажет им в получении статуса беженцев. Единственные, кто никого не боится, — это неухоженные дамы в «Гайд-парке» у «Московских новостей», проповедующие о скором конце света и требующие отдать под суд Горбачева, Ельцина и Кашпировского, да еще гаишники. Один из них остановил меня в Черемушках за езду с включёнными фарами. Увидев перед собой

иностранца, он попросил взятку... в долларах. «Лейтенант,— говорю,— тебя же посадят». Отвечает: «Да я сам кого хоть посажу».

Ты скажешь: коррупция. Я говорю: отсутствие самоуважения. Ну как может уважать себя человек, который на работе выиграл в лотерею талон на кусок колбасы и тут же перепродал его коллеге за два номинала? Или студент-донор, получивший за 200 граммов крови талон на чайник со свистком. Недавно прочел в газете о человеке, потребовавшем за кровь заплатить ему долларами. Рабочий завода электробытовых приборов на Украине доверительно рассказал мне, как он выносит с завода кофеварки во время обеда и прячет их в старинном склепе на близлежащем кладбище. Криминогенное сознание произрастает из неуважения к себе и к другим.

В СССР я увидел митингующее общество. Все хотят говорить. Все хотят быть услышанными. Политика — самый популярный вид спорта. Люди ведут себя у телевизора, словно на трибуне стадиона, четко делятся на «мы» (те, кто знает, как надо) и «они» (горбачевцы, гдляцовцы, «памятники», «нинаандреевцы», кооператоры и др.).

Пьяных почти не стало. То ли сказывается возросшая эмиграция масонов, «спайвавших» народ, то ли всеобщий дефицит. Но жажда не спадает. Очереди за водкой — самые длинные, самые угрюмые. Комментатор «Маяка» Леонид Лазаревич дал мне профессиональный совет: «Хочешь написать хороший очерк о поездке? Займи очередь за водкой и выстой до конца. То, что услышишь, запиши. Это будет уникальный материал».

Наглядная агитация в упадке. Уезжал из страны плаката — приехал в страну комиксов. В памяти застряли транспаранты: «А что ты сегодня сделал для перестройки?» или «Перестройка — дело всех и каждого». В пирожковой на Кузнецком Мосту меня сразил реликт бывшего словоблудия: «Берегите хлеб — наше богатство». Пирожки застревали в горле.

Поразило несметное полчище милиции на улицах. Словно военное положение. Но основной объект их внимания — автомобилисты. Раскидай по Нью-Йорку такую уйму полицейских — преступники нос бы не высунули на улицу. Впрочем, один раз довелось видеть милиционеров в действии — на Пушкинской площади два рослых сержанта «вязали» старушонку, сорвавшую с клумбы цветок. Старушка оказала пассивное сопротивление. В отделение ее доставляли волоком.

Но пробиваются и здоровые ростки. Это молодежь, дети моих ровесников — первое поколение, которому разрешили самостоятельно мыслить. Менее заметны цинизм и ханжество, страх и неврастения.

— *Хотел бы остаться?*

— Нет. Двадцать лет — большой срок. Я научился жить по-новому, и мне нравится моя жизнь. С другой стороны, моя жизнь сложилась так, словно я и не уезжал. Семнадцать лет я работаю на радио «Свобода». И все эти годы живу вашими проблемами. Я чувствую здесь себя своим. Люди знают меня по эфиру. При встрече дарят комплименты или критикуют. Самый большой комплимент — это когда говорят, что не видят во мне иностранца. Но я — иностранец.

— *Тогда скажи, как чувствует себя в СССР иностранец?*

— В 1979 году, вскоре после советского вторжения в Афганистан, в газете «Зюддойче цайтунг» я увидел карикатуру. Витрина «Интуриста» с броской рекламной надписью — «Торопитесь посетить СССР, пока СССР не посетил вас». Этот мрачный юмор предельно точно отражал международную атмосферу тех дней. А люди, возвращавшиеся из СССР, жаловались на слезку, на издевательства таможенников, враждебность. Так вот, садясь в самолет, я отгонял от себя мысль, что и мне придется столкнуться с этим. Многие отговаривали меня от этой затеи. Я не послушал. И правильно сделал.

В Советском Союзе я был свободным ровно настолько, насколько чувствовали себя свободными люди, меня окружавшие. Например, в гостинице одни посетители вели себя тихо и скованно, время от времени указывая жестами на обои, за которыми должны, по их убеждению, скрываться микрофоны. Другие вообще отказывались от посещения, чтобы избежать пронизывающего взгляда и расспросов привратника. А съемочную группу московского телевидения, которая приехала для интервью, вообще не пустили, пока я не выписал пропуск.

Выйдя же из гостиницы, я практически полностью превращался в рядового москвича. Даже свой паспорт я оставлял в гостинице. Случалось пользоваться блатом, но паспортом — ни разу. Однажды вместе с моей приятельницей, сотрудницей американского посольства, нам пришлось пробираться в ресторан «Националь» с черного хода, через кухню. Через главный не пустили. Я, наверное, так хорошо вошел в роль, что меня напрочь обошли

своим вниманием фарцовщики. Кстати, этот промысел, я думаю, вообще отживает свой век. Его затмила целая инфраструктура «интербизнеса». Это — кооператоры, люди свободных профессий, мечтатели, смутно представляющие себе бизнес и вообще деловые отношения. Для них контакт с иностранцем — профессия. В каждом приезде они видят потенциального спонсора каких-то утопических затей, партнеров-инвесторов, жертвователей-филантропов, лопающихся от избытка «грантов». Меня уговаривали покупать дальневосточный мрамор, открыть в Израиле детскую спортивную школу, построить ресторан в Сан-Франциско, создавать фонды. Все это, разумеется, в рамках «совместных» предприятий. При этом мои собеседники никак не хотели принимать всерьез мой аргумент — у меня другая профессия, и я не намерен ее менять. Тогда я стал прибегать к уловке — я стал говорить, что все свои деньги я только что вложил в строительство сети гостиниц в южной Калифорнии, что если хотя бы полгода назад — я бы не устоял против такого соблазнительного предложения.

Очень грустное впечатление оставили встречи с современными отказниками — людьми, не успевшими вскочить на подножку последнего вагона и по израильским визам уехать в Америку. Их непонимание ситуации подчас граничит с инфантильностью. Человек, которого я вижу впервые, просит меня поклясться перед американскими властями, что он мой брат. Объясняю, что дача ложных показаний противоречит моим принципам и американскому закону, который я уже один раз обещал соблюдать. Молодой человек посмотрел на меня, как на рвотное. Почтенная дама, армянская беженка из Баку, предлагает кооперативную квартиру, «Жигули» и... норковую шубу. Все, что от меня требуется, — это «пойти поговорить с Мэтлоком» (посол США), убедить его предоставить ее семье вне очереди статус беженцев.

— Почему вы думаете, что он меня послушает? — спрашиваю.

— Как? Но ведь вы — американец!

— *Нас часто упрекают в том, что мы «иностраным» — подражаем, пресмыкаемся, выцуганиваем.*

— Это опять-таки вопрос самоуважения. Конечно, есть довольно широкая прослойка людей, считающих, что весь мир им должен только потому, что у них нет чего-то, что есть у других. С тех пор как поднялся железный занавес и на Запад хлынули толпы родственников и зна-

комых, возникла обидная кличка «пылесос». Но я считаю, что в этом явлении виноваты не только гости-пылесосы, но и сами хозяева, которые не умеют вместе с подарками передать и частичку самоуважения.

В СССР же никто передо мной не пресмыкался. Некоторые преодолевали комплекс неполноценности, извиняясь за свои жилищные условия, за отсутствие водопровода, за то, что не достали для угощения водку или овощей. Были случаи, когда люди отказывались от моих подарков. Унизительные интонации уловил я лишь один раз, когда секретарь парткома крупного завода, только что провалившаяся на выборах в горсовет, умоляла прислать ей приглашение в Германию, с тем чтобы она могла во время своего отпуска подработать валюту уборкой квартир.

...А книжка М. Александровича «Я помню» все-таки выйдет в СССР. Илоне дали въездную визу, и она сумела заключить договор на издание. Подаренную Леонидом Махлисом книгу я прочитал залпом; в ней история нелегкой, но талантливой жизни одного из тех артистов, которые «определяли музыкальную жизнь в СССР с 40-х годов» (Кирилл Кондрашин). Право же, стоило Леониду организовывать собственное издательство даже ради одной этой книги.

Октябрь 1990 г.

«ТЫ ПРАВ В СВОЕЙ СВОБОДЕ...»

Его считают сумасшедшим и гением одновременно. Блестящий реформатор стиха, неутомимый популяризатор поэзии и поэтов, человек импульсивно-экспансивных действий, неожиданных выходов, оригинальных идей, о котором Михаил Луконин когда-то писал: «Если первым из поэтов на Луне окажется Урин, мы не удивимся». А вот что сказал мне о Викторе Урине американский художник русского происхождения Михаил Вербов: «По сравнению с Уриным динамит — сливочное масло». Можно продолжить: «Виктору Урину с верой в него и ему». — Борис Пастернак. «Самый феерический среди моих друзей в смысле лезть и мочь». — Сергей Орлов. «...Ты никогда не был ленив, замкнут, тяжел к жизни и товарищам. ...Я уверена, что ты прав в своей свободе поступков». — Белла Ахмадулина.

...Договорившись по телефону, мы встретились с ним на углу Бродвея и Фултон, что в двух кварталах от чрева «акул Уолл-стрита». Зашли в первое попавшееся кафе. Виктор Аркадьевич заказал два супа, фруктово-овощные салаты и вынул из сумки пол-литровую бутылку водки «Смирнофф». Разлил ее, но не под, а над столом, не оглядываясь и не озираясь. Скорее это я инстинктивно, по-советски, задержал шеей. Но на нас никто не обратил внимания, мы никому тут не были нужны. Правда, когда Виктор Аркадьевич заговорил, отвечая на мои вопросы, тут уж я заметил некое внимание к нашему столу. Урин говорил отрывисто-громко, импульсивно вскрикивая и производя такие же импульсивные движения всеми частями тела. Вообще его внешний вид, одежда, то ли хиппи, то ли сбегавшего прямо со сцены актера, могли произвести со стороны странное впечатление. Странное, но завораживающее. К тому же нельзя было не заметить, что этот человек — поэт: перемежая свою речь стихами,

он читал их так же звонко и молодо, как, наверное, пятнадцать лет назад на какой-нибудь московской эстраде.

— Вы себя чувствуете здесь в изгнании или в послани?

— Эту расхожую формулировку выдвинули эмигранты, бежавшие от большевиков после революции. Им угрожала гибель. Красная кровь была несовместима с кровью голубой. Они были в послании, они имели право так сказать. Что касается эмигрантов, в потоке которых оказался я, то за исключением единиц никто не был в изгнании. Власти никого не изгоняли. Но уезжали, думается мне, не самые лучшие. Лучшие оставались и боролись дома. А я уехал... Разве я лучше тех, кто остался? Никто так не считает. И я, признаться, не считаю лучшими тех людей, кто эмигрировал. Я только с горечью отмечу, что если в молодости в нас было что-то заложено доброе, благородное, самоотверженное, то здесь, как правило, стандартные мозги устремлены только к наживе. Какое же тут, к черту, послание! Какая цель? Домашний бассейн и комфорт? Поэтому пусть не набивают себе цену те, кто справедливо не считают меня лучшим среди худших, ибо я действительно эгоистичен и тщеславен и эти качества скорей в большей мере, чем в меньшей, присущи российским эмигрантам — никаким не изгнанникам и не носителям с большой буквы, а с маленькой или крошечной — сколько угодно носители! Хохотать хочется кровавыми слезами. Если мы Носители, мы якобы идейные интеллектуалы, якобы любящие свою родину, так мы должны теперь вернуться и помогать стране, когда ей так трудно, помогать своим опытом, талантами, энергией. Ведь ничто уже не угрожает тем, кто вернется с этой доброй целью. Но никто из нас этого не делает. Поэтому не надо говорить, какие мы хорошие...

— Если, по вашим словам, вы худший, а лучшие остались, то надо думать, что лучшие правы, исключив вас из Союза писателей?

— Меня не исключали. Такого документа я не знаю. Более того, когда западные корреспонденты звонили в секретариат московского отделения писательской организации, за что, мол, исключили Урина, им отвечали: «Мы его не исключали, он погорячился». Это вам подтвердит Кэвин Роен из Би-би-си. У него был изданный мной самиздатовский журнал «Мост», о котором Анатолий Максимович Гольдберг, знаменитый радиокомментатор, сказал, что он потрясен отвагой издателя.

— *Однако нельзя ли по порядку, с чего все началось?*

— Вкратце было так: в Доме дружбы с народами зарубежных стран собирались молодые поэты, обучающиеся в московских институтах,— зарубежные и советские молодые люди, с которыми я работал как избранный ими президент интернационального клуба «Глобус поэзии». И вот однажды, когда мы подготовили программу, чтобы показать ее в малом зале ЦДЛ, нам в этом отказали. Члены клуба называли себя «мостистами». Это самиздатовское издание в небольших тиражах я переплетал в мастерской на Сретенке. Однажды переплетчик сказал, что нагрянули «люди в штатском» и конфисковали шестой номер журнала. Это совпало с моим пятидесятилетием, когда секретариат правления Союза писателей СССР вынес решение провести в ЦДЛ мой авторский вечер. Выписку решения храню до сих пор.

Но вскоре стало известно, что ни молодым поэтам из клуба «Глобус поэзии», ни мне московское отделение зала не предоставит. Ответственный секретарь нашей писательской организации Виктор Ильин опустил передо мной шлагбаум. В журнале «Мост» систему подобных отказов я назвал «ржавой». За что? А за то, что...

В декабре 1974 года я вышел на трибуну пленума писателей Москвы и сказал, что мы, писатели, подвергаемся «ильинчеванию», и в знак протеста я положил на стол президиума свой писательский билет, заявив, что ухожу из этого объединения разъединенных.

— *Как же реагировали на это ваши коллеги?*

— По-разному. Борис Слуцкий тут же в коридоре подошел, пожал руку и сказал: «Молодец, Витя, хорошо ты их попугал, теперь они все для тебя сделают». То есть кто-то решил, что это мой «ход», стратегия. Но я уходил всерьез. Александр Николаев, потерявший руку на войне, сокрушался: «Это же надо довести человека до такого поступка!» Старейший поэт Казин открыто говорил: «Дискриминация!» И разъяснял, что Урин сделал то, что давно хотели многие, но не решались.

— А вы, Феликс, что думаете по этому поводу?

— Я думаю, что если бы вы остались в Союзе, то примкнули бы сейчас к «Апрелю», ведь ваш поступок, по сути, повторили через много лет в массовом порядке «апрелевцы». Чем больше самостоятельных секций, независимых объединений, тем лучше. Кстати, а сколько их в Нью-Йорке?

— У меня дома висит поэтический календарь, где, во-первых, перечислены адреса клубов поэтов (74), во-вторых, указано, где вы можете **каждый день**, подчеркиваю, ежедневно побывать в двух-трех местах, послушать других или, договорившись за два месяца, себя показать.

— *Мы отвлеклись, что же было дальше после вашего ухода из объединения разъединенных?*

— На следующий день «Голос Америки», «Немецкая волна», Би-би-си и «Свобода» сообщили, что действительно Урина исключали, а вот чтобы писатель сам уходил из СП СССР—так это впервые. И я начал готовиться к отъезду. Таможня чинила препятствия. Тогда я послал на имя Андропова телеграмму и сообщил, что если мне не дадут вывезти архив «Глобуса поэзии» и библиотеку поэтов мира, которую я собрал, то только физической силой можно будет заставить меня покинуть Союз.

— *Так уж они испугались ваших протестов и телеграмм?*

— Меня они не испугались, но они знали, что я связан с корпусом иностранных корреспондентов. Таким образом, вывезти архив мне не мешали. Журналы «Мост» я завез на квартиру Владимира Войновича, который сказал: «Ты думаешь, у меня дома самое безопасное место?» Я ответил: «Самое главное, чего я и добиваюсь», имея в виду, что его посещают зарубежные журналисты. Еще до моего отъезда из Москвы в октябре 1977 года в «Русской мысли» в Париже появилась статья И. Игнатьева «История поэта Виктора Урина», где он писал, что даже такой образцовый советский поэт, как Урин, которого пускали за границу и публиковали в центральной прессе и у которого чуть ли не каждый год выходили книги, доведен до полного разрыва.

Быть винтиком в системе этой ржавой
И так смиренно говорить в ответ:
«Не сорьте меня с атомной державой» —
Да, так может мыслить раб, а не поэт.

— *Эти ваши строки и сегодня помнят многие.*

— Да, это моя полемика с Е. Винокуровым, стара, как мир: бросать перчатку или не бросать, соглашаться быть винтиком или не соглашаться, содействовать ли своим протестом смазке всяческой ржавчины, чтобы ее снять, или терпеть и скрипеть вместе с заржавелостью. То, что я писал,— невинный лепет по сравнению с тем,

что в последние годы говорит советская пресса. Но, говоря о ржавчине, полагал, что надо заменить детали, найти подходящую смазку, потому что «замысел воистину прекрасен и просто унижает его ложь».

— *После вашей ссоры с московским секретариатом писательской организации в 1974 году и до отъезда вашего в конце 1977 года прошло три года. Что же случилось за это время?*

— Скажу откровенно, я хотел помириться. Я ждал, что те, кто меня обидели, сделают в мою сторону добрые шаги. Но они молчали. И я молчал. Они молча изымали мои книги из магазинов и библиотек, а когда в ЦДЛ я оставил пакет со своими книгами, то мне сообщили, что их сожгли в котельной. В ответ я тоже молча действовал, отправлял бандеролями уникальную библиотеку мировой поэзии за рубеж — в Италию и США — к друзьям-поэтам. Уникальную потому, что книги в этой малой по количеству, но грандиозной по уникальности библиотеке были с автографами поэтов из 132 стран. И такого собрания зарубежных поэтов нет нигде в мире.

Когда президент Соединенных Штатов Джимми Картер узнал о такой библиотеке, он прислал мне из Белого дома приветственное слово и добрые пожелания дальнейшего процветания. Спасибо Андропову, что он после моей телеграммы приказал не чинить препятствий к вывозу. Архив «Глобуса поэзии», да и все ценные автографы мне разрешили вывезти. Кому это все было надо? Пишут сейчас о потерях материальных, экономических. А сколько страна теряет преданных ей людей, козь скорое служение родине — кровью во время войны и преданностью в дни мира — замораживается бюрократической «холодной войной». Так я ответил на эту «холодную войну» войной с холодом.

— *Мне говорили, будто в прессе вы приветствовали танки, вступающие в Прагу. Это скорее всего ложь? Не так ли?*

— Да, я писал в то время письмо-стихотворение, обращенное к Яну Прохазке. Стихотворение вместе с ответом Яна Прохазки было опубликовано в журнале «Млада Свет» 14 апреля 1968 года. Как же я мог поддерживать то, что произойдет через несколько месяцев? Так что, кроме моих стихов в апреле, никаких более ни письменных, ни устных выступлений на эту тему с моей стороны не было. Это все наговоры моих недоброжелателей-завистников.

И кстати, в письме-стихах к Яну Прохазке, с которым я был дружен (познакомился во время моего посещения Праги в 1964 году), я писал, что если мы интернационалисты, то кто же еще сбережет эти ценности, если не мы — фронтовики-побратимы.

— *И что же он вам ответил?*

— Во-первых, он начал письмо словами «Милый Виктор Урин». По-чешски слово «милый» значит дорогой. Спрашивается, написал бы он так, если бы я поддержал вступление танков? И если бы я был бестактен или груб и как-то задел его достоинство? Во-вторых, Прохазка сообщал мне, что немец Маркс и русский Ленин не понимают психологию чешского крестьянина, а вслед за ними и я, разумеется, не понимаю. Короче, он мне разъяснял, и, полагая, справедливо, что есть социализм с человеческим лицом, и это ведь то, о чем и я, Урин, мечтаю, но, чтобы действовать вместе, сначала надо размежеваться. А вот когда это роковое несчастье случилось, я в частном письме своему чешскому побратиму Яну Прохазке написал опять в стихах, как сержант 3-й танковой армии, раненный в руку на Днепре в 1943 году: «Воин танковой армии, уверяю тебя, не мои эти танки!..»

— *Так почему же вы не выступили в прессе с опровержением дурацкого подлога, навета?*

— А потому, что нигде и никогда в прессе или публично никто не осмеливался упрекнуть меня, будто я одобрил ввод танков в Прагу. Клеветники в открытую не выступают, если им известно, что могут получить документальный отпор. А мои близкие друзья напомнили грязным болтунам, что Урин свое послание другу написал в апреле и в нем нет никакой поддержки военных акций Москвы.

— *Признаться, с такой ситуацией, когда один литератор клеветает на другого, я встречаюсь не впервые.*

— А вы обратили внимание кто этим занимается? Ведь в мире прощают все, кроме успеха. Когда холмики суетятся вокруг вершины, им кажется, что если она осыпется, так они, холмики, станут все чуть повыше. Вот, к примеру, Илья Глазунов. Когда я уезжал из Москвы, я попрощался с ним поэмой-посвящением. Илья Глазунов — благородный и отважный человек. Приехав в Нью-Йорк, он встретился со мной, не побоялся в то время, как иные делали вид, что меня не существует. И распространяли слухи, что Урин умер, или, вот как вам, наговаривали какие-нибудь нелепости. Ничего из

себя не представлявшим в России некоторым эмигрантам казалось, что я отнимал у них в Союзе тиражи, поэтому-де они, такие талантливые и смелые, не имели в России книг. И вот они приехали на Запад. Где же их продукция? Кто был там никем, тот и тут, в США, стал ничем. Зато, как теперь, эмигранты едут в Москву, осаждают редакции, требуют, чтоб печатали их зачастую бездарную писанину, изображают себя пострадавшими от «сталинской бюрократии», требуют к себе внимания. И клеветают. Например, на Юлию Друнину, что, дескать, она эксплуатирует солдатскую тему, что Урин «вообще никакой не фронтовик». А другой пишущий человек «облаял» Назыма Хикмета, который давал ему в свое время добрый путь в «Литературной газете».

Мой же караван движется вперед, я не жалуясь на судьбу.

— *И никому не лили в жилетку слезы, что живете на окраине Бруклина, на периферии общества, на отшибе, где-то в Кони Айленд?*

— Для меня Кони Айленд, как для Владимира Солоухина Оленино или для Виктора Астафьева Овсянка...

В своем садике я нахожусь по десять часов в сутки, дышу океанским воздухом. В беседке со мной живут кот Отелло и его подруга Дездемона. Если я хочу развлечься, сажусь на автобус и через 10 минут подъезжаю к самому крупному в мире аквариуму. Там несколько дельфинов. самого симпатичного я называю Леша в честь Алексея Маркова, чью ободряющую улыбку я «взял с собой» накануне моего отъезда из Москвы.

Кроме того, не забывайте, что я живу в двух кварталах от океана и летом, если не уезжаю, ежедневно купаюсь.

В бытовом смысле у меня есть все необходимое для жизни, в том числе, отсутствие телевизора. Я не люблю убивать время на телевизор.

— *Мало того что вы живете на отшибе Нью-Йорка, вы еще и не смотрите на телеэкран?*

— А зачем? За последние годы я побывал на всех континентах, все видел своими глазами.

— *Вы автор теории автокинеза, написали об этом еще в Союзе. В чем его суть, секреты?*

— Это секреты рассекреченные. Главное в том, чтобы все время находиться в состоянии влюбленности: в свое дело, в жизнь, в друзей, в женщину.

— *И у вас, простите, есть такая женщина?*

— Конечно. К сожалению, она проживает в другом городе, даже в другой стране. Но мы переписываемся.

Хотите, я прочитаю вам стихи, ей посвященные?

— *Еще бы...*

А где-то империю основали
в краю облаков
всю в заборах, где проволока нолями
10 000 витков
Там одна женщина до того онемела,
что ждать ее не — ответ
ни — в былом, ни — в грядущем мне не надоело
10 000 лет,
потому что ее золото, излучаемое взором,
во мне разлито,
и это, как выигрыш, В сравненье С которым
10 000 — ничто.
За нее — по распадкам — разливаю рассветы
и, улыбаясь, подымаю бокал
(а слеза моя катится по скулам планеты
отравленная, как Байкал).
В моем сердце — алом — пела, не насытясь,
хмельная заря.
О, горькая радость (всех синтезов — синтез),
брать не беря.
В микро-макромире новое возникло,
подвело итог;
на весах поэтического крошечного цикла —
10 000 строк
И дорогой млечного оперенья
в небывалую был
шли двое — навстречу, на одно мгновенье —
10 000 миль.
И луна подносила цветы в целлофане
и, разгорясь,
это — лунные губы Мгновением целовали
10 000 раз.

Часы моего общения в Нью-Йорке с Виктором Уриным не забудутся никогда. Это действительно человек-Везувий: максимум эмоций и информации о поэзии, о поэтах в минимум времени, яркость, парадоксальность, неожиданность суждений, страстность и темперамент, которым невозможно не восхищаться. И во всем этом безумная преданность поэзии, главному делу всей жизни. Еще раз вспоминаю о том, как высоко ценили и стихи Урина, и его человеческие качества такие разные люди, как Анна Ахматова и Сергей Городецкий, Виктор Шкловский и Ирина Одоевцева, Назым Хикмет и Пабло Неруда, Эрнст Неизвестный и Андрей Вознесенский... Я мог бы продолжать и продолжать. В эмиграции Виктор Урин действительно не сгинул, не пропал, он стал, символиче-

ски говоря, чуть ли не центром мировой поэзии. Да, да, это серьезно! То, что делает Урин по объединению поэтов разных стран и континентов, уникально: организация фестивалей мировой и (отдельно) русской поэзии в Чикаго, в Нью-Йорке, в разных столицах мира, переписка с поэтами, формирование библиотеки «Глобуса поэзии», пестование молодых дарований. Стихи одного из его учеников Влада Толмачева я привез в Москву, и они опубликованы.

Виктор Аркадьевич провожал меня в аэропорт имени Кеннеди и всю дорогу говорил, говорил, говорил. Его волновало, помнят ли его на родине, как живут его друзья, поэты-фронтовики, расспрашивал о каждом в отдельности, рассуждал о том, что будет с литературой, если сорвется перестройка. Его рассказы о своей судьбе потрясающи. Чего стоит новелла о том, почему своего сына, который живет в Москве, он назвал Сенгором — в честь своего друга президента Сенегала Леопольда Седара Сенгора. Или о том, как на автомобиле еще в пятидесятые годы журналистом он объездил всю страну от Москвы до Владивостока и до Кара-Кумов, о чем в свое время много писали газеты. Или о том, как в Сеуле вместе с Андреем Вознесенским он получал «Гран-при» Всемирного научного института мировой поэзии.

В Америке поэт выпустил много книг и трехтомное собрание сочинений, его книги хранятся в крупнейших библиотеках США, его имя известно и почитаемо. И вот я думаю: неужели не стыдно тем литераторам, которые спровоцировали его на то резкое заявление об «ильинчевании» в Союзе писателей СССР. Ведь, как он сам признается, ему не хотелось уезжать, его как бы подталкивали к этому те чиновники от литературы, которые должны были выслуживаться перед высоким начальством. Как горько было слушать его признания о той поре: «Я хотел помириться. Я ждал, что те, кто меня обидел, сделают в мою сторону добрые шаги. Но они молчали».

Хочется добавить: они молчат и сегодня. И будут еще долго молчать. Им нет смысла открывать рот, говорить правду, оправдываться. Они ждут изменения погоды, остановки «паровоза перестройки». Им на все наплевать. Наплевать им и на судьбу поэта-фронтовика, ныне гражданина Соединенных Штатов Америки Виктора Урина, далеко не худшего из тех, кого вынудили покинуть родину.

Январь 1991 г.

«Я ЧУВСТВУЮ, КАК ПАМЯТНИК ВОРОЧАЕТСЯ В ТЕБЕ...»

**Эрнст Неизвестный о свободе, о Хрущеве,
о Свердловске, о себе**

Эрнст Неизвестный в Москве...

Крохотный кинозал на улице Чехова... Дюжина, другая приглашенных. В полутьме различаю знакомые лица: Евтушенко, Карякин, Адамович... На экране—застывшее изображение какой-то необычной скульптуры. Вот-вот застрекочет проектор, и зрители увидят нечто невероятное.

Но вот в зал вошел виновник этого собрания. И сразу же воцарилась деловая атмосфера. Неизвестный приглашает к обсуждению проекта памятника-мемориала погибшим в годы сталинских репрессий.

Идет открытый, смелый, конкретный разговор. Обсуждают все до мелочей: в каком городе, где будет поставлен памятник, из какого материала сооружен и сколько будет стоить. Автор монумента слушает друзей, единомышленников, журналистов, горячо, заинтересованно обсуждает пожелания. Он объясняет, он витийствует: о монументальном искусстве, о традиции и новаторстве, вспоминает себя в прошлом, соглашается с оппонентами или яростно отвергает чье-то мнение. Два часа пролетели, как одно мгновение...

Эрнст Неизвестный в Доме культуры МГУ. Актовый зал заполнен до предела. Заняты балконы, бельэтаж, проходы. Там журналистов, кино- и телеоператоров. Далеко Александр Тихомиров из программы «Время» стоит в очереди со своими вопросами. Медвежьей походкой из-за кулис грузно выходит человек.

— Это правда, что вы пытались покончить с собой?

— Да, я бывал на Украине, я там воевал на Втором Украинском фронте.

— К сожалению, я не смогу прийти в гости к мнитовдам. Завтра улетаю на Тайвань. Встретимся в следующий раз...

...Эрнст Неизвестный в Нью-Йорке.

— Мой адрес: Сохо, Гран-стрит, 81. Это дантаун, на юге Манхэттена. На двери надпись: «Эрнст студิโอ». Только сегодня я не смогу вас принять, очень занят. Завтра? Завтра тоже нет, у меня будут люди из Белого дома. Да это надолго. Давайте послезавтра. Только непременно позвоните. Мало ли что.

Телефонные переговоры, реплики на ходу, уточнения о встрече, все в суете и спешке. Долгого, обстоятельного разговора, которого я желал, ни в Москве, ни в Нью-Йорке у меня не вышло. Тогда я и воспользовался магнитофонными записями встреч и пресс-конференций знаменитого скульптора современности Эрнста Неизвестного. Вопросы были самые разные от серьезных, глубоких до банальных. Присутствуя на этих встречах, я тоже посылал свои записки с вопросами.

— *Вы живете в США уже много лет. Москву вы сменили на Нью-Йорк. Расскажите об этом городе. И еще: ваше место в современной американской культуре, каким оно видится вам?*

— Образование американской культуры—это не геологическое образование породы, это землетрясение, смешавшее самые глубинные пласты палеолита с супермодными пластиками. Нью-Йорк — наиболее характерный кусок этой цивилизации, хотя во многом и особый. Человек, оказавшийся первый раз в Нью-Йорке, поражается сочетанием чудовищного во всем параболизма, даже в одежде, в манерах, в бытовом, каждодневном. Нью-Йорк — это варящийся суп, в котором замешены все продукты мира и каждый день добавляются новые, а он все кипит и кипит. Я художник старомодный, это все чувшь, что меня считают модернистом, я архаик с современным уклоном, и меня при этом поражают самые разные архетипы американской, нью-йоркской культурной, художественной жизни. Диснея я сравниваю с Шекспиром, поп-культура настолько многогранна, что о ней можно рассказывать бесконечно. Становление Америки породило уникальное национальное сочетание, например, пуританизма и негритянской музыки. Спиричуэлз и джаз, опоясав мир, породили теперешнюю рок-культуру. Например, мебель отчасти порождена минимализмом. Каллиграфическое влияние философии Дзен вызвало к жизни мистическую школу Тоби, предвосхитившую абстрактный экспрессионизм и многие мистические движения в совре-

менной культуре. Американская культура очень множественна.

Пример этой множественности — феномен Нью-Йорка, в котором сочетаются все мечты и желания человека XX века. Это не город, это новый Вавилон. Я многое и понял и пережил в этом сумасшедшем городе. Я слушал там «Евгения Онегина», на сцене были люди различных национальностей и рас, мелькали желтые, белые, даже красные лица. Ленского пел огромный черный (я разучился говорить негр, это звучит оскорбительно, приблизительно как в России говорить «жид» о евреях); двухметровый черный Ленский—это забавно. Дирижировал изысканнейший японец. Но самое удивительное, что «Евгений Онегин» пелся на русском языке с акцентами всего мира. Вот он — символ открытости. И вот когда я думаю о том, что произошло с русской культурой, меня охватывают три единовременных чувства: гордость за русскую культуру, благодарность Америке и боль.

И я хочу собрать архив на тему «русская и американская культура». Например, в одной книжке очень много фактов американских индейцев и русской культуры.

Сколько русских бизнесменов в США, которых называют американцами русского происхождения, сколько экономистов — американцев русского происхождения, сколько балерунов, музыкантов, композиторов, писателей! Хотите имена художников? Ивлисон, Орлова, Габо, Верстан, Цадкин, Лифшиц, еще и еще.

Америка—открытая страна, кровь с тела России течет и в Америку, шлюзы открыты, но шлюзы России, Советского Союза закрыты, все время идет отток, отток, отток, и не по вине американцев. Американцы к этому совершенно равнодушны. Их художники, как Джон Калдер к примеру, живут в Париже, Скандинавии, Мексике, Хемингуэй жил на Кубе. Они разбросаны по всему миру. И Америка не интересуется, вернутся ли они на родину. Сейчас выпущена книга о «34-х человеках мира в Америке», каждый из них представляет какую-то страну. Не хочу скромничать, скромность не моя профессия, я горжусь тем, что вошел в эту книгу. От России.

Больше 90 процентов художников, попавших в книгу, имеют мастерские в Америке, но их страны от этого только довольны. Почему? Потому что они имеют мастерские и в своих странах и, по существу, являются дополнительными культурными атташе своих стран в США. Они

организуют выставки в Штатах и везут американские выставки в свои страны. Государству не надо тратиться на официальных дипломатов, процесс обмена культурными ценностями происходит стихийно.

И только в России все обрублено.

— *Как вы понимаете источники несвободы человека? Откуда они исходят, от государства?*

— По-моему, источник несвободы лежит в более глубоких понятиях, чем просто государственное устройство. Источники несвободы лежат в том, что после Возрождения из философии, науки, искусства начали изгонять и сердце человека. Забыли главное пророчество создателя новой науки Ньютона, что Вселенная не есть механизм, что и она все время испытывает потери, влияние других слоев бытия. Попросту говоря, по-моему, самым главным в жизни каждого человека и общества является не то, что на поверхности, не то, что мы видим, а то, что спрятано. С точки зрения мракобесия и религии философия и вообще культура—это инструмент изъятия материальных ценностей для насыщения человеческого тела, чрева. Если так, то философия и искусство перестают отвечать на кардинальные вопросы, бесконечно мучающие нас от рождения, и превращаются в инструмент изъятия материальных и духовных ценностей. В обществе начинает преобладать идея материального обладания, а не духовного совершенствования. Родается нигилизм, понятый не как течение мысли, а как уклонение от моральной ответственности, вседозволенность, то есть аморальность. Поверьте, я не батюшка-священник, и когда я говорю: мораль, я не говорю: не пейте водку, не смотрите на красивых женщин, аморальность я понимаю несколько иначе, чем повседневное, бытовое о ней представление. Аморальность — это неумение или нежелание понять кардинальную ответственность за себя, за свою судьбу, за свои поступки, за окружающий тебя и людей мир. Идеалист уклоняется от ответственности, ему все дозволено. Это порождает вседозволенность западного художника, западного мальчишки, а иногда и западного политика, для которого достижение практической цели важнее, чем решение нравственной задачи.

Что порождает советского бюрократа? Советский бюрократ, по-моему, освобожден от ответственности принимать личные решения, и поэтому он свободный человек. Западным атеистам все ясно: боженьки нет и все дозволено, а советскому бюрократу по-другому все ясно: на-

чальность решает. Поэтому все дозволено. Солдат спит — служба идет. Это порождает два типа конформизма, один конформизм — соцреализм. Я, кстати, убежден, что соцреализма не существует. Эта «крамольная» мысль была мною очень давно высказана, еще тридцать лет тому назад, а сейчас она стала общепринятой, но поскольку я не Ломоносов, и не Лавуазье, и не Бобчинский, и не Добчинский, я не настаиваю, что я первым сказал «э». Но факт остается фактом: соцреализма нет. Хотите, я сейчас же проделаю эксперимент: вы закроете глаза, я произнесу слово «готика», и вы моментально в уме вычерчиваете прямую линию снизу вверх. Почему так? Потому что готика — это архетип, в ней признак любого устоявшегося стиля. Во всяком случае, в визуальном ряду. А если я произнесу слово «соцреализм», вы начнете думать о некоем социальном явлении и ни в коем случае не увидите знак, потому что соцреализм в действительности не стиль в искусстве, это стиль поведения, это искусство «чего изволите». Соцреализм может быть и абстрактным, не обязательно реалистическим, и если прикажут, то Академией художеств СССР будет называться Академией художеств абстрактного соцреализма. А хотите, сюрреализма.

Так вот, такая академия существует и на Западе, но ее порождает рынок. Почему рынок? Потому что феномен западной культуры является свободный рынок, самореализующаяся личность. Но часто такая личность, вступая в борьбу со свободным рынком, терпит поражение, потому что рынок идет на поводу вкусов потребителей, и очень часто буржуа желают такое искусство, которое им угодно в данную минуту. Они рассматривают художника как человека, который украшает их жизнь, развлекает их, избавляет от скуки, художник для них — клоун. Да, художник может быть клоуном; Пикассо, Дюшан, Сальвадор Дали, Уортер — были клоунами, но они были трагическими клоунами, которые, используя древнюю маску шута, «шутуя», изрекали истину.

Новые клоуны комичны, они, не рискуя ничем, развлекают буржуазию, они носят революционные маски, но, по существу, они пудели, подстриженные под львов. Они создают особую атмосферу на рынке искусства, на этом шумящем базаре, и если учесть, что в одном Нью-Йорке 470 тысяч художников только с американскими паспортами, то есть в тридцать раз больше, чем во всем Советском Союзе, то представляете, сколько же страстей

бушует вокруг. Да, рынок — это безумная борьба, безудержная динамика, беспощадные стрессы. Но рынок невинен, как атомная бомба или нож. Сам по собственному желанию рынок не убивает. Разве может он убить птиц, несущих золотые яйца? Но как только меняется ситуация, конъюнктура, рынок сам возвращает себе выстоявших перед модой. Рынок не врывается к тебе с полицией, рынок не учит тебя, как надо работать. В условиях свободы нельзя запретить человеку быть или хотеть быть рабом. Отменить рабство в условиях свободы нельзя. Художник проникается рыночной идеологией и становится рабом, продавая черту свою душу за маленькие блага. Правда, сегодняшний рынок начинает поворачиваться к более стабильным ценностям, потому что к более стабильным ценностям начинает обращаться американская молодежь, общество. А посему: дело Сальери — убивать, дело рынка — торговать, а дело художника — работать.

Оценивая степень свободы и несвободы, я заметил, что сейчас у вас происходят кое-какие телодвижения. Я вижу своих друзей по «катакомбной культуре» (термин 1949 года). Перед нами стояли задачи: собрать все, что возможно, сохранить все, что возможно, создать все, что возможно. Но поскольку в те времена больше трех человек мы не собирались, разве что на распитие бутылки, то мы пели «Любовь и голод правят миром. Голода хватает, любовь надо создать». Мы разыгрывали из себя веселых пьяниц и бабников — единственное, что поощрялось как социальное времяпровождение.

Но вот прошло время, и я увидел в Нью-Йорке некоторых из тех, кого знал тогда. В свое время ведь «катакомбная культура» оплодотворила официальную, скажем, в лице Окуджавы или Высоцкого. Удивительное обстоятельство: мои друзья, которых я всю жизнь знал, оказались в центре того, что сейчас у вас происходит. Тот же Иван Фролов, тот же Юрий Карякин, тот же Замошкин — я могу перечислять без конца. Я встретился с ними и к радости своей увидел, что то, что они говорили тридцать лет тому назад только за моим столом, они сейчас говорят публично. Это очень приятно. Кроме того, многие молодые ребята, с которыми я общался и которые задавали вопросы, более раскованны и интеллектуальны, в отличие от нас в их возрасте. Но поскольку структура не изменилась, то мало что изменилось в понятии свободы — несвободы. Опишу эту структуру. Я

вижу ее пирамидальной могилой, в которой в больших студиях помещены маршалы и генералы, в меньших — капитаны, в еще меньших — сержанты и т. д. Но каждый совершенно четко знает, что если он откажется от собственного «я», растопчет свою душу, то у него есть шанс подниматься вверх, вверх по пирамидальной могиле. И сейчас люди, которые ездят за рубеж, не разрушают эту могилу, просто организовался некий кооператив выездных, эти люди как бы на барщине. Барщина была во времена крепостного права. Оброковая система пока еще сохранена. Талантливые люди платят деньги барину и за это имеют свои блага. Так что структура не отменена. И поэтому не отменен поиск неуправляемого подтекста. И где-то, несмотря на то что мы говорим очень свободно, я уверен, что и сейчас есть люди, ищущие в моих речах не текст, а подтекст. Хотя мой подтекст в данном случае есть мой текст. А поскольку существует чиновник по неуправляемому подтексту, значит, существует и пирамида. Кто-то за кем-то следит, действует группа специалистов по специалистам, и, наверное, есть секретное министерство по неуправляемому подтексту. И мечта этого министерства, чтобы люди прекратили выращивать хлеб, ковать металл, а чтобы все следили друг за другом в надежде, что выловят этот мистический неуправляемый подтекст. Хотя я за перестройку и за гласность, я не вижу пока у вас структурных изменений. Поэтому в таком гротескном виде мне представляется нынешняя ситуация.

— *Вы исследовали феномен бюрократии. В чем, как вам думается, самое существенное отличие советской бюрократии от американской?*

— Специального исследования на эту тему у меня нет. Есть книжка с дурацким названием, которое придумало издательство «Посев»: «Говорит Неизвестный». От издательств по поводу своей фамилии я настрадался еще в школе: извлечение квадратного корня из неизвестного, уравнение с одним неизвестным и т. д. Поэтому я не люблю острить на эту тему. В этой книге действительно напечатаны некоторые эссе, статьи о бюрократии. В главе «Красненькие, зелененькие и пьяненькие» я анализирую советских аппаратчиков. Читая ее, можно и посмеяться. В статье «Будущее режима», написанной во времена Андропова, я прямо предсказываю изменения в Советском Союзе, отвечая на вопрос, что я не верю в детерминизм в истории, как Зиновьев, а верю в какие-то

спиритуальные духовные силы человека, меняющие общество.

— *Вы могли бы себе представить статую Свободы возле Ленинграда, где-нибудь в Кронштадте и как, по-вашему, может выглядеть статуя несвободы?*

— По-моему, статуями несвободы у вас заставлена вся страна.

— *Вы признаете или отрицаете Ницше?*

— Да, я признаю Ницше, но не в том смысле, в каком признавал Гитлер. Дело в том, что ни Ницше, ни Вагнер не виноваты, что Гитлер любил их. Ницше нынче воспринимается как приложение к гитлеровской идеологии, но это совсем не так. Я признаю Ницше, очень его люблю, считаю его поэтическим философом, если из его творчества не делать политических выводов. Больше всего мне нравятся слова Ницше о том, что он любит людей, слова которых бегут впереди их дел. Я тоже верю в магию слова, верю, что произнесенное слово проецирует действие. В этом смысле я придерживаюсь платоновской идеи «сперва идеи, потом предметы». В этом смысле я понимаю Ницше.

— *Каково ваше отношение к независимости нашей печати?*

— Отвечу так. Бедность всегда благородна, потому что все можно списать на бедность. Допустим, человек плохо одет, он беден. Вы, по-моему, сейчас находитесь в очень опасном состоянии, примерно как в опасном состоянии находится бедняк, заимевший деньги. Как только он оденется, станет заметным все его внутреннее убожество; так и у вас, пока цензура заставляла молчать, каждый мог выглядеть умником. Помните, как у чеховского героя: человек сделал карьеру, трогая языком сломанный зуб. Все думают, что он глубокомыслен, а он делал карьеру. Вам сейчас разрешили открыть рот, и многое становится ясным.

— *Вы не могли бы дать прогноз в отношении демократизации нашей государственной системы?*

— Я не Кассандра, но попытаюсь дать прогноз долговременный. Вы знаете, почему пророки никогда не ошибаются? Потому что от них не требуют конкретных немедленных решений. Если пророк предскажет, что вы будете наказаны или где-то что-нибудь рухнет, ну тогда-то вы и в самом деле будете наказаны и в самом деле где-то что-то рухнет.

В таких архетипических терминах пророк никогда не

ошибается, как и гадалка, которая обещает вам далекую дорогу или казенный дом. В таких терминах и я могу дать прогноз.

Демократизация общества неизбежна в силу технократизации и сужения мира и среды проживания. Поэтому даже если власть в Советском Союзе захватит человек с самыми жесткими антидемократическими лозунгами, а такое вполне возможно, то хочу спросить: что он будет делать со своей властью? Людей-то надо кормить.

Мы видим, как автократические системы сегодня сами сдают позиции и переходят к демократии потому, что они задыхаются даже в своих автократических рамках. Они задыхаются под напором общемировой цивилизации. Так что в долговременной перспективе процесс, который начался в СССР, неизбежен.

— *Вы сказали, что соцреализма нет. Тогда что такое живопись Петрова-Водкина, фильм «Броненосец «Потемкин» Эйзенштейна?*

— Да, существует только название соцреализм. А что он сделал, соцреализм? Есть у французского философа Роже Гароди книга «Реализм без берегов». Чудовищно беспринципная книжонка. Когда коммунистическая партия на практике показала, что она отталкивает всю интеллектуальную элиту мира, Гароди решил назвать реализмом все хорошее в искусстве и культуре. Маяковский футурист, Шолохов реалист... Но это люди, представляющие очень хорошее искусство различных мировых культур от футуризма до натурализма. И Лактионов хороший художник, в Нью-Йорке он был бы реалистом, а не соцреалистом. В свое время, когда я еще не знал, что у вас будет перестройка, я сказал: «Господа, мне не избежать чести быть соцреалистом после смерти. Правда, укушенный вампиром, сам становится им».

— *Ваше мнение о великой череде: Врубель, Кандинский, Малевич, Шагал? Кто влиял на вас?*

— Поставим вопрос иначе: кого из современных художников вы бы оставили, чтобы по ним потомки или инопланетяне, если бы была уничтожена жизнь, могли восстановить, как палеонтологи, наши цивилизации. Я вынужден сказать, пожалуй, что из современных художников — никого. Я бы оставил куски таких цивилизаций, как египетская, греческая, мексиканская, возможно, оставил бы иконы. Пока еще мы не имеем художника, который вобрал в себя ритм целой цивилизации,

У меня есть свои более любимые художники и менее любимые. Но в действительности, когда я хочу усладиться, я перестаю быть анатомом. Как можно, например, отличить сноба от производителя? У сноба всегда безупречные вкусы, потому что он потребитель. А у производителя всегда вкус плоховат, потому что его, например, меньше интересует женская красота. Он анатом, и его больше волнует архитектура женского тела. У художников очень часто вкус хуже, чем у литературоведов или у потребителей. Скажем, Достоевский любил Жорж Санд. Но ведь были и покрупнее писатели в его эпоху. У Микеланджело тоже были неважные вкусики. Конечно, мы помним, «из какого сора растут цветы, не ведая стыда». Но когда я хочу усладиться и быть снобом, а не исследователем, я люблю смотреть древнее искусство, древние культуры, в том числе и иконы, хотя икона — это не искусство, это предмет культа. Впрочем, все искусство было предметом культа. Венера тоже предмет культа, и все, что было сделано в искусстве великого, всегда было предметом культа. Поэтому Врубель, Кандинский, Малевич, Филонов, Шагал, Сутин, Татлин и другие мне очень нравятся. С Татлиным я лично был знаком и учился у него конструктивизму, что до сих пор отражается в моих работах. Сутин и Шагал подальше от меня. Я пытаюсь у Кандинского и Малевича вобрать ритмы, но ни в коем случае не имитировать их. Но мне ближе всех, пожалуй, Филонов, ближе своей проблемой синтетики.

— *Кто из русских философов вам ближе всего?*

— Любимый философ Блаженный Августин. В русской философской школе мне близка школа веховцев. Менее люблю Бердяева, которого считаю талантливым импровизатором их идей. Очень люблю Трубецкого и очень люблю (еще раз!) Филонова. Филонов мне ближе всех, потому что он доступнее и глубже всех объясняет мне функции труда по знаковым системам, процесс совмещения философии с искусством. Весь русский художественный авангард вырос на этой традиции. Я могу это доказать. Ведь метафизический пафос был у всех художников. Филонов был атеистом, но пафос народа присутствовал в его живописи. Кандинский писал о метафизике в визуальном искусстве. Он весь связан не только с такими явлениями, как веховцы. У Малевича была идея влияния искусства на космос.

Все эти художники связаны одной нитью, и я просто пытаюсь продолжить эту традицию.

— Почему вы выбрали местом жительства именно США? Представляется, что страны старой Европы — лучшее место для творчества. Тяжело ли жить в Америке? Бродский говорит, что там надо быть толстокожим.

— У Бродского такая тонкая кожа, что я понимаю, ему надо быть толстокожим. Нас, скульпторов, в Суриковском институте называли слонами. Почему? Потому что на нас выпадала вся тяжелая работа по переноске тяжестей, по уборке помещений.

В Америке жить очень трудно, очень. Вам даже представить невозможно, как нелегко там жить. Такой пример: вы, скажем, находитесь в мелководной речке и устали. Вы можете сесть на камушек, отсидеться и снова брести. В Америке же это выглядит примерно так: неожиданно ты оказался в бушующем море и надо плыть, чтобы достигнуть берега. Ритм Америки навязывает людям грандиозную возможность проявить себя, но и вместе с тем — грандиозную возможность утратиться, утонуть. Но... хочу вас успокоить, утонуть просто нельзя, потому что если ты в Америке захочешь умереть с голоду, тебе не дадут. Если ты просто Диоген — свободный философ, которому не хочется проявить себя, философствуй, тебе дадут деньги и на это. Сиди и философствуй, дитя Вольтера. Но и такое трудно для людей с амбициями.

— Два года назад в «Московских новостях» было опубликовано письмо десяти, подписанное и вами...

— ...Ну и что в нем плохого? Я не хочу говорить об этом письме, ибо суждения о нем стали дежурным блюдом болтовни и там и здесь. Все, о чем мы просили в этом письме, сегодня или выполнено, или выполняется. Значит, письмо было написано кстати.

— Что это такое «Древо жизни», над которым вы работаете всю творческую жизнь?

— Да, основная моя работа — это огромный памятник, который условно назван мною «Древо жизни». Он содержит в себе тему дуалистического противоречия человека и природы, человека и второй природы, самого человека. В 1956 году, когда я был в очень тяжелом состоянии и мне казалось, что больше не для чего работать, так как бессмысленно работать в никуда, без надежды выставиться, я задумался над своей будущей судьбой художника. И в одну ночь, это было буквально сразу, во сне я увидел «Древо жизни». Я проснулся с готовым решением. Правда, тогда «Древо жизни» состояло

не из семи витков Мебиуса, а из одного. Но общая форма, форма короны дерева и форма сердца была решена. Таким образом, я как бы увидел сверхзадачу, которая примирила меня с реальной судьбой.

Так что же такое «Древо жизни»? Это семь витков Мебиуса, сконструированных в форме сердца. Для меня символы и знаки не пустое место. В Библии «дерево» — синоним сердца, а «сердце» — синоним креста. Таким образом, «Древо жизни» объединяет эти понятия.

Сооружение, о котором я мечтаю, явилось бы попыткой синтеза различных направлений и школ, стало бы средоточием современной технологии, возможных различных гипотез, а также действующим музеем искусства. Когда рассматривают это сооружение как скульптуру, меня спрашивают: «Как же может быть так велика и многомерна скульптура?» Но вопрос этот нелеп хотя бы потому, что есть произведения культуры, как Божественная комедия или Библия, они не читаются от корки до корки как полицейский роман. Есть явления культуры, которые изучаются частями. Но эта множественность едина. Почему я придумал жесткую структуру из семи цветов спектра? Почему я пытаюсь заковать свое творчество в столь математические и жесткие границы? Я объясняю свою фантазию, исходя из некоторых исторически сложившихся предпосылок русского интеллигента, его стремления к созданию вечного.

— *Если папа Римский предложит вам стать автором памятника Христу, вы согласитесь?*

— Мне кажется, что трудно найти скульптора на такой заказ.

— *Важны ли для вас цветовые ассоциации. С каким цветом ассоциируется та Москва, которую вы сейчас увидели?*

— На последний вопрос очень легко ответить. Я эту Москву увидел более зеленой. И этот зеленый цвет создал для меня некоторую праздничность. Но хочу сказать, чтобы вы не подумали, что я очень оптимистичен: за этими зелеными деревьями я вижу грязные обвалившиеся, облупившиеся дома. А насчет использования цвета — ведь я не живописец, хотя я написал уже сотни картин, которые рассматриваю как эскизы к будущим росписям и витражам своего «Древа жизни». Поэтому я никогда не пытался и не претендовал на роль эстетического живописца. Принципом моей живописи является идея отца Павла Флоренского и в какой-то степени идея рус-

ской иконы: «свет, как колебание света, идущий на тебя из хаоса». Поэтому мои цвета не являются визуальным произведением эстетического видения мира, а являются тем внутренним сновиденческим состоянием, которое я опредмечиваю, как свет, «идущий от света».

— *Не кажется ли вам, что демократия, управляемая законом, более бесчеловечна, чем, скажем, самодержавие, еде миловать — одна из основных привилегий?*

— Да. Например, я проиллюстрировал монархические убеждения Данте и понял, что он четко проводит идею, что монарх лучше, чем его советники. Почему? Потому что советники добиваются своих частных интересов, а монарх, если он абсолютный монарх, наделен такой абсолютной властью и таким чувством, как любой человек, то есть монарх есть... индивидуум, отдельный человек, но одновременно он как бы средоточие всех других людей. В подчищенном виде, как художник, я могу себе представить некое идеальное существо в виде монарха, освобожденного от различных забот: физических, денежных, без боязни, что его подсилят, укусят, обманут. Но, к сожалению, такого монарха не было. Может быть, в Древнем Египте, где фараоны объявлялись божествами, и то это неправда. Поэтому я все-таки думаю, что охлократия хуже, чем монархия, но демократия лучше.

— *Так ли плачевно положение советской культуры? Существует ли, на ваш взгляд, сегодня талантливая «законная» культура?*

— Бесспорно, я глубоко убежден, что даже часть официальной культуры — только не нужно ее называть соцреализмом — является очень серьезным явлением. И совершенно не нужно болеть комплексом неполноценности. Наоборот, я думаю, учитывая трудности, которые преодолевала советская культура, в частности опасность самовыражения, некоторые достижения ее явно налицо.

— *Как, по-вашему, сужается или растет возможность проявления человеком духовной свободы?*

— Это очень сложный вопрос, не берусь на него однозначно ответить, я должен подумать. Скажем, масса свободы по определению «двигаться, куда ты хочешь» бесспорно в мире растет, в связи с коммуникациями, с возможностью «выехать — не выехать». Свобода передвижения сегодня в мире такова, что, пожалуй, нет стран.

кроме оставшихся социалистическими, где люди не могли бы выехать по их желанию в любую точку мира. Говорят, что на Тайване автократическое военное, чуть ли не фашистское государство? Да, там была одна партия Гоминьдана, там была дисциплина. Но что за дисциплина? Ты мог сесть и направиться хоть в красный Китай, если красный Китай тебя пустит. Я думаю, что расширяется свобода передвижения, а в связи с этим и духовная свобода. С другой стороны, могу констатировать, что возможности эти сужаются, потому что люди больше глазят на красоты мира, чем на красоты собственной души.

— *Как вы оцениваете роль критиков в современном художественном процессе?*

— Если вы имеете в виду их роль здесь, то роль героических критиков, таких, как мой друг Карякин или других, состояла в том, чтобы хоть как-то протестовать против несправедливых оценок. Роль же официальных критиков была в том, чтобы колебаться вместе с мнением партии. На Западе есть независимая критика, есть независимые мыслители, например Джон Хьюс, это замечательный критик, который идет против всех, он из привлекательных богов — такое модное, но редкое явление. В принципе на Западе критика занимается тем, что оценивает или отвергает то, что уже замечено рынком. Но в принципе критика крайне редко берет на себя смелость открывать новые имена до рынка. Как ни странно, обычно торговцы идут впереди критики, то есть они иногда открывают грандиозных художников по потребностям рынка, а критики потом описывают уже сделанное открытие.

Что касается критики антропологической, психологической, постфрейдистской, юнговской, то она невероятно мощна на Западе и очень слаба в России. Я имею, к примеру, в виду исследование о связях национальных культур и их истоков. По-моему, после книжки Бенуа о связи русской культуры с европейской я ничего подобного не встречал.

— *Не кажется ли вам, что воздвигнутое на Поклонной горе сооружение надо переделать в памятник жертвам сталинизма?*

— Я не думал об этом, не знаю. У меня есть идея поставить такой памятник на границе Европы и Азии. Правда, это, может быть, потому, что я сентиментальный уралец.

А вообще не хочу участвовать ни в каких конкурсах. Я в таком возрасте и так разбалован, что мне, собственно, ничего не надо, если уж на то пошло...

Нравится то, что я делаю,— заказывайте, не нравится— я сам сделаю где угодно. Но делать мне хочется. Так пускай ваши власти закажут мне мемориал. Что в этом позорного? Они, видимо, путают цеховую демократию с политической.

— *Возрастает ли замусоренность материальной, духовной, социальной сферы? Отбирается ли в них ценное? Расскажите о ваших отношениях с рынком. Поглощена ли ваша душа?*

— У Андрея Вознесенского есть стихотворение «Вещи злоеци», где он описывает ужас вещизма западной цивилизации. По существу, это стихотворение повторяет основополагающие лозунги революции 60-х годов, бегство от цивилизации, хиппи, борьбу против вещизма. Правда, очень забавно, что мальчики, боровшиеся против вещизма, породили целый рынок новых вещей: цепи, штаны, парики, то есть они как бы породили грандиозный рынок антивещизма. Когда видишь этих мальчиков и девочек вместе, они производят впечатление армии или дивизии полицейских. Это забавно. Нарциссы, собравшиеся вместе, превращаются в институцию, это как чувственный Орфей превратился бы в трудолюбивого Прометея. А Прометей, как известно, умел считать и подал руку культу Мамоны. Так что вещизм действительно есть. Но я думаю, что для нормальной человеческой души изобилие не воспринимается как обжорство, а как способ выбора. Вот я, например, не ем мяса. Что бы я делал в России, я не знаю. У меня, скажем, есть возможность кушать картошку, которую я люблю, лук зеленый, чеснок и т. д. Есть возможность одеваться, как я хочу. Но это не значит, что я одеваю на себя одновременно все, что продается. Мне кажется, что испуганность перед вещизмом есть испуганность перед самим собой, потому что испуганы перед вещизмом только жадные люди, аскетам вещизм не страшен и среднему человеку не страшен. Представьте себе ребеночка, который гуляет в местах, где огромное количество странных предметов разного покроя, много всего, что развивает ребенка гораздо лучше, чем убожество. Конечно, если ребенок — буддийский монах или исповедует тамильскую религию, то тогда он может закрыться и сидеть и наблюдать за миром. Мы же о таком не говорим, мы говорим о простых людях. Я думаю,

что рынок, правильно и полностью используемый, лучше, чем отсутствие его.

— *Несколько слов о встречах с Хрущевым? О роли Хрущева в истории?*

— Друзья, когда меня спрашивают о Хрущеве, я зверою. Мое отношение к нему совершенно четко выражено в памятнике на Новодевичьем кладбище. Пойдите и посмотрите.

— *Недавно в Москву приезжал художник Михаил Шемякин с выставкой своих работ. Как вы относитесь к творчеству Шемякина?*

— Не из трусости (какой я трус, если я посылал подальше всех академиков), но я пытаюсь уклоняться от высказываний о персональности художника. Одно дело — свое мнение высказывать ему лично, прямо в лицо. Общественное высказывание — это социальный факт, а это уже другое. Ведь история нас уже научила тому, что художники дураки. Поэты, в круг садясь, оплевывают друг друга. Я лично всегда уклонялся от этого, чем горжусь, я был только скульптором Эрнстом Неизвестным, но я ни разу не распределял даже кисточки в Союзе художников, хотя меня выбирали, назначали на различные должности. Я этого не делал, считал безнравственным. Потому что демократия — это хорошо, но демократия — это не есть цеховая демократия. Если бы была цеховая бюрократия, то провинциальные старушки Сальери не дали бы Моцарту погибнуть, а Микеланджело сотворить Сикстинскую капеллу. Если уж вы так категоричны, то скажу не оценочно, а о том, что мне лично близко в работах Шемякина Михаила. Его графические работы элегантны, в них есть принцип связи с традицией Добужинского, может быть, даже Бердслея. Мне нравится такая сложная ньюэстетическая традиция. Его же большие работы — претендующие, а может быть, и впрямь являющиеся фундаментальными — мне не очень нравятся. Может быть, в силу того обстоятельства, что я сам себя считаю монументалистом, а в этих галантных вещах мы с ним не мерились.

— *То же самое об Илье Глазунове? Ваше к нему отношение?*

— Насчет Глазунова мне трудно судить. Дело в том, что когда-то в юности мы с ним очень дружили, очень-очень, самые большие были друзья. Вы же знаете, что как художник я начинал с реставрации. Моя первая работа была посвящена восстановлению храма Христа Спа-

сителя, за что конечно же я имел «на орехи» еще мальчишкой. Когда начиналось движение по восстановлению памятников старины, по следам отцов, я вместе с маршалом Коневым был включен в эту группу. В то время Илюша Глазунов, по-моему, был прелестным и очень способным художником. Но сколько утекло воды. С тех пор я столько о нем всякого наслышался, что мне страшно интересно посмотреть на его работы, на то, что он сделал. Я вещи привык оценивать, глядя на них, а не по слухам. Слухам я привык не верить, потому что о себе слышал такое, что поначалу и не понял, что речь идет обо мне:

— *Существует ли в США ангажированное искусство?*

— Да, существует, но совершенно в другой терминологии, чем здесь. В США нет обязательного ангажированного искусства. Есть искусство, которое всплывает на поверхность как явление моды — на определенный промежуток времени. Его можно назвать ангажированным, но это не исключает других видов и школ, которые находятся на плаву во втором и в третьем эшелоне с надеждой, что они всплывут опять.

— *Вы сказали, что являетесь религиозным человеком. Что это для вас значит, для вашей души в первую очередь?*

— Я не религиозный проповедник, я считаю религию делом интимным, поэтому не люблю об этом говорить. Я верю в то, что мы не видим, и считаю, что миром и даже отдельным человеком управляют больше чем социально-политические или материальные силы.

— *Вы не обидитесь, если я спрошу вас вот о чем. В России между художником и нормальным человеком стоят КГБ, КПСС, Министерство культуры. В США же нормальный человек о вас не слыхал и плевать на вас хотел. Как строятся ваши невидимые, по вашему же термину, отношения с советским бульдозеристом и с американским плейбоем, которые, извините, плюют на ваше творчество?*

— Совсем не обидный вы задали вопрос, но даже очень умный. Он просто дурацки сформулирован. Я вам должен сказать, что эти отношения никак не строятся. Я их и не выстраиваю. Я просто работаю. Я их не выстраивал и в Советском Союзе. Я работал и работал. Конечно, это может выглядеть вроде бы героически, но это совершенная правда. Люди, которые меня знают, знают, что я, здесь во всяком случае, не сделал ни одного телодвижения навстречу своей карьере. А в Америке я даже

уклонялся от этого в силу какой-то странной интуиции, что социальная жизнь, которую мне сразу предложили, будет тянуть меня ввысь, хотя внешне это выглядело очень заманчиво. Я думаю, что, если человек сосредоточивается сам на себе, это хорошо, хотя, быть может, это пошло. У Киплинга есть стихотворение, обращенное к сыну:

Пусть сам с собой беседует...
Пусть сам с собой беседует...
Пусть сам с собой, с врагами и друзьями,
Пусть всяк свой час считает за собой.

Свой час считать за собой — по-моему, это самая лучшая колея, вот так и делается карьера, а все остальное — шум. Кроме того, я считал, что у художника нет карьеры. Вспомните хотя бы Евтушенко: «Я делаю себе карьеру тем, что не делаю ее».

— *Почему от нас на Запад, в Америку в командировку едут одни и те же люди? Неужели, кроме Евтушенко, скажем, Ильи Глазунова или Бондарчука, никто Америке не интересен?*

— Что я могу сделать? В свое время я 67 раз подавал заявления, чтобы поехать на свои выставки, но меня не пускали. Я не мог ничего изменить. Вы думаете, что если я сейчас приехал из Америки, то я могу что-то изменить? Хотя, впрочем, я понял ваш намек, я буду встречаться с Александром Николаевичем Яковлевым, даю слово, что я ему об этом скажу.

— *Я заметил, что ваше мышление не системно, а образно. Скажите, каким вы себе больше нравитесь, тем, который жил здесь в «катакомбной» Москве; или тем, который живет в Нью-Йорке?*

— Я вообще себе не нравлюсь. Почему я должен сам себе нравиться? Сам себе нравится только дурак. Другое дело, я стараюсь совершенствоваться, как художник может совершенствоваться в свободном обществе.

— *Вы говорите, что защита «мы» от «я», «я» от «мы» — это законодательство. Как вы считаете, мы идем к правовому государству?*

— Мне трудно судить. Я уверен, что первые шаги уже делаются. Я всегда считал, что эти шаги делаются в первую очередь в сознании людей, в их душах. В сознании таких людей, как, скажем, академик Сахаров, писатель Адамович, историк Афанасьев. И это, конечно, здорово. Но здорово не в смысле оценки политической, а здорово,

Что можно так говорить. Я не разбираюсь в политике, я не социолог, я не знаю, что в действительности у вас происходит. Поэтому не берусь сегодня делать поспешных категорических и смешных выводов. Когда ко мне в московскую мастерскую приезжали в свое время иностранцы, даже такие, как Сартр, самонадеянные их оценки меня всегда возмущали. Но я не уклоняюсь от разбора того, что я знаю.

— *Но вы сами сказали, что демократизация — это та самая сила, которую уже не остановишь, что она идет по всему миру, что обязательно будет здесь, даже если мы должны будем перешагнуть еще через одного тирана.*

— Это верно, остановить невозможно. Вообще очень трудно остановить или поймать две вещи — поэзию и Секс, ни одному тирану до конца такого не удавалось. Но исторические процессы при усложнении технологии производства, компьютеризацией? Мы даже не знаем, что, возможно, живем в предыстории человечества. Мы ждем очень простых истин, потому что все истины себя уже исчерпали. Поэтому могут быть какие-то остановки в историческом развитии человечества. Почему не может прийти к власти какой-нибудь дядя и возникнуть историческая заминка? Только вопрос: на какой срок? Но социальные, практические изменения неизбежны, причем во всем мире. Я думаю, что в этом уже многое исчерпано. У меня есть предчувствие чего-то другого, каких-то гигантских катаклизмов. Движения вперед.

— *Но это не фемизация тех самых наветов, которые вы, по-видимому, имели в виду. Человек рождается с нулем, один с одним, другой с десятью, но для того чтобы он стал единицей, нужны обстоятельства, нужна среда.*

— Представьте себе две формы, допустим железный шар и коралл. Шар кажется очень организованным, коралл — анархичным, ибо нет кораллов, похожих друг на друга. Проплыла рыба, задул над океаном ветер — коралл меняется. Каждый коралл похож только сам на себя и ни на что другое, но в нем заложена мощная генетическая сетка, коралл — это очень мощное животное-растение. Так вот, как образ исчерпывающий, я сравнил бы коралл с западной цивилизацией. Да, внешне она выглядит анархичной, незащищенной, иногда кажется, что в ней царит беспорядок, хаос. Некоторые наши русские ребята в Нью-Йорке хотели бы навести в этой цивилизации порядок, но каким образом?! Надеть сапоги, взять в руки автомат. Но вот эта западная цивилизация умеет защи-

щаться, самосохраняться, она штука биологическая, она меняется, она нестабильна в течение даже одного дня, она склонна и к плохому и к хорошему, она все время меняется. А теперь возьмем шар. И представим, что внутри этого шара люди хотят выйти на свободу, чтобы изменить этот шар. Они пилят этот шар. И выходят.

Почему я предчувствовал изменения, которые грядут? Потому что в своей советской жизни я не встречал недиссидентов. Ни разу. Недовольными были все. Даже мои друзья-милиционеры одно время были недовольны, что у них отняли палки. И они немного были тоже диссидентами. Гонимые были недовольны, и гонители недовольны, различные национальные меньшинства недовольны, и русские недовольны, все недовольны всем...

Так что если конкретно отвечать на такие вопросы, то становишься пошляком, а не конкретно отвечать — как будто уклоняешься от ответа.

— *Что такое для вас свердловский период жизни и творчества? Какие связи вы поддерживаете с земляками? И еще, ваша сестра, где она сейчас?*

— Я родился в Свердловске. Мой дед был одним из организаторов Петербургского промышленного училища, он был богатым человеком. Я рос в Свердловске, ушел на фронт, вернулся в Свердловск инвалидом Отечественной войны первой группы. Женился в Свердловске, моя дочка родилась в Свердловске. Мама была оргсекретарем Союза писателей Урала при Бажове, мой отец был директором детского отделения железнодорожной клиники. Со Свердловском меня связывает очень много, хотя, в общем, уже после войны я там не жил. К этому городу у меня очень двойственное чувство, сентиментальное чувство детских воспоминаний и большая нелюбовь, потому что этот город был суровым городом по отношению к родственникам, к маме и всем, мы были лишенцами, и много пришлось хватить лиха. Там расстреляны братья моего отца. Но были и остались в памяти прекрасные моменты. И сейчас я очень рад, что ребята из Свердловска, глубокие, умные, смелые, пишут письма моей маме, с некоторыми я здесь уже встречался. Свердловск я чувствую городом, где я родился.

— *Как вы относитесь к проблеме возвращения эмигрантов на родину?*

— Насколько я знаю, почти никто из творческих людей не собирается возвращаться, но все хотят приехать с лекциями.

— *Вы довольны приездом в СССР?*

— Очень сложное чувство. Я человек практический и буду доволен, если это принесет пользу. А вообще, я здесь смертельно устал. Единственное удовлетворение принесло мне свидание с друзьями, семьей, с подругами молодости.

— *Вы, видимо, не успели еще познакомиться в достаточной мере с нашей жизнью, но скажите, появилась ли бы у вас необходимость уезжать обратно в США?*

— Вопрос поставлен неправомерно. Мне 64 года, я прожил на Западе уже много лет. В Америке я имею много заказов, план выставок на ближайшие пять лет. Кроме того, у меня есть недвижимость, я не бедный человек, а здесь у меня нет ни работы, ни мастерской, ни квартиры, ничего. Как вообще можно сопоставлять такие вещи? Если даже бросить на весы сентиментальность, то я не думаю, что она перевесит всякие жизненные возможности там, на Западе. Да я, честно говоря, вообще не сентиментальный человек.

— *А я вот слушал вас и вижу, что вы не калифорнийский профессор и не американский гражданин, а русский человек, поскольку все ваши воспоминания связаны с солдатской жизнью, о чем вы сегодня не раз говорили. Вы вспомнили даже, сколько стоила водка в то далекое время, в пору вашей юности. Как же от этого можно отказать?*

— Конечно, как и все мы, я тоже грешен и тоже пью водку. Но в первую очередь я скульптор. И все, что я оцениваю, я оцениваю с позиции: делать свое очередное расписание. Это единственная оценка моего существования и всего, что я хочу. Поэтому водка — это хорошо, друзья — это хорошо, «Катюша» — это хорошо, но мне надо работать. Может быть, мне будет хорошо и здесь, но пока я делаю расписание у себя в студии в Нью-Йорке...

Май 1990 — февраль 1991 г.

НЕИЗВЕСТНЫЙ — РЕКВИЕМ В ДВУХ ШАГАХ, С ЭПИЛОГОМ

Памяти лейтенанта Советской Армии
2-го Украинского фронта
Эрнста Неизвестного, павшего в атаке

Лейтенант Неизвестный Эрнст.
На тысячи верст кругом
равнину утюжит смерть
огненным утюгом.

В атаку взвод не поднять,
 но сверху в радиосеть:
 «В атаку — зовут — твою мать!»
 И Эрнст отвечает: «Есть».
 Но взводик твой землю ест.
 Он доблестно недвижим.
 Лейтенант Неизвестный Эрнст
 идет
 наступать
 один!
 И смерть говорит: «Прочь!
 Ты же один, как перст.
 Против кого ты прешь?
 Против громады, Эрнст!
 Против —
 четыремиллионнопятьсотсорокасемитысячевосемь-
 сотдвадцатитрехквadrатнокилометрового чудища,
 против —
 против армии, флота,
 и угарного сброда,
 против —
 культпросветвышибал,
 против национал-социализма,— против!
 Против глобальных зверств.
 Ты уже мертв, сопляк?..
 «Еще бы», — решает Эрнст
 И делает
 Первый шаг!
 И Жизнь говорит: «Эрик,
 живые нужны живым,
 Качнется сирень по скверам
 уж не тебе — им,
 не будет —
 1945, 1949, 1956, 1963 — не будет,
 и только формула убитого человечества станет —
 3 823 568 004 + 1,
 и ты не поступишь в Университет,
 и не перейдешь на скульптурный,
 и никогда не поймешь, что горячий гипс пахнет,
 как парное молоко,
 не будет мастерской па Сретенке, которая запирается
 на проволочку,
 не будет выставки в Манеже,
 не будет сердечной беседы с Никитой Сергеевичем,
 и 14 апреля 1964 года не забежит Динка и не положит на
 гипсовую модель мизинца с облупившимся маникюром,
 и она не вырвется, не убежит
 и не прибежит назавтра утром, и опять не убежит,
 и совсем не прибежит,
 не будет ни Динки, ни Космонавта (вернее, будут, но не
 для тебя, а для белесого Митька Филина, который не
 вылез тогда из окопа),
 а для тебя никогда, ничего —
 не!
 не!
 не!..

Лишь мама сползет у двери
С конвертом, в котором смерть,
ты понимаешь, Эрик?!»
«Еще бы», — думает Эрнст.
Но выше Жизни и Смерти
пронзающее, как свет,
нас требует что-то третье —
чем выделен человек.
Животные жизнь берут.
Лишь люди жизнь отдают.
Тревожаще и прожекторно,
в отличие от зверей —
Способность к самопожертвованию
единственна у людей.
Единственная Россия,
Единственная моя,
Единственное спасибо,
что ты избрала меня.
Лейтенант Неизвестный Эрнст,
Когда окружен бабьем,
как ихтиозавр нетрезв,
ты пьешь за моим столом,
когда пижоны и паиньки
Пищат, что ты слаб в гульбе,
Я чувствую,
как Памятник
ворочается в тебе.
Я голову обнажу
й вежливо им скажу:
«Конечно, вы свежевыбриты
К вкус вам не изменял.
Но были ли вы убиты
йа родину напавал?»

Андрей Вознесенский

«ЛЮБИТЬ И ЖИТЬ — ЛИШЬ РВЕНЬЕ К НОВИЗНЕ»

Когда Надежда и Осип Мандельштамы приезжали в Ленинград, они останавливались в доме Надежды Вольпин. Однажды маленького сына хозяйки спросили, показывая на Осипа Эмилевича: «Кто этот дядя?» Ребенок без запинки ответил: «Это—дядя «О». Мандельштам был удивлен столь образному мышлению мальчика.

...Квартира в писательских домах на Аэропортовской. Я примчался сюда после взбалмошного звонка: «Ты что, не знаешь, что в Москву прилетел Есенин-Вольпин. Да, да, тот самый, сумасшедший математик и поэт, который не вылезал при Андропове из психушек...»

— Итак, вы — сын Сергея Есенина.

— В моем метрическом свидетельстве записано: «Гражданин Вольпин Александр Сергеевич, родился 12 мая 1924 года. Отец — Есенин Сергей Александрович, мать — Вольпин Надежда Давыдовна». Под фамилией Вольпин я жил до отъезда из Советского Союза и никогда ни к каким властям с просьбой об изменении фамилии не обращался. Хотя получалось так, что многие называли меня Есениным. Но если я Вольпин, а меня кличут Есениным, то объяснять каждому, что Есенин — это мой отец, неудобно. Менять материнскую фамилию на отцовскую я не хотел, потому что вырос с фамилией Вольпин. На двойную фамилию требовалось разрешение властей, но обращаться к ним не было никакого желания. Так я и остался с данной мне мамой фамилией, хотя мой учитель, Павел Сергеевич Александров, советовал подписывать научные статьи двойным именем. Возник как бы псевдоним. Так я и живу, теперь уже официально имея двойную фамилию. А недавно вышел курьез, при получении визы возникла третья форма моего имени. Есенин я пишу как «вай» (v), чтобы не прочли как «и» (e), затем два «с» (s), чтобы не прочли как «з» и дальше

просто, чтобы не прочитали «изенин». В визу же мне вписали двойное «с». Так что я приехал сюда отчасти с новой фамилией Есенин-Вольпин. Но мне эти лингвистические игры уже надоели: Есенин так Есенин. Никаких двух «с».

— *Вы не были на родине целую вечность?*

— Да, уехал из Советского Союза 31 мая 1972 года. Сейчас я, гражданин Соединенных Штатов Америки, нахожусь в СССР в частной поездке, в связи с преклонным возрастом моей мамы.

— *Александр Сергеевич, ваше имя, я это помню, одно время было довольно громким, а потом вы пропали, о вас забыли. Что случилось, как вы оказались за границей?*

— Причины отъезда я четко указал в анкете для ОВИРа. Отъезду предшествовала беседа в милиции, где мне сообщили, что появилась возможность покинуть Советский Союз. Так, не вдаваясь в детали, я и написал, что причина отъезда — появление возможности покинуть Советский Союз. Вы улыбаетесь, а мне тогда было не до смеха.

События развивались так. В 1946 году я окончил Московский университет, а затем аспирантуру по специальности — математика. В 1949-м защитил диссертацию, летом поехал на работу в Черновцы. Там меня и арестовали по обвинению в антисоветской агитации. Допросы, шантаж, особое совещание... Не хочу вспоминать подробности, это длинная тема, надеюсь, уже историческая. По тем временам я отделался довольно легко, просидев около года в ленинградском сумасшедшем доме на Арсенальной. Оттуда—ссылка в Караганду на пять лет, но поскольку в 1953 году кое-что изменилось, я вернулся в Москву. Работал в Институте научной информации на «Соколе». Редактировал и переводил книги. Шесть лет внештатной работы. Затем снова Ленинград и снова тот же сумасшедший дом.

Вернулся в Москву через полтора года и вплотную занялся наукой. С 1956 года стал развивать новое, как я называл его, ультраабстракционистское направление в основаниях математики. Теперь это называется ультраинтракционалистская критика и антитрадиционное направление. Неспециалистам это скучно, но скажу, что речь идет о пересмотре традиционных допущений, таких, как единственность натурального ряда: 1, 2, 3, 4, 5... и числа, скажем, 15. Единственно оно или нет? Тут есть вопросы.

Ролью отождествлений в основаниях математики, по моему, никто, кроме меня, надлежащим образом не занимается. Пусть звучит нескромно, но я могу это утверждать, после многих лет работы. Судить и разбираться в этом будут коллеги и потомство. Я же стой на своем пути. Никаких аргументов, кроме чистого логических, я во внимание не принимаю. Логика должна быть независимой. Ее надо возвращать в естественное состояние.

Условия работы в ВИНТИ были достаточно либеральными для того, чтобы продолжать свои занятия. Кстати, они были не по профилю института. Итог — опубликованная в 1969 году книга. Начал работать над второй. Но времена менялись, после свержения Хрущева начались явления, в настоящее время мягко и скромно характеризующиеся словом «застой», а по сути это был рецидив сталинизма. Арестовали писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Им угрожало негласное судилище по статье 70-й. Я решил бороться за их освобождение, а самое главное — за гласность процесса. В акциях участвовал вместе с ныне покойным физиком Валерием Никольским, Владимиром Буковским, Юрием Мербуховским, Юрием Титовым, ныне покойной Еленой Строевой, проживающей в Мюнхене Юлией Вишневской. Той самой, которую забрали в психушку перед началом митинга.

5 декабря 1965 года, в День Конституции, на площади Пушкина мы организовали митинг. Требовали одного: гласности суда, уважения законов страны. Придаться к нам было трудно. Ведь ничего другого мы не требовали. Но людей все-таки потаскали, хотя на аресты власти не решились. Мы же добились своего: суд, как известно, был гласным. Правда, я, например, не мог попасть на суд, да и знакомые, кроме свидетелей, на нем не были. Но сам факт, что суд был формально гласным, избавлял тех, кто там присутствовал, и самих обвиняемых от ответственности за разглашение.

Ну а потом усилиями уже других диссидентов демонстрации вошли в норму. Так что, как говорится, наше дело не пропало.

Помимо демонстраций протеста в обществе стали распространяться петиции с требованием соблюдения законности, вырабатывалось повышенное самосознание в кругу прежде всего московской интеллигенции. Мой друг Валерий Николаевич Чалидзе организовывал семинар, который в дальнейшем преобразовался в Комитет прав

человека. В нем участвовали В. Чалидзе, А. Твердохлебов, И. Шафаревич и академик А. Сахаров. Я входил в комитет в качестве эксперта. Его корреспондентами были А. Галич и А. Солженицын.

Издавался журнал «Общественные проблемы» — в нем печатались всякого рода инструкции. Я написал нечто вроде памятки: «Как вести себя на допросах».

«А. С. Вольпин подготовил «Юридическую памятку для тех, кому предстоит допросы». Допрос может предстоять каждому — иногда для этого достаточно того, что ваш номер телефона есть в записной книжке, взятой при обыске. Но мало кто знает как свои права, так и пределы прав следователя, ведущего допрос. «Памятка» Вольпина, хотя и написанная в свойственном автору усложненном стиле, дает огромное количество юридических сведений, необходимых допрашиваемому для того, чтобы противостоять возможным нарушениям законности и не стать их бессознательным пособником».

Из «Хроники текущих событий». Амстердам, фонд имени Герцена.

— В это время я получил официальное приглашение в Соединенные Штаты Америки на научную конференцию выступать с докладом о своем математическом открытии. Я понимал, что меня вряд ли выпустят. Будут тянуть время, выставят бюрократические шлагбаумы, а потом откажут. Я решил сперва получить визу от американской стороны. Написал в посольство и стал ждать. Ждать пришлось недолго. Через три дня меня забрали, посадили в больницу имени Кашенко и стали допрашивать, что я делал для того, чтобы покинуть Советский Союз. В течение трех месяцев таскали по психушкам. Любопытно, что, будучи в психбольнице, я получил ответ из американского посольства, в котором указывали, что сначала я должен обратиться в советские инстанции, а потом уже к ним. Мне показалось, что весь мир сошел с ума.

После этого случая при первой же возможности меня забирали в психбольницу или «отправляли в командировки»...

«1 апреля 1968 года в центральных газетах опубликованы тексты некоторых выступлений на городской партийной конференции. Особое внимание привлекли выступления президента Академии наук СССР М. В. Келдыша и первого секретаря правления Московской писательской организации С. В. Михалкова. Центральное место в этих выступлениях — осуждение тех «многочисленных коллективных писем-протестов», которые были направлены в январе — марте в директивные органы по поводу... принудительной госпитализации известного математика Есенина-Вольпина».

Из «Хроники текущих событий».

...Заставляли посещать их, звонить им, извещать о своих планах. Ну, например, когда собирался очередной партийный съезд, мне предлагали покинуть Москву, оформляли липовую командировку. Именно так в 1971 году я отправился в Эстонию. Времена становились все хуже. Начинали брать ребят. Арестовали В. Буковского, Ю. Вишневскую опять посадили в психушку. Так что на этот раз я отделался всего лишь... Эстонией.

«Визит президента США Р. Никсона в СССР (22—30 мая) сопровождался своеобразными действиями властей. В райотделы милиции были вызваны Т. Ходорович, А. Вольпин и 15 активных участников движения за право выезда евреев в Израиль. От них потребовали обещания, что во время визита Никсона они не будут совершать «антиобщественных акций». На время визита Никсона из Москвы срочно был послан в командировку А. Вольпин...»

Из «Хроники текущих событий».

Правда, когда я чуть замешкался, 29 марта, как помню, это было, пришли те самые в белых халатах. Говорю: «Ой, вы меня не застали. Я уже на вокзале». — «Что с вами?» — «Как что? Уезжаю». — «У вас прекрасное состояние! Поедьте с нами». — «Нет», — говорю и показываю железнодорожный билет. «Ну, вы действительно уезжаете?» — «Конечно».

Возвращаюсь из Эстонии и в почтовом ящике нахожу вызов из Израйля, от совершенно незнакомого мне лица.

Но я-то знаю, что приглашение можно использовать для отъезда. И решаюсь... Да и вообще уже припирало. Становилось невмоготу. Володе Буковскому «надавали» двенадцать лет всякой прелести. Чалидзе должен был сворачивать журнал «Общественные проблемы». Было ясно, что особенно развернуться не дадут. Научную же деятельность, рассуждал я, смогу продолжать и на Западе не хуже, чем здесь. А здесь мне светило только «гуляние» по психушкам. Так что тянуть нечего. А тут как раз и вызов в милицию: власти предложили покинуть страну... Чашу их терпения переполнило то, что я снова подписал петицию в органы власти.

«21 апреля 1972 года члены Комитета прав человека: Сахаров, Чалидзе, Твердохлебов, Шафаревич и эксперт комитета Вольпин обратились в Президиум Верховного Совета СССР с мнением о восстановлении прав насильственно переселенных народностей и этнических групп: крымскотатарского народа и месхов...»

Из «Хроники текущих событий».

Комедии ломать, что еду к своим родственникам, я не стал. В Израиль или еще куда-нибудь — не все ли равно. Когда я оказался в Европе и кое-что узнал, то стал понимать — в Израиле мне будет плохо: ни конституции, ни языка, да и далек я от еврейского образа жизни... К тому же мне сказали, что в Штатах немедленно дадут работу. Поехал туда и застрял навсегда. А в Израиле так никогда и не был. Может быть, побываю. Втянулся в американскую жизнь, стал американским гражданином, продолжаю заниматься научной деятельностью.

Сейчас приехал к маме. И раз уж здесь в России времена гласности, идет перестройка жизни, остается пожалеть, что я не столь молод, чтобы начинать жить сначала.

— *Нет ли у вас ощущения, что и вы внесли свою лепту в дело перестройки?*

— Многие вносили. Конечно, во многом изначальную роль сыграла та демонстрация с требованием гласности суда над Синявским и Даниэлем. 6 ней участвовало восемьдесят человек. Она-то и пробила некоторую брешь. Такая деталь: тогда мы практически не читали сочинений Синявского и Даниэля, и защитить их никто бы не смог, ибо процесс защиты стал бы пустой болтовней. На оче-

реди стояли судебные юридические вопросы, людей осуждали безвинно за слово, за гласность. Понятие гласности уходит к проповедям прошлых веков, сам термин «гласность» в понимании «открытость», «публичность» заимствован из советского уголовно-процессуального кодекса. Так что мы настаивали на законности в самом широком смысле слова...

Сколько раз Александр Есенин-Вольпин обращался в различные советские инстанции с ходатайствами о нарушении прав человека, законности в СССР. Его подпись стоит на многих петициях в ЦК КПСС, Верховный Совет СССР, в ООН.

Летом 1969 года А. Вольпин пишет письмо в редакцию газеты «Известия» по поводу статьи Мэлора Стуруа «Мусор, который пора вымести». Стуруа предлагал «вышвырнуть» из ООН ряд неправительственных организаций, посвященных правам человека. Вольпин опровергает аргументацию Стуруа, основанную на умолчаниях и передергиваниях, и предлагает газете обратиться к проблеме гражданских прав, в частности к исправительно-трудовому праву. «Может быть, сейчас,— писал А. Вольпин,— говоря о праве заключенных на свободу переписки, в какой-нибудь советской тюрьме сидит и подвергается незаконным издевательствам невинный человек, не имеющий возможности сообщить об этом вашей газете? А она скорее всех международных организаций могла бы пресечь беззаконие. Имея в виду возможность хотя бы одного такого случая, я не понимаю, как могут «Известия» пренебрегать проблемами соблюдения УПК и ИТК, предпочитая печатать поклепы Стуруа на неправительственные правовые организации».

А. Вольпин пишет письмо «Ко всем мыслящим людям». Приветствуя великую новость — полет людей на Луну, автор задумывается о будущем космических полетов. Готово ли человечество к тому, чтобы в космосе не прибегнуть «к вековому земному приему насильственного решения тех вопросов, которые при более высокой нравственности мы решали бы только мирными средствами»? Вольпин говорит о трагическом распространении насилия в мире, о «косности, укрепляющей порочные традиции подчинения и страха». Вывод: то время, что осталось до широкого распространения межпланетных полетов, должно быть использовано не только для научного и технического, но и для нравственного прогресса. В постскрипуме он пишет: «Находясь в Москве и на свободе, чего

лишены мои коллеги по свободомыслию А. Марченко, П. Григоренко, И. Габай, А. Синявский, Ю. Даниэль, Ю. Галансков, А. Гинзбург, В. Буковский, Л. Богораз-Брухман, П. Литвинов и многие другие, я считаю своим приятным долгом провозгласить их полное право выражать восхищение небывалым достижением человеческой мысли и смелости. Эти люди не опозорят нашей планеты».

А вскоре он пишет письмо Генеральному прокурору СССР Р. А. Руденко о том, что судебные процессы по обвинению в распространении заведомо ложных (клеветнических) измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй, в глазах мыслящих людей выглядят скорее как средство запугивания инакомыслящих, чем как способ борьбы с распространением антиобщественной клеветы.

В третьем выпуске «Самиздата» (январь — февраль 1970) напечатан текст Вольпина «О факультативном протоколе к Пакту о гражданских и политических правах», в котором обсуждается право петиций и критикуется позиция СССР, не признающего права частных лиц жаловаться на государство.

22 мая 1970 года Вольпин вместе с Буковским, Якиром, Вишневской и другими обратился к правительству Советского Союза и в ООН с призывом: «Свободу Андрею Амальрику, арестованному за сочинение «Просуцествует ли Советский Союз до 1984 года?».

4 июня 1970 года группа научных сотрудников АН СССР обратилась к ученым, научным и творческим работникам всего мира с призывом организовать широкий и всесторонний бойкот научных, технических и культурных связей с официальными властями и учреждениями СССР, приостановить сотрудничество и отказываться от всех культурных контактов, пока Жорес Медведев, ученый-биолог с мировым именем, не будет освобожден и перед ним не извинятся за совершенное над ним насилие. Письмо-протест министру здравоохранения СССР, министру внутренних дел СССР и Генеральному прокурору СССР подписал и организовал и А. Вольпин. Рядом стояли имена А. Сахарова, И. Тамма, М. Леонтовича, В. Чалидзе.

— История правозащитного движения в Москве, в России, на Украине начинается, наверное, с той демонстрации 5 декабря 1965 года. Тогда мы требовали гласности. И ее дали спустя много-много лет. И это победа.

Пускай она пришла так поздно.

— *Вы довольны своей работой? Как развивалась ваша научная карьера?*

— Преподавал в нескольких университетах: в СУНе (Стейт юниверсети, Нью-Йорк в Буффало), затем в Бостоне в университете. Был на - «грантах» — это такая форма поддержки ученых. Все время что-то переводил, для заработка, получал премии, всякие пособия. Теперь мне необходимо заканчивать свой давний труд. И мне нужен покой. Предложите любую регулярную работу — откажусь, пока труд не будет закончен. Я работал над ним много лет, и мне надо поставить точку. Скоро мне предстоит выход на пенсию, которая даст возможность вообще делать свое дело. Дело должно быть завершено.

— *Приходилось ли вам сталкиваться в американской среде со славой вашего отца, Сергея Есенина? Знают ли в Америке, что был такой великий поэт в России?*

— Естественно, что он очень известен и там. Разумеется, менее, чем в Советском Союзе, но более, чем можно было бы ожидать. А если уж говорить о русской поэзии, по именам в Америке нашу поэзию знают слабо.

Был смешной случай. Захожу в один дом. Никто ни слова по-русски не знает, хозяева-эмигранты — евреи из Персии, живут хорошо, много книг. Вдруг слышу: «Пушкин! Пушкин!» Прибегает большой черный пес. Это и есть Пушкин. Дольше ничего о Пушкине они не знают. Так что есть над чем посмеяться. И этот пенный акцент на всех их сведениях о кашей литературе густо чувствуется. И я старался, живя там, быть как можно дальше от этой темы, потому что извращения нужно объяснять долго, а извращения и грубые искажения неизбежны.

— *Не приходилось ли вам встречаться с людьми, которые бы помнили вашего отца по его приезду в Америку?*

— Мне только сообщили, что он был проездом в Бостоне в 1923 году, что он останавливался на Битон-Хил, в центральной части Бостона. Где-то там была гостиница, а может, и сейчас есть, я точно не знаю, так вот, где-то на Битон-Хил он останавливался. Пробыл всего несколько дней — подумаешь, событие... Мало ли кто-то будет вспоминать мою жизнь через десятилетия. Эта гостиница или та? В чужом городе... Проездом. Эка невидаль, событие... Конечно, есть собиратели брюк, мебельных ручек и всего другого, но к этой категории людей я не отношусь.

— *Просто удивительно, что за такую короткую жизнь ваш отец успел побывать и в США.*

— Да, побывал. Он писал, что это страна нефти — Сплошное Баку. Но тут я с ним не согласен. Америка, Соединенные Штаты — это далеко не сплошное Баку. Это у них мозги, может быть, нефтью пропитаны, а города нет, города нормальные, в них можно жить по-человечески — зеленые, уютные. Конечно, не среди небоскребов. А так в основном в Штатах двух-трехэтажные домики, довольно аккуратные, какое же тут Баку?

— *Я знаю, что вы тоже стихи пишете. Они публиковались?*

— В 1960 году в Америке вышла книга «Весенний лист». В ней всего тридцать стихотворений: половина из того, что я написал. Больше поэтических книг я не издавал. И вообще не люблю говорить о своих стихах.

Считаю, что если я проживу столько, сколько моя мама, ну пусть меньше, то в этом случае постараюсь вернуться к ним на склоне лет.

Александр Сергеевич посмотрел на маму, которая сидела здесь же в комнате и молча слушала наш разговор.

— Это хорошо, — вмешалась Надежда Давыдовна, — что мой сын считает себя молодым. Это значит, что и я молодая. А родился он в мае 1924 года. Сперва мы жили на Знаменской, а потом на 13-й линии Васильевского острова. Когда ему было восемь лет, мы переехали в Москву.

Надежда Давыдовна задумалась, будто решаясь: говорить или не говорить, но все-таки заговорила на большую для нее тему:

— С Есениным я рассорилась из-за того, что он не хотел ребенка. И, чтобы он не вмешивался в это дело, я уехала в Ленинград. Он очень хотел, чтобы я освободилась от беременности. Сознался, что у него не двое, а трое детей и что дети его широким кругам не известны. А я в этом вопросе была решительна: я хотела ребенка. Помню Ленинград той поры: полупустой город, многие люди уехали за рубеж, в квартирах самые большие комнаты превращались в кухни, чтобы не оплачивать. Жизнь была нелегкая. Так и жила с сыном...

— *А кто предложил назвать сына Александром?*

— В еврейских семьях принято называть не по живущим родственникам, а по покойным. Незадолго до рождения Саши умер мой любимый дядя, младший брат отца. И чтобы доставить удовольствие отцу, я назвала

сына Александром. Так что он оказался Александром Сергеевичем, но не Пушкиным, а Есениным. Но не Сергеем.

— *Александр Сергеевич, возвращаетесь ли вы в литературных кругах?*

— Практически нет. Иногда, правда, меня зовут на какое-то литературное мероприятие. Прихожу, разговариваю, если что знаю. Но литература довольно далека от предмета моих занятий, и уж совсем не идет мне, когда меня связывают хоть в какой-то степени с имажинизмом. Тут уж, прошу прощения... Чтобы не испортить светлое дело имажинизма, я лучше побуду от него в стороне.

Н. Д. Вольпина:

— Считаю, что есенинский «Пугачев» — надгробный памятник имажинизму. Там каждая строчка с образом, каждая. Это был взлет.

А. С. Есенин-Вольпин:

— Это был максимум, после чего Есенин отходит от позиций имажинизма.

— *И становится совершенно другим поэтом,— вставляю я.*

Н. Д. Вольпина:

— Он всегда остается тем, с чего начинал.

Сказать честно, для меня это была волнующая встреча. Легендарный человек Александр Есенин-Вольпин, почти гениальный математик, мужественный правозащитник, талантливый поэт. Его мать, мать сына Сергея Есенина, поэтесса, член Союза писателей СССР с 1934 года (6 февраля 1991 года ей исполнилось девяносто лет). Конечно же мне хотелось, чтобы Александр Сергеевич прочитал свои новые стихи, но попросить об этом я не решился. Из контекста нашей беседы мне ясно, что он на это не пойдет. Что собственная поэзия для него — дело прошлое,

Март 1989 — январь 1991 г.

ТРИПТИХ ИЗ ВЕНЫ

1

**«ЗДЕСЬ НЕ БЫЛО БЫ ТЕХ ПРИЧИН,
КОТОРЫЕ ЗАСТАВИЛИ ЕЕ НАЛОЖИТЬ
НА СЕБЯ РУКИ»**

Графиня Разумовская о Марине Цветаевой

— Автор книги «Марина Цветаева. Миф и действительность», которая стоит у меня на цветаевской полке и которую я не раз перечитывал, живет в Вене?! Так помогите мне встретиться с ней,— обратился я к своим венским друзьям, сообщившим неожиданную новость.

Я и в самом деле болею Цветаевой, и все, что касается ее судьбы, ее творчества, приводит меня в трепет.

И вот с листочком бумаги в руках, на котором написан адрес, я подхожу к дому, построенному приблизительно в конце прошлого века. Дверь как дверь, звонок как звонок, только странно как-то: на всех жильцов большого четырехэтажного дома одна сигнальная кнопка. Зуммер, открываю дверь, вхожу в подъезд. И сразу же попадаю в «объятия» русской архитектуры, интерьера, старинных картин. Поднимаюсь по лестнице мимо ряда огромных полотен с изображениями людей в одеждах «седой старины». Мрамор, хрустальные светильники, анфилада комнат. Сопровождаемый хозяйкой, прохожу в ее комнату, сажусь в кресло, осматриваюсь. И снова — русские книги, старинная утварь, мебель, роскошные люстры. Дворцовая обстановка.

Не буду больше интриговать, с первых же фраз разговора узнаю, что графиня Мария Андреевна Разумовская — наследница знаменитого русского графа, ученого, дипломата, одного из богатейших людей России Андрея Кирилловича Разумовского.

— Мы с братом Андреем,— говорит Мария Андреевна,— прямые потомки Разумовских.

— В Австрии?

— Нет, в мире, включая и Россию. А было так. Отправленный в Австрию послом, это было в конце восем-

надцатого века, Андрей Кириллович остался в Вене навсегда. Был два раза женат. В Австрию переселился и младший брат графа Григорий Кириллович, женившийся также на австрийке. И он стал жить в Вене.

Таким образом, в России «настоящих» Разумовских не осталось. А в Австрии, наоборот, приумножилось, после того как пошли дети у Григория. Вот так мы и живем здесь двести лет.

Моя мать — русская, отец — австрийский офицер. Во время первой мировой войны попал в плен к русским. Пробыв три года в России, выучился русскому. Вернулся домой, познакомился с девушкой — беженкой, присматривавшей за детьми его сестры. Девушка-эмигрантка оказалась из знаменитой европейской семьи Сайн-Витгенштейнов. Она и стала моей матерью.

...Итак, я шел на встречу с автором книги о любимой мной поэтессе, а общался с наследницей старинной русской фамилии, владелицей родового имения в самом центре австрийской столицы. Неожиданный, но приятный сюрприз. И меня раздирали сомнения: о чем больше расспрашивать — о судьбах предков Марии Андреевны, служивших отчизне верой и правдой, или о ее работе над книгой о Марине Цветаевой.

Стихи Цветаевой ее увлекли совершенно случайно. Из России прислали самиздатскую поэму, автором которой якобы была Цветаева. Сквозь все сочинение рефреном проходил душевный вопль героини: «Я так больше не могу, я так несчастна, я покончу с собой...» Было это году в шестьдесят втором. Заинтересовавшись судьбой поэтессы, Мария Андреевна взяла в библиотеке книгу американского автора Карлинского, посвященную жизни и творчеству Марины Ивановны. Прочла, заинтересовалась еще больше. Но на всякий случай разослала специалистам ту самую поэму. И что же? Выяснилось, что это не стихи Цветаевой. Поэма сочинена кем-то другим. Но теперь это уже было неважно: подлинная Марина Цветаева уже не отпускала Марию Разумовскую.

Как же, сидя в Вене, с которой поэтесса никак не была связана, можно изучать Марину Цветаеву? И она заказывает книги и материалы для работы из многих библиотек мира. Собрания сочинений Марины Цветаевой еще не было, но зато к тому времени, а это были семидесятые годы, выплеснулась в печати лавина воспоминаний о ней. И на Западе, и в России. В том числе воспоминания самых близких Марины Ивановны — дочери

Ариадны и сестры Анастасии Ивановны, опубликованные в «Новом мире» и в ленинградском журнале «Звезда».

Первое издание книги «Марина Цветаева. Миф и действительность» вышло на немецком языке в 1981 году. По тем временам у нас еще запретной была тема судьбы мужа поэтессы Сергея Яковлевича Эфрона, завербованного КГБ во Францию и участвовавшего в знаменитом деле убийства разведчика Райсса. Мария Разумовская сообщает читателям сведения на эту тему, почерпнутые ею в Швейцарии из подшивки газеты «Нойе цюрихер цайтунг», подробно освещавшей ход этого дела. А в библиотеке Базельского университета она сидела над рукописями Цветаевой. Известно, что профессор русского языка и литературы Базельского университета Елизавета Малер, подруга Марины Ивановны, взяла на себя хранение части ее архива. Она и сдала его в библиотеку университета. Кстати, именно оттуда пошел по свету цикл стихов поэтессы под названием «Лебединый стан» и «Перекон». Мария Андреевна рассказала мне, что, когда первый издатель этой рукописи Глеб Струве при содействии Малер получил фотокопию ее и собирался издать, его попросили не делать этого в интересах дочери Цветаевой и Эфрона Ариадны Сергеевны, проживавшей тогда в Москве. Почему? Марина Ивановна слишком уж сочувственно относилась к белому движению, к деяниям тех воинов, среди которых был и ее муж:

На кортике своем: Марина —
Ты начертал, встав за Отчизну.
Была я первой и единой
В твоей великолепной жизни.
Я помню ночь и лик пресветлый
В аду солдатского вагона.
Я волосы гоню по ветру,
Я в ларчике храню погоны.

— Помните эти стихи? — спросила меня Мария Андреевна, рассказывая о своих швейцарских поисках.

Помимо работы в архивах М. Разумовская общалась с людьми, знавшими Цветаеву. Один из них, блистательный литератор Марк Слоним, уже больший и старший, он жил тогда в Женеве, тонко и точно чувствовавший Марину Ивановну, многое открыл исследовательнице в облике «живой» Цветаевой, в ее человеческом, нравственном облике.

К заслуге венской исследовательницы, несомненно, надо отнести и переводы стихов русского поэта на не-

мецкий язык, и выпуск этих переводов отдельной книгой.

— Что поразило вас больше всего в судьбе Цветаевой?

— Ее характер, абсолютно бескомпромиссный во всем. Да, быть может, именно этот характер и «завязал» ее страшную судьбу в неразрываемый узел, но именно Марина Ивановна обладала теми качествами натуры, характера, которые во многом уже утратились в людях и больше не существуют. Как много знаем мы людей талантливых, одаренных, но не сумевших в «минуты роковые» сделать единственно честный выбор. Цветаева могла.

— А как вы считаете: правильно ли, что она вернулась на родину? Может быть, ей следовало оставаться в Париже?

— Понимаете, что было бы с ней, если бы она не вернулась? Я это вижу как бы с другой, нежели вы, стороны. Она вернулась в Россию в июне 1939 года. А в сентябре у нас здесь началась война. Что случилось бы с ней при немцах — сказать трудно. Хотя предположить можно. Мы знаем о ее отношении к фашизму из цикла «Стихи к Чехии»:

О мания! О мумия
Величия!
Сгоришь,
Германия!
Безумие,
Безумие
Творишь!

Что бы с ней сделали немцы, можно только предполагать. Но думаю, что такой страшной судьбы, какая сложилась у нее в России, наверное не было бы. Во всяком случае, здесь во многом отсутствовали те причины, которые заставили Цветаеву наложить на себя руки.

— А что вы думаете о сыне Марины Ивановны Георгии Эфроне? Есть такое мнение, что именно он стал во многом причиной ее самоубийства?

— А что можно сказать о шестнадцатилетнем мальчишке, избалованном безумно любящей мамой и делающей для него все, чего он хотел. Но сказать сегодня, что он такой-сякой негодяй, тоже нельзя. Как мне кажется, на него шоковым образом подействовало увиденное им в Советском Союзе, куда он рвался и заставил-таки маму покинуть Францию...

Мария Разумовская по профессии библиотекарь. Со-

рок лет проработала в Национальной библиотеке специалистом по русской литературе. Занималась славянскими книгами. Точнее, книгообменом со славянскими странами и советскими библиотеками. Особенно интенсивным был обмен с Государственной библиотекой СССР имени Ленина. Началось все после войны, когда не хватало денег на культурные нужды. Кто-то предложил: давайте просто обмениваться книгами. Так и пошло. Австрийцев главным образом интересовала история, книжное дело, библиография. А советские библиотеки просили в обмен книги по истории Австрии, Средней Европы или книги, которые выходили здесь, в Вене.

Сейчас Мария Андреевна на пенсии. С улыбкой вспоминает, как все началось: в сорок шестом году, после того как в Чехословакии, в Силезии ее лишили родового имени, приехала в Вену. Генеральный директор Национальной библиотеки искал переводчицу. «Оставайтесь здесь, в Вене,— сказал он ей,— работа будет постоянной». Проучившись два года и сдав довольно трудный экзамен, она стала сотрудницей главной библиотеки Австрии.

Несколько раз Мария Андреевна посещала свою прародину. В первый раз при Хрущеве, последний раз — в 1987 году. Родственников, несмотря на громкую и довольно распространенную русскую фамилию, у нее нет, поэтому живет в гостинице.

А между тем дом Разумовских в Вене всегда был открыт для русских людей. Вот и меня пригласили на встречу в этих покоях с Его Императорским Высочеством Великим князем Владимиром Кирилловичем Романовым, который должен был в Вене на презентации новой книги о династии Романовых.

Особенным гостеприимством семья отличалась, когда были живы еще родители Марии Андреевны. Именно эта семья едва ли не первой от Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской узнала о том, что они решили не возвращаться в Россию. К ним приходили и те многие из третьей волны эмиграции, которые, сидя в Вене, пропускном пункте в Израиль, Америку и Европу, ожидали своей участи.

Уже после беседы и чая брат Марии Андреевны Андрей Андреевич, журналист из «Франкфуртер альгемайне», повел меня вниз, в полуподвальное помещение-библиотеку. Такое я мог видеть только в фильмах про «осмнадцатый век». Старинные шкафы забиты ста-

ринными книгами. Их сотни, тысячи. По корешкам вижу: им по сто, двести лет. Огромная зала, антикварная мебель, картины, оружие, камин. Мне казалось, что сейчас из-за торшера выйдет сам Казанова.

— Это наследственное,— сказал Андрей Андреевич.— От отца, деда и прадеда...

...На прощание уже в дверях Мария Андреевна попросила меня об одной услуге:

— Посмотрите, не сохранился ли наш родовой герб на фронтоне церкви у Покровских ворот. Это та самая церковь, в которой, по преданию, венчались Алексей Разумовский и императрица Елизавета.

По приезде я сразу же пошел к бывшей (благо и живу в двух шагах от нее) церкви Введения, «что в Бараших». Внимательно осмотрел фасад здания. Родового герба Разумовских я не нашел. Утешаюсь тем, что за тысячи верст от Москвы, в Европе, я нашел семью, чья фамилия навсегда занесена в святыи истории России.

Март 1991 г.

РУССКИЕ МНЕ ГОВОРЯТ: «ВЫ СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК...»

Разговор с инкогнито* в венском кафе

— *Как вы оказались в Австрии?*

— Началась война, и немцы неожиданно быстро заняли Украину. Мы хотели эвакуироваться, но опоздали. Сама я жила в Днепропетровске, а мама — в деревне. Я приехала к ней и узнала, что все коммунисты уехали, забрали лошадей, машины.

Остались только старухи и дети, мы не знали, что делать, куда уезжать, лесов нет, не спрячешься, кругом равнина. И мы прятались в подвале дома. Пришли немцы, они нам ничего плохого не сделали. Остановились, устроились, воду брали, еду какую-то.

— *Вы помните эту деревню, как она называется?*

— Николаевская. Через некоторое время стали забирать молодежь в Германию. Назначили день, когда мы должны явиться. Нам не хотелось уезжать, многие делали попытки остаться, пили крепкий чай, после этого очень сердце билось, комиссия отстраняла таких. Я тоже это делала, и пару раз меня не трогали. Некоторые женщины детей прятали, чтобы их не забрали в Германию. Моя мама так не делала. И ничего не оставалось мне, когда принесли повестку, как ехать в Германию. Война еще была далеко, туда к Москве, у нас тишина была, каждый надеялся, что она закончится и мы приедем домой, а оказалось по-другому...

Приехали в Германию, контактов с родителями никаких. Я работала на швейной фабрике, шила подушки, наволочки, простыни для госпиталей. Закончилась война, и я решила поехать домой. В дороге встречаю одну жен-

* Эта женщина, с которой меня познакомили в Вене, не решилась назвать себя.

щину, русскую, она говорит, что у нее есть сын, она от него не имела вестей, только получила открытку, что он жив. Оказывается, он был в плену у англичан. Потом говорит: я бы ничего не хотела иметь другого, только бы русскую невестку для сына. Ведь она была русская, жила где-то в Сибири. Ее муж был колбасником, мясник по профессии, он открыл там лавочку, и так жили. Потом он стал скучать по своей Австрии и решил приехать назад. Моему мужу теперешнему было тогда 13 лет, и он, значит, приехал с родителями сюда. Мать русская, отец чешско-австрийского происхождения. Ну и так как эта мать, которую я встретила, хотела русскую жену, она уговорила меня остаться здесь. И мы поженились. Вот так...

— *Как зовут вашего мужа?*

— Петр Антонович. Но я вам хочу сказать, когда здесь были русские, нам надо было прятаться, потому что нас ловили на улице, где только видели, и в машину и отправляли.

— *Это все в войну?*

— Нет, уже когда война закончилась. Многие из нас не признавали друг друга. Меняли фамилии Иванова или какого-то там Петрова на всякие иностранные фамилии. Дескать, я не из России.

— *А как вы научились говорить по-немецки?*

— Мало-помалу... Ну уже мы так давно живем здесь.

— *А вначале трудно было?*

— Нет, несколько не трудно. Ведь еще когда я в России жила, немецкий язык изучали мы.

— *В школе?*

— В школе. Ну конечно, это было недостаточно. Практика уже здесь. Но мой муж говорит по-русски тоже. Что еще вас интересует?

— *Судьба ваших родителей?*

— Ну, судьба очень тяжелая. Очень тяжелая. Я была в России...

— *Когда?*

— Была в прошлом году.

— *Первый раз?*

— Нет, это было не первый раз.

— *А в первый раз когда вы поехали?*

— В первый раз поехала в 1961 году.

— *Расскажите о той поездке.*

— Тому, что я увидела, я ужаснулась,

— *Чему ужаснулись?*

— Я видела на вокзале военных людей о медалями, играют на гармошке и просят подаяние.

— *Вас это удивило?*

— Это меня удивило — победительница страна и на вокзалах нищие военные сидят.

— *Что еще вас тогда поразило?*

— Поразили почти пустые базары, плохо одетые люди. С продовольствием было неважно. Бедная Россия...

Я слышала, как мужчина в очереди за картофелем сказал: «Я живу в первом поясе, в Вологде, у нас ни картошки, ни лука». Что это за пояса такие? Выходит, страна одна, а снабжается по-разному.

— *С семьей вы поддерживали связь?*

— Да.

Писали письма на родину?

— Семнадцать лет не было связи.

— *То есть вы не знали, живы родители или нет?*

— Не знала.

— *Вы говорите, что тяжелая судьба была у ваших родственников. Если не секрет, какая?*

— Мужа моей сестры посадили, отправили в Сибирь. У другой сестры муж за то, что он что-то там сказал про колхозы плохое, получил 25 лет.

— *Почему же вы семнадцать лет не искали связи с родителями?*

— Боялась. Боялась, потому что в Австрии жила, в русской зоне. А в русской зоне могли в любое время забрать и отправить в Россию. Еду как-то в трамвае, и один полковник едет и спрашивает по-русски, его не понимают, я включилась перевести, и он на меня напал: а вы как здесь, а вы почему здесь? А где вы живете, а мы вас заберем...

— *Это в каком году было?*

— Это было... Уже у меня сын был, году в 1949-м. Я говорю, простите, у меня здесь муж, ребенок. Он говорит: «Мы вас и спрашивать не будем. Муж и ребенок пусть остаются здесь, а нам надо родину отстраивать». Ох как мы боялись! Мой муж запирал меня в квартире на ключ.

— *Сначала вас насильно угоняли немцы, а потом насильно свои?*

— Да, насильно. Но я бы хотела на родину, я только не знала куда. Живы ли мои родители или нет? Там эта местность, где мы жили, пять или шесть раз переходила туда-сюда, туда-сюда, фронт переходил, так что возмож-

но, что они погибли, я думала; ну куда мне ехать? А потом эта женщина, уговорившая меня остаться. Сын ее через месяц приехал, такой был славный парень. И я решила остаться. Вот такая моя судьба. При Хрущеве можно было на родину ездить. Я и ездила.

Мне выдавали анкеты, я их писала, боже, сколько там было вопросов. Но даже в прошлом году я заполняла три анкеты.

А сестру мою уж так мучают, когда она оформляет документы ко мне в гости. Не признают написанное от руки. А где же в России взять машинки? Они ведь у немногих...

— *Какая профессия у вашего мужа?*

— А, муж, он теперь старенький у меня. А был он по запасным частям для машин.

— *Как вы прожили эти долгие годы?*

— Ну знаете, после войны и здесь никто не жил так хорошо, но и никто не страдал, как в России. Никто. Мы имели карточки, и по карточкам каждый получал все, и никто не голодал.

— *Вас интересовали события, происходившие в России?*

— Мы обрадовались, что Сталина нет. И обрадовались, что Хрущев поначалу повел себя вполне демократично. А потом, когда увидели его выкрутасы, что он землю стал у крестьян отбирать, люди стали опять недовольны, и мы здесь уже хорошего от России не ожидали.

— *Трудно было вам, простому русскому человеку, вписаться в эту местную жизнь? В этот совсем другой мир?*

— А что я с детства видела на родине? Голод и холод. Сталин людям хорошего ничего не желал. Вы знаете о голодовке в 1933 году? Тухла Украина, люди умирали. Иду в школу, там лежит мертвый, там лежит мертвый, там лежит мертвый... Мне было тогда лет двенадцать. И я это видела и запомнила.

Мама говорит: иди на поле, собери колосьев. Была осень, шли дожди, колосья уже проросли, а она говорит: ничего, надо собирать и такие. И я пошла в поле с маленьким ведерочком, смотрю: человек на лошади — прямо на меня... Что такое? Председатель колхоза стал гонять меня по степи с кнутом, бил, пока я не бросила все и не побежала в деревню.

— *А как тогда объясняли, вы, наверное, помните, почему возник этот голод?*

— На Украине такой разговор шел: Сталин сказал, что умирает народ, который нам не нужен. Дескать, умирает чуждоклассовый элемент.

— *Так говорили?*

— Так говорили.

— *Какие воспоминания остались у вас о коллективизации?*

— Я была маленькая и многого не помню. Мой папа умер, когда мне было шесть лет. Но помню только, у всех наших родственников все забрали. Они остались ни с чем. И еще помню пожары каждую ночь: где-то что-то горит. Поджигали зажиточные дома, что в колхоз шли.

Что еще помню? Самое страшное, вы даже не поверите: люди ели людей. Каннибализм. Моя сестра работала на фабрике-кухне. У ее подруги в деревне жили мать и двое маленьких братиков. Приезжает, а дома никого нет. Идет через всю деревню, а вся деревня пустая, окна забиты. Входит в избу и видит: один брат лежит мертвый, а второй сидит на окошке, худой весь, аж зеленый уж. Спрашивает: «А где мама?» — «Мамы нет. Мама умерла. В комнате лежит».

Зашла она в комнату и застыла как вкопанная: у матери вырезаны были эти самые места... Она так испугалась, что тут же сбежала, она боялась, что ее тоже могут убить и съесть. Вот так было.

— *Скажите, а у вас было такое ощущение в те годы, что вы с родиной порвали навсегда?*

— Да, было такое ощущение, и я страдала. Очень страдала. Я никому ничего плохого не сделала; только потому, что мне понравился парень, я вышла замуж, я могу потерять родителей и свою родину навсегда.

— *Ваше счастье, что здесь остались. Если бы вернулись, то скорее всего не к родителям, а прямо в лагерь.*

— Да, наверняка, наверняка. Это так, конечно.

— *Можете вы рассказать поподробнее — вот как вы ехали в Германию, как устроились, много ли было с вами русских? Как к вам относились немцы-хозяева?*

— Вы знаете, некоторые говорят, что было плохо. Ну конечно, везли нас в товарных вагонах, кушать давали немного. Но когда мы приехали на место, то я имела счастье попасть на такую фабрику, где нетяжело было работать. Конечно, некоторые русские сопротивлялись, не хотели работать на чужого.

— *Может быть, заставляли что-нибудь делать непосильное, тяжелое слишком?*

— Вот этого я уже не знаю. Я в крестьянках не работала. Мне, правда, помогало, что я немножко немецкий язык знала со школы. И могла объясняться. А кто совсем не знал, тому было хуже. А жили мы в общежитиях. В моей комнате было семнадцать человек. Из Чехословакии, из Румынии...

— *Кто вас освободил — американцы?*

— Американцы.

— *Как они отнеслись к русским во время освобождения?*

— Я вскорости уехала оттуда, но там было что-то непонятное. Американцы говорили, что мы должны ехать на родину.

— *Перед концом войны немцы не пытались что-нибудь сделать с русскими рабочими?*

— Нет. Ничего плохого. Отношение было доброжелательное, хорошее.

Помню другое: мне в руки попала листовка, на ней изображен советский танк и танкисты встречают девушку, угнанную в Германию. Она разрывает цепи, и все это с улыбкой, с радостью. Ну а когда потом русские стали нас ловить, я все вспомнила об этой листовке.

— *Чем вы занимаетесь? Какая у вас профессия, ремесло?*

— Долгое время я ничего не делала, потому что у меня мальчик родился и не на кого было его оставить. После войны было мало детских садиков, принимали детей только тех, кто на работу устроился. Я не имела, можно сказать, никакой профессии. Вот и сидела дома. Только потом уже, позже, когда вырос сын, пошла работать.

— *А судьба сына? Что с ним?*

— А он выучился, здесь живет, женился.

— *Чем занимается?*

— Он по химии.

— *Дома вы говорите по-русски?*

— С мужем по-русски.

— *А с сыном?*

— И с сыном тоже.

— *А как к вам, к русским, относилось местное население?*

— Хорошо.

— *На протяжении всего времени?*

— На протяжении всего времени хорошо относились.

— Ну а вот были какие-то полосы, когда было плохое отношение? Мне, к примеру, рассказывали, что, когда мы сбили южнокорейский самолет, к русским, во всяком случае в США, стали плохо относиться. Здесь было такое?

— Могу только одно сказать: со мной хорошо обращались.

— А если вспомнить события 1956 года в Венгрии или 1968-го в Чехословакии. Тогда не было антирусских настроений?

— Не было. Я не ощущала.

— А с мужем ваши политические чувства совпадают, или у него другое восприятие событий?

— Мой муж пять лет был в России. А вышло так. Отец его был безработным. Как-то он вычитал в газете, что в Россию идет набор специалистов по колбасному делу. Он и завербовался. Уехал в Сибирь, устроился на работу, получил квартиру.

— В каком же это было году?

— В 1937 году. Он вскорости стал начальником цеха, и ему предложили остаться в Советском Союзе и подданство принять. Но он не хотел: видел много несправедливостей в России. Он получал продукты и одежду из закрытого распределителя, а остальные люди жили очень скромно. Он говорил, что так не должно быть. И он вернулся в Австрию.

— А как к нему относились немцы, если он в военное время вернулся из России? Они доверяли ему?

— Нет, не доверяли. На передовую его не допускали. Не доверяли. Он был поваром.

— Скажите, какое у вас образование. Сколько классов вы кончили?

— Восемь классов. Уже многое забыла.

— Из полукультурной обстановки вы попали, будем считать, в культурную Европу, в Австрию. Не возникало ли у вас желание поступить в институт, немножко образоваться?

— Конечно, было. Но как это сделать? Семья, ребенок. А главное — десять лет русская армия стояла здесь, и мы боялись открыться.

— Когда вы приезжаете на родину, о чем вас спрашивают, чем интересуются?

— Расспрашивали в первое время в 1961-м году. Сколько стоит то, сколько это, туфли, чулки, сахар, хлеб. А потом уже не расспрашивали.

— Когда вы приезжаете на родину, вы не замечаете слежку за вами? Повышенный к вам интерес?

— Один раз было так, например. В поезде я ехала, и в вагоне сидел мужчина, который меня все расспрашивал. Я ничего особенного не подумала. А потом, когда он встал и ушел, пришел другой и опять почти о том же самом стал расспрашивать. Я и засомневалась.

Но я ничего не боялась. Ведь я никакого преступления не сделала ни здесь, ни в России, мне нечего бояться. Пусть следят сколько хотят.

— Вы встречаетесь здесь с русскими людьми?

— Когда я наблюдала жизнь эмигрантов из других стран, я видела, как они между собой были дружны. Помогали друг другу, и, если кто-нибудь заболел, совершенно чужая женщина или мужчина приходили с гостинцами в госпиталь. Это меня очень удивляло. А мы, наша советская генерация, этого не знаем. Мы боимся друг друга.

— И сейчас?

— И сейчас. Мы сходимся, здороваемся, и больше между нами контакта нет. Какие-то странные люди. Все друг на друга искоса смотрят. Контакта между нами почти нет.

— А с чем это связано?

— С чем связано? Друг друга подозревают в шпионаже. Этот шпион, этот шпион, этот шпион... Сейчас я мало где бываю. А раньше было так.

— Как вы живете сейчас в материальном смысле?

— У меня государственная квартира, две комнаты, кухня. Нам этого достаточно. Не голодаем, не холодаем. Пенсии хватает.

— Бывали ли вы еще в другой стране, кроме России, Германии и Австрии?

— Была в Испании туристкой. И что меня удивило. Когда я еду в Россию, такие тщательные проверки, такие тщательные — то на паспорт смотрят, то на фотографию, то на тебя. Прямо страшно. А в Испании — будочка, где сидит тот, который паспорта проверяет, возле него мальчик, и он ему показывает книгу, видно, мальчик ходит в первый класс, А, Б, С, а мы идем мимо, раскрывли паспорт, и он нам показывает — проходите, мол, проходите, проходите. И не смотрит даже на паспорт. А я вспомнила, что в России все не так.

— Когда вы идете по улице и слышите русскую речь, вы подходите к этому человеку, или, наоборот,

вы с кем-то по-русски говорили, кто-то подходил к вам, останавливался?

— Я это делала один раз. Во времена Хрущева это было. Тогда сюда автобусами приезжали из России туристы. И вот идет один раз группа туристов, я подошла, слышу русскую речь. Меня очень заинтересовало, и я заговорила с ними. А они мне в ответ говорят, что ж это у вас в магазинах вроде бы все есть, но покупательская способность очень маленькая. Почему, говорю, маленькая? Да потому, говорят, что приходит женщина и просит сто граммов колбасы, а у нас килограммами покупают. Они даже не могли понять, как это купить на ужин сто граммов свежей колбасы.

И еще случай, когда я стала переводчицей у артистов Большого театра. У нас была соседка — прима-балерина Венской оперы, она меня и рекомендовала. Было удивительно: эти балерины так мало получали денег, что они себе (их определили в очень хороший отель) варили манную кашу, и эта каша сбегала на ковры, и все это было очень неприлично.

— *Значит, вы, русские, по-прежнему боитесь друг друга?*

— Я из России уже почти полвека, а когда слышу о КГБ, мурашки по телу бегут. Страх этот остался. А вот сейчас есть КГБ или нет? Много ли их у вас?..

Вам интересно было бы поехать в Зальцбург, там были лагеря и там я слышала о трагедии казаков, которых англичане передали русским. Все они, конечно, погибли. Многие, чтобы не возвращаться в Россию, руки на себя накладывали.

— *Скажите, пожалуйста, как можно суммировать ваши чувства по отношению к родине? Что в вас больше — страха, восхищения, ненависти, любви, трепета?*

— Знаете, обида, большая обида. Приезжаю к себе на родину и вижу: старушка в грязной фланелевой фуфайке на горбу несет мешок. Точно так, как при Сталине. Какая бедность на такой земле, где бросишь зернышко и оно вырастет. И бедность страшная. А этого не должно быть. Ведь вы страна-победительница...

— *Некоторые считают, что в характере, в натуре русского человека заложена леность, нежелание работать. А как вы считаете?*

— Знаете, когда на Украину пришли немцы, они вначале вели фальшивую политику: обещали землю, оставили колхозы, не знаю, почему так сделали. Может

быть, увидели, что это доходное дело. Но люди, получившие землю, работали даже ночью, при луне. Работали на себя. Вот я и думала, что, если частная собственность будет у вас, значит, и Украина будет хорошо жить.

— *А как вы относитесь к тому, что в России сейчас не только коммунистические партии, но и другие партии появились?*

— Многопартийность — это хорошо. В Австрии, например, если только одна партия плохо что делает, сразу включается другая и контролирует ее, критикует. А в России была одна партия и некому ее критиковать, что хотели, то и делали. Никто не может защитить в России человека. Когда я приехала сюда, впервые пошла на выборы, спрашиваю мужа: за кого голосовать. И муж подсказал, что ведущая партия социал-демократическая. Если все будем голосовать за социал-демократов, значит, опять у власти будет та же партия. Надо другую партию выбирать, которая слабее.

— *А как вы вообще относитесь к коммунистам? У вас в семье не было большевиков?*

— Нет, не было. Слава Богу, что не было. А то была бы уже, наверное, в лагере.

— *Как вы вообще оцениваете Австрию? Как, по-вашему, чем эта страна вообще интересна, приятна, легко ли здесь, удобно ли здесь жить?*

— Да, жизнь здесь интересная, люди хорошие. Я приехала сюда совершенно чужим человеком, и меня здесь приняли очень хорошо. Никто никогда не обижал. Ни одним словом. И я никого не обижала. Правда, Австрия стала меняться. Она сейчас, как Америка. Здесь много турок, всяких иностранцев. Хуже стало в смысле культуры. Вымерли старые культурные люди. Австрия стала непохожей на прежнюю страну.

— *Скажите, хотя мой вопрос конечно же странный, то, что вы попали сюда,— это везенье, удача жизни, ваш лотерейный билет?*

— Могу подтверждать только одно: когда русские со мной разговаривают, они считают, что я счастливый человек, что оказалась здесь.

— *Вас не угнетало желание вернуться?*

— Наверное, нет. У меня здесь муж, сын, внуки, я их оставить не могу.

Март 1991 г.

«В ПОСЛЕДНЮЮ СЕКУНДУ МАМА ПОНЯЛА, ЧТО БОМБА НАКОНЕЦ ЕЕ НАСТИГЛА»

**Трагическая исповедь Эллы Ивченко,
певицы из Черновиц**

Я родилась в 1954 году в Ростове-на-Дону. Спустя три года семья переехала в Черновцы, небольшой городок на Украине. Отец пел в Буковинском ансамбле. Мама тоже обладала замечательным голосом, только она его не совершенствовала. Не до голоса было, после развода с мужем пришлось туго. Об отце у меня плохие воспоминания. Он был каким-то садистом. Говорят, это связано с тем, что десятилетним он попал в гетто, ибо его отец, мой дед, был довольно популярным кантором, известным и в Союзе и в Румынии. Мама из Измаила, из румынских евреев.

Когда мне было девять лет, мама вторично вышла замуж. Он работал мясником, такой привлекательный внешне, но запойный пьяница. И страшно агрессивный: когда буянил, можно было сойти с ума. Семь лет они прожили в скандалах, драках, милициях, отсидках. Бедная моя мама... Она все ему прощала, потому что видела: любил он ее. Из-за любви к ней он даже пытался лечиться. Все мы переехали на его родину в Кишинев.

Моя же жизнь — сплошная, простите, музыка. Все в нашей семье пели, пела с трех лет и я. Мама рассказывала, как приходили к нам артисты из Буковинского ансамбля, ставили меня на стол и я голосила. «Артистка будет, артистка...» — твердили все хором. Прочили большое будущее. И действительно, совсем еще ребенком я подходила к фортепиано, подбирала музыку, что-то играла.

Первый удар в своей «творческой» жизни я получила при попытке поступления в Черновицкую музыкальную школу. То и дело слышала от взрослых словечко «лимончики», а не понимала, что лимончики — это деньги, которые надо дать как взятку при поступлении. А где взять

деньги при нашей-то бедности? Но маму все уговаривали: «Разбейся, но найди деньги, не пропадать же такому таланту».

На первом экзамене я пела «Пусть всегда будет солнце». Комиссия чуть ли не аплодировала от восторга. А я чуть с ума не сошла от гордости, такая захваленная, стою, не дышу. И вдруг что это? Меня нет в списках. Мама как будто постарела на несколько лет. Мы были так уверены, что конкурс я пройду.

На следующий год новая попытка. Правда, маме стали намекать, что мешает пятая графа, что без «лимончиков», и немалых, дочери не пройти. И снова мама не могла найти денег. И снова я провалилась. А мне было тогда всего лишь семь лет. Жизнь уже учила меня, несмышлениша, что детство наше не такое уж радостное и счастливое, как пелось в песнях советских композиторов. Новая попытка — и снова провал. Не помогли частные уроки, репетиторство. Одни говорили: «Уникальный голос», другие: «Нет, нам она не подходит».

Выучилась играть на аккордеоне и помню первую песню, исполненную на этом нелюбимом мною инструменте: «Мама, милая мама, как тебя я люблю...»

В конце концов после мытарств, унижений, просьб, ходатайств добрых людей за бедную сироту-девочку меня приняли в вечернюю музыкальную школу. Через год она стала дневной, и я вроде бы была на седьмом небе от счастья. Занималась музыкой, пела, постигала свое любимое дело. С отчимом отношения были плохие, он меня еле терпел, разве что только не бил. Даже наоборот, в алкогольном состоянии вроде бы еще и ласкал больше, чем всех остальных. В Кишиневе возникли те же проблемы, что и в Черновцах. Слава Богу, снова добрые люди нашлись, помогли. Попала к хорошему педагогу, и через год меня приняли, трудно вымолвить, в настоящую профессиональную труппу Кишиневского еврейского ансамбля песни и пляски.

Помню первый выход на сцену: в зале тысячи людей, а я, школьница, ненагримированная, еще не освоившаяся на сцене, ною мелодию в спектакле о фашизме «Свет и тени». Успех огромный. Повезли меня в Вильнюс на гастроли. Мама с трудом отпустила. Приходил домой сам руководитель труппы, упрашивал. Отпустила мама чуть ли не под расписку. И снова успех. Аплодисменты, цветы, пожелания стать звездой. Сам Эдди Рознер слушал меня и остался доволен,

И снова жизнь мотала нас с мамой и била. Вернулись в Черновцы уже вдвоем. В музучилище меня не приняли, пришлось заниматься в музыкальной школе. А это значит постигать все предметы, в том числе и математику, в которой я совершенно не разбиралась. Помню, Сергей Никитович, преподаватель, говорил: «Вам, Малкина, ставлю тройку, но только за то, что вы хорошо поете», А я крутилась как белка в колесе на всех олимпиадах, концертах, конкурсах. Директриса за меня боролась, я была ей нужна.

Новая попытка поступить в музучилище, и снова провал. По сольфеджио и по теории поставили тройки, попробуй проверь. Мама в трауре. Слезы, мольбы, проклятия... И тут все чаще и чаще настойчивые родственники, друзья, те, кто верил в мои способности, стали увещевать маму: «Увози дочь куда глаза глядят, спасай Элку. Здесь ей пути не будет...» Мама сдалась. И началось: сборы, прощания...

Конец 1972 года. Вена. На три дня нас поместили в замок Шенал. Вены мы не видели. Это позднее эмигранты в ожидании вылета в Израиль жили в Вене. А тогда все проезжающие через Австрию ожидали своей участи в Шенале. Никогда не забуду жуткое зрелище: немецкая речь, немецкие одежды, огромные собаки-овчарки. Не собаки, а львы, как в кино про фашистов.

В Шенале я дала концерт. Пою еврейские, русские песни, поднимаю дух эмигрантов. А мама страшно боялась, что по приезде в Израиль нам не дадут жилья, квартиры. Ведь всех сразу обеспечить трудно. А что мы можем с мамой вдвоем? Другие расталкивают локтями, выбивают место под солнцем.

После концерта подошел к нам — не знаю, как его называть по должности, он был вроде старшего среди эмигрантов — организатор отправки людей в Израиль. Подошел и поблагодарил маму, сказав, что у меня большое будущее. И вот нас зовут в автобус к самолету. Ночь, тьма, мы в жутком настроении, дрожим, как суслики, держимся за свои пожитки. В последнюю минуту подбегает к нам этот человек, Галили его фамилия (потом я узнала, что его жена погибла при взрыве бомбы в Тель-Авиве на базаре), и сует маме какую-то бумажку. Поцеловал нас и убежал.

В аэропорту Лот нас долго не выпускали из маленькой комнаты, оформляли документы, расспрашивали. Решали — давать квартиру или повременить. Мужчины,

главы семейств, особенно кавказцы, лезли вперед, готовы были растерзать конкурентов. Стучали по столу, орали на чиновников.

Таможня выворачивала чемоданы, мама все боялась, что единственно дорогую вещь, которую мы привезли с собой, пианино, не разрешат ввозить. Мы стояли и плакали. Подходит какая-то женщина и по-русски спрашивает, в чем дело. Мы не знаем, как объяснить ей наше состояние. Мама машинально засунула руку в карман и вынула записку Галили. Записка на иврите, мы не понимали, что там написано. Женщина хватает записку, уходит. Возвращается и просит маму подписать какие-то бумаги: «Подпишите, не бойтесь, всю жизнь будете меня вспоминать добрым словом». Так и вышло: мы попали (видно, в записке были какие-то хорошие обо мне слова) на курортное место Вульпан, на границе с Ливаном. Домики на берегу моря, хорошая кормежка, сервис. Поначалу получили временное жилье, зато недалеко от Тель-Авива.

А дальше началась новая жизнь. Участие в вокальных конкурсах, награды, премии, попытка поступить в музыкальную академию. Все уперлось в то, что у меня не было аттестата зрелости. И снова хлопоты, просьбы, увещевания. Ни в какую! «Идите, учите еврейскую библию...» — сказали, как отрезали. В моем возрасте в школу? Да и язык очень тяжелый. Досада, перекрыты все пути в будущее. И я, махнув рукой, стала выступать на разных сценах, лишь бы платили деньги. То в одном театре, то в другом. Антрепренеры, сиены, контракты, записи, телевидение, тяжелая, хотя и любимая, работа. Знакомство со знаменитыми людьми, с ассистентом Михоэlsa, с семьей Маркиша... Сохранилась фотография, запечатлевшая меня с президентом Израиля, с мэром Тель-Авива.

Может быть, и наладилась бы моя жизнь, может быть, и в звезды выбилась, как мечтали мои поклонники — друзья в провинциальных Черновцах, может быть, и сегодня жила бы в Израиле среди наполовину чужих, наполовину родных мне людей. И счастлива была бы со мной моя мама. Да не суждено-было такому случиться...

Израиль — южная жаркая страна. Там все располагает к сексуальной свободе. Меня поразила грубость нравов. Огромные афиши откровенно эротического содержания, на каждом шагу секс-журналы. На девочках туго обтянутые джинсы, они как бы себя подают мужчинам.

Рано начинающаяся половая жизнь. У тринадцатилетней девочки уже должен быть взрослый друг — парень или мужчина. Они даже могут снимать квартиру. И это все естественно, никто за это не осуждает. Правда, при этом выходцы из разных стран живут в своих кварталах и стараются соблюдать свои национальные традиции в быту. Поляки остаются поляками, немцы немцами, арабы арабами...

И вот все чаще и чаще местечковые евреи из наших советских евреев стали меня спрашивать: «А у тебя есть «хаве»—друг?» И мне было стыдно признаться, что я все еще при маме. А когда я говорила, что нет, утешали, ну ничего, мол, это поправимо. Когда же обращались к маме, она говорила: «У нее есть еще время, успеется...» Но во мне зрело чувство, что мама из собственного эгоизма придерживает меня возле себя. Чтобы не потерять, чтобы не быть одинокой. И внутренне я как-то стала сопротивляться этому.

Так что чисто случайное знакомство с человеком, ставшим причиной страшной трагедии в моей жизни, оказалось вроде бы и не случайным. Я как бы уже ждала этого «хаве». Первое же впечатление о нем было отрицательным: косил глазом, немного заикался. Ремесло — обойщик мебели. Общий уровень культуры, развития весьма низок. И я решила для себя: первая встреча с ним будет последней. Решила-то решила, но отношения все развивались, все заходили глубже. А может быть, и наоборот— случилось все оттого, что не было между нами никаких отношений. Дело шло к свадьбе. После свадьбы, дескать, говорила я ему, и будут между нами отношения.

Однажды он предложил мне поехать с ним на озеро Кинер, знаменитое озеро, где люди прекрасно проводят время. Мама ни в какую. Я под присягой, как говорится, обещала держаться. Пробыли мы там три дня. Он соорудил палатку, набрал с собой всякой снеди, выпивки. И чего уж там говорить (бедная мама!), конечно же всякими манерами и маневрами, ласковыми словами, обещаниями, поцелуями... В общем, это дело надо было узаконивать. Нет, нет, не отдалась я ему тогда. Какая сила была во мне, чтобы удержаться, не соблазниться! А потому что маме слово дала — вот как она меня воспитала!

Вернулась и маме с порога: «Выхожу замуж». А мы тогда как раз хлопотали о постоянной квартире и жили во временной. Мама все бегала, хлопотала, а ей

все отвечали: нет и нет. И тогда я сумела добиться встречи и с мэром Тель-Авива и с президентом страны. После этого нам предоставили квартиру в центре Тель-Авива. Радость какая! Только вот некому помочь при переезде — мужчин-то нет. И новое сближение с этим человеком: он нам здорово помог, таким был услужливым, добрым. И даже мама расслабилась: «Какой он услужливый, преданный...» Тут я снова напомнила ей о нашем желании пожениться. Но она ответила отказом. Как же так, говорю, ты же сама его расхваливала. «Да, — говорит, — но он для простой фабричной девчонки, но не для тебя, которую я выучила, выходила и в люди вывела».

Нужно сказать, что к тому времени я уже имела некоторый успех на сцене. Даже признание. Мне прочили большое артистическое будущее. И для него, чего уж там, я была бы находкой, сокровищем. Молодая, красивая, талантливая... Да, он простого советского воспитания, но он хороший вроде бы парень, свойский, и дело у него неплохое — обойщик мебели. И делал он это дело неплохо, даже отлично. Правда, когда настроение было, когда хотел...

Пришел как-то к нам мой двоюродный брат, снова сыр-бор разгорелся, и он взял мамину сторону. Короче, нашла коса на камень. Я наговорила маме резкостей, что она держит меня и не хочет выдавать замуж из-за эгоистических побуждений, что она рассчитывает всю жизнь держать меня при себе, она меня ревнует, она эгоистка... И мама влепила мне пощечину. Я собирала вещи и ушла из дома. А куда мне уходить? Только к нему, в его хибару, в обойную мастерскую. Квартиры у него не было. В мастерской он и жил и работал. Человек этот был, как это говорят, не для Бога и не для людей. Долгов — масса, кредиторы звонили, грозились полицией, скандалом. Одно успокаивало: руки у него были золотые и деньги он мог грести лопатой. Только вот лень губила: набрал этих диванов, и вся мастерская была ими завалена — ни лечь, ни сесть.

Прожила я у него недолго, и мы, несмотря ни на что, решили справлять свадьбу. Но как же без мамы? Никак нельзя, ни по русским, ни по еврейским обычаям. И он пошел уговаривать маму. И материнское сердце конечно же сдалось. Знала бы она, на что соглашалась... Мать расплакалась и скрепя сердце согласилась на свадьбу.

Ох какая же это была свадьба! Пышная, веселая, сохранились фотографии... Но даже и на них есть снимок,

на котором видно, как мама сцепилась со своим зятем. Причина, правда, была необычная. Гости просили меня что-нибудь спеть, а ему страшно этого не хотелось, он уже тогда ревновал: я певица, а он работяга, так нечего подчеркивать разницу. Особенно это задевало маму, которая действительно все делала для того, чтобы я стала певицей. Всю жизнь на это положила.

Так вот, все просят меня петь, не так часто собираются родственники, друзья, у всех работа, дела, там даже со свадеб уходят в девять вечера — ведь рано утром на работу. И я пела. А он готов был меня убить здесь же на месте — вот такая сидела в нем ревность. А я танцевала, пела, веселилась... Разве можно было отказать людям.

...Прошло три года. Какие ужасные это были годы. Жили мы с ним плохо. Купили квартиру в долг, постоянные приходы полиции, обыски. Как оказалось, муж занимался подделкой чеков. Чуть было не посадили. Мама, прямая, откровенная, все говорила ему в глаза. Ему это не нравилось, и между ними были плохие отношения. Я уже не вмешивалась, поняла, что он ничего не поймет, что он вообще не понимает, что надо ему от жизни. Дело шло к разводу. Но в Израиле это не так-то просто: религиозные каноны намертво и навечно скрепляют отношения.

А тут как-то подоспело предложение-контракт на мою творческую поездку в Брюссель. Надо было петь в ночном клубе разные там шлягеры: еврейские, русские, английские... Все это я могла. Контракт обещал мне хороший заработок. А деньги ох как были нужны! Муж категорически возражал против поездки. И снова религиозные брачные законы: без разрешения мужа жена не может выехать из страны. Она не может с ним расстаться, если он не желает этого. Что делать? И мама шепнула: «Будь с ним сейчас помягче, убеди его, что твоя поездка даст возможность расплатиться за квартиру...» И действительно, этот довод возымел свое действие: муж согласился на мой отъезд.

В Брюсселе я выступила с большим успехом. Это была для меня интересная и нелегкая работа. Судьба свела с человеком, который на время повернул мою жизнь в ином направлении. Это был богатый французский ку-тюрье. Джентльмен, аристократические манеры, опытный, много повидавший в жизни мужчина. Относился ко мне как к леди. Что надо было мне, двадцатитрехлетней, исстрадавшейся, уставшей?! Я познала любовь, настоя-

щую, первую в жизни. Он сумел показать мне совершенно другую сторону жизни, ее красивую сторону.

Поначалу я писала в Тель-Авив письма, приглашала мужа приехать в Брюссель. И он уж было собрался. Уже даже купил билет, и я умолила маму всеми способами удержать его от поездки. Ей удалось это сделать. Последним ее аргументом было: «Если полетишь в Брюссель, она с тобой разведется». Я и вправду написала ему письмо, что хочу с ним расстаться. Раз и навсегда. Он подал на развод первым. Вроде бы облегчил мою задачу. Но не тут-то было: на развод подал, а сам не соглашался. От него отвернулись все адвокаты, они понимали, что у него сто пятниц на неделе, а может быть, чувствовали, что развода он мне не даст. Я же шла на все его условия, лишь бы он освободил меня.

В Брюсселе тем временем я поступила в консерваторию, на факультет по вокалу. Училась и подрабатывала во вспомогательном хоре брюссельской оперы. Но все доходы съедали полеты в Тель-Авив — ведь шли заседания суда. Боже, сколько же раз за год я летала туда и обратно! А муж морочил голову, все в нем видели и безумца и хулигана одновременно.

За один год учебы я добилась диплома. Это было почти исключением, чтобы при такой нервной обстановке добиться диплома. Обычно минимум два года на это надо. Меня поддерживал успех на сцене, я, например, пела Татьяну из «Евгения Онегина» и имела огромный успех. Закончив учебу, я попыталась получить ангажемент. Но как-то не вышло. И мне стало пусто. Робер, который был всегда рядом, клялся в любви, а от мамы чуть ли не каждый день приходили письма, в которых она была против моих серьезных намерений относительно него: и старше меня на целых двадцать шесть лет, и у него уже взрослые дети, которых он содержал, напоминала она. С семьей своей он не жил давно, но в этой ситуации жена Робера пригрозила ему жестокой карой, если он их бросит. И во всяком случае не даст никакого развода.

И я вернулась обратно в Израиль. Думала, на время, а вернулась на два года. Эти два года бракоразводный процесс продолжался. Страшно вспомнить, как все происходило, как вел себя мой муж. И ни на минуту я не забывала о своей музыкальной карьере. Прослышала, что в Германии в театрах есть ангажементы. Пошла в немецкое посольство, там посоветовали: «Соберите документы». Собрала, сделала запись на кассете, отнесла в

посольство. Через два месяца пришло известие: я кандидат. А еще через два месяца — приглашение в Бонн. Получила хорошую стипендию. Много было волнений на экзамене. Но поначалу комиссия поинтересовалась, говорю ли я на немецком языке. Я страшно испугалась, что незнание языка может стать помехой для окончательного решения в мою пользу. И плохое знание немецкого языка оказалось даже к счастью, потому что меня сразу же направили на четырехмесячную учебу в Швебишхай, курортное местечко недалеко от Штутгарта на гёте-курсы.

Надо сказать, что мои финансовые дела были плохи. Полеты в Израиль до этого оплачивал Робер. Но при всех трудностях учеба в Гамбургской консерватории, куда меня послали, успех на сцене — это такой был для меня праздник, лучшие дни моей жизни. Помню, как одна женщина из состава комиссии спрашивает: «А вы можете нам спеть романс Шуберта или Шумана?» А у меня, как нарочно, не было в репертуаре никакого классического романса, только арии. И я игриво говорю: «А можно я вам спою русскую песню?» — «Пожалуйста», — слышу в ответ.

Сажусь за рояль и пою: «Однозвучно звенит колокольчик...» в своей аранжировке. Члены комиссии аплодируют. Меня приглашают на телевидение. И снова с успехом я пою русские народные песни и романсы. Жизнь, казалось, обрела радужные очертания. Но...

Это случилось, я точно помню, пятого октября 1980 года. Я занимаюсь с преподавателем у рояля. И вдруг по радио объявляют: «Малкин, Малкин, срочно в секретариат». Подумала, мелочь какая-то, закончу занятие и пойду. Что за срочность?! Снова раздается: «Малкин, Малкин, очень срочно явиться в секретариат». Мы переглянулись с преподавателем. А надо сказать, что никаких плохих предчувствий у меня не было, потому что я не жалела денег на звонки маме, из автомата звонила и она знала о каждом моем шаге, а я о том, что происходит в Тель-Авиве. Бывало так, что закинит монетка и почти час разговариваешь с мамой без оплаты, такое счастье. Кажется, обо всем переговорили, а все не наговоримся никак. «Стоит монетка?» — спрашивает мама. Говорю: «Наверное, специально для нас с тобой зацепилась». И хохочем. Прямо истерика от счастья.

Но вот я наконец поднялась в секретариат, а мне: «С вами будет говорить Бонн». Я терзаюсь. Что случи-

лось? Может быть, раввинат решил мою судьбу и освободил от этого злого человека, сломавшего мою жизнь. Сколько уступок делала я мужу, лишь бы он оставил меня. И вот-вот должен был состояться высший иерусалимский суд, уже окончательный. Мои интересы отстаивали два опытных адвоката, один — бывший одессит, другой — бывший рижанин. Но и они ничего не могли решить в мою пользу. Только потому, что тот не давал развода. То давал, то передумывал. И всех водил нас за нос. И вот дело должно было завершиться самой высшей инстанцией. Только вчера я говорила с мамой. Она сказала, чтобы я обязательно прилетела на суд последний раз. Но у меня был первый день занятий, а денег нет. Все бросать и лететь в Израиль? Это было выше моих сил. И мама говорит: «Ну ладно, может быть, ты и права, пусть будет как будет».

...На проводе был сотрудник израильского посольства. «Возьмите себя в руки,— произнес он,— ваша мама убита». Сначала я не восприняла эти слова, не поняла, ведь я с ней только вчера говорила по телефону. Потом меня пронзило: арабские террористы?! И сразу же молнией мысль: ведь я просила маму не ездить на центральный рынок в Тель-Авиве, где можно было подешевле купить кое-какие продукты. Центральный рынок — излюбленное место террористов, свои бомбы они подкладывают в мусоросборники. Некоторые наши знакомые погибли от этих бомб, и мама мне как-то сказала: «Я не поеду больше туда, как-нибудь обойдусь». И правильно, вторила я, покупай в супермаркете, что уж мы совсем, что ли, бедные. А однажды поехала она в гости к родственникам в Хадеру, километрах в пятидесяти от Тель-Авива. Вдруг с заднего сиденья к шоферу подходит какой-то парень и приказывает остановиться. Потом на всех заорал, чтобы немедленно покинули салон и разбежались. Все, конечно, выполнили команду. Мама бежала, наверное, дальше всех — очень уж боялась этих бомб.

А как-то в сумочке на скамейке услышала она тиканье часов. Отбежала, вызвали минеров, оказалось, тикал будильник. И смех и грех.

Боязнь бомб была у нее в крови. В войну в Одессе от бомб погибли десятки ее родственников. Однажды во время очередного налета старший брат, гонимый каким-то предчувствием, уплыл на лодке в море, захватив с собой и десятилетнюю девочку, мою будущую маму.

Оставшиеся на берегу все до единого погибли. А в лодке все спаслись, их подобрал какой-то катер.

...Да, по пути в Хадер она бежала дальше всех, но от судьбы не убежишь...

Не помню, как я купила билет, как полумертвая летела в Израиль, как сразу же в аэропорту меня встретила полиция. И пошли вопросы: «У мамы белые волосы?» — «Нет, — говорю, — может быть, она купила парик». — «А были у мамы враги?» — «Нет, — говорю, — не было».

А они его уже взяли, моего мужа. Это он убил мою маму, сконструировав посылку-бомбу. Когда у него брали интервью, каким образом и зачем он это сделал, он сказал: «А я бросил жребий: посылать или не посылать. И выпал орел». А дело уже шло к тому, что он уже почти полностью выбил себе квартиру. Я шла и на это. Он рассчитал убить нас вместе с мамой, он предполагал, что на этот последний суд я непременно прилечу.

Свой смертный привет он послал почтой. Рассказывали, что в городе посылку у него не принимали без паспорта. Какой сумасшедший оставит такую улику, как паспортные данные? И он поехал в Натанию, в тридцати километрах от Тель-Авива, и на каком-то почтовом филиале у него таки приняли без паспорта. Ящичек он оформил весьма красиво — с ленточками, с бантиками, как якобы подарок.

Я уже говорила, что в Израиле немедленно вызывают полицию, если появляется хоть малейшее сомнение по поводу какого-то подозрительного предмета. Пальцем до него нельзя дотронуться — немедленно звони куда следует. По телевидению постоянно показывают, как надо вести себя в таких ситуациях. Прямо спектакль из всего этого: «А что у вас в сумке? Откройте ваш дипломат». И никто не должен обижаться на такое вмешательство.

А тут как раз почта бастовала, долго не было отправлений, и вот приходит извещение на посылку. Подруга мамы рассказывала мне, что мама очень удивилась,, откуда посылка, и решила, что она вернулась из Союза, из Алма-Аты, куда она недавно посылала брату какие-то вещи. По какой-то, дескать, причине посылка вернулась. Девичья фамилия мамы Дулицкая, и на извещении стояла эта фамилия. Мерзавец все рассчитал. Правда, ей странным показалось, почему извещение из Натании. Поделилась сомнениями с подругой, а та ей и посовето-

вала: «А ты сходи на почту и спроси служащих, что это такое?»

Мама так и поступила. Смотреть красивую посылку вышел сам директор почты и его заместитель. Этот директор такой добрый был человек, все считали его чуть ли не родным, тридцать лет проработал на этом месте — так он пошутил, дескать, какой-то поклонник шлет привет. И у него не возникло ни грамма подозрения.

Как только он коснулся ленточки, раздался страшный взрыв. Трое погибли на месте, семерых тяжело ранило. Рассказывали, что потом этого директора не могли собрать. Врач-патологоанатом констатировал, что мама скончалась не от ранений, а от разрыва сердца. В последнюю секунду бедная мама поняла, что бомба наконец ее настигла. И сердце отреагировало мгновенно.

Преступника обнаружили с трудом. Было на него подозрение, но обыски ничего не давали, и лишь четвертый обыск помог обнаружить еще две бомбы в газовой плите.

Ему дали пожизненное заключение, но это пожизненное может кончиться через пять лет, ведь он сидит уже десять лет. А я до сих пор без развода. Таковы израильские законы. Убийца сидит в тюрьме и не дает развода, и все, ты хоть лопни, но тебя не разведут. Даже суд думал, что своей смертью мама разрешит эту ситуацию, но не тут-то было. Этой жертвы, видно, ему мало.

В тюрьме этот подонок хотел повеситься, но ему не дали.

...Спустя месяц я вернулась в Германию, занималась там еще год. Не очень довольная своим педагогом, я приехала сюда, в Вену. Познакомилась здесь с Игорем Ивченко, он из Ленинграда, музыкант. Мы стали мужем и женой. У нас дочь. Личная жизнь вроде бы сложилась, все хорошо, квартира, машина. А вот творческая... Консерваторию в Германии я бросила, не доучилась. Сейчас иногда выступаю, была на гастролях в Финляндии, здесь пою на вечеринках, в ресторанах. Когда приезжают эмигранты, пою бесплатно, даю частные уроки по вокалу. Но все это, конечно, не то, о чем мечтала.

И почти постоянное ощущение нестабильности. Оно то прорывается наружу, то уходит вглубь. Иногда думаешь, может быть, распрощаться с частью имущества, так сказать, понизить свой материальный уровень? Государство, конечно, помогает: всякие пособия, бесплатный проезд на ребенка, дешевые карточки, бесплатные учебники. В общем, Австрия не такая уж плохая для нас мачеха.

И еще: боль за то, что мы уехали из Союза, останется навсегда. Тоска и боль. Все-таки, что бы там ни говорили и ни писали, эмиграция — это трагедия. Прожито здесь уже двадцать лет, а мы все еще живем той давнишней жизнью. Ходим смотреть русские фильмы в клуб «Родина» по вторникам, а там сидят два с половиной человека. Им тоже тошно и больно, Они тоже тоскуют по России,

Март 1991 г.

ЭССЕ, ЗАМЕТКИ

РИМСКИЙ МИР

Если честно, надежды было мало. Разве можно примирить непримиримых? Гонимого с гонителем? Разве может ближний простить ближнего своего? И неужели враг способен понять врага своего? Если бы мы выполняли хоть одну из заповедей Христовых?!

Но когда человек встречается с человеком, они протягивают друг другу руки. Произносят слова. И я не верю, что мысль изреченная есть ложь.

Дни работы римской конференции «Национальные вопросы в СССР: обновление или гражданская война?» в зале заседаний итальянского парламента были днями размышлений о том, как найти компромисс, как общими усилиями спасти Россию и примирить русских между собой и со всеми ближними и дальними братьями. Высокие и, хочется верить, откровенные слова произносили далеко не рядовые наши сограждане и соплеменники. В римском вече в той или иной мере участвовали виднейшие деятели культуры нашей страны, русского зарубежья, Италии: Владимир Максимов и Чингиз Айтматов, Василь Быков и Мстислав Ростропович, Леонид Плющ и Дмитрий Лихачев, Наталья Горбаневская и Григорий Бакланов, Эдуард Лозанский и Владимир Солоухин, Витторио Страда и Александр Блох, Иосиф Бродский и Сергей Залыгин, Владимир Буковский и Виктор Астафьев, Нарек Хальтер и Паоло Унтари, Михаил Шемякин и Игорь Виноградов, Андрей Дементьев, Владислав Фронин, Александр Афанасьев, Юлиу Эдлис, Евгений Аверин, Игорь Золотусский, Анатолий Стреляный...

Устраивали, финансировали встречу газета «Комсомольская правда», журналы . «Юность» и «Континент», независимый университет Вашингтон — Париж — Москва, Хельсинкский комитет Италии, культурный центр «Рабочий мир» (Италия). Конференцию приветствовали:

Президент СССР, президент Итальянской Республики, министр иностранных дел Итальянской Республики, мэр города Рима, ПЕН-клуб.

Поначалу мне думалось, что разговор пойдет только в русле каких-то одной-двух проблем, но на пришедших гостей, журналистов обрушился шквал самых разнообразных, порой взаимоисключающих друг друга тем, предложений, полемических выпадов: каждый оратор по-своему видел мир. Но каждый, о чем бы он ни говорил, горячо желал компромисса и согласия. И это было тем, что вселяло надежду.

И еще: участники римского форума считали, что у них нет никаких исключительных оснований присваивать себе звания патриотов своего отечества. Такое отношение к понятию патриотизма стало одной из объединяющих платформ в выступлениях и докладах и, думаю, явилось причиной успеха конференции.

Перед лицом угрозы обострения конфликтов, сознавая необходимость преодолеть и поправить те исторические ошибки и те насильственные действия, которые лежат у истоков нынешнего Союза (на самом деле более чем когда-либо разъединенного и раздираемого ненавистью, взрывами нетерпимости и сепаратизмом), группа советских и зарубежных интеллигентов решила встретиться и начать диалог о путях обновления, которые были бы не только политическими и институциональными, но также культурными и моральными.

Видные представители культуры, литературы, политики и журнализма (среди них десять редакторов ведущих советских печатных органов, охватывающих без малого 60 миллионов читателей), русские интеллектуалы из эмиграции и западные интеллектуалы обсуждали в беседах за «круглым столом» и в многочисленных спутствующих встречах проблемы спасения и выживания.

Конференция представляла поистине беспрецедентное событие европейского масштаба благодаря количеству и уровню участников, разнообразию представленных позиций.

Вот лишь беглые заметки на полях моего журналистского блокнота.

Активным участником римских встреч был Леонид Плющ. Он довольно долго верил в коммунизм. Вчерашний диссидент, отсидевший срок, приехав на Запад,

он объявил себя марксистом. Объявил честно, мужественно. Но как только Леонид пообщался с французскими коммунистами, он окончательно разочаровался в марксизме и понял, что во многом глубоко заблуждался.

На встрече украинец Плющ повел разговор о национальных проблемах. Плющ сомневался, есть ли смысл вообще сохранять какую-либо федерацию, конфедерацию или союз? Удержание силой, в узде только затягивает агонию, делает политические разводы более мучительными. Вот и Александр Солженицын, считает Плющ, недостаточно последователен: он за сохранение формы какого-то российского союза. Но при этом по отношению к украинцам допускает оскорбительные выпады. И с отношением Солженицына к сепаратизму Плющ решительно не согласен. Никто не «распал» сепаратизма, считает он, сепаратизм распалась сама история. И призывы к единению и сохранению Союза — это добрые намерения, но только вот легко ли их сегодня реализовать. А впереди, считал оратор, может случиться самое страшное — гражданская война. И сейчас, когда упущено время, сегодня главное в деле, а не в идеях, какими бы красивыми эпитетами они ни обкладывались: русская идея, украинская идея, западная идея. Сегодня главное — остановить страну, народы от сползания к братоубийственной гражданской войне.

Главная цель римской встречи — попытка примирения враждующих, противостоящих сил — консерваторов и демократов, левых и правых. Слишком тяжело положение Отечества, слишком чревата наша жизнь новой гражданской войной. Но чтобы добиться мира в дне сегодняшнем, надо примирить с настоящим и наше прошлое. Разве многие из нас еще и сегодня не сомневаются, что и впрямь надо было белым бить красных, а красным откликаться таким же кровавым террором? Разве неважно сейчас понять общую причину наших национальных несчастий, прийти к мысли, что гражданская война была общим бедствием вне зависимости от того, на чьей стороне было больше «правды». Символом такого примирения в истории мог бы стать общий памятник жертвам гражданской войны, такой, какой, к примеру, воздвиг Франко в Испании, в Долине павших.

Заключительный документ встречи — «Римское обращение» — рождался, можно сказать, в муках. Заготовку привез из Парижа Владимир Максимов, но она показалась излишне резкой, напористой, поэтому было решено на основе этого отправного варианта создать новый. Участники встречи обкатывали каждую фразу, взвешивали каждую мысль. Любой мог дополнить текст воззвания, уточнить, предложить что-то свое. Говорили взволнованно, жарко, но конкретно. Дело доходило до резких противостояний и споров. Лично у меня, к примеру, вызвала сомнение фраза в самом начале документа, где говорилось о том, что «заканчивается существование одной из величайших империй в истории человечества». Как это так, думал я, «величайшая империя»? Ведь понятие это воспринимается явно в положительном контексте, а значит, и как бы образцово. Если так, зачем же желать разрушения этой самой замечательной империи? Помоему, здесь более подходящими были бы такие сравнения, как «одна из жесточайших империй», на худой конец, «одна из последних империй».

Меня удивило, что никто не заметил этого явно торчащего, как сломанная кость, противоречия. Обсуждение текста обращения ушло дальше, а я все не решался поднять руку и попросить слова. Оно почти заканчивалось, когда на сцену вышел Владимир Крупин и слово в слово высказал свои сомнения по этому же поводу. Из зала стали предлагать свои варианты — «жесточайшая», «кровавая». Но я так и не понял, приняла ли редакционная коллегия замечание Крупина, до тех пор, пока в «Комсомольской правде» не прочел, я бы сказал, немного усеченный и резко изменившийся в сторону смягчения формулировок вариант максимовского воззвания. «Величайшая империя» в тексте почему-то осталась.

«Посол Союза Советских Социалистических Республик в Итальянской Республике Анатолий Адамишин приглашает...» Я обрадовался этому визиту. Бокал вина, непринужденная обстановка сближают людей. Можно скорее выяснить позицию, прийти к общему знаменателю, разобраться в сложном и запутанном. Но я обрадовался еще и потому, что знал: внутренний интерьер нашего посольства увешан замечательными полотнами русских мастеров живописи. Хотелось узнать, как они там оказа-

1914 год. В особняке посла Его Императорского Величества в Риме — вернисаж картин русских художников. Начинается война, и устроителям выставки не до искусства. Так и остаются на стенах посольского здания прекрасные образцы отечественной живописи.

Посол Анатолий Адамишин встречает гостей, каждому пожимает руку. Уверен, что он не знает всех в лицо, хотя почти все его гости знаменитости. Он не знает, кто есть кто, а в его доме сейчас не только паспортные советские люди, но и вчерашние «враги режима» — диссиденты, те, с которыми он, работая в МИДе, был уж точно по разные стороны баррикад. Все смешалось в доме Адамишина. Недаром шедший впереди Владимир Максимов, пропуская меня вперед, заметил нечто вроде того, что «скорее я здесь хозяин, а он гость».

Хотя на самом деле я прилетел в Рим как корреспондент «Родины» по приглашению Владимира Максимова и организаций, причастных к проведению конференции.

После аперитива в одной из групп, рассматривавших картины, возник нешуточный спор: «Какой русский город изображен на этом полотне?» Не сойдясь во мнениях, послали за Владимиром Солоухиным. Он и впрямь рассудил. В другом пятачке в окружении большой группы посольских работников было шумное «примирение» Виктора Астафьева и Владимира Максимова. Быть может, именно этот момент был одним из самых сокровенных во исполнение задач и замыслов римской встречи. Правда, два известнейших писателя, собственно, не враждовали, но пролетал между ними какой-то холодок, вроде бы не обязаны были ничем друг другу, но именно тут, в Риме, в советском посольстве, они как бы заново породнились.

В конференц-зале я сидел рядом с Семеном Мирским, сотрудником парижского отделения радио «Свобода». Еще недавно, годика три назад, такое было бы трудно представить: советский журналист — и представитель самой «злой» антисоветской организации, каковой и считалась до недавних пор радиостанция «Свобода». О чем мы могли тогда говорить? А здесь, в зале итальянского парламента, мы внимали речам представителей самых полярных слоев русской советской и русской зарубежной интеллигенции и согласно кивали головами,

Даже тогда, когда нам прямо в зале заседания сообщили как экстренную новость, что Президент СССР Михаил Горбачев удостоен Нобелевской премии мира. Мы-то с Мирским приветствовали это сообщение, понимая, как велики заслуги лидера Советского Союза в деле перестройки советского общества и страны. Да, конечно, как и любой человек, Горбачев не икона, не святой, он тоже временами «ломает» дрова, но имя его в целом достойно истории и такой значимой награды, как премия имени Нобеля. А зал был взбудоражен сообщением. И сразу же участники конференции стали комментировать новость, и некоторые приняли ее в штыки: «Горбачев — кровавый палач Грузии», «Горбачев допустил Сумгаит, Баку, разве он герой, разве достоин награды?!» Слышать это было обидно, но мы не старались особенно переубеждать ораторов — вольному воля. История все расставит по местам.

Впрочем, Владимир Максимов достойно и в меру резонно оценил факт присуждения М. Горбачеву престижной награды: ею отмечены огромные заслуги советского Президента в деле стабилизации международной обстановки, от которой Запад (как, конечно, и СССР) многое приобрел.

Для меня, журналиста, римская конференция была вдвойне интересна. Со мной рядом находились «столпы» диссидентского движения: Наталья Горбаневская, Владимир Буковский, Леонид Плющ, Эдуард Лозанский... И уж кажется, бери у них интервью, расспрашивай... А мне казалось все мало. Вот я и выискивал в Риме и других осевших в разные годы русских людей.

Виделся с князем Никитой Романовым (он, правда, прибыл в Рим ненадолго — из Америки), общался с красавицей Еленой Щаповой (ныне графиней де Карли), поэтессой, прозаиком, автором нашумевшей на Западе книги мемуаров «Это я, Елена...». Она покинула родину в конце 70-х годов вместе со своим тогдашним мужем Э. Лимоновым. В холле гостиницы Санта-Клара я беседовал с сотрудником радио Ватикана Евгением Вагиным о его судьбе. Судьбе, во многом обычной для диссидента, но во многом и отличной от жизненных стежек-дорожек других его соотечественников. Он тоже приходил к нам в зал заседаний итальянского парламента, общался с русскими, участвовал в полемике,

«Эта римская встреча,— поделился он со мною,— все, что происходит сейчас в России, так для меня неожиданно, почти невероятно. Я, к примеру, не могу понять, как это так: книги, которые еще недавно хранились в спецхранах и в архивах КГБ, сейчас не только свободно выдаются на руки, читаются, но и издаются советскими издательствами. Тот же Бердяев, Франк, список огромен. Ведь мы за чтение этих книг страдали, многие отбыли срок в лагерях и тюрьмах. И теперь, когда я вспоминаю о пережитом, мне кажется, что я нахожусь очень-очень далеко, в прошлом...»

А путь Евгения Вагина к тому далекому прошлому был долгим и нелегким. Путь из советского детства, советской школы в советский университет. Путь в диссиденты. Как это произошло? Нет, он не был сталинистом, но он был типичным продуктом советской школы, да еще и золотым медалистом. Казалось, все дороги перед Евгением были распахнуты. Без труда он стал студентом, и первые два года учебы, совпавшие с XX съездом партии, стали для него решающими. Как будто повязка спала с глаз. И события в Венгрии были для него венгерской народной революцией. Но главным для Евгения Вагина уже в то время было начавшееся духовное пробуждение. Сильное впечатление на молодых людей, окружающих Вагина, оказало прочтение «Писем из Русского музея» В. Солоухина. Группа энтузиастов создает проект христианской реконструкции России. По тем временам, как считали молодые реформаторы, проект был гораздо важнее многих утопических социальных программ 60-х годов. Это была идея национально-религиозного возрождения своей родины. Во главе движения стоял Игорь Огурцов, по своей направленности оно было либеральным, построенным на образцах европейской демократии. Идеи национального возрождения не имели никакой шовинистической ограниченности или сугубой замкнутости на русском имперском прошлом.

«Я, правда, считал себя «революционером» русского монархизма,— говорит Вагин,—но это был мой путь. Наша организация называлась «Русский сон», просуществовала она три года. Естественно, подпольно. Но конец был классическим: провокатор, обыски, аресты... Всех, как цыплят, взяли в одну ночь. Как это все грустно, банально и... понятно. Два судебных процесса... Нас, четверых руководителей, судили ни много ни мало за подготовку заговора с целью свержения власти, остальных,

человек двадцать, по 70-й и 72-й статьям — антисоветская агитация и пропаганда. Огурцов отсидел от звонка до звонка двадцать лет.

Лагерный период стал для всех нас самым решающим в окончательном духовном становлении. Не в смысле идей, не в политическом смысле, а именно в приближении к Богу. Если уж говорить высоким слогом, это был путь возвращения к истокам...»

После приезда в Ленинград Евгений Вагин работал кочегаром, грузчиком, прошел многое из того, что прошли и его друзья. С его биографией, а это было в 1976 году, возможности для выезда за границу с женой и дочкой были довольно легкими. От таких освобождались с легкостью.

Сегодня Е. Вагин работает старшим редактором на радио Ватикана, материалы, им подготовленные, мы слышим на русском языке. Программы, жалуется он, довольно сухие, новости, культура, никакой инициативы, но времени уходит много. Намеревается уйти с этой работы. Куда? Он уже преподавал в университетах, знает литературу, историю религии, сотрудник журнала «Вече». Без работы не останется.

На прощание он подарил мне только что вышедший выпуск независимого русского альманаха «Вече». В самолете я успел перелистать журнал. Читал я его и раньше. Не все, и, быть может, далеко не все, могу принять я в этом журнале. Во всяком случае, его антисемитизм. Я хочу лишь верить в искренние устремления его авторов к открытому диалогу со всеми, кто думает о будущем России. Я тоже верю, что Россия БУДЕТ,

Одну из дискуссий, разгоревшуюся в конференц-зале культурного центра Мондоперайо, можно назвать так: «Была ли Россия под наркозом?» Начал ее писатель Владимир Солоухин, заявивший, что долгие годы Россия находилась под наркозом сталинизма, что народ молчал и покорно сносил унижения. Именно отсюда или, точнее, в этом видит писатель корень многих наших нынешних бед. Владимир Алексеевич говорил горячо, конкретно, обстоятельно и, главное, как мне показалось, убедительно. Но сразу же он нашел резкого оппонента в лице академика Лихачева.

— Я утверждаю,— возразил Дмитрий Сергеевич,— как человек, которому 84 года, что не было в России

никакого наркоза ни в 1917-м, ни 1928 году, ни позднее. Подтверждением этому — крестьянские восстания, лагерные бунты. Народ сопротивлялся террору, как мог. Нет, ни русский, ни советский народ не был народом рабов и не испытывал никакого наркоза. Время такое выпало». Я сам хорошо помню, как на Соловки в полном обмундировании, только без оружия доставили Полтавскую кавалерийскую курсантскую школу. Будущих офицеров всех арестовали и судили за то, что они отказались стрелять в восставших полтавских крестьян. Этот исторический факт делает честь украинскому народу. И анекдоты, бытовавшие в народе, были гласом народа, своеобразным протестом, насмешкой. Сопротивлялась и печать. Скажем, вопрос об авторстве «Тихого Дона» в 1928 году стоял не менее остро, чем сейчас. Так что я утверждаю: наркоза не было, а был террор против народа.

Игорь Золотусский, писатель, литературный критик, поддержал точку зрения Д. Лихачева и заявил, что лично он ни под каким наркозом не был, потому что его отец, вернувшийся из лагеря в 1956 году, объяснил ему, в какой стране мы живем.

— Я уверен,— продолжал И. Золотусский,— что под наркозом не были и те, кто воевал на фронте, к примеру присутствующие на конференции Виктор Астафьев и Василий Быков. Именно они к тому же были теми воспитателями, которые помогли нашему поколению очнуться и прозреть.

Владимир Алексеевич снова ринулся в бой:

— Я не имею в виду отдельных людей, к примеру моего однокурсника Григория Бакланова, которые понимали, что происходит. Правильно прозревали и те, кто сидел в лагерях. Я имею в виду всю страну целиком. Как же не было наркоза? А первомайские демонстрации? А 7 ноября с красными флагами, всеобщим поклонением Ленину? А тысячи памятников вождю по всей стране? Всеобщее поклонение Сталину, слезы на его похоронах, я их видел сам, я видел, как люди рыдали. Что же это такое, как это все назвать? Разве это не всеобщий массовый наркоз, от которого мы только что проснулись?! Утверждаю: вся страна находилась под чудовищным общим наркозом!

Зал вибрировал, наливался как сочувствием к тезису В. Солоухина, так и резким неприятием его. Несколько человек сразу подняли руки, прося слова. Дмитрий Сергеевич, молча слушавший выступление Солоухина,

пытался возразить новыми доводами. Разгоряченный возникшей полемикой, Владимир Алексеевич в сердцах бросил:

— Да как же так, Дмитрий Сергеевич, вы, ученый человек, начали свое выступление с фразы «советский народ». Эти слова показывают, что вы и сами были под наркозом, потому что советского народа, как такового, не существовало, как нет его и сейчас. Нынешняя наша многонациональная рознь прекрасно это доказывает.

Спор продолжался долго...

В древности существовало понятие «Римский мир», что означало мир под властью Рима. Так называлась система распространения Древним Римом своего владычества, своего влияния на завоеванные страны при помощи договоров, соглашений. Все, что касается понятия «завоеванное владычество», нам не подходит, но если иметь в виду символическое значение понятия «Римский мир» и миротворческую акцию конференции, то мне видится высокий смысл формулы «Римский мир». Пусть отныне между всеми, кто разделен границами, взглядами, позициями, уровнем жизни, социальным и идеологическим различиями, кто способен на диалог, на духовное примирение, объединяются под «Римским миром». Как оказалось, все проблемы можно решать по-человечески, без крови, с надеждой глядя в завтрашний день. Во имя спасения жизни, цивилизации, будущего...

Ноябрь 1990 г.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ»

История журнала «Континент» намертво связана с судьбой писателя Владимира Максимова. В 1973 году он вынужден был покинуть родину, как казалось тогда, навсегда. А в 1974 году на прилавках магазинов русской книги многих стран мира появился в продаже карманного формата объемистый томик. Александр Солженицын так обосновал в своем приветствии цели и задачи парижского издания: «Появление нового журнала «Континент» вызывает и новые надежды. С тех пор как в СССР были в зародыше удушены попытки выпускать самиздатские журналы, никак не подчиненные и не согласованные с официальной идеологией, и был разгромлен единственный честный и глубокий журнал «Новый мир», русская интеллигенция в первый раз пытается объединить свои мысли и произведения, пренебрегая волею лиц и своей разделенностью государственными границами. Не лучшая форма и не лучшая территория для появления свободного русского журнала, куда б на сердце было светлей, если бы и все авторы, и само издательство располагались на коренной русской территории. Но по нынешним условиям, очевидно, это невозможно...»

Первый же номер журнала собрал первоклассных авторов: Александр Солженицын, Эжен Ионеско, Андрей Сахаров, Иосиф Бродский, Владимир Корнилов, Странник (архиепископ Сан-Францисский и Североамериканский), Абрам Терц (А. Синявский), Игорь Голомшток, Милован Джилас (крупнейший югославский политик и ученый), Зинаида Шаховская, Карл Густав-Штрём (немецкий публицист).

Журнал задумывался как инструмент сопротивления тоталитарной системе и идеологии. Его издание было моральным долгом перед страной, которую оставили многие талантливые люди. Именно «пафос» сопротивления

советской системе, проповедовавший журналом с самого его возникновения, и помог объединить многих, казалось бы, взаимоисключающих людей. Поначалу в журнале сотрудничал Александр Солженицын. В первых номерах был активен Андрей Синявский и Мария Розанова. Потом они отошли от работы.

Всех привлекло название журнала, емкость этого слова. Его авторы как бы говорили от имени целого континента культуры стран Восточной Европы, огромного континента, где господствовал тоталитаризм со своим архипелагом жестокости и насилия. Наконец, журнал стремился создать вокруг себя объединенный континент всех сил антитоталитаризма в духовной борьбе за свободу и достоинство Человека. Журнал напоминал о том, что никакая высокая цель никаким насилием не способна уничтожить свободу Личности. Своими публикациями он будоражил всех, кто пытался спрятаться в логово кустарной идеологии или в обманчивую частную жизнь, вместо того чтобы честно разобраться в действительности. Как считает Наум Коржавин, «Континент» противостоит всем попыткам превратить Россию и русский народ в козлов отпущения за грехи всей нашей цивилизации, попыткам, не только обидным и несправедливым, но и опасным, ибо внушают всем остальным, что они ни при чем и в безопасности.

«Континент» не только идет нога в ногу с событиями, но и нередко опережает их, как бы предостерегая, настораживая. Характерен в этом смысле такой пример: в 50-м номере журнала за 1986 год был напечатан материал «Внимание: опасность», полученный по каналам самиздата. Это была стенограмма выступления Д. Васильева—одного из лидеров общества «Память». В публикации практически впервые возникла фамилия Васильева. Журнал мгновенно среагировал на опасность зарождения экстремистской организации. И только спустя два-три года о «Памяти» всерьез заговорили в советской прессе.

«Континент» быстро включился не только в текущий литературный процесс, но и в горячую общественную полемику. Полагаю, мало кто знает, что еще в первом номере была напечатана статья Андрея Синявского «Литературный процесс в России», пассаж из которой вызвал не так давно бурю откликов и споров в нашей печати. Между прочим, статья эта до сих пор не перепечатана у нас полностью. Приведу тот самый абзац, в котором

писатель, рассуждая о третьей эмиграции, говорит: «Сейчас на повестке дня третья эмиграция, третья за время советской власти, за пятьдесят семь лет. Пока что ее подавляющую часть составляют евреи, которых более или менее выпускают. Но если бы выпускали всех, еще не известно, кто бы перевесил — литовцы, латыши, русские или украинцы... Хорошо, что выпускают евреев — хоть евреев. И это не просто переселение народа на свою историческую родину, а прежде всего и главным образом — бегство из России. Значит, пришлось солоно. Значит, допекли. Кое-кто сходит с ума, вырвавшись на волю. Кто-то бедствует, ищет, к чему бы русскому приткнуться в этом раздольном, безвоздушном, чужеземном море. Но все бегут и бегут. Россия-Мать, Россия-Сука, ты ответишь и за это очередное, вскормленное тобою и выброшенное на помойку с позором — дитя!..» Простите за длинное цитирование, но, именно познакомившись с этим отрывком из работы Синявского, мне кажется, что даже в пылу обиды, в состоянии эмоционального потрясения у автора не было намерения оскорблять русских, Россию.

В одном из своих многочисленных интервью в Советском Союзе Владимир Максимов, отвечая на вопрос журналиста: «Испытывал ли «Континент» когда-либо откуда-либо идеологическое давление?», ответил: «Я очень этого опасался все 16 лет нашего существования. Но никогда со стороны дома Шпрингера — издателя журнала, а уж от самого Шпрингера тем более не испытывал».

Сейчас журнал на распутье: каким ему быть, куда идти и с кем? Может быть, отдать молодежи, новой литературе? А содержание произведений молодых и неизвестных авторов вставить в оправу сложившейся структуры журнала? А может быть, уже и не нужен «Континент»? И надо ли делить русскую литературу на «ту» и «нашу»?

Вопросов много. Но журнал продолжает выходить. С той только разницей, причем принципиальной, что набирается он теперь в Москве. «Континент», словно выполняя давнее стремление, возвращается, говоря словами Солженицына, «на коренную русскую территорию». Можно сказать, что это его второе рождение...

Еще вчера журнал считался самым антикоммунистическим на Западе. Сегодня риск выпуска (и материальный и идеологический) взял на себя киноиздательский консорциум «Аверс». Печатается журнал тиражом сто тысяч экземпляров. Иной читатель, уверен, заметит:

у нас и миллионные тиражи не редкость. Все верно, но стоит учесть, что прежний тираж «Континента» равнялся трем тысячам.

Создана и московская редколлегия журнала. В нее вошли Булат Окуджава, Фазиль Искандер, Юлиу Эдлис, Игорь Виноградов. С радостью принял я предложение подготовить к печати двенадцатитомное «Избранное» «Континента». Первый выпуск — том прозы «Жертвоприношение», в который вошли произведения наших «западных» прозаиков: Аксенова, Войновича, Довлатова, отрывки из мемуаров Галины Вишневской, публицистика Иосифа Бродского, сатирические новеллы Юза Алешковского, киносценарии Андрея Тарковского,—готовится к изданию.

Декабрь 1990 г.

НО ЖИТЬ, КАК ОКАЗАЛОСЬ, МОЖЕТ ТОЛЬКО В РОССИИ

Я искал эту книгу несколько лет. «Вынюхав» библиофильской ищейкой всю букинистическую Москву и не обнаружив ее ни в магазинах, ни в библиотеках известных собирателей, я стал охотиться за ней по всему свету. Однажды в Нью-Йорке в магазине русской книги я наткнулся на один-единственный экземпляр ее и мгновенно разочаровался: во-первых, это была грубая копия-репринт, изготовленная неведомо кем и где, без всяких выходных данных и сведений, во-вторых, цена, которую просили за книгу, была мне просто не по карману. Правда, потом я пожалел, что не отдал последние командировочные доллары, ибо надо было удовлетвориться и этим эрзацем капризного издательского рынка. Но вот в Париже на маленькой улочке Дарю, там, где стоит знаменитая русская церковь, в магазине, основанном почти 70 лет назад издателем Сияльским и превращенном нынешними наследниками в лавку товаров а ля рюсс, где можно купить все — от павловопосадского платка до четок и белогвардейских погон, в шкафу-закутке, в пыли и разоре, в стопе кем-то сданных на комиссионных началах довольно редких изданий с автографами Алексея Ремизова и Георгия Иванова я вдруг обнаружил то, что искал. Я почти не верил своим глазам. Я искал именно эту книгу, изданную в Берлине издательством «Петрополис» в тридцатых годах.

...Она очень русский человек, глубоко любит Россию. Несколько лет провела в Америке, в Испании, во Франции, много путешествовала, но жить, как оказалось, может только на родине.

Переводчица, певица, актриса, знавшая и дружившая с Дос Пассосом, Маяковским, Бурлюком, Сименоном, Солженицыным, она написала увлекательнейшую книгу о своей жизни. Охотно выступая со сцены на творческих встречах, она рассказывает об эпизодах, происходивших

много лет назад. Штрихи ее жизни — это приметы времени далеких уже эпох. Давая радио- и телеинтервью, она вскользь, как о чем-то незначительном, одной строкой упоминает о начале переводческой работы. А между тем эта история достойна отдельной новеллы.

...В середине тридцатых годов, вернувшись из Франции в Россию, Татьяна Ивановна Лещенко подружилась с женой поэта Николая Тихонова Марией. Однажды в разговоре об английской литературе Мария Константиновна заметила, что читает по-русски книгу Лоренса «Любовник леди Чаттерлей», наделавшую в Европе много шума. «Не твоя ли это фамилия значится в качестве переводчицы — Татьяна Лещенко?» — спросила она. «Моя», — скромно ответила Татьяна Ивановна. В России она почти никому не говорила об этом эпизоде в ее богатой событиями жизни. Книгу никому не показывала, и мало кто знал, что знаменитый роман перевеса именно она. Почему?.. Времена наступили тяжелые. Она понимала, что при случае ей не поздоровится, зачем дразнить гусей, а молчание всегда золото. «А вы знаете, — продолжала Мария Константиновна, — Максим Горький подарил эту книгу писателю Анатолию Виноградову с надписью: «Дарю вам одну из самых прекрасных, но и самых печальных книг нашего столетия».

«Эта почти детективная история с переводом знаменитого романа Лоренса, — рассказывает Татьяна Ивановна, — началась в Нью-Йорке, когда брат моей подруги Беатрис, родственницы знаменитой писательницы Гертруды Стайн, посоветовал прочитать недавно вышедшую книгу английского писателя Лоренса. «О чем она?» — спросила я равнодушно. В ту пору мне было все равно что читать. «В книге много эротики», — интригующе ответила Беатрис, и я сразу же потеряла интерес к предложенному чтиву. Мне это было чуждо, неинтересно. Тогда меня волновал другой Лоренс, знаменитый английский разведчик, тот, что написал «Восстание в пустыне». И я забыла о разговоре с подругой.

В 1930 году я приехала в Париж и познакомилась с находившимся там в командировке от Луначарского скульптором Дмитрием Цаплиным, ставшим моим мужем. С ЦапLINE писали как о «гениальном русском мужике с Волги». Так вот, вскоре, по-видимому, после выхода книги на французском языке завихрилась сплетня, обошедшая весь русский Париж, о том, что свою книгу Лоренс якобы написал обо мне и о ЦапLINE.

И наконец-то заинтригованная романом, я залпом проглотила его.

Он поразил меня своей целомудренностью, честным отношением к любви. По правде говоря, я не любила волевых женщин. В отношениях с любимыми мужчинами я пыталась оставаться самой собой: была нежна и внимательна. Ведь это главное, а не что-то иное. Первый мой муж был очаровательным человеком, но я не могла привыкнуть к Нью-Йорку, куда он привез меня семнадцатилетней девочкой из Пятигорска. Мы расстались, но всю жизнь были самыми близкими друзьями. Когда много позже, в пятидесятых годах, я сидела в тюрьме, Бен постоянно присылал из Америки посылки.

...Итак, я прочитала «Любовника леди Чаттерлей». Книга мне очень понравилась еще и тем, что воспринималась мною как увесистая пощечина английскому лицемерию. И я взялась переводить роман...»

Молодая чета отправилась на берег Средиземного моря, отыскала уютное местечко среди скал. Соленые волны плескались у ног влюбленных. Цаплин делал свою очередную скульптуру, а Таня, лежа на горячем песке, переводила сагу о пылких чувствах леди Чаттерлей к леснику Мэллерсу. Переводила взхлеб, ничем другим не интересуясь.

Готовая работа отправилась в Париж, в лавку Поволоцкого. Это был большой книжный магазин на набережной Сены, где, кстати, Татьяна познакомилась с Эренбургom, Замятиным, другими знаменитыми русскими эмигрантами. Поволоцкий принял заказ. Перепечатывал перевод книги (рукопись была от руки) удивительный человек — Михаил Петрович Волконский, потомок декабристов. Образованный, культурный, он нуждался в заработке. Таня была счастлива познакомиться с ним.

...И вот издание осуществилось. Небольшая сумма денег, заплаченная издателем, стала подспорьем в жизни, хотя особенно молодая семья не нуждалась.

«Однажды я наткнулась на объявление о том, что в клубе (был указан адрес) проводится вечер, посвященный русскому изданию книги «Любовник леди Чаттерлей». Надо признаться, что я не часто бывала в эмигрантских кругах, и с радостью пошла на этот вечер. Большая комната переполнена. Писатели, художники, богема. Запомнился почему-то поэт Константин Бальмонт, сгорбленный и полупьяный. Доклад о книге делал Марк Львович Слоним, литературный критик, издатель, блестящая

личность. С нетерпением ожидая начало вечера, я пристроилась в уголке и была довольна тем, что на меня никто не обращал внимания,— попросту говоря, меня никто не знал. Слоним высоко оценил книгу, очень хвалил Лоренса, который к тому времени скончался. Одна интересная деталь. Когда я решила переводить книгу, написала письмо душеприказчику Лоренса, а им был знаменитый писатель Хаксли, доживший почти до наших дней. Хаксли ответил письмом от руки (к великому сожалению, письмо пропало во время обыска, когда меня арестовывали), что он приветствует появление книги своего друга на русском языке и дает мне право сделать авторизованный перевод, уверенный, судя по письму, что перевод будет отличным. Надо сказать, что я окончила школу журналистики при Колумбийском университете, а также играла в одном из театров Нью-Йорка и для переводческой работы была немножко подготовлена.

Успех книги среди пришедшей на вечер аудитории после прекрасного выступления Марка Слонима был обеспечен. Когда все разошлись, а Марк Львович складывал на столе какие-то бумаги, я подошла к нему и представилась. Он удивился моему явлению, поцеловал руку, сделал изысканный комплимент и предложил прогуляться по берегу Сены. Потом на Монпарнасе мы зашли в кафе. Пили вино, вкусный кофе, и я рассказала Слониму о себе и Цапине, о попытках литературной работы. Ведь роман Лоренса был первым опытом моей переводческой практики».

После того как в Париже вышел французский перевод «Любовника...», в прессе было много сообщений, карикатур, пересудов. С давних пор у Татьяны Ивановны хранится журнальчик, поместивший пародию на два перевода. Русский перевод: красивая молодая дама, прическа — прямой гладкий пробор, глаза опущены долу. Французский — растрепанная, расхристанная, наглая мамзель.

Впереди был настоящий судебный процесс против романа Лоренса. Особым решением суда книгу запретили к продаже в Англии. И только спустя много лет, в шестидесятых годах, после нового прокурорского решения, ставший знаменитым роман «Любовник леди Чаттерлей» реабилитировали. Эпитетов при этом было не счесть: «Замечательная, чистая и целомудренная книга. Книга о настоящей любви, о настоящем наслаждении, о трепет-

ном чувстве». Книга, считавшаяся еще вчера аморальной, была названа классикой XX века.

А что творилось в Лондоне! 18 ноября 1959 года, когда впервые появился в продаже скандальный роман, лондонцы буквально атаковали книжный магазин, очередь образовалась невиданная. Тиража не хватило, и пришлось срочно делать допечатку. Фирма «Пингвин» явно поправила свои дела. Одна из заметок (она сохранилась в архиве Лещенко-Сухомлиной) гласит: «Наконец-то роман Лоренса «Любовник леди Чаттерлей» обрел право жительства в своей собственной стране, откуда был изгнан 32 года назад. Знаменитый роман признан классическим романом. Это история об импотенте, английском аристократе, жена которого влюбляется в его лесника, простого человека из народа. Это описание их великолепного, очень высокого и страстного, хотя и греховного романа».

«Я подумала, а почему бы не послать книгу в Москву, в Гослитиздат. Так и сделала. Издательство, к моему удивлению, ответило любезным письмом. Подписал его, как сейчас помню, директор по фамилии Котов. Меня извещали, что Лоренс социально созвучен советскому читателю, что в России уже вышел его роман «Сыновья и любовники». «Лоренс, бывший шахтер,— писал Котов,— идет по нашей дороге, но планы издательства на последующие годы заполнены и выпустить «Любовника леди Чаттерлей» не представляется возможным». Так и суждено было произведению талантливого английского автора дожидаться наших дней, чтобы русскоязычный читатель смог познакомиться с ним в эпоху гласности и перестройки.

А вообще в связи с книгой у меня завязалась интересная переписка с читателями. Одним из них оказался известный публицист Луи Фишер, привлечший к себе позднее особое внимание книгой «Ленин». К сожалению, почти всю переписку у меня изъяли перед арестом в 1947 году.

Вообще с книгой, которую я очень люблю, было много приключений. Хочу еще раз отметить, что я боялась давать на прочтение мой единственный авторский экземпляр кому бы то ни было.

О хорошем отзыве Горького никто не знал, и я по-прежнему остерегалась говорить о книге. Писатель Николай Атаров, мой земляк, друг моей сестры, был единственным человеком, которому я дала ее прочитать в

1947 году, летом, я точно это помню, ко мне пристала с просьбой молодая женщина, ее звали Катя. «Дайте мне прочитать «Любовника...», — твердила она, — я влюблена и надеюсь, роман поможет разобраться в чувствах». Как было не дать. И тут меня арестовывают. Арестовали и библиотеку: книги Бориса Пильняка с дарственными надписями, стихи Игоря Северянина, многое другое. Но слава богу, что Лоренса в доме не было.

Вернувшись из ссылки, я побежала к Кате и узнала от нее, что книга находится в ужасном состоянии, многие страницы утеряны. Как оказалось, Катя не сдержала слова и книга «гуляла» по Москве. Конечно же я вытребовала этот искореженный экземпляр, пришла домой и мне захотелось плакать. Из-за страха Катя выдрала предисловие автора, многое объясняющее в истории романа, не было и титульного листа. Позднее одна добрая женщина из Риги прислала мне отдельные страницы книги, но до полного комплекта не доставало двенадцати страниц. Где же их взять? Ведь «Любовник леди Чаттерлей» и сегодня большая библиографическая редкость.

Своим романом Лоренс как бы открыл новый литературный жанр, он взял на себя смелость подробно описать физическую сторону полового акта. Половой акт — что это такое? Это то, от чего есть мы, то, от чего зародилась на земле жизнь, и то, от чего она будет продолжаться. Это величайшее чудо, величайшее счастье, это божие на нас благословение. И физическое и духовное. Лоренс не побоялся описать его так откровенно, что поразил всех. Он понимал, на что идет. Сам в это время глубоко любящий, он «дал пощечину», выразил в такой форме протест лицемерию английских и в особенности американских обывателей, которые в то время гордились тем, что они сексуально беспорочны, что для них секс — это самое грешное, самое преступное. В их ханжеском представлении дети появлялись неизвестно откуда, то ли в листьях капусты, то ли Санта-Клаус приносил их в своих мешках.

Для нас эта книга особенно интересна и поучительна. Гласность сняла многие запреты, в том числе и на тему о сексе. Но эта тема требует особого такта и культуры. С одной стороны, на весь мир с экрана телевизора устами замордованной бытом, «офригиденной» женщины мы позорно заявляем, что «секса в Советском Союзе» нет, с другой — непристойно, как из рога изобилия, на наш книжный рынок хлынули бульварные секс-поделки, эро-

тические журнальчики и пособия, которые не встретишь даже на знаменитой улице Пляс Пигаль в Париже и которые ничего общего не имеют ни с литературой, ни с моралью свободного человека. Поэтому сегодня представляется важным не торопливо бежать вслед за модой, а попытаться познакомиться с той литературой, с теми авторами, которые задолго до нас прикоснулись к «запретной» теме и сделали это прикосновение не банальным и не пошлым...»

И еще два слова об авторе романа и о его русскоязычном варианте. Вот сухая биографическая справка из краткой литературной энциклопедии 1967 года. «Лоренс, Лоуренс, Дейвид Герберт (11. X. 1885, Иствуд— 21. IV. 1930, м. Ванс, Франция)—английский писатель. Сын шахтера. Получил образование учителя. В 1909 году опубликовал стихи. В 1911 году вышел роман «Белый павиан». Романы «Сыновья и любовники», 1913 (русский перевод 1927), «Радуга», 1915 (русский перевод 1925), «Флейта Аарона», 1922 (русский перевод 1922), «Любовник леди Чаттерлей», 1928. Его книги содержат изложение нравственных и социальных доктрин; смутные соображения о классовой борьбе часто подкрепляются психологическим анализом в духе фрейдизма. Лоренс подвергал критике капиталистическую цивилизацию, призывая к первобытному примитивизму. При жизни Лоренс был принят узким кругом лиц. Отзвуки ханжеской травли писателя того времени доходят до наших дней (в 1960 году в Лондоне проходил шумный судебный процесс над «Любовником леди Чаттерлей», закончившийся реабилитацией романа)...

Август 1990 г.

ВОЗВРАЩЕНИЕ «ДАМЫ С ЛОРНЕТОМ»

...«Вертушка» главного редактора «Огонька» крутилась без устали... Цензура, то бишь Главное управление по охране государственных тайн в печати, ставила вето на публикацию стихотворений Зинаиды Гиппиус. В. Коротич был бессилен. А мне было обидно, что из рубрики «Русская муза XX века», которую я вел вместе с Е. А. Евтушенко, «слетала» принципиальнейшая для полноты антологии публикация. Чтобы спасти положение, Евтушенко срочно приехал в редакцию и оседлал аппарат чрезвычайной связи. В очередной раз я был свидетелем, как поэт, общественный деятель (ныне народный депутат СССР) Евгений Евтушенко «лежал на амбразуре дзота». Евгений Александрович обзванивал отделы и секторы ЦК КПСС. Он убеждал людей, ответственных за идеологию, за печать, дать разрешение на публикацию стихов опальной поэтессы. На другом конце провода, по-видимому, возражали вескими аргументами: антисоветчица, декадентка, покинула родину, не приняла революцию... Евтушенко уверял, что: во-первых, ее уже нет в живых, во-вторых, она талантливая поэтесса, в-третьих, журнал хочет опубликовать всего одно самое лучшее ее стихотворение раннего периода, наконец, в-четвертых, во врезке будет дана оценка ее реакционности, оценка, данная Гиппиус А. М. Горьким. Самое же главное — без стихов З. Гиппиус полно и объективно судить о русской поэзии читатель не сможет. Ведь рано или поздно имя ее будет возвращено... И добился своего! Впервые за многие десятилетия стихи Зинаиды Гиппиус появились в советской печати. Гласность преодолела еще один нешуточный идеологический барьер.

Валерий Брюсов так писал о своей современнице: «Как сильный, самостоятельный поэт, сумевший рассказать нам свою душу, как выдающийся мастер стиха,

Гиппиус должна навсегда остаться в истории нашей литературы. Вместе с Каролиной Павловой и Миррой Лохвицкой Гиппиус принадлежит к числу немногих женщин-поэтов (заметьте, поэтов, а не поэтесс! — *Ф. М.*), которыми мы можем гордиться». Брюсов полагал, что в некоторых стихах Гиппиус достигала «чисто тютчевской прозорливости».

Мариэтта Шагинян говорила мне, что считала Гиппиус одной из умнейших и талантливейших женщин, с какими ей доводилось встречаться на протяжении долгой своей жизни. В книге «Человек и время» Мариэтта Сергеевна сообщает, что часы, проведенные в гостинной Гиппиус, были драгоценными часами общения, одной из величайших духовных потребностей. «Современники помнят только конец,— пишет Шагинян,— бегство за рубеж, подлые и пошлые выступления против социалистической родины, сварливые старческие писания...» Но не надо забывать, что творчество Гиппиус высоко ценили Г. В. Плеханов, А. Блок, А. Белый.

Первая книга стихов Гиппиус, а точнее, как она назвала ее, «Собрание стихов», объемистый том, вышла в книгоиздательстве «Скорпион» в 1904 году. Тиражом 1200 экземпляров.

«Стихи мои я в первый раз выпускаю отдельной книгой, и мне почти жаль, что я это делаю. Не потому, что их написано за пятнадцать лет слишком много для книги, и не потому, что считаю мою книгу хуже всех, без счета издающихся стихотворных сборников: нет, я думаю— она и хуже, и лучше многих; но мне жаль создавать нечто, совершенно бесцельное и никому не нужное. Собрание, книга стихов в данное время — есть самая бесцельная, ненужная вещь...» Заметьте, какой характер, какая натура в пору творческой зрелости (к тому времени Гиппиус уже выпустила три книги прозы), как критично и к себе, и к почитателям поэзии, и ко времени она относится.

Тем не менее именно эта «ненужная вещь» получила достойную оценку современников. После «Собрания стихов» Гиппиус выпустила в России еще два сборника. Интенсивнее она занималась беллетристикой, литературной критикой. Стихи, по собственному заключению, писала только тогда, когда не могла их не писать. Литературу любила нежно и ревниво, но никогда не «обожествляла». «Ведь не человек для нее, а она для человека»,— справедливо заметила желчная, язвительная умница.

А жизнь Гиппиус, жены Дмитрия Мережковского, с которым она не расставалась 52 года, заканчивалась почти трагически. В дряхлости, одиночестве и бедности, вдали от любимой России... Если и был последний взмах ее руки взмахом проклятия в нашу сторону, так пусть извинят меня «неистовые ревнители» твердости духа, противники очищения и покаяния, давайте отпустим ей этот грех!.. Ведь мы сегодня сечем сами себя за прошлое двумя руками. Во всяком случае, авторы и составители вышедшего около трех лет назад в издательстве «Советская энциклопедия» первого тома роскошнейшего биографического словаря «Русские писатели 1800—1917» отнеслись к судьбе «Дамы с лорнетом» (определение С. Есенина) так, как она того заслуживает: поместив о ней содержательную и объективную статью и подробную библиографию.

Июль 1989 г.

«О, СЛАДКИЙ ВОЗДУХ ГОРЕСТНОЙ СВОБОДЫ...»

О том, что в мировой русскоязычной поэзии существует такое имя, как Довид Кнут, я узнал раньше, чем прочитал его стихи. Слава всегда идет впереди легендарного человека. При каждой встрече, а это было лет десять—двенадцать назад, Владимир Брониславович Сосинский, вернувшийся из Парижа в Россию в 1961 году, рассказывал мне о своем друге-поэте. «Как жаль, что наш читатель даже не слыхивал о Довиде Кнута!» — горевал он. «Не слыхивал и сегодня», — с горечью добавляю я. В нашей печати стихи Довида Кнута не публиковались еще ни разу. А между тем его лира, страстная, торжественно-громкая, брала самые высокие ноты в поэзии русского рассеяния.

Его знала и любила парижская эмиграция. К нему благоволила разборчивая Зинаида Гиппиус, рекомендуя его стихи в журналы и альманахи. Стоило только Владиславу Ходасевичу один, раз услышать стихи Довида Кнута, как он приблизил его к себе. Юрий Терапиано считал лучшей книгой Довида Кнута и одной из лучших книг всей эмигрантской поэзии «Парижские ночи», вышедшую в 1932 году. Когда я снимаю ее с полки — а экземпляр у меня с автографом — и перечитываю, мне слышится дыхание высокой и мудрой речи, вдохновленной призраком близкого дыхания любви:

Ты вновь со мной — и не было разлуки,
О, милый призрак радости моей.
Ты вновь со мной — твои глаза и руки
(Они умнее стали и грустней)
Они умнее стали — годы, годы...
Они грустнее, с каждым днем грустней:
О, сладкий воздух горестной свободы,
О, мир, где с каждым часом холодной..,

Этот холодный и страшный час неотвратимо приближался. Второй женой поэта была Ариадна Александров-

на Скрябина, дочь известного композитора. Оба они принимали участие в движении Сопротивления. А. Скрябина попала в лапы фашистов, и ее расстреляли на месте. Настоящий поэт редко ошибается в предощущениях.

Книжку «Парижские ночи» завершает ставшее знаменитым стихотворение «Я помню тусклый кишиневский вечер» о похоронах бедного еврея. В поэзии Д. Кнута звучал «голос тысячелетий» (первая его книга так и называлась «Мои тысячелетия»), древний голос страны обетованной. Еще один почитатель таланта Д. Кнута, Глеб Струве, свидетельствует: «Библейская тема, библейски окрашенная эротика, высокая дикция характеризовали одну сторону поэзии Кнута. Ведь Давид Миронович Фихман (1900—1955) родился в Кишиневе в семье торговца. Сквозь всю его поэзию проносятся мотивы «бедного и грубого тела», но «веселой души».

Современники вспоминают, что Довиду Кнуту были чужды всяческие окололитературные интриги и злобство. Одной из самых темных сторон человеческой натуры он считал зависть. Любя и помогая слабым и сирым, он сам бывал временами «нищее нищего». Но понятие добра неразрывно соединилось в нем как в поэте и как в человеке.

Поселившись после второй мировой войны в Израиле, он стал писать и на иврите, и, по-видимому, русская поэзия много потеряла..,

Октябрь 1990 г.

«БЫЛА ВЕСНА, КОТОРОЙ НЕ ВЕРНУТЬ»

Что еще можно добавить к основательному тому ярких, живописных воспоминаний и короткой биографической справке от издательства? Что Дон Аминадо был человеком легендарным, а мы его совсем забыли? Лишь изредка это необычное, почти экзотическое имя всплывало в издаваемых у нас книгах воспоминаний или литературных мемуарах. У Ивана Бунина, Марины Цветаевой, в томах «Литературного наследства». Отвергая почти все без разбора из того, что было создано нашей прошлой культурой, мы особенно мстили тем, кто до конца жизни оставался непримиримым к новой власти, к Сталину, к произволу, творившемуся в России. К таким непримиримым относится и Аминад Петрович Шполянский. Имя это не было пустым звуком для читателя еще до его отъезда за рубеж. Он широко печатался в столичных сатирических и провинциальных журналах, выпустил две книги стихов, «Песни войны» и «Весна семнадцатого года». В эмиграции он не растерялся и в отличие от многих, как пишет в своей книге «Отражения» Зинаида Шаховская, естественно включился в новую жизнь, познакомился и сблизился с французскими поэтами, журналистами. Его любили, с ним дружили. Эмигрантский народ знал Дона Аминадо куда лучше, чем, скажем, Цветаеву или Ходасевича. Он был просто популярен. На его вечера в разных городах Европы приходили те, кто любил его «веселую», острую музу, хотя стихи свои публично он читать не любил. Современники подчеркивали, что с годами, не в пример многим другим юмористам, Аминадо совершенно не устаревал, не устарел и нынче. Это замечательное свойство — быть своим во все времена — присуще далеко не всем, даже одареннейшим натурам.

В смысле дали мировой
Власть идей непобедима;
— От Дахау до Нарыма
Пересадки никакой.

Эти гротескные трагические строки мог сочинить двадцатилетний поэт перестроечной эпохи.

Глеб Струве в предисловии к исследованию «Русская литература в изгнании» (1984) в перечне известных писателей, выехавших из России в эмиграцию, наряду с Бальмонтом, Буниным, Куприным, Мережковским, Северяниным называет и Дона Аминадо. Перечисленные имена известны каждому школьнику, а вот творчество Дона Аминадо пребывало для нас в забвении. Саше Черному, тоже жившему за рубежом, повезло больше, том его стихов издали у нас в шестидесятых годах. А между тем Бунин считал Аминадо «одним из самых выдающихся русских юмористов». Дежурный фельетонист уже парижских «Последних новостей», он сквозь призму своего юмора преломлял эмигрантские будни, политические и идеологические схватки. Он «бодался» со всеми: сменовеховцами, евразийцами, младороссами и политическими противниками Милюкова в лагере «Возрождения». Доставалось и советскому «менталитету». Вот, к примеру, пародия на Молотова:

Лобик из Ломброзо,
Галстучек-кашне,
Морда водовоза,
А на ней пенсне.

Убийственная характеристика!

Кстати, что за странная фамилия, Дон Аминадо? Некоторые разъяснения на этот счет мне дал литературовед А. Иванов, глубоко знающий жизнь и творчество поэта и эссеиста. Сам Аминадо не оставил никаких разъяснений на сей счет. Подлинное имя поэта стало творческой фамилией. А откуда испанская приставка Дон? Есть все основания думать, что не обошлось здесь без Дон Кихота. В пользу этого свидетельствует тот факт, что в некоторых газетах поэт подписывался «Гидальго». Испанизированный псевдоним перекликается с литературной, маскарадной, театральностью, которых в поэзии Дона Аминадо хоть отбавляй.

Сатирическая фельетонная поэзия Дона Аминадо, напечатанная в прессе или прозвучавшая из уст автора,

скрашивала минуты неуютной жизни, «учила улыбаться...» — вспоминала З. Шаховская.

Но вот другой Аминадо. Другой поэт, другой человек.

Как рассказать минувшую весну,
Забытую, далекую, иную,
Твое лицо, прильнувшее к окну,
И жизнь свою, и молодость былую?
О, помню, помню!.. Рывкнул паровоз.
Запахло мятой, копотью и дымом.
Тем запахом, волнующим до слез,
Единственным, родным, неповторимым,
Той свежестью набухшего зерна,
И пыльною уездною сиренью,
Которой пахнет русская весна,
Приученная к позднему цветению...

Проникновенные, ставшие хрестоматийными строки «Поздней сирени» и многие другие лирические откровения Дона Аминадо открывают нам отличной крепости лирического поэта.

Впрочем, хочу привести характеристики творчества Дона Аминадо, данные Мариной Цветаевой в письме к нему, опубликованном журналом «Новый мир» в апреле 1969 года. Характеристики емкие, точные и страстные, как все, что выходило из-под пера замечательной русской поэтессы. Цветаева неоднократно признавалась, что видит в Аминадо подлинного поэта. Вы «совершенно замечательный поэт... Да, совершенно замечательный поэт (инструмент) и куда больше поэт, чем все те молодые и немолодые поэты, которые печатаются в толстых журналах. В одной Вашей шутке больше *лирической жилы*, чем во всем «на серьезе»...»; «Я вам непрерывно рукоплещу — как акробату, который в тысячу первый раз удачно протанцевал по проволоке. Сравнение не обидное. Акробат, ведь это из тех редких ремесел, где все не на жизнь... и я сама такой акробат...»; «Вы — своим даром — роскошничаете... Вы каждой своей строкой *взрываете* эмиграцию!.. Вы ее самый жестокий (ибо бескорыстный — и добродушный) судья»; «Вся Ваша поэзия — самосуд эмиграции над самой собой».

Своенравная, щедрая к друзьям, Марина Цветаева говорит Аминадо все, что она думает о нем, предостерегает, корит, верит в него.

Поэта поддерживал Бунин, они дружили, подолгу общались. В изданном Милицей Грин трехтомном исследовании «Устами Буниных» (1977) довольно часто встречаются упоминания о разного рода встречах, обедах,

разговорах. Одна запись от 5 января 1942 года мне показалась особенно характерной: «Подумать только: 20 лет, одну треть человеческой жизни пробыли мы в Париже! Барятинский, Аргутинский, Кульман, Куприн, Мережковский, Аминад. Все были молоды, счастливы». А вот незадолго до кончины Ивана Алексеевича запись Веры Николаевны, жены писателя: «Был Аминад. Как всегда, приятен, умен и полон любви к Яну».

Книга Д. Аминадо «Поезд на третьем пути» (1954) — одна из замечательнейших русских книг-воспоминаний XX века. Она своеобразна по стилю, это как бы «фельетон» вместо мемуаров, иронически-беспощадная и, по существу, грустная книга, в которой множество живых подробностей и характеристик «дел и дней» литераторов России. В ней на фоне политического брожения предреволюционных лет, совпавшего с годами литературного расцвета, проходит жизнь русской интеллигенции. Сначала глухая провинция, потом Одесса, Киев, Москва, октябрьский переворот и эмиграция. Дон Аминадо сумел передать настроение трагической эпохи. Его мемуары как бы импрессионистичны, события, лица, комедии и трагедии человеческого существования обозначены только пунктиром, но в этом аллюзионном использовании материала автор дает волю читательскому воображению и памяти. Как писал известный исследователь русской зарубежной литературы профессор В. Казак, для воспоминаний Дона Аминадо характерна ироническая дистанция по отношению к изображаемому, но за легкостью форм не теряется политическая и человеческая серьезность автора. Один только отрывок из книги.

«В феврале был пролог. В Октябре — эпилог.

Представление кончилось. Представление начинается.

В учебнике истории появятся имена, наименования, которых не вычеркнешь пером, не вырубишь топором.

Горсть псевдонимов, сто восемьдесят миллионов анонимов.

Горсть будет управлять, анонимы — безмолвствовать.

Несогласных — к стенке:

Прапорщиков — из пулемета, штатских — в затылок.

Патронов не жалеть, холостых залпов не давать.

Урок Дубасова не пропал даром.

Все повторяется, но масштаб другой.

В Петербурге—Гороховая, в Москве — Лубянка,

Мельницы богов мелют поздно.

Но перемол будет большой, и надолго».

Воспоминания «Поезд на третьем пути» вышли в зарубежном издательстве Чехова в Нью-Йорке, издательстве, выпустившем десятки замечательных книг, как правило, русских авторов, которое, к сожалению, прекратило свое существование. Книга стала событием литературной жизни. В ряде русскоязычных газет и журналов были напечатаны восторженные рецензии и отклики.

Первую эмигрантскую книгу (Париж, 1921) Д. Аминадо назвал «Дым без отечества». Блистательно обыграны замечательные грибоедовские строки. Что ж, рискну продолжить лингвистические игры: да, «перемол» истории продолжает наше отечество не просто в дыму, а в смрадном чаду пожарищ и перестроек. Этот смрад потихоньку развеется. И тогда в полном блеске своих талантов, книг, трагических судеб предстанут перед нами блудные сыны отечества, оставшиеся русскими патриотами и в мировом рассеянии. Среди них и Дон Аминадо, «роскошничавший» своим даром.

Декабрь 1989 г.

«БЛЕСНЕТ МАЯК МОЕЙ ЛЮБВИ ПОСЛЕДНЕЙ»

Стихи «солнечной девочки»

— Тиража этой книги фактически не существует. Она мне дорого обошлась, я выпустила ее для близких людей. Я не ищу ни знакомств, ни паблисити, я уже немолодая, моя жизнь позади. Годы проходят неслышно, незаметно, возраст берет свое, подкрадывается, как тигр... Многие мне твердили: «Сделай книгу». Вот я и сделала.

Думается мне, что книга «Памяти любимых неживых» — первая и, наверное, последняя на русском языке среди самых почитаемых авторов. Мало кто решится стать дебютантом на ниве поэзии в столь преклонном возрасте. Познал меня с Ольгой Евгеньевной Эдуард Штейн, литературовед, автор знаменитой книги «Поэзия русского рассеяния».

— Ее биография тебя поразит, — загадочно сказал он.

Жизнь Ольги Чегодаевой действительно достойна романа. И она сама его написала. Правда, в жанре воспоминаний. Воспоминаний о детстве, о покинутой родине, о своем муже, величайшем шахматисте всех времен и народов Хосе Рауле Капабланке (Капе, как она его называет), о своем последнем спутнике жизни национальном герое Америки адмирале Ж. Кларке, чью фамилию она носит сейчас. О встречах с людьми, чьи имена — легенда.

В одно из наших свиданий Ольга Евгеньевна как бы между прочим заметила, что ее одно время разыскивал Бобби Фишер. В другой раз также мимоходом, после того как мы проговорили более часа, хозяйка дома обмолвилась, что в соседней комнате поджидает... Грета Гарбо, ее добрая подруга. (Гарбо?! Таинственная, исчезающая, встречи с которой жаждают все журналисты мира!) Не верить О. Кларк я не мог. Нагрянул же к ней не так давно с неожиданным визитом Гарри Каспаров. А чего стоят напечатанные в «Неделе» моралистские суждения одной американской писательницы об Ольге Кларк — примерной супруге своих великих мужей.

А выпуск книги стихов в том возрасте, когда человек, простите, думает о Боге. Что это: шутка, эпатаж, порыв души, вдохновение, желание выразить свои богатые

чувства в эмоциональной форме? Стихи она писала всю жизнь, но поэтессой себя не считает. Поэзия в ее жизнь пришла как бы между прочим.

— Константин Бальмонт называл меня «солнечной девочкой». Я познакомилась с ним в Тифлисе, куда он приезжал вместе с Сергеем Городецким, моим родственником. Я знаю, что в Москве живет дочь Городецкого, я помню ее девочкой. Сергей Митрофанович по отношению ко мне вел себя покровительственно, он считал, что к таланту надо относиться строго, что его надо воспитывать. Стихотворчеству меня учили именно эти поэты. Разве можно забыть, как однажды они на меня так накричали, что я обиделась. А все из-за строки: «Я помню: судьбу вдруг решил один взгляд», потому что в ней было три «у» подряд. Уроки Бальмонта и Городецкого прояснили мне главное: поэзия — это внутренняя музыка слова, это ритм.

Из России она уехала в 1920 году, на американском миноносце. Уехала одна, отца убили, он был в белой армии. В дни революционных боев погибли и все ее родственники, честнейшие, благороднейшие люди.

— Если бы моему отцу, моему деду, моему дяде предложили миллион долларов, они даже не посмотрели бы на эти деньги, не позарились бы на них. Они честно служили царю и отечеству. Таких людей сейчас нет.

Ее прадедушка — знаменитый граф Евдокимов, завоеватель Кавказа. Есть легенда, что царь подписал указ о присвоении ему звания генералиссимуса. Ее первый муж был прямым потомком Чингисхана. В нем текла древняя монгольская кровь. Так что она княжна Чегодаева. По женской линии, через бабушку, ее родственница — одна из самых знаменитых женщин на земле — Елена Блаватская. Она помнит о ней семейные легенды.

В романе А. Котова «Белые и черные» есть такие строки: «...пышная прическа светлых волос, огромные голубые глаза, выразительные тонкие черты красивого лица. Черное панбархатное платье, закрытое спереди, обтягивало ее стройную фигуру. Сзади платье имело глубокий вырез, открывая ровную, красивую спину... Мадам Ольга Чегодаева... Ольга — русская княгиня».

— Котов описал меня очень лестно, а я человек скромный: Когда приходила пресса, я обыкновенно пряталась. Теперь, правда, об этом сожалею: столько воспоминаний пропало. Русские — люди скромные, среди них мало людей с большим самомнением. А я ведь русская,

не басурманка какая... Только одна фраза понравилась мне в романе: «Умная и добрая Ольга». Эта фраза польстила мне. То, что я красивая, я к этому привыкла, а вот умная и добрая — это сказано от сердца.

За теперешней литературой слежу мало. Мне не по вкусу всякие там секшиал эксайтменс или литература, где много убийств. У меня остался к литературе старомодный вкус. Я хочу, чтобы было написано красиво.

К сожалению, в США нет хорошей книги о Капе. И я мечтаю, чтобы она вышла в России. Не хотите взяться? Могу предоставить уникальный материал.

Последняя встреча с Ольгой Кларк была особенно долгой. Ольга Евгеньевна все вспоминала и вспоминала о своей жизни. Мне показалось, что ее жизнь и ее стихи — это сладковатые «брызги шампанского», которое, кстати, подносилось и подносилось к столу. Но мне это только казалось. Уезжая из России, она забыла свои бриллианты в конфетной коробке. Когда она прибыла в Америку, в ее кармане было сорок центов.

Октябрь 1989 г.

Стихи из книги Ольги Кларк «Памяти любимых неживых»

Маме

Среди жестокого цинизма
И бесконечной суеты
Все, что осталось от отчизны,—
Твои любимыя черты.
Их не изгладит неизвестность,
Я их всегда Ношу с собой:
Твою отзывчивость и честность,
Твое смирение пред судьбой.
В хрустальной призме расстояний
Твой образ ясен и лучист!
Как ты была горда в изгнании,
Как был твой мир духовный чист!
В тебе России облик вещей,
Источник ее вечных сил,
Не той, пред кем весь мир трепещет,
А той России, что весь мир любил.

Лукреция
(фрагмент)

...Был мальчик у меня голубоглазый,
Которого любила больше всех...
Лукреция, уйду ли я опять
Из темноты в безмолвие глубин,
Где растворится таинство сплетений?
Но верить я хочу, что не одна я,
И что в бездонном сумраке пучин
Блеснет маяк моей любви последней.

ПРИТЧА ОБ ИКОНЕ-ТРОЕРУЧИЦЕ

В Торонто, у племянника Николая II

— Вы знаете, как хочется, чтобы снова был на свете город Екатеринбург... Чтобы на месте убийства царя-мученика и его семьи стоял святой храм. Это цель наша сегодня... Ничего, кажется, не пожалели бы для этого, людей бы подняли. Поверьте, мы можем здесь кое-что собрать...

Они были искренни, я это видел. Говорили, почти перебивая друг друга, горячо, взволнованно:

— Отдадим самое ценное, что у нас есть. Вот эту икону... Вы только посмотрите, Троеручица... Из дома Ипатьева. Они молились на нее в последние часы жизни...

Государю императору Николаю II он приходится родным племянником. Его мать — Великая княгиня Ольга Александровна, младшая сестра последнего русского самодержца.

Разыскивая по свету оставшихся в живых членов царского дома, будучи в Канаде, я был рекомендован Тихону Николаевичу Куликовскому-Романову и супруге его Ольге Николаевне.

В своей невеликой квартире на окраине Торонто он живет не суетной частной жизнью. Скромный и деликатный, не лезет на люди, не кричит о своем происхождении. Больше всего поразили меня в его доме не монархические реликвии, не автопортрет красавицы бабушки, нарисованный при помощи двух зеркал, не бережно хранимые семейные фотографии, меня убила наповал огромная коллекция оловянных солдатиков, собранных Тихоном Николаевичем в память о доблестной русской армии. Коллекционирование всегда страсть, за этой слабостью виден живой человек.

— Моя мама была шефом двенадцатого гусарского полка, — улыбается Тихон Николаевич. — Сам же я — унтер-офицер.

Событием в его жизни стало официальное приглашение из Финляндии на столетие охотничьего домика в местечке Лангеккоске, того самого домика, в котором жил, приезжая на охоту, его дед император Александр III.

Тихон Куликовский-Романов родился в Крыму в семнадцатом году. Когда началась гражданская война, родители бежали в Сербию, далее через Европу в Данию. Там жили до 1928 года, до смерти бабушки. А потом — Берлин, Париж и далее, как говорится, везде. Банально-эмигрантски. Школа, рядовой солдат в гвардейском полку. Потом Канада. Работа в магазине, а последние 22 года — служба по министерству путей сообщения. Сейчас на пенсии. Вот и вся жизнь.

— А возможно ли сегодня такое? Как вы думаете? Екатеринбург... И храм святой на месте мученической гибели. Мы бы...

Он служил офицером датскому королю и королеве, всегда спрашивая, почему его мать не принимает датское подданство.

А она не хотела, не желала.

— Первый Куликовский, Прокопий Васильевич, пришел в Россию гонимым от князей молдавских к Петру Великому, — углубляется в свою родословную мой собеседник.

Он мне — про дела давно минувших лет. Я ему — про перестройку.

— Нет ничего страшнее сегодняшней демократии, — воспламеняется Тихон Николаевич, — она безлична, безответственна, а в монархии же известно, кто несет ответ перед народом.

— А вот Россия нынче к Богу идет, — как вы на это?

— Да, движение это для меня радостное.

— У нас нынче Ельцин, Полозков, Калугин...

— Единственно для России пригодное — русская православная монархия.

— А все ли Романовы хороши были?

— О, цари тоже люди, и каждый делал и великое, и каждый ошибался. Александр I был большой идеалист, европеец. Все мир хотел для Европы устроить. Николай Павлович тоже был великий, он тоже старался мир держать. И что это принесло России? Кто, к примеру, знает нынче, что Александр уступил Дубровник да острова какие-то, которые просились в состав Российской империи. А он, чтобы не обидеть англичан, отказал... Дал слабину. Жаль: разваливается бывшая Российская империя...

Ольга Николаевна раскрыла альбом.

— Вот смотрите, финны со дна морского подняли затонувший корабль «Николай», останки русских моряков захоронили возле русской церкви и памятную табличку прикрепили: так, мол, и так, здесь покоятся кости русских моряков. Погибли в 1892 году, захоронены в 1975 году... А вы говорите... В России все губится, с землей сравнивается, а финны нашли в море и по-человечески...

Вдохнули... Помолчали...

— Для меня нет никакого сомнения, что император-мученик Николай Александрович — святой. Как мученик за веру и правду. Мешали ему, все Англией тыкали в нос, дескать, сиди и ничего не делай, а он так не мог. Вот и погиб. «Кругом измена, трусость, обман» — последние его слова.

...Вот она, Троеручица, в храм бы ее, на святое место...

Тихон Николаевич встает, берет бумагу и ручку.

— А вы сможете донести это до русского народа?

— Смогу.

Сентябрь 1990 г.

РЫЦАРЬ БОГА И ПРЕКРАСНОЙ ДАМЫ

Дмитрий и Исса Панины

Он умер в Париже 11 января 1987 года, и в немногочисленных некрологах говорилось, что в Панине было нечто от средневекового рыцаря, что смолоду он посвятил себя служению Богу и Прекрасной Даме. Ею для Панина была Россия.

Тринадцать лет провел он в тюрьмах и лагерях и три года на вечном поселении. Человек верующий, он считал, что ему во всем помогает Бог, этические принципы общения с людьми. Он не мог пойти на сделку с совестью, ибо верил, что есть другая жизнь, другой мир, в котором ему, христианину, придется отвечать за грехи свои.

Он ничего не боялся. Принципами, заложенными в детстве, и держался всю жизнь. Он был против такой системы, которая ломала, корежила человека, сводя на нет даже изначальные нравственные устои. Человек открытый, он не скрывал своих мыслей и убеждений. И на этом, как говорится, погорел. Его посадил инженер Клементьев (по слухам, он еще жив), передавший органам КГБ его суждения о Сталине.

С Александром Исаевичем Панин познакомился в лагере, в той самой «шарашке», о которой сегодня известно всем, кто читал книги Солженицына. Возникла дружба. Чуть позже к ней присоединился третий, тоже сильный и умный, Лев Копелев. Все перипетии этого триединства, их богатая духовная жизнь и борьба, полемика, философия восприятия ими окружающего быта и будущего родины описаны в романе «В круге первом». Отношения между Солженицыным и Паниным были сложными, и тема эта для будущих исследователей. В помощь им будут десятки, а может, и сотни писем, хранящихся сегодня у вдовы Панина Иссы Яковлевны.

Когда Панин выехал на Запад, его принял римский папа. Дмитрию Михайловичу предложили выбрать для

жительства любую страну. Он выбрал Францию, язык знал с детства, любил французскую литературу, традиции. Под влиянием своего друга Юрия Глазова Д. Панин принимает католичество.

Его отношение к марксистской идеологии во многом было негативным. Он считал, что идеология эта обветшала, не оправдала себя. Читая лекции на эту тему в Канаде, он доказывал, что из политэкономии Маркса в «Капитале» выброшен творческий элемент. Исходя из законов природы, он, как физик, показал несостоятельность марксистской доктрины в области пространства, времени, к чему сейчас приходят многие советские ученые.

Он не раз говорил, что «народ сразу почувал в революции неладное и что отпор красному террору начался сразу же после революции», — об этом свидетельствовали крестьянские и матросские волнения, протесты интеллигенции. С другой стороны, Панин считал, что нельзя швырять в Сталина все камни, ибо это и проще и удобнее, а что надо идти вглубь, в корни. И многие исходные того развала, в котором оказалась Россия, надо искать там.

Он считал, что путь к высшей свободе лежит через ограничения, через как бы полусвободу. Он говорил, что свобода, в которой купается Запад, это распущенность нравов. Его потрясли размеры наркомании на Западе. Он считал, что в каждом человеке борются желания и воля и что свобода зависит от выбора ее самим человеком.

По самой природе искатель правды, он и на Западе не склонял ни перед кем головы. Обывателя злило его донкихотское устремление к идеалу, но он одинаково ненавидел и усмирявших танками восставший лагерь в Экибастузе, и сильных мира «того» — спрессованных в непобедимую мафию, и ничтожного обывателя, не видящего дальше своего носа и не желающего слышать о высоких материях.

В своих философски-социальных трудах «Мир — маятник», «Созидатели и разрушители», «Арсенал атеизма», «Держава созидателей» он как бы из вчера подталкивает вперед и Горбачева и Ельцина одновременно. Бунтарская кровь его стрелецких предков (по отцу) и «боярынеморозовской» (по матери) на чужбине не разжижилась, не охладела. Наоборот, взгоряченная ненавистью к бесовщине, каинству, к разрушению и страстным желанием добра своему народу давала ему еще больше жизненной энергии. Он хочет видеть свой русский народ совершенным, но понимает, что к совершен-

ству можно стремиться бесконечно. Дон Кихот и Санчо Пансо в одном лице, он оказался и созидателем и разрушителем. Созидателем — своей верой в революционные изменения всей политической системы, нравственной структуры в России; разрушителем — ибо для воплощения его идей и помыслов нужна еще одна (а может быть, и не одна) революция, еще одно (а может быть, не одно) перерождение общества на основе нравственного очищения. Чего стоят его мечты (воплощающиеся частично сегодня) о возрождении в России Бога, о свободе совести.

Я смотрел видеозапись беседы знаменитого французского телеведущего Пиво с Дмитрием Паниным после выхода его книги. Это был поединок двух сильных натур, слагаемых знаний, образованности. Даже не зная французского, можно уловить, что в этом диалоге прав Панин: его голубые глаза светились, одухотворенное лицо выражало непоколебимость и убежденность в своих суждениях.

Вся жизнь Дмитрия Панина — поступок. Ему был неизвестен психический страх. Не единожды побывав на краю жизни и на Лубянке, и в Сухановке, и в лагерях, он стал сгустком воли. Он был искренне верующим христианином. И во время Судного дня 1973 года, когда в день поста и молитвы арабы напали на Израиль, он послал телеграмму главе правительства Израиля, прося принять его рядовым бойцом в армию. А позднее, когда, как он это воспринимал, Израиль показал себя агрессором, готов был сразаться на стороне арабов.

Широко образованный человек, инженер, автор серьезных изобретений, специалист по крапам, он мучился, что не успевает многого постичь. Он писал и об экологической катастрофе, имея в виду Байкал, Аральское море. Но соединял эту ситуацию с отношением к природе вообще в мире. Он считал, что и на Западе тоже нет этического, нравственного контроля по отношению к божьему миру, что величайший грех — расхищать, губить, разворовывать этот мир. Исса Яковлевна Панина показала мне библиотеку ученого — книги по физике, математике, астрономии, философии, политологии... Кстати, Исса Панина остается верным его другом и соратником.

Вся ее нынешняя жизнь связана с его посмертной памятью, с заботами об издании его научных и философских трудов. Исса Яковлевна ищет издателей повсюду, и во Франции, и в Советском Союзе. Что-то удастся, например «Лагерные записки» выйдут в советско-итальян-

ском издательстве «Сирин». Панина приезжала в Москву впервые после многолетнего отсутствия, посещала редакции, выступала на организованном мною вечере в Центральном Доме литераторов, посвященном Дмитрию Панину, давала телевизионные интервью. Писала и в «Мемориал», просила не забывать Дмитрия Михайловича.

Познакомившись с трудами Дмитрия Панина, нельзя не согласиться с Владимиром Максимовым, который утверждает, что, живя на Западе, прямой и бескомпромиссный Панин не менял выстраданных им правил и принципов. Его творчество должно стать нашим общенациональным достоянием, и пусть само время определит значимость его философских и религиозных воззрений: огромный мятежный мир писателя, мыслителя, тираноборца.

Запад ему казался монолитом. Но он почувствовал, что и там многое идеализировано. Понял это как человек точных наук, ибо сам любил все проверять.

Говорят, что, прожив там пятнадцать лет, он во многом разочаровался: может быть, в каких-то западных ценностях, может быть, в конкретных людях, хозяевах той жизни,— ведь он много раз ощущал, как слаб, как ничтожен человек, обделенный властью духа. Но ни секунды Дмитрий Панин не сомневался в возрождении своей многострадальной родины. Он верил, что рано или поздно она обретет свободу, сумеет сохранить нравственные принципы, завещанные ушедшими поколениями.

Июль 1989 г.

ЗНАТОК «МЕРКАНТИЛЬНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПУШКИНА»

Он скончался в 1990 году в Торонто в возрасте 98 лет. Старейший в мире пушкинист, автор нескольких книг о великом русском поэте Михаил Григорьевич Дубинин посвятил свою жизнь служению русской литературе, русской истории. Особенно волновала его судьба Пушкина, та роль, которую играли в его жизни многочисленные родственники, друзья, знакомые, правительство и двор. Самые ценные дубининские исследования касаются эволюции философских и политических взглядов Пушкина, а также исследований причин, по которым поэт вынудил Дантеса вызвать его на дуэль. Многие заключения литературоведа покажутся нашему читателю необычными, неожиданными. Да это и естественно, ведь мы во многом привыкли к Пушкину официальному, отретушированному, искаженному. Например, познакомившись со статьей Дубинина «Пушкин и Радищев», мы бы перестали во всем смотреть на Россию «радищевскими глазами» и более критически отнеслись бы к его знаменитому «Путешествию из Петербурга в Москву». Да и впрямь надо только внимательнее прочитать самого поэта: в сочинении Радищева «отразилась вся французская философия XVIII века: скептицизм Вольтера, несбыточная филантропия Руссо, политический цинизм Дидро и Рейналя, но все в нескладном, искаженном виде».

О Михаиле Дубинине у нас знают лишь пушкинисты да малая часть воистину образованных людей. Единственную публикацию — отрывок из книги Дубинина «Меркантильные обстоятельства Пушкина», вышедшей в Канаде много лет назад, — напечатал журнал «Родина».

В последние годы жизни Дубинин написал два исследования: «Гибель Пушкина» и «Косая мадонна», представляющие собой детальное рассмотрение и тщательнейший анализ последних годов жизни великого поэта.

Несмотря на обилие нашей советской пушкинианы, эти труды канадского ученого конечно же следовало издать.

М. Г. Дубинин окончил юридический факультет Киевского университета и до революции успел поработать адвокатом. В Канаде оказался после войны. До этого жил в Чехословакии, в других странах Европы. И где бы он ни жил, всегда неизменной спутницей его трудов и досуга была страсть к отечественной истории. Только вот жаль, что мы мало знаем о таком замечательном ученом. Мне помог проникнуться судьбой Михаила Дубинина его родственник Мстислав Могилянский, много лет проработавший на русском отделении радио Канады. Да и сам он человек удивительный. Сколько бы важного и неожиданного он мог рассказать нам, его современникам по эту сторону океана.

Мстислав Игоревич вспоминает, как после одного из литературных выступлений Михаил Дубинин обратился к публике: «Мне остается теперь поздравить вас с наступающей завтра знаменательной для всех россиян годовщиной». Все ломают голову, что это за годовщина, о которой помнит этот глубокий старик, а все кругом забыли. Оказалось, что он имел в виду день вступления в Париж русских войск в 1814 году, и даже добавил, какая часть и под чьим командованием вошла в столицу Франции первой.

Михаил Григорьевич всю жизнь увлекался пением, как церковным, так и оперным. Незадолго до смерти он говорил дочерям, а их у него было три, что надеется пропеть в церкви в Торонто все пасхальные службы. Как писала газета «Новое русское слово»: «В последний путь на кладбище, где покоятся его супруга и мать (умершая в возрасте 101 года), М. Г. Дубинина помимо трех- его дочерей провожали семь внуков и четырнадцать правнуков, конечно же множество друзей, поклонников незаурядного во многих отношениях русского канадца».

Март 1990 г.

ЭТО О НЕЙ, О ЕЛЕНЕ...

Уж слишком многие заинтриговывающе упоминали ее имя, и мне страшно захотелось ее найти. Посмотреть на нее, поговорить. Россиянка-тростиночка, почти двадцать лет назад упорхнувшая из Москвы вместе со своим, как тогда казалось, непутевым мужем; благодаря ему она неожиданно стала одной из самых знаменитых женщин. Эдуард Лимонов вывел ее нежной, хрупкой, любимой, прекрасной, незащитной тигрицей в своем наибестселлерном романе-исповеди «Это я, Эдичка», наделавшем в мировой литературе много шума и до сих пор (несмотря на нашу гласность-перегласность) не нашедшем издателя в СССР. «Я любил ее — бледное, тощее, малогрудое создание... Я готов был отрезать себе голову, свою несчастную рафинированную башку и броситься перед ней ниц. За что? Она сволочь, стерва, эгоистка, гадина, животное, но я любил ее, и любовь эта была выше моего сознания. Она унижает меня во всем, и мою плоть унизила, убила, искалечила ум, нервы, все, на чем я держался в этом мире, но я люблю ее в этих оттопыренных на попке трусиках, бледную, с лягушачьими ляжками, ляжечками, стоящую ногами на нашей скверной постели. Люблю! Это ужасно, что все более и более люблю».

Талантливая поэтесса, она ответила ему сочинением «Это я, Елена (интервью с самой собой)», вышедшем в нью-йоркском издательстве «Подвал» в 1984 году. Сочинением, которое мало кто читал по причине мизерного его тиража и дороговизны. Книга эта не менее откровенная и драматическая, как и произведение ее давно уже бывшего мужа.

«Это ты, Леночка. Поэтесса, фитюлька, моделька, дитя. Бросили девочку, профессорскую дочку, астеничку, астматичку, птичку малую — в водоворот этого бушующего мира — мало вам? В белом вся она, в белом — и те-

лом бела (а на нем есть веснушки, сердится, что заметил на фото!) — и в мечтах по волнам плыла, и на камешки кинуло. Что говорить — в кино хотелось, и вина хотелось, и. пелось, а потом — терпелось: и телом и темечком думала, морщила лобик... Что сказать тебе, девочка: будто я знаю? Самого волокёт, плывем, как говно — волны швыряют туда и сюда. Зашвырнуло в подвал, лежу, не высываюсь: страшно там, волны — а ну как на камни? Среде моря житейского — где? Одиночество, щепки. Разнесет и снесет: Вена, Греция, Рим — а Москва, а Париж, Петербург? Нет, Нью-Йорк...» (К. Кузьминский, из предисловия к книге «Это я, Елена»).

Я узнаю, что она, графиня де Карли, проживает в Риме. И я лечу в Рим и нахожу ее. С 1980 года она проживает в доме своего мужа-банкира, в десяти минутах ходьбы от стен Ватикана. Джанфранко де Карли — граф, у него древняя родословная. А значит, и у ее едва ставшего на ножки комочка — Анастасии. В доме все говорит о прошлом: фотографии итальянских королей с автографами отцу и деду ее мужа, старинные фолианты — всплески библиофильских страстей графских предков, в золоченых рамах — портреты именитых мужчин со шпагами.

Пес Василий — Елена комментирует: «Не верю, что он пес, мне кажется, что он — принц», — поздоровавшись со мной правой лапой, крутится между нами тремя, мешая мне сосредоточиться. Анастасия, которой я дарю единственно вкусное, что можно привезти из России, — клюкву в сахарной пудре, пробует на вкус невесомую ягодку и морщится.

На столе коньяк, коробка конфет. Я наливаю в изящные рюмочки золотой напиток и смотрю на красивую (одну из самых красивых в Европе, как писали итальянские газеты) женщину. Просто смотрю. И мне не хочется говорить о политике, ворошить тяжелые давнишние воспоминания. Как будто почувствовав это, Елена произносит:

— У меня безумно болит голова, давай наш серьезный разговор отложим до другого раза. А сейчас просто поболтаем, без магнитофона.

Это была первая наша встреча. Через несколько дней я снова пришел в этот дом. Елена представила мне своего графа. Он показался мне каким-то необыкновенным: выразительное худое лицо, худая фигура, доверчивый взгляд.

— Он очень ко мне добр, он показал мне весь мир. Вот смотри...

И я стал перелистывать страницы семейного фотоальбома. Страны, моря и океаны, острова... Счастливая Елена везде улыбающаяся, соблазнительная, возраст — не для нее. Ходит такая легенда. Щапова уезжала в Америку. На таможне стали проверять багаж. Нашли фотографии; все женщины и все обнаженные. А Щапова стоит и невозмутимо дает пояснения: «Это — я... Это тоже я... И это я...» Вся таможня сбежалась смотреть. Образовалась очередь, пассажиры нервничали.

Елена де Карли и сегодня привлекательная фотомоделль. Недаром ее можно видеть на страницах газет и журналов. Она дружит с итальянскими кинозвездами, посещает свет. Она сама — свет...

И снова я ушел ни с чем. Елена показала мне на этот раз разные закоулки квартиры, полотна художников-друзей, запечатлевших ее навеки. Не хватает разве что Сальвадора Дали. Особенно шокирует оригинал знаменитой фотоновеллы Михаила Шемякина: голая Елена на черном коне. Прощаясь, я попросил:

— Я хочу знать о твоём прошлом не только из лимонской книжки. Напиши мне обо всем сама. И пришли почтой.

Спустя несколько дней у меня в Москве в квартире раздался телефонный звонок. Я снял трубку:

— Я звоню из Рима. Записывай.

— Ты сумасшедшая! Ты разоришь своего графа.

— Пиши!

И я записал.

Вы просите интервью со мной, и я постараюсь написать вам, хотя невероятно сложно объять большой период времени, получается не интервью, а пространство жизни — книга. Ну да ладно, попробую прыгнуть в холодную прорубь. Прорубь воспоминаний: дом на берегу Москвы-реки. Я в белой коляске, рожденная без крика, как будто заранее подготовлена принять все несчастья и радости этой жизни, и позже, несколько лет позже гадалка-цыганка смотрит на меня и говорит матери: нет, с такими глазками не живут, и еще раз повторение этой же фразы, и ужас моей матери, и рассказ об этом на всю жизнь. Мой отец похож на орла, избалованный, эгоистичный, всегда с претензиями в доме и душа общества на людях. Профессор электронных наук, изобретатель технических наук, инженер и отличный военный, весь в медалях, в

мундире отменном, я боялась его тогда, но прошли, проскакали года, и теперь я папаном горда, мой отец похож на орла. С детства не было слаще мечты, чем писателем стать, эка знать, и часами могла я лежать и придумывать титул названий книгам толстых речей и терзаний. Все то драмы в моей голове, дама с нищим бандитом в седле, и, пожар учинивши в селе, усаkali они в шалоз.

Все свободные часы от занятий проводила в примерке я платий, и собакой мне книга была, школу все же терпеть не могла. Был любимым писателем Гоголь и поэтом мне Пушкин служил, и, как нянька, за мною следил подпоручик поэм и тревог, падший ангел и демон — пророк. Я изменяла Пушкину с Лермонтовым, все зависело от настроения и времени года, и тела, и бутерброда, и какого ты племени-рода, ешь и читаешь, спишь и читаешь, тебе нужно гулять, говорила мне полная мать, нежно штопая шалопай-носок. Ей хотелось певицею быть, с нежным голосом птицею стать, а не дочек от смерти спасать, а не с кухней амуры водить. Однажды, когда мне было семь лет, под невидимой властью гипноза в комнате вдруг расцвела мимоза, а я написала поэму любовную и очень духовную, из-за которой вышла проблема. Моя бабушка, милая спесь, обвиняла меня во лжи, не валялась, мол, ты во ржи и названье тебе плагиат, это слово не малых ребят, и не знала я, кто этот гад. Ты списала поэму, мой друг, и за это тебя я в круг белой комнаты и на ключ, ну а если ты так умна, то продолжи поэму луны, то продолжи поэму вина, оправдайся и докажи, что с любимым валялась во ржи, будет снята с тебя вина, и подам я тебе пирог, и в наперсток налью кагор.

Думаю, что счастье торжества, легкости и уверенности в себе никогда больше не посетило меня с такой силой, как в тот момент, когда я увидела изумление и восхищение бабушки при продолжении чтения моей поэмы, написанной ямбом. И дала тем морщинам урок, и дала тем морщинам отпор, милая бабушка, я не вор, милая бабушка, я поэт.

Этот урок не прошел мне даром, так я навсегда отказалась от классического стиля, и хором я стала прославлять звукосочетания лесного гения, пение негров и душу бродяг. В шестнадцать лет ко мне пришли волхвы — Сапгир и Холин, с опозданием пришел Ян Сатуновский, но все же с бутылкой армянского коньяка. Им показали мои стихи и мое замирающее сердце. Поэты захохотали и обмыли новый талант, В двадцать один год в заросший и

дикий сад спящей красавицы ворвался поэт Эдуард Лимонов и устроил неприличную возню с пауком, порубил и поломал дикие побеги, залез к принцессе под юбку, разбудил и встревожил деву, и отвел ее к древнему дереву, и назвался Адамом, а ее обозвал Евой. Но не долго прожили они в животе у любви, Ева первая на дыбы: нет пророка, а есть порок, и качнулась Москва на Восток, Вены сладкой подул ветерок. Надо мной улюлюканье, свист, дьявол в небе мохнато повис, сероглазая Вена — ворона грусть прокаркала, сжала горло. Было в Вене мне очень голо, была осень и было сыро.

Я долго стояла и смотрела на картину «Инфанта», в углу сторожем сидел Веласкес и молчаливо отрывал билеты, плата за вход. Нет, так выдержать пространство мог только он, говорил мне позднее художник Заборов, а я ела устрицы и думала, какое же пространство могла выдержать изнеженная женщина, которая до двадцати с лишним лет понятия не имела, что такое метро, должна была учиться ходить пешком и привыкнуть, что в кармане нет привычного шуршанья денег. Тишина мой друг.

Нарядные, чистые, открахмаленные и отутюженные улицы, кафе с напирющим и одуряющим запахом пирожных, голод и усталость. Седовласый Семен — хозяин вин, веселья и ласкового бара «Тройка». И впрямь похоже было все на палехскую шкатулку, из которой Семен лихо вышвыривал деньги, слезы, посуды о счастье в шоколадном городе, предложение о продолжении жизни здесь. Как заключительный аккорд была поездка на курорт, на Вены синие холмы, и не забыли б быть умы.

Штраус повсюду, и мужчины во фраках, и дамы, как утопленницы, все в длинных белых платьях кружатся в вальсе или во сне моем, между живых изгородей все тех же белых и красных роз. Семен плакал и признавался, как он здесь одинок и несчастен, останьтесь, говорил он, останьтесь.

Я узнала позднее, что не стало красавца еврея, тридцатисемилетнего гуляки, жертвы русской ностальгии и венского фрака. Продукт ухарства и раздолбья разбился ночью на спортивной машине, возвращаясь пьяный со штраусского вальса. Вы просите меня, скажите о Нью-Йорке, о трубадурах-смог, о тараканах кухонных, как рок, и о втором рождении ребенка. Моя жизнь сама по себе напоминала фантастическую поэму, минута ее шла за год. Я полюбила Нью-Йорк и пила этот город, как вино жизни из тяжелой каменной бутылки, что невиди-

мым горлом уходила в заплесневевшую высь неба. Я научилась сутками не спать, за несколько часов обегать город, я научилась тихо презирать заснувший голод. Я перестала видаться со всем, что мне напоминало о России, друзья моих московских дней сидели в клетках для зверей и тихо грызли прутья бессилий. Их грудь была полна достойных планов, как дальше жить в стране орангутангов, прожектов маяки, счастливых далей и обсуждение гениталий, ближних и дальних, плоских и овальных, поперечных, остроконечных, не духовных и бессердечных.

Я работала как модель и стихов не писала, то ли ветер вертел карусель, то ли жизнь за меня сочиняла.

Год проухал или полтора, я уехала в Милан, потом в Париж, из одного платья я переходила в другое с такой же скоростью, как любознательная школьница перелистывает журнал мод.

В Париже я познакомилась со знаменитым французским писателем Романом Гари, который устало и мудро доказывал мне, что нужно бросить заниматься ерундой и продолжать писать. Он был прав, но я говорила «гав», разве слушает скуку дева, разве от древа не вкушала Ева.

Вернувшись в Нью-Йорк, я все же вспомнила слова французского заклинателя и начала серию рассказов, которые так никогда и не опубликовала. Через несколько месяцев после своего возвращения на остров Манхэттен познакомилась с моей итальянской судьбой, чтобы еще через год навсегда переехать в Рим. Роман Гари застрелился в Париже. Эдуард Лимонов написал книгу «Это я, Эдичка».

Сколько бы я ни жила в Европе, я буду постоянно вспоминать Нью-Йорк, а вернувшись туда и прожив девять, десять месяцев, убегу в Париж или Рим, навеки на душе цыганский грим, навеки мир мой дом, под флагом чьей страны мне спать, совсем неважно. Я господин господ! Я слова стражник!

Не знаю, интересны ли вам эти факты из моей биографии, или вы чего-то ожидаете другого, в любом случае я не знаю, как правильнее откликнуться на ваш призыв практически описать всю мою жизнь. Но все же я подаю вам те кушанья, которые вы от меня просите, хотя и в малом количестве. Как вы знаете, сейчас все помешались на диете, особенно здесь, в Италии, завидую людям с такой силой воли, которые могут ее выдержать. Рим и Италия стали для меня третьей жизнью; если бы я была

кошка, то сказала бы вам, что у меня семь жизней, но я не знаю, сколько их еще у меня впереди и умру ли я здесь или в Индии, которая совершенно сводит меня с ума, или же это будет Африка, что заключит меня в свой мир без цивилизации и жалкого банального вопроса, как жить дальше.

Будет ли это суша, будет ли это море, будет ли это небо, все это будет поэма.

А пока что я живу в Риме. Наша волчица очень стара, и сосцы ее почти что не дают молока не только в литературе, но и в кинематографии. Выращиваю орхидеи и слежу за тем, не завелись ли блохи у собаки. Орхидеи — развратны и бисексуальны, блоха же есть не что иное, как продолжение собаки или, вернее, приложение к собаке. Моя жизнь держится на четырех китах: на любви к прекрасному, на литературе, на невероятном умении переоценивать обожаемый предмет и на страдании, которое мне это потом приносит. Вы пишете до нынешнего часа. Сейчас уж пять, из римского конклава бредут усталые мужи, их жены веселы и лживы нальют вина в мужские жилы, рассказы побегут, столы к обеду, походы в трактирию и к соседу. Покупки новые, пупки ночных синьор и римская луна — сердец девичьих вор.

Я выпила две чашки чая и написала пасхальные открытки. Пасха в Риме цветочна, яична, празднична, как нигде. В этом году католическая и русская православная совпадают. А ведь, знаете, получается, что интервью это пасхальное, и надо бы его и начать как пасхальное. «Сколько тебе лет?» — спросил Понтий Пилат Иисуса Христа. «Сколько тебе лет?» — спрашивает меня одна довольно красивая девица, которая явно не может меня терпеть. Знаешь, отвечаю я ей, думаю, что этот же вопрос Понтий Пилат задал Иисусу Христу.

У древних китайцев, как вам известно, отсчет велся с конца. Вот родился человек, а ему уже сто лет, я думаю, что эта система была бы очень применима для женщин. Комплексом старости страдают все, одни в большей, другие в меньшей степени, даже хлебниковскую Венеру не обошла эта участь.

И только природе совершенно плевать на возраст. Я смотрю на глицинию за моим окном, красные и белые озалии и думаю, что нет ничего правильнее, как воскреснуть весной...

...Да, довольно оригинально, импрессионистично, подумал я, положив трубку. В рифму, красиво, изящно.

И все-таки мне хотелось иного. У Елены Шаповой (Лимоновой, Збарской, де Карли) удивительная биография. Самая земная и неземная. Своя, шаповская...

Однажды в Нью-Йорке у Романа, в ресторане «Русский чай», отсидев пару часов и погрузившись под щемящие русские мелодии, я собирался уже уходить, как вдруг в дверях появилась она, Елена. Я узнал ее мгновенно. Ее нельзя не узнать.

— Это я, Елена,— хохоча сказала она,— а это ты, Феликс, давай продолжим разговор. Я остановилась в отеле «Палас», жду тебя в двенадцать.

Елена была в ударе, говорила без умолку: о себе, о бедных своих родителях, уже много лет ждущих доченьку в Москву, о своих книгах, стихах, о своей долимоновской и посленьюйоркской жизни. Ограничусь одним эпизодом. Остальное до следующего раза:

— То было замечательное время, взлет и расцвет Надежды... Люди были молоды и веселы. Не все, но многие. В литературе был невиданный расцвет. Шестидесятые годы... У меня много друзей, и я с ними счастлива. Один из них — посол Венесуэлы в Москве Бурелли. Очаровательный человек, сам поэт. Он знал, к примеру, наизусть всего «Евгения Онегина». Думаю, что не каждый русский помнит стихи Пушкина. Он прекрасно говорил по-русски. Правда, чувствовался небольшой дефект: коммунист, он сидел в тюрьме, и ему отрезали кончик языка. Мы, молодые поэты, художники, его очень любили. Он пригревал, кормил и поил нас. У него бывал не только андерграунд, все у него бывало.

Прошло время. Три года тому назад я приехала в Венесуэлу и встретила с его сыном. Помню его еще по России маленьким мальчиком. Я была на корабле, мне сказали, что сын Бурелли ожидает меня. Я увидела лысого толстого человека. У меня вырвалось: «Боже мой, неужели это ты, божественный, очаровательный мальчик?!» Мы сидели за столом, и он рассказывал о себе, о Венесуэле, о Москве. «Знаешь,— сказал он,— из всех друзей отца ты единственная, кто нам писал и давал о себе знать. Отец любил всех одинаково, но после того, что с ним случилось, все исчезли, никто не написал ни одного письма». Я тоже не знала, что же случилось с Бурелли. И сын рассказал мне невероятную историю. Произошло это после моего выезда из Москвы. Бурелли по каким-то делам выехал из России. А когда должен был вернуться, ему отказали в визе, Советские власти дали

его жене и маленькому сынишке двадцать четыре часа на сборы. И никаких поблажек. С собой разрешили взять только ручную кладь. В посольской квартире остались картины, мебель, ценные и просто драгоценные вещи. В телефонном разговоре с каким-то официальным лицом в МИДе Бурелли спросил: «Но как же мои личные вещи?» Ему ответили: «Не беспокойтесь, мы вам все пришлем». Через несколько месяцев отец получил огромные ящики. Когда их раскрыли, в них оказались пустые бутылки из-под вина, шампанского, коньяка, водки. Вот такая вендетта. Это была месть ему за общение с нами. Со мной. С поэзией. Пусть об этом узнают у вас...

После этой жуткой истории мне ни о чем не хотелось говорить. И я, выпив еще вина, замолчал, уткнувшись носом в тарелку с какой-то экзотической китайской едой. Мне было очень жаль этого венесуэльского дипломата, доброго, щедрого и скромного человека. Я и раньше слышал о нем, о шумных пирушках на улице Ермоловой. Но я ничего не знал об этом шекспировском акте его московской драмы.

Елену вынудили покинуть Россию из-за дружбы с Бурелли. В то время постоянные посещения иностранного посольства даром не проходили. В один прекрасный день ее вместе с мужем Эдуардом Лимоновым вызвали в КГБ и поставили условие: или они будут давать информацию, или им следует уехать. Начались обыски, подслушивания. Последовал еще вызов: «Вы не советские люди, в Советском Союзе вам делать нечего».

Визу оформили сказочно быстро. По случаю их отъезда Бурелли собрал друзей...

— Ты знаешь, — задумчиво произнесла Елена, — в памяти будто это было вчера: мое дачное детство в Томилино, куда я почему-то не очень любила приезжать из шумной Москвы. «Пройдут годы, — говорил мне тогда отец, — и ты будешь вспоминать не Москву, а эту дачу, этот маленький клочок земли». Как странно-пророчески оказались его слова. Прошли годы, я уехала на Запад, объездила весь мир. Но в моих снах постоянно присутствует эта маленькая дача в Томилино: лес, поле, синий простор, бабки-крестьянки. В общем, родная земля...

Август 1990 г.

ЧУЖОЙ СУДЬБЫ НЕ ПОВТОРИТЬ

Вместо послесловия

Перечитал рукопись перед самой сдачей в набор. Вот-вот ее увезут в типографию, и книга уже будет принадлежать читателю. И перед ним-то мне хотелось бы кое в чем объяснить. Я не ставил перед собой цель, чтобы книга пришлась по душе всякому, кто ее прочитает. Это, наверное, и невозможно. Но я совершенно уверен в том, что каждый читатель найдет в ней интересных для себя собеседников. Мои герои очень разные. Я даже предчувствую раздражение некоторых читателей, которые, скажем, не поймут, как это я одновременно открывал двери дома Великого князя Владимира Кирилловича в Париже и яростной антимонархистки Нины Берберовой в Принстоне под Нью-Йорком. Или, скажем, по многу раз общался с Владимиром Максимовым и Андреем Синявским, стоящими, как считают, на разных общественно-политических позициях.

Предполагаю, что суждения Эдуарда Кузнецова о сионизме, о еврейском вопросе в СССР и в мире, о том, что жить в мире можно, только готовясь к войне, его яростная защита действий израильских властей на оккупированных территориях даст читателям пищу для размышлений. Если бы я купировал, да еще с оглядкой, с оговорками, размышления этого человека, ставшего жертвой хрущевско-брежневско-сусловской идеологии, отсидевшего много лет в мордовских лагерях, человека, к которому с уважением относился академик А. Сахаров, то его образ, его «психологическое нутро» были бы далеко не полными. Да и нельзя, как это было раньше, открепиваться от «больных» вопросов нашего времени, делая вид, что их не существует. Э. Кузнецов остался в моем представлении человеком, неоднобоко смотрящим на мир и откровенно размышляющим о вещах, его волнующих.

Другое дело — читателю пробовать это острое блюдо, и пусть он справляется с ним, как может и хочет. Кстати, разобраться в жизненной судьбе и «практическом» философствовании бывшего узника помогает, как мне кажется, и ответ Елены Боннэр на мое интервью с Кузнецовым, опубликованный в «Мегаполис-экспрессе».

Леонид Махлис, как и Кузнецов, был жертвой той же пропагандистской машины. И он действительно стал одним из первых официальных диссидентов, «свободно» выехавших на Запад. Кстати, далекий от политики, он страдает (даже сегодня) от невозможности регулярно приезжать в Москву, видиться с друзьями, выступать в аудиториях, издаваться.

Хочу рассказать и об одном, можно сказать, несостоявшемся герое этой книги. Об Абдурахмане Авторханове. С его сочинений таможенные запреты сняты в самую последнюю очередь. Его имя десятки лет вызывало дрожь партократии, историков, пропагандистов. Вот неполный перечень его «страшных» для нашей официозной истории книг, названия которых говорят сами за себя: «Загадка смерти Сталина. Заговор Берия», «Происхождение партократии» в двух томах, «Сила и бессилие Брежнева. Политические этюды», «Технология власти», «От Андропова к Горбачеву».

А. Авторханов родился на Кавказе. По национальности чеченец. Был номенклатурным работником ЦК ВКП(б). В 1937 году окончил Институт красной профессуры в Москве. Специализировался по русской истории. Вскоре был арестован как «враг народа» и несколько лет провел в подвалах НКВД. После освобождения эмигрировал на Запад, где защитил докторскую диссертацию, стал профессором по истории России. Хорошо знакомый с механизмом и системой функционирования сталинского аппарата власти, досконально, по первоисточникам изучивший историю КПСС и СССР, Авторханов в своих книгах, по сути дела, одним из первых исследовал процесс перерождения партии российских революционеров в «новый класс», в деспотическую олигархию, принесшую своей стране беды и страдания. Переведенные на многие языки мира исследования А. Авторханова в значительной мере обусловили основные направления ее сегодняшнего развития. Недаром в сумрачные времена застоя была выпущена для служебного пользования ограниченным тиражом его книга «Технология власти». Но пользовались ею лишь сотрудники аппарата ЦК КПСС.

Сегодня труды опального еще вчера советолога уже появились на прилавках книжных магазинов.

Но вокруг имени А. Авторханова по-прежнему кипят страсти. Приведу письмо, напечатанное в журнале «Новое время» А. Сухомлиным, художником-оформителем из Херсона. «...Абдурахмана Авторханова предполагают реабилитировать, вернуть ему гражданство СССР. В 1942 году Авторханов перешел на сторону гитлеровцев, возглавив редакцию профашистской газетенки «Газават». Кроме этого Авторханов участвовал в вербовке предателей для спецкоманд, сражавшихся против партизан. Я читал почти все работы Авторханова, публикуемые ныне в журналах, кое-что — в «самиздатской литературе». Да, Авторханов — грамотный, эрудированный противник коммунистической идеологии. Да, его довольно хорошо знают на Западе. Но почему-то никто не вспоминает о его службе в рядах гитлеровской разведки. Или, может, некоторые считают, что фашизм Гитлера «гуманнее» культа личности Сталина?! На мой взгляд, сравнивая Авторханова с Солженицыным, допускается вопиющая бестактность. В годы войны Александр Исаевич сражался против фашистских оккупантов, был отважным офицером — о чем убедительно говорят его награды. Солженицын чист перед народом. А Авторханов?..»

Такое вот письмо. Но знают ли читатели об ответе-опровержении Авторханова на него? Думается мне, коль мы очищаемся от навалов прошлого, кроваво продираясь сквозь больную нашу историю, возвращаем имена, события в их первоизданном виде, исповедуемся, мы не имеем уже права безапелляционно судить, рубить с плеча, перечеркивать. Важно другое: мы должны знать правду обо всем и обо всех. В том числе и о прошлой судьбе Авторханова. А чтобы узнать, нужно издать все его книги, в том числе и книгу «Мемуаров».

ПЕРЕФРАЗИРУЯ название одной из книг писателя, задался вопросом: «В чем сила и в чем бессилие Абдурахмана Авторханова?» Сила в том, что книги его имели и имеют огромное «убойное» значение в разоблачении сталинско-брежневской системы. Бессилие в том, что его жизнь и деяния уже принадлежат истории, и он не может что-либо исправить, изменить. За ней последнее слово. Она не ошибется.

Я знал о том, что Авторханов не дает интервью советским журналистам, и даже не пытался связаться с ним. Но, будучи в Мюнхене, позвонил ему (в этом городе он

проживает уже много лет). Трубку взяла его жена Людмила Петровна. Разговор с ней меня разочаровал: «Абдурахман болен, он не подходит к телефону и никого не принимает». Мои доводы не возымели успеха.

Но я не успокоился и в другой свой приезд в столицу Баварии снова позвонил. Настроение мюнхенского «отшельника» не изменилось: отказ во встрече. Правда, прощаясь, Людмила Петровна сказала: «А вы составьте ваши вопросы и пришлите».

В те дни я гостил у писателя Эдуарда Кузнецова. Воодушевленный забрезжившей надеждой, оседлал его компьютер и быстро составил тридцать восемь вопросов, по моему, охватывавших принципиальные моменты в жизни А. Авторханова и его творческой работе. Привожу некоторые из этих вопросов:

Вы прожили долгую жизнь. Что в ней было главным: служение истине, родине, свободе или самому себе?

Вы написали книги, сделавшие вам имя, создавшие славу. Думали ли вы, что ваш публицистический талант и знания будут отданы изучению одного из самых страшных режимов на земле, что героем ваших сочинений будет Сталин?

Когда вы прозрели, увидели, что в стране произвол, что страной правит тиран?

Что вы думаете о роли личности в истории? А что сегодня движет историей, обществом: герой, ничтожность, толпа или народ?

При каких обстоятельствах вы эмигрировали на Запад? Кем вы считаете себя: диссидентом, политическим борцом, свободным человеком?

Боялись ли вы КГБ, живя на Западе? Если боялись, то когда перестали бояться?

По-вашему, вечен ли КГБ?

Что вы больше всего ненавидите: партию большевиков, Сталина, партократию?

И все-таки был ли заговор с целью убийства Сталина? Ведь сегодня открылись новые документы, материалы. Вы подтверждаете вашу версию?

Почему русский народ, общество допустили над собой неслыханный в истории цивилизации произвол?

Как вы думаете, почему Сталина никто не убил? Ни Орджоникидзе, ни Тухачевский, ни кто-либо другой горячей крови человек?

Может ли повториться Сталин?

Спасет ли демократия Россию?

Несколько раз в книге «Сила и бессилие Брежнева» вы подчеркиваете мысль о том, что система партократии вечна. Вы не ошибаетесь?

Юрий Афанасьев действительно болеет за Россию или это политический авантюрист?

Какую книгу вы не успели написать и чувствуете, что уже не напишете?

Развалится ли советская империя?

Какие чувства в вас сегодня превалируют по отношению к вашей бывшей родине: ревность, злость, желание быть там, разочарование или никаких чувств в вас нет?

Ваши любимые герои в истории человечества?

Ваш любимый политический деятель?

Ваши книги забудут или они долго еще будут нужны людям?

Ваш прогноз: что будет с СССР в 2000 году?

Эти и другие вопросы я отослал по почте и стал ждать. Проходили месяцы. Я совсем потерял надежду, но однажды извлек из почтового ящика (заслуга перестройки: дошедший и не перлюстрированный) пакет из Мюнхена. Письмо начиналось так: «За несколько месяцев до отмены цензуры в СССР ко мне обратился с рядом письменных вопросов известный московский журналист Феликс Медведев, среди которых был и такой вопрос: «Ваше отношение к Рою Медведеву?» Поскольку я принципиально не давал интервью советской подцензурной печати, то я и отложил вопросы Ф. Медведева до «лучших времен». Эти времена наступили, когда мой старый «знакомый» Рой Медведев нашел нужным рассказать о своем собственном отношении ко мне, причем прямо с трибуны пленума ЦК КПСС. Теперь молчание не было бы понято...»

И далее мой почтенный корреспондент из Мюнхена подробно на двенадцати страницах рассказывает о роли Роя Медведева в диссидентском движении. Ответ Авторханова на мой вопрос о Р. Медведеве был неожиданным и познавательным. Но мне было непонятно, почему автор письма ограничился ответом только на один-единственный вопрос из тридцати восьми. Честно говоря, меня интересовала биография самого Авторханова, подробности его писательской и личной жизни. Но он на эти откровения, по-видимому, не решился. Поэтому я не включаю в книгу полемические размышления Авторханова о роли Р. Медведева в диссидентском движении. Тех же, кому все-таки интересно просветиться на этот счет, отсылаю к

публикациям в журнале «Столица» (1991, № 1), «Русская мысль» (Париж, 1990), «Новое русское слово» (Нью-Йорк, 1990).

Скорблю, что упустил, как охотник долго подстерегаемую дичь, право первого интервью с дочерью Владимира Маяковского Патрицией Томпсон. О том, что жива дочь Маяковского, я знал давно. Точнее чувствовал по намекам известных поэтов, по «прикидкам» маякововедов. Как-то в разговоре обмолвился об этом и Василий Абгарович Катанян, прекрасно знавший биографию Владимира Владимировича. Совершенно определенно о том, что дочь Маяковского жива, знал Евгений Евтушенко, который рассказал, что однажды в Нью-Йорке на поэтическом вечере к нему подошла женщина с крупными чертами лица и объявила, что она дочь поэта Маяковского. Евгений Александрович не поверил. И зря. Момент «открытия» единственного дитя великого поэта был упущен еще на несколько лет.

Весной 1990 года младший Катанян — Василий Васильевич — мне сообщил, что наконец-то нашлась Патриция Томпсон, дочь Элли Джонс. Той самой, с которой у Маяковского был короткий роман во время поездки по Америке. И той самой, с которой он встречался в Ницце в 1928 году. Василий Васильевич дал мне приблизительные координаты людей, которым Патриция представилась как дочь поэта. Эти люди — организаторы художественных выставок в Штатах. Патриция Томпсон пришла на выставку, посвященную другу Маяковского Александру Родченко, художнику и фоторепортеру. Увидев на стене замечательный портрет поэта, она воскликнула: «Это Маяковский, мой отец! Па-а-па...»

О неожиданном событии узнали и в семье Родченко в Москве. Тем не менее найти телефон Патриции в Нью-Йорке было невозможно. Новоявленную «мессию» будто засекретили от лишних любопытных глаз и встреч. Кому это было нужно, не знаю. На мой телефаксный запрос о возможности организации встречи с дочерью Маяковского в Нью-Йорке какие-то люди ответили, что это невозможно, что будто бы она собирается в СССР. Приехала П. Томпсон в Москву лишь через год.

А я почти было купил билет в Нью-Йорк, полагая-таки разыскать интересующую меня героиню, как в довольно заштатном официозном журнале «Эхо планеты», органе ТАСС, появилась публикация о дочери Маяковского. Естественно, она не вызвала бы никакого эффекта,

если бы коротенькие перепечатки не появились в некоторых московских большетиражных газетах. Я чуть не плакал от досады. Я считал, что, несмотря на сложнейшую политическую обстановку, событие, связанное с биографией «поэта революции» — «открытием» его дочери, которая могла пролить свет на весьма затемненные стороны творческой и личной судьбы Маяковского, должно было стать сенсацией. Любому журналисту такое интервью, первое интервью с Патрицией Томпсон могло сделать судьбу. Я представлял, какой бомбой прозвучал бы полосный материал о дочери Маяковского, опубликованный, скажем, в «Литературной газете». Но собкор «ЛГ» в Америке тоже прошляпил.

Единственное же, что меня успокаивает и льстит моему журналистскому самолюбию, что моя передача «Зеленая лампа» впервые сообщила телезрителям о том, что нашлась дочь Маяковского.

Перечитывая книгу, я задумался, и вот о чем. Словно на подбор в ней названы известнейшие имена, громкие фамилии, титулы. И вроде бы выпадают из этого ряда несколько имен. Ну, например, кто слышал о судьбах Марии Григорьевны и Эллы Ивченко из Вены? Ничего героического они в своей жизни, кажется, не совершили. Но в совокупности с рассказом о судьбе наследницы знатной русской фамилии Марии Разумовской жизнь и трагедия двух безвестных в прошлом советских женщин (одна из которых не решилась даже назвать свою фамилию) в «Венском триптихе» — это еще новые штрихи к страшным годам нашей недавней истории, всю правду о которых мы только сегодня начинаем познавать сполна. Графиня Разумовская не выезжала из России, она родилась в Австрии, но ее исследование трагической биографии Марины Цветаевой — это уже Россия Советская, это уже судьба человека, решившегося вернуться на родину и уничтоженного сталинским произволом.

Да было бы и несправедливо познавать трагедию диссидентства, отчужденчества, эмиграции только глазами наиболее удачливых, ставших знаменитыми людей. Вот произнес «трагедия эмиграции» и задумался. Вспомнил мнение о том, что, дескать, время, годы сотрут и эту боль изгнанничества и приесться читателям эмигрантская тема. В конце концов, вдали от родины — там — многим из них жилось сытно и уютно, а здесь, на отчей земле, было сиротливо и голодно. Так что кто выиграл, а кто проиграл, дескать, это еще вопрос. Не знаю, не буду судить. Да и не мне су-

дить. Понимаю только, что моя журналистская работа на этой ниве не иссякнет. Скитальчество, поискирая на земле, социальные катаклизмы, разобщенность народов и наций, религиозное непримиренчество и впредь будут разбединять людей. А значит, останутся такие понятия, как «русские в Париже», «советские кибуци под Иерусалимом», «наши на Брайтон-Бич», «русский маяк на Огненной Земле». К этим маякам будут тянуться те, кто отведаль лучшей, счастливой жизни в «самом справедливом обществе на земле». Они по-прежнему будут очень разными, эти люди. У каждого из них будет своя жизнь, своя судьба, своя история. Но они не повторят трагедии Тихона Куликовского-Романова, Нины Берберовой, Андрея Синявского, Марии Григорьевны... Они взяли у жизни свои уроки. Уроки любви и ненависти к родине, к истине, к ближнему своему.

И еще: события прямо стучались в эту книгу. 19 августа 1991 года в восемь часов утра мне позвонил Владимир Панков, заместитель главного редактора журнала «Родина», где я работаю редактором отдела русского зарубежья, и тревожным голосом произнес: «Включай телевизор, совершен государственный переворот. Твои подопечные попали как кур в ощиц». Мое сердце упало, хотя свершившееся не было для меня неожиданным. Я будто ждал каким-то подсознательным ощущением этой безнадежности. Всему конец! И прежде всего я подумал об этой книге. Введенная путчицами цензура, шлагбаумы перед гласностью, запрет на демократические издания конечно же распространялись и на книгу «После России», которая от первой до последней страницы стала в эти часы подцензурной. Теме диссидентства, эмиграции в том виде, в каком она варьировалась последнее время, пришел конец. Разве созвучны размышления о трагедии родины, о большевистской диктатуре, о больной нашей истории Галины Вишневской, Владимира Максимова, Андрея Синявского, Эрнста Неизвестного и других героев книги самозванным декретам «Пиночетов на час»?!

Я машинально оделся, вышел на улицу. В гостинице «Урал», где по утрам покупаю газеты, стояли двое в форме. Вчера здесь их не было. Газеты задерживались. Подошел к зданию городского ОВИРа — это тоже напротив моего дома, спросил у стоявших, знают ли о случившемся. На меня смотрели недоуменно. Я вернулся домой, позвонил на международную телефонную станцию узнать, есть ли связь с Парижем, Я хотел позвонить на станцию

«Свобода» своему другу Семену Мирскому и поговорить с ним о случившемся. Телефонистка ответила довольно бодрым голосом: «Мы работаем нормально». Я снова вышел из дома. Особых отклонений в обычной уличной жизни я не заметил. Прохожие говорили о чем угодно, но не о заявлении ГКЧП. Все это насторожило меня еще больше. В двенадцать часов раздался телефонный звонок. Из гостиницы «Россия» звонила Ольга Михайловна Могилянская, только что прилетевшая из Торонто на конгресс соотечественников. Какой коварный шекспировский акт: заговорщики устроили путч именно в день начала работы конгресса, когда в Москву со всего мира слетелись русские люди, наши соотечественники. Русские французы, русские американцы, русские англичане, князья, графы, потомки императорской династии, писатели, ученые. Сотни человек. Именно их имел в виду Владимир Панков, назвав моими подопечными. Как я потом узнал, многие из них были в трансе, они боялись арестов, допросов. Некоторые ринулись в Шереметьево.

Я поехал в гостиницу. Сын Ольги Михайловны Андрей Мстиславович спросил: «Посоветуйте, как быть: при регистрации дежурная сказала, чтобы я без нужды не выходил на улицу, за это она выделит номер с прекрасным видом на Кремль». Я ринулся к шторе — действительно вид с пятнадцатого этажа «России» был восхитительным: Кремль, собор Василия Блаженного, слева лента реки Яузы, московская дымка. Только вот маленькая деталь, штришок: все это — на фоне стоявших на мостовой танков.

Я сгорал от стыда: наши соотечественники, многие из которых не были на родине двадцать, сорок, семьдесят (!) лет, могли попасть в кровавую баню... Но, как говорится, где наша не пропадала — через двое суток все они были счастливы, что судьба послала им такой неожиданный подарок — стать свидетелями и почти участниками (я знаю, что многие, несмотря на запреты, были на баррикадах у Белого дома) августовской революции. Впечатлений и воспоминаний у них осталось на всю оставшуюся жизнь.

А в конгрессе соотечественников я не участвовал. Хотя, казалось, чего проще: подходи к любому и бери интервью. Но я не люблю на готовенькое. Мне было больше по душе, когда, коченея от страха, я тайно от сочленов своей делегации (помните ту первую поездку в США, о которой я рассказал в предисловии к этой книге), за-

метая следы, пробирался по вашингтонским улицам на встречу с Василием Аксеновым или разыскивал Иосифа Бродского. Там была журналистская страсть, тайная охота, риск. А здесь... мне было неинтересно, пресно и суетливо.

К чему этот завершающий книгу мазок? А вот к чему: я благодарен всем, кто помог спасти Россию от нового, еще более мрачного погружения в ночь диктатуры и беззакония. Когда 20 августа со своим сыном Кириллом я стоял перед Белым домом и в течение четырех часов слушал почти библейские речи, призывы мужественных людей, я снова думал и об этой книге. Слушая тех, кто верил в победу демократии и справедливости, я понимал, что книга увидит свет. Что «После России» будет, потому что будет Россия. Так и случилось.

Феликс Медведев

25 сентября 1991 года

СОДЕРЖАНИЕ

После России — снова в Россию	3
Интервью, беседы.....	15
«Человека можно всегда спасти» (интервью с Иосифом Бродским)	17
«Америка не любит, когда отпускаешь пружину» (интервью с Вилли Токаревым).....	22
«Я вернулся, чтобы найти потерянное» (интервью с Сашей Соколовым).....	28
«Зайдем к Камкину?» (интервью с Анатолием Забавским) , .	63
«Хочу увидеть то, что оставила в юности» (интервью с Ниной Берберовой).....	70
«Родину нам дает Бог» (интервью с Галиной Вишневской) .	91
«И не обязательно на троне» (интервью с Владимиром Романовым)	105
«Чтобы писать по-своему, я в тюрьму пошел» (интервью с Андреем Синявским и Марией Розановой) ,	118
Встреча с ним, с Эдичкой Лимоновым (интервью с Эдуардом Лимоновым)	131
Париж, улица Святого Мавра... (интервью с Олегом Целковым)	148
На краю поиска, где правда предельно жестока (интервью с Владимиром Максимовым)	156
Золотые плоды одиночества?., (интервью с Натали Саррот) . .	182
«Память, не подлежащая отчуждению» (интервью с Анри Труайя)	195
«Тот язык, который я слышал у Ахматовой...» (интервью с Никитой Струве).....	208
«Продержаться бы еще годков пять» (интервью с Эдуардом Кузнецовым)	219
«Мы — дети России» (интервью с Зинаидой Шаховской) , ,	243
«И всходы есть, и плоды» (беседа с главным редактором журнала «Посев» Александром Юговым)	266
Падение с «Зияющих высот» (интервью с Александром Зиновьевым)	271
У «Свободы» все впереди (интервью с Владимиром Матусевичем)	291

Советский человек не может жить без мифов (интервью с Леонидом Махлисом)	312
«Ты прав в своей свободе...» (интервью с Виктором Уриным)	328
«Я чувствую, как памятник ворочается в тебе...» (интервью с Эрнстом Неизвестным).....	337
«Любить и жить — лишь рвенье к новизне» (интервью с Александром Есениным Вольпиным)	360

ТРИПТИХ ИЗ ВЕНЫ

1. «Здесь не было бы тех причин, которые заставили ее наложить на себя руки». Графиня Разумовская о Марине Цветаевой	371
2. Русские мне говорят: «Вы счастливый человек...» Разговор с инкогнито в венском кафе	377
3. «В последнюю секунду мама поняла, что бомба наконец ее настигла». Трагическая исповедь Эллы Ивченко, певицы из Черновиц.....	387

ЭССЕ, ЗАМЕТКИ

Римский мир	400
Второе рождение журнала «Континент»	410
Но жить, как оказалось, может только в России ,	414
Возвращение «Дамы с лорнетом».....	421
«О, сладкий воздух горестной свободы...» ,	424
«Была весна, которой не вернуть»	426
«Блеснет маяк моей любви последней».....	431
Притча об иконе-Троеручице.....	434
Рыцарь Бога и Прекрасной Дамы. Дмитрий и Исса Панины	437
Знарок «Меркантильных обстоятельств Пушкина» , . . .	441
Это о ней, о Елене.....	443
Чужой судьбы не повторить, Вместо послесловия , . . . ,	452

Феликс Николаевич Медведев

ПОСЛЕ РОССИИ

Заведующий редакцией *В. М. Подупольников*

Редактор *З. У. Устенкова*

Младший редактор *М. Ю. Мухина*

Художники *О. А. Карелина, Л. Н. Морозова*

Художественный редактор *А. К. Гладышев*

Технический редактор *Ю. А. Мухин*

ИБ № 9110

Сдано в набор 01.11.91. Подписано в печать 10.02.92. Формат 84х108/32. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Уел. печ. л. 26,15. Уч.-изд. л. 26,59. Тираж 75 тыс. экз. Заказ № 2381. С 310.

Российский государственный
информационно-издательский Центр «Республика»
Министерства печати и информации Российской Федерации.
Издательство «Республика». 125811, ГСП, Москва, А 47, Миусская пл., 7.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий».
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

